

КОНТИНЕНТ

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNTENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER KONTINENT

72

2 • 92



Был сон еще: я
верил в Бога
И разуверился
однажды.
И пролегла моя
дорога
Полями голода
и жажды...

Владимир
Соколов

Пространство обык-
новенного воздуха,
света и звуков с тре-
ском разорвалось, и
он, не чувствуя за
плечами обычного
спасительного зон-
тика рассудка, съе-
хал в это беспара-
шютное измерение...

Юрий Морозов



...У Церкви нет ответов
на все вопросы, и Цер-
ковь не имеет права де-
лать вид, будто у нее на
все есть ответы, и эти
ответы провозглашать.
Есть в истории мира
большая таинствен-
ность, есть искания,
есть становление, и об-
щим трудом верующие



и неверующие (потому
что у неверующих могут
быть прозрения в таких
областях, в которых веру-
ющий ничего еще не за-
метил и не почувствовал-
ся) вместе должны ис-
кать, ставить вопросы...

Антоний, митрополит
Сурожский.

Сумеет ли русская интеллигенция
обновить себя и способствовать
возвращению страны к мировому
сотрудничеству,
чтобы, преодо-
лев старые дих-
томии, стать по-
длинно русской
и глубоко евро-
пейской?..

Витторио
Страда



Первое, что меня удивило, как толь-
ко я стал жить среди русских, — это
то, что, когда они узнавали, что я
украинец, на их
лицах обяза-
тельно появля-
лись улыбки... И
всякий обяза-
тельно прохажи-
вался насчет мо-
его племени...

Анатолий
Стреляный





Товарищество “ДеКонт”

Главный редактор: Игорь Виноградов
Зам. главного редактора: Игорь Тарасевич
Ответственный секретарь: Сергей Юров
Зав. редакцией: Вячеслав Лютый

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов • Виктор Астафьев • Ценко Барев •
Николас Бетелл • Александр Блок • Иосиф Бродский •
Владимир Буковский • Армандо Вальядарес •
Галина Вишневская • Георгий Владимов •
Ежи Гедройц • Густав Герлинг-Грудзинский •
Пауль Гома • Милован Джилас • Пьер Дэкс •
Эжен Ионеско • Фазиль Искандер • Оливье Клеман •
Роберт Конквест • Наум Коржавин • Эдуард Кузнецов •
Николаус Лобковиц • Эдуард Лозанский •
Эрнст Неизвестный • Амос Оз • Булат Окуджава •
Ярослав Пеленский • Норман Подгорец • Андрей Седых •
Виктор Спарре • Витторио Страда • Юзеф Чапский •
Карл-Густав Штрём • Юлиу Эдлис •

Корреспонденты «Континента»

Италия	Сергей Рапетти Sergio Rapetti via C.Hajech 10 20129 Milano, Italia
США	Эдуард Лозанский Edward D.Losansky 3001 Veazey Terrace, N.W. Washington, D.C. 20008 USA
Япония	Госукэ Утимура Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7 189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.
Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.
При перепечатке наших материалов ссылка на "Континент" обязательна.

КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*



Выходит 4 раза в год

МОСКВА — ПАРИЖ

2•92

72

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

**Издание Товарищества “ДеКонт” (Москва)
при участии
Ассоциации друзей журнала “Континент” (Париж)**

**Президент Ассоциации и соучредитель
Товарищества “ДеКонт”:
Владимир Максимов,**

**Президент Товарищества “ДеКонт”:
Александр Свиридов,**

**Генеральный директор Товарищества “ДеКонт”:
Александр Белорусец**

СОДЕРЖАНИЕ

Игорь Виноградов	
<i>К читателям "Континента"</i>	7
Владимир Максимов	
<i>Тревожное возвращение</i>	10
Владимир Соколов	
<i>Я не был в Иерусалиме... Стихи</i>	11
Юрий Домбровский	
<i>История немецкого консула</i>	
Публикация К.Ф.Турумовой-Домбровской	16
Владимир Леонович. Стихи	78
Виктор Астафьев	
<i>Праздник солидарности. Рассказ</i>	84
Евгений Блажеевский	
<i>Осенняя дорога. Венок сонетов</i>	92
Литературный дебют	
Юрий Морозов	
<i>Парашиютисты. Рассказ</i>	100
Зинаида Гиппиус	
<i>После России. Стихи из старых эмигрантских изданий</i> <i>и рассказ "До воскресенья"</i>	
Публикация и предисловие Н.И.Осьмаковой	145
Алексей Зайцев	
<i>Хочу заполнить эту паузу... Стихи</i>	160
Литературный дебют	
Юрий Петкевич	
<i>Явление ангела Сапожкову</i>	164
РОССИЯ	
Анатолий Стреляный	
<i>Притязания перебежчика</i>	187
Витторио Страда	
<i>В свете конца, в предвестии начала</i>	210

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

И. Крамов

Из рассказов Зискинда

Публикация Е.Ржевской 227

Письма Федора Сологуба в Совнарком, В.И.Ленину

и А.В.Луначарскому. Публикация Ф.Федорова 255

РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Александр Кырлежев

Бог в эпоху "Смерти Бога" 260

Оливье Клеман

Почему я православный христианин 276

Митрополит Сурожский Антоний

Собеседование о Церкви

и священниках в современном мире 291

ГНОЗИС

Дмитрий Хмельницкий

Под звонкий голос крови, или

С самосознанием наперевес 314

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Марина Кудимова

Ученик отступника 323

Евгений Ермолин

Пленники Бабы Яги 342

К ЧИТАТЕЛЯМ “КОНТИНЕНТА”

В жизни “Континента”, по человеческим меркам такой еще короткой (всего 17 лет), а по журнальным — длиной уже едва ли не в целый долгий век, происходит событие, требующее объяснений. Отныне — начиная с настоящего, 72-го, номера — основатель и бессменный в течение всех этих лет главный редактор “Континента” Владимир Максимов оставляет за собою только функции его учредителя, ограниченные сферой сугубо делового обеспечения (совместно с московским Товариществом “ДеКонт”) работы редакции журнала, его печатания и распространения. Обязанности же главного редактора “Континента”, обнимающие всю полноту суверенной ответственности за будущую его собственную содержательную жизнь, за составление и редактирование его номеров, за отбор материалов, отношения с авторами, полемический стиль и любые другие проявления журнальной политики, — эти обязанности принимаю на себя я, московский критик и литературовед Игорь Виноградов. Соответственно и вся редакционная работа по подготовке к печати очередных номеров журнала почти полностью переносится отныне из Парижа в Москву и будет осуществляться новой редакцией журнала, в состав которой, помимо главного редактора, входят еще три московских литератора, имена которых обозначены на обложке этого номера, — Игорь Тарасевич, Сергей Юров и Вячеслав Лютый.

Причины этих перемен, которые откроют, может быть, некую новую главу в истории “Континента”, следует искать прежде всего — и, в сущности, исключительно — в тех исторических сдвигах, которые произошли за последние годы в нашей стране и которые потребовали радикального изменения прежней концепции журнала, созданного в свое время Владимиром Максимовым в качестве журнала фронтального политического, религиозного и культурного противостояния советскому коммунистическому тоталитаризму, — в качестве журнала Сопротивления. И за 17 долгих и трудных прожитых им лет эту свою задачу “Континент”, безусловно, выполнил, сколь бы спорными, слабыми и даже просто ошибочными ни казались, может быть, тем или иным читателям те или иные его выступления. В этом бесспорная и неотменимая историческая заслуга Владимира Максимова и его соратников по редакции, сумевших сделать “Континент” одним из самых серьезных и авторитетных журналов русского зарубежья — журналом вольного русского слова в изгнании.

Но чем очевиднее и бесповоротнее становилось крушение коммунистических режимов сначала в Восточной Европе, а затем и в СССР, тем очевиднее становилось и то, что в этой прежней

конфронтационной своей направленности журнал уже исчерпывает свои возможности и смысл своего существования. И что сохранение верности его своим же собственным, провозглашенным при его создании принципиальным духовным позициям обязывает его в новых исторических условиях к тому, чтобы из журнала Противостояния и Сопротивления коммунизму стать журналом духовного Возрождения и Созидания новой России, включенным во всю живую сложность этого очень не простого, очень противоречивого процесса. А делать такой, новый, журнал, обращенный уже к широкому отечественному читателю и органически связанный со всей его живой жизнью, — делать такой журнал не изнутри этой отечественной жизни, а по-прежнему из Парижа становилось все тяжелее. Вот почему трезвое осознание этой реальности и привело его главного редактора к мужественному и, конечно же, весьма нелегкому для него решению расстаться со своим детищем и передать его в руки новой, отечественной редакции. Читатели "Континента", несомненно, почувствуют это, знакомясь с тем посланием, которое адресует им и новой редакции Владимир Максимов и которое помещено на последующих страницах. Но я должен сказать, что и я, со своей стороны, принял его предложение создать и возглавить новую, отечественную редакцию "Континента" лишь после долгих и нелегких колебаний, а эйфорию по этому поводу испытываю в еще меньшей степени, чем он. И дело здесь не только в возрасте, не слишком подходящем для начала нового серьезного дела, и не только в тех все еще не осуществленных замыслах, которые имеют, видимо, непреодолимую тенденцию накапливаться именно к концу жизни, превращаясь в некую психологически взрывоопасную критическую массу, требующую постоянного обезвреживания. Дело еще и в тех немалых и, честно говоря, почти непреодолимых трудностях, с которыми в наших нынешних условиях дикого рынка, варварской коммерциализации культуры и всеобщего обнищания связано издание современного толстого журнала. Даже если это журнал, который в борьбе за свое выживание может опереться на прежнюю свою достаточно престижную известность. И даже если для такой борьбы он будет получать самую благородную помощь со стороны своего учредителя, предоставляемую к тому же на еще более благородных условиях полного невмешательства в работу новой редакции.

Но, во-первых, было бы преступлением, если бы такой журнал, как "Континент", просто прекратил свое существование. А во-вторых — и это главное, — в той ситуации тяжелейшего духовного разброда, которая создавалась ныне в России, в условиях катастрофического нравственного оскудения общества, растаскивания культуры и распада истинной гражданской ответственности, растаптываемой как разного рода красно-коричневой нечистью, так в не меньшей степени и жадной оравой всяческих псевдодемок-

ратов, рвущихся к сладкому пирогу власти, — в этой ситуации издание журнала, который продолжил бы и развил в новых условиях ту, как мы считаем — главную традицию прежнего “Континента”, что делала его в лучших его номерах журналом христианской культуры, — издание такого журнала, право же, стоит, наверное, того, чтобы попытаться ради этого преодолеть любые трудности и пожертвовать какими-то личными замыслами и планами. Во всяком случае, именно такое понимание стоящих перед нами задач и нашего долга и заставляет меня и моих товарищей по новой редакции “Континента” предпринять подобного рода попытку — создать журнал, в котором без всякого узкого доктринерства и начетничества, без каких-либо претензий на монопольно правильное понимание той или иной литературной, общественной или религиозной истины, при непременном условии самого широкого и свободного творческого обсуждения любой проблемы, но все-таки последовательно и твердо, из номера в номер и в любой рубрике журнала, проводилась бы установка на поиск, выработку и обсуждение именно христианской точки зрения на все, что происходит сегодня в нашей стране, — в нашем гражданском обществе и в нашей Церкви, в структурах власти и в глубинных пластах социально-экономической жизни страны, в сфере ее духовных устремлений и нестроений, в национальном самосознании ее народов, в ее общественной мысли и в ее художественной культуре. Нам кажется, что потребность в серьезном и авторитетном журнале именно такого направления остро ощущается сегодня в самых широких кругах нашей интеллигенции, причем отнюдь не только религиозно настроенной. И именно таким мы и хотели бы видеть наш будущий “Континент”.

Что у нас получится из этого замысла — покажет время. Реальное лицо журнала обретет свои характерные черты, разумеется, лишь в самом процессе его живой жизни, его живого становления.

Игорь Виноградов

ТРЕВОЖНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Казалось бы, о чем мечталось все эти годы, во что верилось и не верилось, к чему, хотя бы подсознательно, но был готов, совершилось: "Континент" выходит в России, собранный отечественной редакцией и подписанный в свет новым, теперь уже московским Редактором. Но, честно говоря, особой эйфории я по этому поводу не испытываю.

Давайте будем смотреть правде в глаза: авторитет большинства эмигрантских изданий держится главным образом за счет их малодоступности, на феномене "запретного плода", флере культурной экзотики. Стоит только положить нынче рядом почти любое советское и зарубежное русское издание (неважно, газету или журнал!), чтобы убедиться в крайней бедности, если не убогости (за редчайшим исключением!), эмигрантской продукции, бедности как информационной, так и профессиональной. Разумеется, сил, средств и возможностей у нас тоже куда меньше, чем у наших коллег на родине, но это довольно слабое утешение.

Выдержит ли на этом фоне "Континент" творческое соревнование со своими отечественными собратьями? С теми же "Новым миром", "Знаменем", "Октябрем", "Юностью"? Ведь литературный процесс вообще по обе стороны границы, похоже, переживает сейчас жесточайший кризис переходного периода от подцензурного слова к полной свободе самовыражения, сместившей в головах и авторов, и читателей многие этические и эстетические ориентиры, а проблемы бумаги, производства и распространения только усугубляют этот кризис.

В этих условиях новой редакции "Континента" предстоит выдвинуть принципиально иную концепцию журнала, ибо его прежняя позиция, как свободной трибуны противостояния тоталитарной системе, исчерпала себя. И только в том случае, если эта концепция окажется адекватной нынешней читательской аудитории, журнал, даже в сложившихся обстоятельствах, сумеет устоять и обеспечить себе достойное будущее.

К сожалению, переживаемое нашей страной время не располагает к оптимизму, но, как известно, кто не надеется, тот не живет, а дома, что называется, и стены помогают. Хочется верить, что "Континент" на родине обретет "второе дыхание", чтобы продолжить свой путь уже в новых условиях, с новыми авторами, в кругу новых читателей.

Мне остается уповать только на это. Во всяком случае, совесть основателей "Континента" чиста: мы создали журнал в изгнании и, проведя этот утлый корабль сквозь многие бури и сражения, возвратили его на родину. Доброго плавания в российском океане!

Владимир Максимов

Я НЕ БЫЛ В ИЕРУСАЛИМЕ...

Стихи последних лет

* * *

Феликсу Дектору

Я не был в Иерусалиме
И вовсе, может быть, не буду,
Но снится мне: я в том Заливе,
Где люди поклонились Чуду.

Там, на водах, следы синели,
И Он кормил пятью хлебами
Людей, как птиц, что налетели,
Крича, как чайки, над песками.

Я в стороне стоял. Я замер.
И мне сквозь годы волн и бредней
Сказал Он чистыми глазами:
“Возьми кусочек. Он последний”.

Я помню зной, сухую руку,
Следы, что таяли, не тая...
Потом мне снилась только мука,
Им наяву пережитая...

**Владимир
СОКОЛОВ**

— родился в 1928 г. в г. Лихославле (Тверская область). Окончил Литературный институт, автор многих сборников стихов и поэм, лауреат Государственной премии (за книгу “Сюжет”).

Был сон еще: я верил в Бога
И разуверился однажды.
И пролегла моя дорога
Полями голода и жажды.

Но, причащаясь молча телу
И крови жертвенной Господней,
Любому кланяясь уделу,
Я сердцем сыт и всех свободней.

Я не был в Иерусалиме
И вовсе, может быть, не буду.
Но Купины неопалимей
Мой сон, что я свидетель Чуду.

1992, январь

* * *

Ирине Одоевцевой

Там вечера фиалкового цвета,
Там все не выговаривают эр.
А если выговаривают, это —
Как рок, как рокот; в песне, например.

Теперь вы с вашим выговором странным
На берегах, где эти эр и эль
Звучат, как встарь, звучаньем первозданным,
Как Летний сад, как русская метель.

С ветвей над белой статуей во мраке
Роняет иней ворон вечных лет.
Он неспроста в почти блестящем фраке
И что-то вам скандирует вослед.

Он глаз косит, задумавшись:
с отрадой
Или с досадой слушают его?..

Я прохожу в то время за оградой
И этого не вижу ничего.

1990, июль

* * *

Забывать, забыться и уснуть,
Проснуться, вспомнить, засмеяться.
И вдруг испуганно взглянуть
На тех, которые толпятся
В дверях и машут: выходи.
И корчат рожи, и тоскуют.
И вдруг услышать: не гляди,
А то убьют и поцелуют.

Забить, забыться и уснуть,
Проснуться, вспомнить и заплакать.
И робко искоса взглянуть
На муть окна, где плачет слякоть.
И, зайчик солнца миг спустя
Увидев, броситься к роялю.
И оглянуться, как дитя:
“О, Боже! Это я играю!”

1990, октябрь.

* * *

Боже, сколько на сердце зарубок!
 Это ж мука сплошная...
 Не от туфелек, ног, не от юбок
 Эта грусть ледяная.

Не от губ, не от пористых губок,
Грим со скул удалявших,
Так красиво... О, сколько
зарубок
Не от тех, утолявших!..

Как на притоке, возле шубок,
Возле шуб, возле эха —
Боже, сколько на сердце зарубок
От проклятого Века!

1991, октябрь

* * *

Опять аллея. И опять песок
В кленовых листьях, мягких и сырых.
И кто-то долго целится в висок
И не стреляет. Воздух пуст и тих.

Давным-давно отмерены шаги
От этой арки вон до той скамьи.
Приди. Придумай нечто. Помогни.
Негодования выложи свои.

Ты думал, что она ушла ко мне.
Я думал, что она ушла к тебе.
Что ж оказалось? В поздней тишине
Одни вороны, склонные к ходьбе.

Да серый воздух, да сырой песок.
Да черных веток романтичный быт.
И кто-то долго целится в висок
И не стреляет. Он давно убит.

1989, август

* * *

Мне страшно, что жизнь прожита,
Что смерть — это значит домой,
Что снова трясет нищета
На грязных вокзалах сумой.

Что родина — это слеза,
Что мать — это холм без креста,
Что вор, закативши глаза,
Гнусит: мир спасет красота.

А в целом... Да что говорить!
Всего мне страшнее сейчас,
Что я не могу сотворить
Из прошлого будущий час.

1991, декабрь

ИСТОРИЯ НЕМЕЦКОГО КОНСУЛА

“Если вы помните, бригадир “Горного Гиганта” Потапов...” — эта фраза, начинающая второй абзац публикуемого ниже текста, обращена к читателям романа “Хранитель древностей”, принадлежащего перу замечательного русского писателя Юрия Осиповича Домбровского (1909. — 1978) — четырежды репрессированного органами НКВД, узника ГУЛАГа, автора нескольких романов, в том числе и получившего мировую известность романа “Факультет ненужных вещей”, являющегося продолжением “Хранителя древностей”. “История немецкого консула” была задумана первоначально как глава “Хранителя древностей”, появившегося в 1964 году, но в его окончательный текст не вошла, так как выросла, в сущности, в самостоятельное произведение, связанное с остальным корпусом романа достаточно условно. Занятый работой над “Факультетом ненужных вещей”, автор не успел окончательно отделать повесть, но текст этот, на наш взгляд, настолько интересен, что мы сочли возможным опубликовать его именно в том виде, в каком он сохранился в архиве писателя, сделав, с разрешения публикатора, лишь самые незначительные и необходимые исправления. Сам Юрий Домбровский называл “Историю немецкого консула” Приложением к “Хранителю древностей”.

В годы войны мне пришлось побывать на лесозаготовках где-то очень далеко, в районах Восточной Сибири. В моей бригаде было много людей, попавших сюда разными путями войны и мира, были тут и так называемые гражданские пленные, и беженцы, и просто отбывавшие трудовую повинность. Вот тут я и встретил обоих героев всех тех историй, о которых хочу сейчас рассказать. Сначала о первом.

Если вы помните, бригадир “Горного Гиганта” Потапов¹ считал, что все 12 человек, которые с ним были призваны в армию в 14-м году, погибли. Оказалось, что в отношении по

¹ Герой романа “Хранитель древностей”, бригадир колхоза близ Алма-Аты, обвиненный НКВД в сознательном — с целью дезорганизации населения — распространении слухов о появлении огромного удава. В конце романа удав оказывается реально существующим крупным экземпляром степного полоза.

крайней мере одного — он ошибся. Один человек уцелел. Он попал в плен, был вывезен в Германию, работал два года батраком у бауэра, потом, после заключения мира, устроился на железную дорогу смазчиком. Там женился на вдове начальника станции, переехал в Берлин, открыл салон для очистки одежды. Дело пошло. Родился сын, кончил школу, пошел в немецкую армию, и, таким образом, Белецкий — так звали этого уцелевшего — приобрел немецкое гражданство. Человеком Белецкий был очень неприятным, мелочным, кляузным, скандальным, и поэтому мы его фамилию всегда произносили несколько иначе. Он так к этому привык, что отзывался. А лицо у Белецкого было интеллигентное, сухое, с длинными складками на щеках и у рта. Он любил рассказывать о своей жизни в Германии и говорил тогда складно и хорошо. Вот два из его рассказов я здесь и передаю. Конечно, воспроизвести полностью их невозможно. Все дело в интонациях, жестах и в том великом наплевательстве на все, в том числе и на слушателей, с которым Белецкий все это рассказывал. Первая история никакого отношения к моей повести не имеет, но я ее передаю все равно. Уж больно она хороша.

Декорация все та же — барак, нары. Выходной день, никто не пошел на работу. Белецкий с утра о чем-то думает. Потом подходит ко мне, деликатно подсаживается на самый кончик нары и спрашивает:

— Слушайте, а был в Германии такой профессор — Эпштейн?

Я пожимаю плечами: наверное, не один даже.

Он думает и соглашается.

— Не один, не один, правильно. У нас и аптека рядом была. “Магистр фармации Эпштейн”. Я там пурген покупал. Вплоть до разгрома они торговали. Правильно, правильно!

— До какого разгрома?

— Ну, до их разгрома, до того, как подошла ликвидация их расы. Тогда синагоги жгли, стекла били, значит, намек делали: убирайтесь, покуда целы! И много их тогда что-то убегло! Вещи ни за что шли! *Мечтательно*: А какую я тогда обстановку однажды отхватил! Даром! Вся из красного дерева — горит! Только письменный стол — мореный дуб! *Опять думает*. Ну, только это не тот Эпштейн, нет! Тот какую-то особую штуку выдумал. По-русски она... вот два слова... два слова!... Дай, Бог, памяти! *Трет переносицу и вдруг радостно*:

— “Относительно чего?” Что, есть такая?

— Так ведь это Альберт Эйнштейн, — говорю я. — Теория относительности, одна из самых великих теорий в мире.

Он улыбается — его не проведешь.

— Великая! Потому она и великая, что Эпштейн изобрел. У них все великое. Какой-нибудь доктор или кантор — он доброго слова не стоит, а спросишь о нем у другого еврея, так тот и глаза закатит: “У-у, это такая голова, знаете, какая это голова?” А что знать-то? что? Голова как у куренка, и смотреть нечего. — Он смеется. — Ну, ей-богу, правда. Я их вот так знаю! А вот как вы сказали насчет этого Эпштейна-то? Что он открыл такое?.. Относительно чего? Так относительно чего же оно? А?

И смотрит на меня, лукаво сощурившись.

— Ну, это так не объяснишь, — говорю я. — И долго, и трудно, да я и сам не все понимаю.

— А говорите — великое! — усмехается он. — Не понимаете, а говорите. Вот они на том и живут, что никто ничего не понимает. Видел я раз этого Эпштейна. Действительно, скажу вам, “относительно чего”.

Я прошу:

— Расскажите. Это интересно.

Он польщен, но пренебрежительно усмехается.

— А у меня все рассказы интересные. Это не то, что здешняя баланда. Так вот, принесла нам его жена платье. Ну, платье, верно, стильное. Тут уж ничего не скажу: файдешин, стального цвета, без рукавов, с бутоном на груди. Так они на него красное вино опрокинули. Ну и испортили, конечно. Там ведь вино не то, что здесь. Настоящее, виноградное, им капнешь, так стирай до дыр, не отойдет. Только я могу помочь. Ну вот, принесла она его и просит, чтоб к Новому году оно было новенькое. А за границей хочешь скорости — плати. Это же Европа, Берлин. Там все роды услуг есть! Все! Я свои преysкурранты там каждый год новые выпускал — особая книжечка. А на обложке — мой салон и я стою возле двери, шляпу приподнял и показываю рукой на вход: “Милости прошу, заходите, заходите”. Там ведь все так — никакого хамства. Я вот к этому Эпштейну хожу в аптеку полгода или год, покупаю облатки. Значит, я уже постоянный покупатель. И как Новый год, он мне премию — коробку духов и визитную карточку. “Будьте любезны, передайте с нашим поздравлением вашей супруге”. Вот как там! Культура! Германия! Там хамства этого не увидишь!

— А как же вы его магазин-то громили? — спрашиваю я.

Он фыркает:

— Вот сравнил. Это совсем другое дело. Это по приказу делается. А раз приказ есть, значит, ты ни при чем! А так я разве пошел бы? Что я, бандит, что ли? Хулиган? Шпана? Нет, нет, вы с этим, пожалуйста, не спорьте, не люблю я, когда зря спорят. Надо знать, а потом спорить. Там чтоб, например, мат услышать... Да что вы?.. А вот здесь захожу я в столовую утром, а там раздавальщик, мальчишка, сопляк, и он мне, старому человеку...

— Да вы говорите, говорите про Эйнштейна...

— Как же я буду говорить, когда вы все время перебиваете... Вот там этой манеры, чтобы перебивать, тоже нет. Там ты говоришь, а тебя слушают, и только. “Я! Я! Я! Яволь! Манн хер!” (По-немецки он говорил скверно, с акцентом, грамматики не знал, так, болван, и не научился ничему за тридцать лет жизни в Европе.) Так, значит, вот мы это платье в срочном порядке вычистили, отгладили, уложили в пакет, и жена говорит мне: “Иоганн (а по-немецки я Иоганн потому, что хотя я Иван, но там это слово не то что ругательное, а нехорошее, вроде как у нас Фриц), завтра день воскресный, — говорит жена, — ты отнес бы сам платье профессору”. А мне, понимаете, что-то в голову вошло, я подумал, что она мне про того профессора, который раз меня насчет сына вызывал. Ах, да, да, это, значит, до Адольфа было! Да, да, совершенно верно. Да, да! Потом всех этих Эпштейнов из гимназии вот как повыбрасывали! Чтоб они голову зря ребятам не забивали. Ну, а тогда они еще жили! Так вот, мой Роберт чем-то их профессору не понравился. Ну что-то он там в физическом кабинете сотворил, кажется, мел в кислоту насыпал, вонь пошла. Ну вот меня и вызывали. В Германии насчет этого — о-очень строго! Очень! Там хулиганья не любят. Как что, так сразу вон!

— А твой сын, значит, не хулиган? — спросил кто-то с соседней нары.

— А мой сын, значит, не хулиган, — холодно отрезал Белецкий. — А вы не перебивайте, пожалуйста, я вот им рассказываю, они интересуются. Так вот, думаю, схожу к профессору на дом, поговорю с ним. Взял платье, уложил его в особый пакет (а у меня особые пакеты были, чтоб платье не мялось, и на них: “Чистите вашу одежду только в таком-то салоне”. У меня разные пакеты были — и красные, и синие, и кремовые). Так вот, взял я этот пакет и пошел по адресу. Поднимаюсь по лестнице — звоню. Ко мне эта фрау выходит.

“Неужели уже готово, как это хорошо!” Такая красивая была женщина, деликатная, только вся седая и что-то не из евреев, кажется, а может быть... Ну, кажется, нет. “Пройдемте, пожалуйста, в комнату”. Проходим. Открыл я пакет, аккуратно вынул платье обеими руками, положил на стол: “Вот, пожалуйста, где пятно было, ищите!” Она так и ахнула: “Ах, как же вы так сделали? А я уже не надеялась, а муж мне говорит: “Перед масляным и винным пятном человеческий разум бессилен. Это его свыше!””

Он довольно хохотнул:

— “Свыше”! Идиот! У меня ничего не свыше, а все как раз. — Схватила она платье: “Одну минуточку!” — и в другую комнату. И выходит с этим самым Эпштейном. Тут я на него посмотрел, — он засмеялся. — Досыта насмотрелся. Да, Эпштейн!

На мне костюм, пальто, шляпа, тросточка, прямо хоть в кирху или в ресторан. А он стоит передо мной в туфлях на босу ногу, штаны какие-то невероятные, волосы как у рабина, и стоит и улыбается мне. “Очень, очень благодарен, мне вашу фирму порекомендовали как лучшую, очень рад, что не ошибся. Раздевайтесь, пожалуйста, проходите”. И что-то ей буркнул еще, повернулся, свинья, показал зад и вышел. Ну а вот фрау видит, какой я и какой он, ей, конечно, неудобно, она мне: “Пожалуйста, проходите в комнату, выпьем чашечку кофе”. Она-то, конечно, все приличия соблюла. Не хотел я ни пить, ни есть. Но, однако, из порядочности пошел. Она меня усадила, кофе налила, ликеру подлила, бисквит положила, сама села напротив, все по-культурному. Вот сижу я, пью кофе с ложечки и спрашиваю: “А скажите, пожалуйста, в какой гимназии герр профессор работает?” А она говорит: “А он не работает, он ученый”. — “Ах, так, — говорю, — значит, он при академии состоит?” — “Нет, — говорит, — сам по себе”. Ну, что ж? Я у них в гостях. Она хозяйка, что я могу ей ответить? Хотя понимаю, что заливает она мне, но молчу. Вот вам я объясняю: там ученый всегда при гимназии, или при университете, или при академии состоит. А так, чтоб нигде — так этого нет. Кто ж ему деньги будет платить? Не государство же! Там хозрасчет полный.

Он подумал.

— Ну, правда, там еще патенты есть: вот, скажем, изобрел ты краску от волос или карандаш от пятен, сейчас выправляешь аттестат такой — патент — изобретение твое, и кто хочет пользоваться, тот тебе плати. Ну, так вы же договариваетесь,

сколько. “Значит, — спрашиваю, — господин профессор при своей лаборатории состоит?” — “Идемте, — говорит, — я вам покажу его лабораторию”. Поднялись по лесенке на второй этаж, вошли в какую-то комнатку: “Вот, — говорит она, — его лаборатория”. Ну, взглянул я на эту лабораторию — и все понял. Да!

Уже несколько человек слушали рассказ Белецкого, две головы свесились с верхних нар, несколько человек переползло с соседних лежанок, и еще трое стояло перед нарами. Рассказчик окинул всех довольным взглядом, вынул из кармана кисет, высыпал на ладонь махорку и закурил. Все это красиво, выразительно, отчетливо. Он понимал, что он в центре внимания.

— Да, посмотрел я лабораторию! Ну, лаборатория! Та лаборатория! Ну, ничего нет! Пусто! А мне в разных лабораториях приходилось бывать. Так войдешь — там банки, склянки, кислота, зола, горелка горит, шумит, серой воняет. Ну, а тут один столик — и ни книжки, ни бумажки, ни чернилки, ни карандашика, ну ровно ничего, одна лампа! — Он помолчал, подумал, покурил. — Ну, абажур, правда, хороший, особенный, чтоб в глаза свет не бил. “Вот тут, — говорит фрау, — за этим столиком он сидит и целую ночь думает”. Хотел я ее спросить, над чем же он тут думает, когда ничего нет, но воздержался. Там правило: в гости пришел, что тебе ни заливают, ты ничего не спрашивай, понял, не понял, а говори — понял. “Спасибо, — говорю, — фрау, теперь я все понял”. Ну, пришли мы обратно в столовую, допили кофе, отдала она мне деньги.

— Прибавила? — жадно спросил кто-то.

— Отдала она мне деньги, — жестко продолжал Белецкий. — Пришел я домой, разделся, вешаю костюм на вешалку, а жена спрашивает: “Ну, как?” — “Да никак, — отвечаю, — никакого касательства к нашему Роберту он не имеет”. А жена у меня глуповатая, старше меня немного. “Ну как же, — говорит, — как же? Так все его хвалят, он какое-то изобретение сделал большое”. Я опять ничего не возразил. Она не знает, я не знаю, что ж тут толковать? Ну, потом, вскорости, приходит ко мне один знакомый — газетчик, из наших казаков, спрашивает: “Правда, вы с Эпштейном кофе пили?” — “Правда, — говорю, — был с визитом и кофе пил”. Тот сразу ручку вытащил, стал писать. “О чем же он с вами говорил?” — “Многое говорил — обещал, что всех знакомых будет посылать ко мне”. — “О! — говорит газетчик, — это вам счастье.

Попросите у него письмо об этом, его все газеты перепечатают, ведь он мировой человек, сго Америка знает". Потом я еще несколько человек спрашивал, все подтвердили: да, для рекламы его письмо было бы первое дело.

Он помолчал, подумал и заключил:

— Ну вот, так я и видел этого знаменитого Эпштейна.

— Ну что ж, — спросил я. — Дал он вам письмо?

Он улыбнулся.

— Нет, не стал я связываться, посомневался что-то. Ну а потом, вскорости как Адольф пришел, он и тиканул куда-то, верно, кажется, в Америку. А потом раз приносит мне сын альбом "Евреи смотрят на тебя" и спрашивает: "С этим ты кофе пил?" Посмотрел я — ну, самый он, только фуфайка другая, шерстяная, смотрит, улыбается, шевелюра, как у рабина. А внизу надпись: "Эпштейн, фальшивый ученый, враг Германского народа, еще не повешен". Ну, тогда я понял, чем он за этим столиком занимался. Раз Советы его хвалят — значит, все!

Наступило короткое молчание.

— Листовки он, что ли, печатал? — догадался кто-то.

— Сведения передавал! — крикнул второй.

Все засмеялись. Белецкий полез на нары, вынул из-под подушки брезентовый мешочек, достал оттуда деревянную ложку, пайку хлеба и методически разложил все это перед собой, показывая, что рассказ окончен, он ждет обеда.

— Дурачье, — сказал он со спокойным презрением, — разве это рассказ? Я однажды с самим фон Папеном в русской бане мылся, из одного крана тазы с ним наливали. Вот это рассказ.

Тут в барак вбежал дневальный и весело крикнул:

— Шестая бригада! В столовую!

В отношении обеда и завтрака чуткость у Белецкого всегда была исключительная. Тут уж он никогда не ошибался — что правда, то правда!

* * *

Второй рассказ Белецкого касается алма-атинского удава.

И тут надо сказать, что я Белецкому очень благодарен. Без него мне бы в этой истории ни за что бы не разобраться — уж больно причудливыми зигзагами и кругами она пошла по свету. Удав действительно был и оказался чем-то вроде того знаменитого крокодила, который в годы первой мировой вой-

ны сбежал в Самаре из бродячего зверинца. Тогда рассказывали, что несколько дней хлестали ливни, и вода в бассейне, в котором плавал крокодил, вышла из краев. Крокодил вылез и уполз в Волгу. Случилось это летом, в самый разгар купального сезона, и паника поднялась страшная. Пляжи опустели. О крокодиле трещали все газеты. Очевидцы его видели то тут, то там. Помню, какая-то тетка рассказывала: проходила она по берегу, а пляж окружили конные жандармы и никого не пускают. Несколько дней тому назад здесь видели крокодила, — и я верю: действительно там его видели. И я его тоже видел. Помню, мы купаемся с матерью, и вот я, весь трепеща, ежась, захожу по грудки в воду и останавливаюсь над туманной глубиной. Колыхаются камни, волнистый светлый песок, черно-зеленые ракушки в глубоких бороздах, а там, дальше в глубину, на грани видимого и невидимого, в таинственном тумане встает что-то длинное, зубчатое, распластанное, черное, на четырех лапах, — ну, точь-в-точь притаившийся крокодил. И я тихо-тихо, задом отступаю к берегу и перехожу на другое место. А матери ничего не говорю — разве взрослым что-нибудь докажешь.

Вот так я никогда бы ни в чем не разобрался, если бы не Белецкий.

* * *

Вот теперь я перехожу ко второму рассказу Белецкого.

Декорации все те же. Только вид у Белецкого совершенно иной. Он чуть не задыхается от восторга:

— Так вы, значит, из самого Верного? — спрашивает он, — из самого, самого?! Вот это здорово! Ни разу не встречал земляка! На какой же улице-то жили? А раньше как она? А-а, Казначейская! А в каком месте? В парке, у Казенного сада! Против собора? Ну, как же, отлично помню! Там у меня такой роман-с был! Может, слышали купца Шахворостова? Ну, конечно, как же не слышать — свои ряды на всю Торговую улицу, на Хлебном рынке свои лабазы. Так вот, дочка у него была, Ксения. Жива ли, нет, не знаю, спросить-то не у кого! Ведь тридцать пять лет! Ах, боже мой! Тридцать пять! — Он смотрит на меня подобревшими глазами, лицо у него задумчивое и мечтательное... — Ну, как же, как же, — продолжает он, — я там каждую улочку помню. А в горах вы были? Что есть там сейчас — сады или все уж срубили? Ах, колхоз там! Ну, раз колхоз, то... — Он вздыхает и качает головой. — А там

раньше ведь сад Моисеева был! Знаменитая торговля на всю Россию! Яблоки “апорт”! Вы видели когда-нибудь верненский “апорт”? Я тогда с отцом в Семипалатку по Ташкентской аллее ходил, их возил! Во яблоко было! Во! — Он разводит пригоршни, показывая что-то округлое, большое, с добрый фарфоровый чайник для кипятка. — Два фунта! Теперь, конечно, такие только на вывесках увидишь. Это кто ж вам рассказывал, что есть? Как, сами видели? Так это в музее, в музее восковые. Ах, сами срывали? С дерева? (Пауза.) А не агитируете, нет? (Пауза, вздох.) Ну, что ж, я верю. Раз вы говорите, я должен верить. Я всем верю. Я такой человек! Так, значит, сохранились яблочки! Ну, ну! — И он великодушно кивает головой мне и моему напарнику по нарам, дремучему старичку-лесовичку, который вылез из-под нар с самого темного угла, сидит, слушает, смотрит на нас загадочными медвежьими глазками и слегка позевывает.

— Только как хотите, а навряд ли такие яблоки сейчас есть, — говорит Белецкий, — да, навряд. Тут за каждым деревом уход особый нужен. Яблоню-то нужно укутывать, окуривать, окучивать. Кто в колхозе-то этим заниматься будет, кому что больно нужно? Тут особая рука требуется — хозяйская, бережная рука. Народ?! Хм! Нет, вы мне про этот народ не говорите! Народ! Ну, вот он ваш народ, сидит, зевает. Он народ, а я хозяин, — так кто больше спину наломает?! А когда вы в последний раз там были? А где? А до щели доходили?! До самой-самой?! Так это далеко, там даже и у Моисеева садов не было. Холодно, высоко. Нельзя! А что вы там делали? Ах, по истории ездили. Ну-ну, понимаю, понимаю! У нас в Европе историю очень ценят, очень! В Берлине музей специальный есть, там в одном зале целый древний дворец привезли и построили, весь из плит. Видели в кино — “Одиссея”? Так вот, в нем он жил. А кого вы знаете из местных верненских? Так, так, так! Ну, это все приезжие, я таких и не слышал. Ну, а вот Шахворостовых, Инфаровых, Ганджу, Безугловых, Потаповых — вы не знали? Про какого-то Потапова из Алма-Аты у нас в газете писали, он там со змеем-удавом воевал. Не знаете это дело?

Я не стал прерывать разговор на полуслове, попросил его рассказать, что все это значит. Кто этот Потапов, почему он воевал со змеем в горах? Какой змей? Какие горы? Как, то есть, воевал? А Белецкий по-прежнему смотрел на меня восторженными, помолодевшими глазами и улыбался.

— Какой Потапов-то? — ответил он. — Там имя, отчество не указывалось. Знал я одного — того звали Иван Семенович, но это не тот. Тот с фронта не вернулся. Нас с ним вместе призвали в 14-м году. Всем по 20, по 21 году было, только мне — 25. Эх, парни были! Я вот на своего сына Роберта смотрю — хороший он, вежливый, деловой, да не такой, как мы. Нет, не такой, кровь немецкая, жидкая.

“Вот тебе и нацизм!” — подумал я и спросил:

— Так, значит, вы в расовую теорию не верите?

Он посмотрел на меня, как на глупого, и скучно вздохнул.

— А что мне верить, — сказал он. — Кто я — Адольф или Геринг? Я — хозяин, глава фирмы, значит, какой закон есть, того я и должен придерживаться. Я не хотел идти в болото, землю рыть. У меня фирма, сын, жена. Мне это ни к чему. Значит, должен был я исполнять закон. Вот и все!

Он с полминуты просидел неподвижно, хмурясь и не смотря на меня. Потом глаза его опять подобрели, и он улыбнулся.

— А про змея у нас много печатали и в газетах, а потом в журналах. Был такой богатеющий журнал, весь в красках, кроме “Солнца России”. Назывался “Ди вохе”, по-немецки — “Неделя”. Так вот, в нем печатали: “Сбежал из города Верного, теперь Алма-Ата, удав и скрывается три года в горах, живет в каких-то потайных пещерах. Колхозники боятся яблоки собирать (вот почему я сразу вам поверил, что там яблоки еще остались). Колхозный бригадир Потапов, — писали, — даже устраивал на него облаву артелью, да не поймали, в землю он ушел”. А потом в “Ди вохе” картинка была, на два листа, богатая такая, в красках: ночь, звезды синие, тополя, горы, и луна их так освещает, а удав ползет по площади, мимо памятника Сталину. Сталин стоит так — руку держит, а змей голову поднял на него и смотрит. Весь пятнистый, голова огромная. Очень хорошо нарисовано. Там, знаете, как художники рисуют?! Все блесит! Сын мне специально принес этот журнал: “Вот, папа, посмотрите на свои родные места”. Так я эту картину велел перерисовать, повесил в рамке в приемной. Когда клиенты приходили, они всегда прежде всего смотрели на эту картину, а я выходил к ним в фойе и рассказывал: “Вот, мол, в этом городе жил и действительно могу подтвердить, что там такие вещи случаются”. Многие интересовались. Один профессор по зверям специально приходил меня расспрашивать — какой климат, далеко ли горы, ну и все такое. А потом я здесь одного немца встретил, он тогда в Новосибирске жил. Консулом был. Тоже не маленький человек. Он мне расска-

зал, что вся эта история через него прошла к нам. Он там в России вырезки собирал и в Германию одному лицу посылал. А тот и напечатал.

Новосибирский консул — вот он где! ¹ Я даже вздрогнул.

— Как же его взяли? — спросил я. — Новосибирского-то консула? Его что ж, сразу не выпустили?

— А зачем он будет сидеть, дожидаться, чтобы не выпустили, — усмехнулся Белецкий. — Нет, он мужик голова-стый! Он еще за год или за два уехал из Москвы. Он в плен попал, где-то на Кубани служил хозяйственным представителем, там его ваши и забрали. Сейчас он в лазарете санитаром числится, его доктор при себе держит, потому что он хорошо латынь знает. Вот будете в лазарете, встретитесь, спросите. Он вам расскажет, он народный человек, поговорить любит.

* * *

В лазарет я попал осенью того же года. Там мне повезло. Я достал толстую общую тетрадку и стал ее заполнять всякой всячиной. Сейчас она лежит передо мной. Чего только в ней нет! И рассказы, и стихи, и драмы из античной истории, и черновики писем, и жалобы, и повести из жизни фашистской Германии. Вот выдержки из одной повести я и хочу привести здесь. К моему рассказу они имеют самое прямое отношение. Я ничего не изменял, ничего не добавил, только выбросил кое-что. В общем, это, конечно, не совсем то, что я услышал. Кое-что додумано и дожато, но читатель уже сам разберет, что к чему. Сейчас мне только хочется рассказать о непосредственном источнике всего этого — о Новосибирском консуле. Я его застал в больничной аптеке. Он сидел за столом в пустой докторской комнате и выписывал прописи из истории болезни на отдельную бумажку — пирамидон, дигиталис, аспирин, еще какие-то калики-моргалики, как мы их называли. Мне он понравился сразу — высокий, полный человек с молодым румяным лицом (впрочем, не румянец, а так, прожилки на щеках тоненькие, как коралловые ветки), небольшими гладкими волосами, спокойный и приветливый. Одет он был чисто — в аккуратно залатанный зеленый военный мундир со споротыми нашивками. Я поздоровался с ним, назвал себя и

¹ "Консул" кратко упоминается в романе "Хранитель древностей". Брату бригадира Потапова Петру НКВД инкриминировал связь с этим консулом и отравление по его приказу запасов зерна.

сказал, что мне хотелось бы от него узнать ту историю про удава. Он слушал меня и писал, а потом поднял голову и улыбнулся:

— Неужели это сейчас может кого-нибудь интересовать, а? — спросил он удивленно. — Удав в горах. Это после всего того, что произошло с миром. Боже мой! — Он покачал головой, вздохнул, улыбнулся и опять наклонился над столом. — Впрочем, если вас действительно интересует этот курьез... Только извините, я уж буду писать и говорить. Кто вас ко мне прислал-то?

Я спросил, слышал ли он про Белецкого.

— Про эту гестаповскую сволочь? — спросил он спокойно. — Значит, он еще не сдох? Знаю, знаю, да говорить о нем не хочется. Расскажите лучше об этом феномене. Что у вас там было в действительности?

— Наделал этот феномен у нас шума, — сказал я и начал ему рассказывать. Он слушал и писал.

— Да, — сказал он, — вот он, идиотизм истории! Но ведь самое главное не это, а, так сказать, в исторических выводах из всего этого. Но вот война кончается, и мы возвращаемся к пенатам своим: вы — к себе, а я — к себе. Ну, с вами вопрос ясен. С чего вы кончили, с того вы и начнете. А вот что я буду делать? Открою юридическую контору или опять сяду на судейское кресло, уеду в Аргентину консулом? Но, во-первых, уже не возьмут — оскандалился, а во-вторых, слишком уж много повидал, и передумал, и нагрешил. Такие, как я, не судят, не обвиняют, не представляют, не защищают. Вот, пожалуй, мое единственное дело — латынь-спасительница! А как я на нее плевал в гимназии, дурак! — Он покачал головой. — Эх, дурак! Потерял свое настоящее место!

Нет, это был, конечно, не нацист.

— Вы устали, — сказал я, — вы просто очень, очень устали.

Он внимательно посмотрел на меня.

— Это само собой. Но неужели вы думаете, что от этой усталости можно отдохнуть? Нет, она уже на всю жизнь. Я попросту потерял интерес ко всему. Это тоже, конечно, не вполне правильно сказано, но точнее не скажешь. Ах, у меня когда-то состоялся разговор. Я в то время был судьей, а он находился в лагере, это был большой журналист. Вы, вероятно, знаете его фамилию, не буду сейчас ее называть, потому что не в нем дело. Так вот, мне по одному личному, сугубо личному поводу надо было его увидеть. Недостойный был

повод, мелкий, глупый, но я все-таки добился свидания. И он тогда мне сказал... — Консул задумался и вдруг удивленно сказал: — А вы знаете, ничего он мне, в общем-то, не сказал, он просто поговорил со мной о моем конце. Да, да, сейчас я понимаю, что это так. Я мог бы его уничтожить одним словом, я за этим вообще-то и приходил, но он об этом даже не думал. Нет, не думал! Ему на все было наплевать. Он был мой двойник, но разница между нами была огромная: он служил абстрактному добру, а я начал уже обслуживать вполне конкретное зло. И вот он мне сказал: “Бегите, нечего вам тут делать. Ваш конец близок”. Я не поверил и не сбежал. Да и не сумел бы, конечно. И вот видите, что получилось.

Он говорил тихо, медленно, задумчиво. Это был какой-то очень странный преступник. Такого я еще не видел. Он, безусловно, не признавал ни Гитлера, ни гитлеризма, ни гитлеровского государства, а служил им, и служил не за страх, а за совесть, служил и потому считал возмездие вполне заслуженным. В общем, это был вполне покорившийся судьбе человек, который имел все — ум, душу, совесть, здоровое понимание обстановки — и не имел только одного — самого себя.

Потом таких людей — немцев, австрийцев, белогвардейцев — я стал встречать все чаще и чаще. Они перестали быть редкостью, можно сказать даже так: они стали средним типом европейского обывателя определенного типа. Они действительно ни во что не верили, они действительно ничего не делали. Новосибирский консул оказался только первым из этой категории. Я стал его расспрашивать. На вопросы он отвечал охотно. И скоро из разговоров с ним у меня сложилась довольно обширная запись. Вот один отрывок из нее я здесь привожу.

* * *

Итак, немецкий консул в Новосибирске, тот самый... Впрочем, еще одна оговорка: по странной случайности мы оказались почти знакомы. Его отличный русский язык (ни сучка, ни задоринки) был воспитан именно в России, в Москве на Кузнецком мосту, там он родился, вырос, возмужал, получил первые “впечатленья бытия”. В доме, мне кажется, 25-м по Кузнецкому, находился магазин его отца “А туалет”. Я отлично помню эту громадину — стеклянный аквариум, затененный расписными дымками и флерами и озаренный туманным светом голубых люстр. На витрине целая горка прямо-

угольных кристаллов — зеленых, желтых, белых, розоватых, с замороженными стебельками ландышей (духи), потом огромные белые коробки, как будто выточенные из слоновой кости (пудра). Розовые пуховики для пудры, золотые карандашики для губ, серебряные карандашики для бровей, крошечные стеклянные баночки, и в них какая-то очень душистая светло-жемчужная розовая масса, бескостные тени женских рук (перчатки), серебристо-серые, черные, бурые, красноватые, две фарфоровые совы смотрят друг на друга зелеными глазами, матерчатые цветы фиалок, разбросанные по витрине. В общем, хрустальный дворец, полный сокровищ. Здесь я и повстречал его. Никогда до этого, да и много после, я не видел такого гордого и независимого мальчика, и была на нем не линючая матроска с отложным воротником, как у всех у нас, а самый настоящий взрослый костюм. (В те годы наши матери помешались на этих проклятуших матросках. В “Солнце России” появился раскрашенный портрет наследника-цесаревича в такой точно куртке. И вот летом по бульвару зашагали целые шеренги маленьких унылых матросов. Матроски были шерстяные, кусачие, и в них было очень жарко.)

Я стоял с матерью около прилавка — ей показывали страусовые перья в коробках, — и тут появился он. Сначала он, потом велосипед. Он вел его, как пони, под уздцы, ласково и гордо.

Велосипед был новешенький, зелено-красный. До сих пор помню стальную радугу и молнии спиц, когда он появился в стеклянных дверях. В магазине было много народу. Но его увидели сразу, и все замерло. Он остановил велосипед около двери, улыбнулся кому-то из приказчиков, о чем-то спросил, кивнул еще кому-то. Все это гордо, свободно, независимо. Потом кивком он подозвал к себе негритенка в красной курточке, стоящего в дверях (это был единственный в Москве негритенок — бой с круглой шапочкой на виске), что-то приказал ему, и тот вдруг взлетел по винтовой железной лесенке. Вот так мы и повстречались, более чем тридцать лет тому назад. Когда я напомнил ему про это, он сначала, словно не понимая, поглядел на меня, а потом вдруг тихо и подавленно сказал:

— Но неужели такие чудеса бывают на свете? Если б вы знали, что вы мне напомнили. В этот день мне исполнилось шестнадцать лет, и я получил взрослые подарки: винчестер, кодак и велосипед. Целую неделю я носился с кодаком через плечо на велосипеде. Дачу я, как и все мальчишки, ненавидел. А через неделю была объявлена война, и меня перестали

пускать даже на улицу. — Он подумал. — Да, ровно, ровно через неделю. У нас в семье ее никто не ждал. Отец читал “Русское слово”, “Утро России” и говорил: “Это все маневры, это все большие маневры большой политики. Господа выравнивают чаши европейских весов. Вот и все”. Бросал газеты и уходил в магазин. Он подчеркнуто никогда не говорил о войне. Но однажды она пришла и превратила в прах все, что у нас было, да не только у нас. С этих пор мир ни одного дня уж не жил спокойно. — И помолчав, и подумав, он мне рассказал, что в его сознании юность у него делится на два неравных куса: до и после. Кусок до — белый, сверкающий, ослепительный: солнечное зимнее утро, ночной снег с голубой искоркой под полозьями, белейшая масленица, черная икра в хрустале и льду, ломкая от свежести скатерть, ледяное шампанское в серебряном ведре; лето — зеркальные шары в саду, фонтаны, золотое небо, отраженное в пруду, девочка на скамейке с красными лентами в волосах, бело-розовое платье матери, веер в ее руках; и кусок после — черный, страшный, мутный: раскаленный вагон, из которого нельзя выйти на платформу (мало ли что придет в голову какому-нибудь хулигану, мы же немцы), размякшая проселочная дорога, Азия, север, низкое набухшее небо и дожди, дожди — серые, косые, хлесткие. Проснешься среди ночи на степной станции и видишь, как над тобой на закопченном потолке шевелится желтый кружок света, и вся комната полна шороха — тараканы. Затем дощатый настил через лужу, юродивый около колодца, хлеб, плоский, как лепешка, заснешь в пути и проснешься от толчка: подвода мерно покачивается в озере грязи. Город с непонятным названием “Кустанай”. Это немцев интернировали в Сибирь. И, наконец, через два года — долгожданное освобождение, такое же черное и страшное. Заляпанный вагон-телятник с бурой, пахнущей сырой глиной, соломой. К стене прилажен огарок. Проверка каких-то документов. Солдаты, пахнущие псиной шинели. Никто ничего не знает, и все всего боятся, и всем на все наплевать. А потом поглотила без остатка всю его жизнь политика. “Первое время, — сказал он, — я был очень далек от нее”. А потом все-таки пришлось ввязаться. Наступил 1923 год. В этом году он подал заявление о вступлении в национал-социалистическую партию. Я его спросил: “Почему же именно национал-социалистическую?” Ведь если верить всему тому, что он говорит, то это совсем не похоже на него.

Мы в это время сидели в аптеке и выписывали прописи из истории болезни. Тогда он как будто не расслышал моего вопроса. А после проверки сказал:

— Ну, в общем-то, вы, пожалуй, правы. Нацистом я никогда не был. Гитлер ведь вообще очень несерьезная фигура, он на меня и в 23-м году произвел преотвратительное впечатление. Дрожащий, визгливый, высокопарный, как баба. Он и физически был как-то неприятен — нелепая, вздернутая фигура, широкий таз, узкое мокрое лицо в пятнах, острые собачьи скулы. Да, да, в нем было что-то от худого голодного пса, из тех, которые исподтишка хватают сзади. Помню, как он пробирался по залу с браунингом в руке и весь дрожал не от страха, а от возбуждения. А за ним шли его волкодавы. Нога в ногу — чего, кажется, бояться, но вот я уверен: крикни, стукни, уподи около него что-нибудь, и он завизжит и начнет палить. Нет, он меня совершенно не устраивал. Ведь гамбургские-то и мюнхенские рабочие действительно сражались, строили баррикады и умирали. А этот только визжал, рычал и брызгался.

— Но, говорят, он великолепный оратор, — сказал я.

Он усмехнулся:

— Не для меня! Для тех, кто любит, когда на них орут. Меня же это просто утомляет. Это как треск жестяного вентилятора. Нет, тут дело было совсем в другом.

Он подумал и спросил:

— Скажите, вы помните 23-й год? — Я кивнул головой. — И хорошо помните? Сколько вам тогда было? Четырнадцать? Ну-ка, расскажите, что вы помните об этом годе.

Я задумался. Память у меня никогда не была картотекой, скорее это был комок спутанных разноцветных лент — и серых, и зеленых, и красных, и синих. И надо было здорово повозиться, чтоб вытянуть именно нужную ленту.

До половины лета 23-й год я провел в Москве. Было очень жарко, асфальт размяк, и весь город пах смолой и жженой резиной. В этом году начали, наконец, чинить города. На всех углах стояли огромные железные кастрюли, и в них кипело и пузырилось черное адское варево. Рабочие в несгораемых брезентовых униформах мешали его железными лопатами. Вокруг них всегда курился синий дым. Работали весело и споро. Вариво было густое и зернистое, как смородиновое варенье. Одни его варили, другие лопатами выбрасывали на тротуар, третьи поглаживали деревянными треугольными брусками. Все были чумазые, здоровые, веселые, кричали, смеялись и

ругались. Баварский квас они пили ведрами, ну, как лошади (зеленые, красные киоски появились в Москве в ту пору на всех перекрестках). Очень было интересно смотреть, как они обедают — садятся кружком на землю, раскладывают на газете круглые краюхи черного хлеба, такого парного, пахучего, руками разламывают пополам, посыпают крупной солью и вкусываются в мяготь. В течение одного лета Арбат и Пречистенка — две длиннейших московских улицы — были полностью заасфальтированы. Так что первое воспоминание о 23-м годе — это воспоминание о запахах, запахах асфальта и каштанов. И вот почему каштанов: около нас был особняк. Я не знаю, кому он раньше принадлежал, но, наверное, кому-то очень богатому. Все здесь было подчинено каштанам — росписи, фрески, орнаменты, даже чугунная решетка и та переплеталась каштановыми листьями. По их ветвям можно было взобраться на крышу особняка. Там начиналось особое царство: железная узорчатая Венеция. Там были дома, площади, улицы, переулки, переходы, воздушные мостики. Была высокая стеклянная гора, вознесенная над всем, — лестницы там, лестницы здесь. Через одну лестницу можно было вылезти на верхний этаж особняка. Мы проделывали это утром, когда никого еще не было. Какая хрупкая, звонкая тишина царила в ту пору в пустом доме! Голубые плитки звенели на весь дом. Любой шаг отзывался, как звон капли, и все коридоры вели в зал — огромный, метров сто, с высокими готическими окнами, — целое море света стояло в нем в солнечные дни. Мебель была в доме тяжелая, геральдическая, дубовые столы с узорчатыми ножками, стулья с высокими прямыми спинками, шкафы с рыцарскими барельефами. И все это принадлежало нам. На стенах, выложенных золотыми изразцами — с лилиями, каштанами и улыбающимися женскими лицами, мы наляпали самодельные плакаты, лозунги, кумачи, портреты. На дубовые столы разложили разноцветные брошюры. Это был “Дом пионеров”. Здесь мне впервые повязали красный галстук. И третье впечатление. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Но об этом даже не расскажешь. Никакими словами не передать того, что почувствовали мы, впервые войдя в эти узорчатые ворота. Год тому назад здесь был злейший пустырь, бурьян, лопухи растут, свалка, какие-то погнутые железные кровати, проржавленные тазы, дохлые кошки, грязь и запустение. А сейчас стоял город. Дворцы, стеклянные павильоны, театр, цветники, сибирская деревня с избами, сложенными из кругляка, юрты, туркестанский узорчатый

павильон, еще какой-то дворец с фонтанами. В огромном машинном зале безмолвно ходили маслянистые поршни и крутилось страшное маховое колесо. У нас дух замирал, когда мы смотрели на все это. Разруха, гражданская война, голод и холод — все как не существовало. Перед нами залитая солнцем и электричеством поднималась наша страна — непоколебимая в своей царственной мощи. И верилось нам, что это такая твердыня разума и красоты, что ей уже ничего не страшно. Это было утро нашего возрождения.

Не помню, как и что из всего этого я рассказал немцу. Он слушал меня, сложив руки на коленях. А когда я кончил, то он сказал:

— А у нас тогда была ночь. Мы погибали от нищеты и голодной собачьей свободы. Вы не знаете, какая у нас нищета, ведь это не те бородатые слепцы с мешком в руках, что поют и стучатся под окнами. Это и не старухи у храма. На таких я насмотрелся в Кустанае. Нет, это что-то совсем другое.

Нищета у нас была тихая, опрятная, старушки в мантильях и шелковых наколках на голове подбирали в мешочки кости и огрызки хлеба, профессора, улыбаясь, продавали спички, у лавок, как в церкви, стояли тихие толпы и ждали. Но хлеб все-таки уже везли под конвоем, в закрытых фургонах. А рядом шагала стража. Везде мелькали солдатские шинели, аккуратные, залатанные. Черт знает, сколько верст прошли они, многострадальные, — от Берлина до Марны, от Марны до Пскова и от Пскова опять до Берлина. А рядом — парадный центр, залитые электричеством улицы, ювелирные магазины, рестораны с выгибающимися кельнерами, ночные бары самых разных специальностей и пошибов, рекламы с пятиэтажный дом, смех, шум, автомобильные гудки. Но иди быстро, не останавливаясь, это как мираж — вспыхнет и пропадет. И опять ночь — грязные кварталы, убогие лавчонки, трактиры в узких прокопченных домах, кусты картофеля. Все предместья Берлина были засажены этим картофелем. И все равно каждый пятый родившийся умирал от голода.

— В общем, — сказал он, — колонизаторы нас жрали живьем, покупали на мясо наших жен, дочерей, невест, превращали нас в лакеев и продавцов спичек. Жить можно было, только подлаживаясь под них, только продавая, и я понимал, что все больше и больше превращаюсь в продажного немца. Вот тогда я и подумал, что разумного выхода не существует, должна прийти истерика, безумие, нелепость и спасти нас от

их сокрушающего разума. И я пошел за безумием. Да, да. Я совершенно сознательно пошел за безумием.

— Но ведь была и другая возможность, разумная, — сказал я. — И, как понимаю, довольно близкая.

— Вот, вот, вот, — воскликнул он обрадованно, как будто я высказал его мысль. — Она бы и была мне страшнее всего. Вы даже, может быть, и не представляете, как близка была эта вторая, как вы говорите, разумная, возможность. В годовщину Красной Армии “Ди вохе” вышел с обложкой, на которой был изображен могучий красноармеец, шагающий рядом с солдатом рейхсвера. Подписи нет. Понятно и так. Министр обороны в рейхстаге во время прений об оккупации Рура заявил: “Надежды на русскую Красную Армию нереальны”. Но вы понимаете, что таким нереальностям верят больше всего. А через несколько дней в “Форвертсе” статья Каутского: “Не призывайте советских солдат, Россия поссорит нас со всем миром”. А когда однажды я пришел к себе в контору, у меня под стеклом лежал номер “Правды” с лозунгами к годовщине Октябрьской революции. И вот один из лозунгов был подчеркнут красным карандашом: “Немецкий паровой молот и русский хлеб спасут мир”, и подпись — неизвестная мне — “Сталин”. Газету принес отец. Он зашел, не застал, оставил газету и написал на полях: “Прочти и подумай”.

Он усмехнулся:

— Мой отец торговал с оккупантами, но к нам, нацистам, как теперь говорят, он идти не желал, он считал нас попросту свиньями, а про наше движение говорил: “Это же свинство, ребята!” Что ж, у него был отличный антиквариат, к нему лились и французские, и бельгийские, и швейцарские франки. Только бордели и антиквариаты давали тогда сверхдоходы, рестораны горели. Я — другое дело, я был адвокатом с ничтожной практикой.

— А как глубоко вы влипли в это свинство? — спросил я.

— Тогда достаточно глубоко, — ответил он коротко. — Так вот, я считал, что яд нищеты, поражения, безработицы, большевизма, позора отравил наш организм так, что мозг у нас уже сдал, вот-вот остановится и сердце. Смерть наступит от отравления трупным ядом. Поэтому я ненавидел и боялся вас и оккупантов. А сознание-то, верно, гасло! Мы сделались морально дефективными. Появились кабачки, где творилось что-то уж совершенно необычайное. Официанты в саванах, у метрдотеля на лице намалеван череп, книги о призраках, мистический роман о глиняном болване, который сокрушит

человечество. Протоколы сионских мудрецов. Начались убийства молодых женщин, невероятные, издевательские самоубийства, их мог, правда, внушить только сам дьявол. Или вот такое. В течение почти целого месяца в самых крупных газетах печатались телеграммы о похождениях вампира. Понимаете, женственный юноша в отличном костюме с аристократическими манерами, с мягкой улыбкой и добрыми глазами появлялся на всех дансингах. Он танцевал с самыми красивыми девушками и предлагал их проводить в собственном авто.

А потом девушку, задушенную и обескровленную, находили на обочине шоссе. И вы знаете, я уверен и до сих пор, что что-то подобное действительно было. Ученые писали книги об упадке воли к труду и о том, что человек разучился, не хочет, не может уже работать. “Что ж тогда будет с миром?” — спрашивали мы друг друга в своих ночных кабаках. Понимаете, какая невероятная неразбериха, безысходность владела всеми нами.

И вот я думал: нация пропала, интеллигенция провралась и проворовалась — ей никто не верит, осталась масса, чернь, плазма. Но ей нужен вождь, какой-нибудь базарный, крикливый пророк, не Гарибальди, не Бисмарк, ни тем более Ленин, а что-то прямо противоположное, примитивное, дешевое, утробное, ну пивной король, шут, кривляка, петрушка. Мне казалось, что если появится вот такой безродный, беспардонный и бесштаный бог, то он может еще толкнуть нацию на что-то страшное и решительное. Иного выхода я не видел.

Союзники нас жрали по кускам, спокойно, методически, с культурной улыбкой, и ничего нельзя было поделать. Ничего! Они были кругом правы. Все моральные ценности были у них в кармане, гуманность, договора, право моральное, право юридическое, право международное, право на компенсацию, все, все у них. Мы же были, как говорят воры, “заигранные”. Ох, этот страшный 23-й год — оккупация, безработица, рурские расстрелы за саботаж. Ничего позорнее я уже не увижу.

Вот так я и стал нацистом. Я считал нацизм мечом против преступной республики. А вы что думаете, она не была преступна? Гитлер рычал: “Тот факт, что у нас существует парламентаризм, позволяет Штреземану оставаться рейхсканцлером, несмотря на то, что Рейн и Рур оторваны от Германии. И Германия уже погибла. Если положение не изменится, через сорок лет народ созреет для негритянской диктатуры. Он

будет приветствовать всякого, кто кинет ему хлеб". Так же думал и я. Теперь вспомните, что я только что сказал вам о базарном пророке, о дешевом боге пивных, который нужен человеческой плазме, но не мне, и судите меня как хотите.

Он подумал еще и сказал с какой-то горечью и ожесточением:

— И самое главное, я не был глух, я слышал и другие речи и знал, что это правда. "В России борьба за диктатуру потребовала бесчисленных жертв. Но в Германии эти жертвы несет исключительно народ, поработанный как никогда. Без большевизма, без революции, при складах, забитых сырьем, при заполненных амбарах народные массы голодают, мерзнут и умирают от истощения. Царит неопишущая, небывалая нужда и безработица. Страна отброшена политически, экономически и социально на сорок лет назад. Чем же нам теперь страшен большевизм!?"

Видите, я запомнил почти слово в слово оба выступления. И все-таки я пошел за первым, а не за вторым, хотя понимал, что второй прав. Как, по-вашему, все это связать?

Я молчал.

Он повторил настойчиво:

— Нет, вы же хотите описать все, что здесь видели и слышали? Так вот, как же вы написали бы обо мне? "Классовая ограниченность, безыдейность и страх перед пролетарской революцией толкнули его..." Ну, так, что ли?

Я только плечами пожал. Он меня сейчас утомлял страшно. Говорил он негромко, но горячо и страстно, и я все не мог справиться с чувством какой-то большой душевной усталости и разбитости.

— Какая у вас хорошая память, — пробормотал я. — Вы все помните.

— 23-й год? — воскликнул он. — Все до слова, все, все, все помню. Зато вот о последующем у меня представление путается, тут я многое забыл, спутал. Что ж вы хотите, жизнь вошла в рамки, страх прошел, я не ошибся. Все остальное стало безразличным. А безразличное ведь не помнится. — Он опять подумал. — Но вот как раз история с вашим удавом — эту забавную и глупую нелепость я помню хорошо. С ней, оказалось, связаны некоторые обстоятельства моей личной жизни. Так уж получилось. Но только не сегодня, а завтра, сегодня я устал. — Он провел рукой по лицу, расстегнул воротничок. — Очень устал, — повторил он вяло, — вот видите — даже лоб мокрый.

Пожалуй, это все-таки повесть, а не человеческий документ. Но вот все мотивировки автора я попытался сохранить — именно так он якобы думал и действовал. Таковы якобы были его побудительные причины. Прошу заметить: “якобы”. В какой степени это правильно, я сейчас совершенно не знаю. Надо сказать, что голову он мне забил все-таки изрядно. Поэтому за что купил, за то и продаю. Мне еще придется возвращаться к его запискам не раз. Итак — еще раз: немецкий консул в Новосибирске, тот самый, что завербовал брата бригадира, сидел за столом и работал. Кипа растерзанных газет валялась на полу, другая, еще нетронутая, лежала на столе. Консул брал газету, шумно и резко раскрывал ее, отыскивая глазами место, обведенное синим или красным карандашом, мгновение смотрел на него, потом выхватывал ножницами нужный кусок и клал его в одну из папок. Эту операцию он проделывал уже много лет подряд. Семь подобных папок лежало у него на столе, друг на друге. Все они были разные. На седьмой, самой нейтральной, было написано: “Природа и охота”. Эту седьмую папку консул собирал с особой тщательностью. То была папка особого назначения и предназначалась она лицу, которого консул продолжал почтительно, хотя и несколько иронически называть “Господин шеф”. Никакого прямого отношения к нему этот “г-н шеф” не имел, но зато очень многое, что происходило в Германии, имело к “г-ну шефу” самое прямое отношение. И именно ему консул был обязан всей своей дипломатической карьерой и местом. Это консул помнил хорошо и поэтому был всегда рад порадовать г-на шефа какой-нибудь выходящей из ряда вон охотничьей историей.

Как раз в то утро, с которого я начал рассказ, секретарша принесла консулу совершенно необыкновенную вырезку. На последней странице республиканской газеты была помещена заметка — “Индийский гость”. “Пятиметровый удав сбежал, — сообщалось в заметке, — из Алма-Атинского зверинца, добрался как-то до гор и вот уже в течение двух лет появляется в районе горных садов, пугая до смерти колхозников и опустошая колхозные курятники. Осенью прошлого года, когда настали холода, он исчез, а весной, как только стаял снег, появился снова — худой, облезлый, почерневший, но быстрый и живой. Его видели то тут, то там, в окружности десяти верст. Женщины боялись гулять и собирать цветы,

колхозники работать в саду, а ребята купаться в студеной горной речке. Говорят, в жаркий полдень удав прячется с головой в воду и поджидает купающихся”.

— Поразительно, — сказал консул, прочитав эту заметку. — Чтоб удав мог прожить горную зиму в Казахстане! Да ведь его и у нас в Гамбурге завертывают в ненастный день в одеяло. — Он вырезал аккуратно эту заметку, подписал на обороте красным карандашом все данные: название газеты, номер ее, год, число, и вложил в конверт. — Этой заметкой я кончаю папку, — сказал он. — На этот раз интересного в ней собралось много, старик будет доволен. А история с удавом — это вообще сенсация!

— В Советском Союзе сенсаций не бывает, — улыбнулась секретарша.

— Мировая сенсация! Мировая! — поднял палец консул. — Удавы могут жить в Сибири и ползать по снегу. Такого еще не было слыхано. Зоологи должны будут пересмотреть все свои представления об удавах и о зоне их распространения. Русская зима не в силах заморозить иноземных гадов. Тема для хорошего фельетона или даже памфлета. В Берлине это должно произвести впечатление. Нельзя ли достать где-нибудь и второй экземпляр для меня лично? Я увезу его к себе во Франкфурт.

Во Франкфурте-на-Майне у консула в имении был специальный шкаф с вырезками. “Канун второй мировой войны (1932 — 1939)” было написано на этом шкафу. Что война неизбежна, в это консул верил твердо и даже примерно указал срок — 39-й или, в крайнем случае, начало 40-го года. Знал он даже примерную расстановку сил. С одной стороны — Германия, Румыния, Финляндия, Австрия, Венгрия, Польша, Италия и Испания, с другой стороны — Франция, Советский Союз, Чехия и Англия. Сомнения у него были только насчет США, и он их заносил то в один лагерь, то в другой, смотря по обстоятельствам. Больше всего, однако, верил в то, что Америка сумеет остаться нейтральной и будет всем продавать оружие. В новой войне, верил он, обязательно применят газы, бактерии, огнеметы. Лучи смерти и энергию внутриядерную отрицал абсолютно и даже не хотел об этом разговаривать. “Фантастика, — говорил он. — Ну что мы о ней будем толковать, о фантастике! Да сейчас и времени уже нет — поздно изобретать”. В мировую победу Германии он то совсем не верил, то верил только наружно и условно. “Поначалу да, конечно, победим, но вообще все кончится Азией, — и прибав-

лял, поясняя: — Желтая опасность”. Но к Шпенглеру и его “Закату Европы” относился презрительно и считал автора попросту декадентом и болтуном. О других классиках нацизма предпочитал не говорить вообще. Но если кто-нибудь заводил разговор, например, о Ницше, то уныло восклицал: “Ну, гений же!” Расовую теорию принимал, но ограниченно и считал ее вообще не теорией, а политическим маневром. “Раз у них коммунизм, — говорил он, — значит, у нас обязательно должен быть расизм. Только такое государство и устойчиво, которое состоит из чистых и нечистых, из сверхчеловеков и подчеловеков. Это и есть государственный динамизм! О, я это отлично понял еще в России”. И тогда, когда речь заходила о России, все замолкали. Тут его авторитет признавался всеми. Так шли года, и когда в 37-м году (в это время у него была лучшая адвокатская контора в Берлине) ему предложили занять место председателя суда в одной из земель, расположенных на востоке, он принял этот пост хмуро, сосредоточенно, но без всяких уже колебаний. В это время произошло в его жизни и другое, тоже очень крупное событие: он полюбил еще молодую актрису, из хорошего семейства с известным аристократическим именем, но не вполне ясной репутацией. Пришлось официально развестись с женой (она много лет страдала какой-то изнурительной болезнью), зарегистрироваться с актрисой и перевезти ее к себе. Это была престранная особа — ласковая, податливая и дружелюбная до какой-то поры и совсем другая — холодная, сдержанная, настороженная — с другой, когда отношения начинали клониться к близости. У него уж накопился порядочный опыт в таких делах, он уважал и ценил его, больше всего боялся остаться в дураках. Эта боязнь наконец превратилась у него из инстинкта во вполне осознанный регулятор поведения. Поэтому после одной встречи, затянувшейся чуть не до утра и такой же безрезультатной, как все остальные, он вдруг решительно встал и сказал: “Ну, а теперь разрешите вас проводить до дома”. А она улыбнулась и сказала: “Глупый! Разве ты не видишь, что я люблю тебя, а иначе бы...” Она так и не сказала, что бы она сделала иначе — ушла бы от него или легла бы с ним. С этого дня она и стала его женой.

Вот только ей он и высказал однажды крошечный кусочек того айсберга, который громоздко и тупо уже в течение четырех лет плавал в его сознании. “Ну, если, — сказал он жене, — на их стороне окажется еще право и правда!..” — “Ну, и что тогда будет?” — спросила она. Он пожал плечами и ничего не

ответил, а через неделю пришлось выехать на место службы. Жена не захотела оставить Берлин, и они стали встречаться только на каникулах. Он с головой ушел в работу, проводил на службе почти весь день, образцово вел дела, раз в квартал посылал отчеты, всегда был ясен, прост и доказателен. Был справедлив, хотя и строг, но объективен. И вот мало-помалу начал рассеиваться тот туман, которым он окружил себя, а айсберг стал делаться все легче, пористее и подвижнее. Он состоял теперь уже не из страха, тоски и сомнений, а просто был куском все больше и больше промерзающей души. Анестезированным и поэтому и малоболезненным куском ее. Но вообще-то рейхссоветник (он получил этот чин) стал веселее, покладистее, добродушнее и общительнее. Теперь на вопрос о Ницше, кроме обычного восклицания “Ну, гений же!”, он добавлял: “Но ведь и психопат”. Но однажды произошел разговор с женой, который показал, насколько неуместны подобные восклицания. Поздно вечером, лежа совсем голой поверх простыни, она спросила его: “Ну, а как, рубить головы вам приходится часто?” При этом она листала журнал, и в голове ее не было ничего, кроме любопытства. Он бросил приемник, с которым возился, подошел и сел к ней на край кровати.

— А почему ты спрашиваешь? — осведомился он.

— Так! — ответила она безучастно. — Так часто?

— Не часто, — ответил он уже не ей, а себе, — но приходится. Я вообще-то против казни, — продолжал он, не переждав ее молчания, — но возражать против нее можно сколько угодно, а вот попробуй отмени ее.

— А как насчет права и правды? — спросила она, не отрываясь от журнала.

Он подумал.

— Нет, — сказал он, — и там тоже ничего нет.

Она все молчала и листала журнал.

— А за что вы послали в лагерь... (и тут она назвала фамилию одного известного чешского журналиста, осужденного год тому назад).

Об этом деле он знал хорошо, и, хотя не имел к нему никакого отношения, ему было неприятно, что оно получило мировую огласку. Журналист был лауреатом одной из мировых литературных премий, и его арест страшно взволновал весь мир. Все газеты заговорили о продажной нацистской юстиции и полной несовместимости ее с правом.

— Ну что ж, изолирован он правильно, — сказал рейхссоветник. — Для него это могло и так кончиться, — и он слегка ударил ладонью по шее.

— Разве он уж такой злодей? — спросила она.

Он только усмехнулся.

— Разве в этом дело? — усмехнулся он мягко. — Злодей — не злодей, хороший — плохой. Какое все это имеет значение сейчас? Важно, что он несовместим с нашим государством.

— Он лучше всего вашего государства, — сказала она и резко бросила журнал. — Вашего чертова государства! Ох, как я ненавижу вас всех! И тебя, и твоего министра, и того вот дегенерата! — Он ошалел от ее слов, а она махнула рукой и приказала: — Поддай мне халат.

Он пошел в другую комнату, принес ей халат, молча положил его на край постели и ушел в кабинет писать. Но не писал, а сидел за столом, смотрел на чистый лист бумаги перед собой и думал. Что-то очень многое приходило ему в голову. Значит, не так он повел себя с ней, что-то не учел, что-то не договорил, о чем-то самом главном не заявил прямо и непреклонно. Ведь, оказывается, совершенно правы те, которые и на людях, и у себя дома, и наедине с самим собой — всегда одинаково ровны, спокойны, преданны и всем довольны. С ними вот не может быть таких неожиданностей. Надо сейчас же сделать что-то решительное, может, просто молча одеться и уехать из дома на всю ночь и на весь день. Может, подойти к ней сейчас и приказать: “Чтоб это было последний раз, поняла?” Но в том-то и дело, что она ничего не поймет, а просто фыркнет ему в лицо и крикнет что-нибудь еще более страшное! Он посидел, подумал, поковырял что-то на бумаге пером, а потом пошел к ней. Она сидела перед зеркалом в халате и медленно, задумчиво курила. Когда он вошел, она поглядела на него и едва заметно вздохнула. И взгляд, и вздох были очень хорошие, человеческие, простые.

— Садись. — Пригласила она тихо и невесело. Он сел. — К прокурору пойдем? — спросила она.

— Пойдем, — ответил он ей. И сразу же вдруг обрел подходящий тон и слова. — Дорогая, — сказал он ей, — жизнь и без того очень тяжела и сложна, зачем же нам делать ее еще путаннее? Что бы я ни думал про себя, я всегда помню, что состою на государственной службе и поэтому...

— Да, — ответила она безучастно. — Да, ты прав!

— И вообще, — сказал он, наклоняясь к ней ближе и целуя ее в ямку в затылке, — вообще привыкай к дисциплине, не распускай язык! Это же смерть! Сегодня ты это говоришь сама с собой, завтра — со мной, а послезавтра — обязательно заговоришь об этом с другими, и случится беда. И из-за чего все? Из-за этого чешского еврея. Да что он тебе?

Она вдруг остро поглядела на него и спросила:

— А испугать тебя по-настоящему? Я сама еврейка по отцовской линии.

— То есть как? — спросил он ошалело и чуть не рухнул на стул.

— А вот так, — ответила она, смотря на него с ласковой насмешкой. — Как это иногда бывает с женщинами — муж у нее один, а отец ребенка другой. Ну, что ж ты теперь будешь делать? Разведешься со мной? — У него пресекалось дыхание, он встал, сжимая кулаки.

— Слушай, — сказал он и услышал свой голос, словно со стороны. — Ты оставь эти штучки раз и навсегда. Ты не понимаешь, чем ты играешь!

— Ха, — усмехнулась она дерзко и насмешливо, чисто по-актерски. — Я играю? А что мне играть? С кем?

“Наврала”, — понял, или подумал, или предположил он и тоскливо спросил:

— Ну с чего ты бесишься? Ну кто тебе этот журналист? — Она прикурила от зажигалки и затянулась. Все буйное, дерзкое и насмешливое слетело с ее лица, и оно опять стало спокойным, холодным и безучастным.

— Никто, — ответила она равнодушно. — Но он написал обо мне первую хорошую рецензию! Самую первую!

На рассвете, лежа около нее, он вдруг понял, что этот арестованный и приговоренный к длительному умиранию высокий, немолодой, медлительный чех (про еврея он просто вставил так, со зла, чех и еврей у него постоянно почему-то ассоциировались) был ее любовником. Это пришло к нему внезапно, не как мысль или догадка, а как полная и безнадежная уверенность. И он сразу понял, что это правда. Вторая мысль, которая пронзила его, была: “Ей тогда было 18 лет!” Он ничего не сказал ей ни тогда, ни после, а на следующий день все пошло так, как будто этого разговора и не было. Он ждал, что она напомним о нем, и у него был уже заготовлен ответ — насмешливый и мягкий. Но она так ничего и не вспомнила, и не объяснила, была очень ласкова, покорна и как-то тихо, но в то же время чуть иронически грустна. На

другой день кончился ее отпуск, ей надо было уезжать, но она неожиданно осталась еще на один день. И весь этот день они провели дома, она в халате, он в пижаме. Они рассказывали друг другу то печальные, то веселые и удивительные истории из своего детства и юности, и особенно много и хорошо рассказывала она. И отец в этих рассказах всегда был точно ее отец, мать — точно матерью, а вчерашних слов будто бы и не существовало. Ему нравились и покорность ее, и неясное сознание вины, и молчаливое обещание, что подобных разговоров — страшных и смертельно опасных — больше не повторится. А потом она улетела, и он вернулся с чувством приятной домовитой грусти и с сознанием, что у него все в порядке. И это чувство продолжалось и дома, и на службе, и наедине с прокурором, с которым он договаривался о передаче двух дел на следствие. А пришла ночь, и тоска овладела им и достигла такой остроты, что он вдруг вскочил и забегал по комнате. Хотелось уже не чесать мозг, а просто хорошенько продрать его ногтями. Ну, конечно, она жила с тем евреем (он мысленно все время повторял себе — “еврей”), она хотела остаться с ним, но он по-хамски отделался от нее. Они умеют это делать! И все равно она любит его! Так любит, что даже и скрыть не может. Ее просто бьет лихорадка от любви. Она бесится и выдает себя. А ему, ее мужу, осталось лежать, вспоминать и догадываться. Ему достались одни косточки от нее, а молодость, свежесть слопал тот — толстый, наглый еврей! Жид! Жидина! Мировой образ предателя! Давить их нужно, не сажать в лагеря! Головы им рубить нужно, чтоб они не трогали наших девушек! Пусть дерут своих жидаков! Да ведь у нее самой отец... Или это вранье? Или это не вранье? Стой! Ведь тот-то, тот-то вовсе не еврей, он чех, чех! Чех он, черт его возьми! Ах, дьявол, как можно запутаться в этих бабьих штучках!

Он встал с кровати, пошел к шкафу, вынул бутылку коньяку, налил себе рюмку, выпил, налил быстро другую, за ней третью, четвертую. Затем сел за стол и начал ждать. Но опьянение не приходило. Тогда он встал и прошелся по комнате. Надо сейчас же на что-то решиться. Он подошел к телефону и вызвал Берлин. Тот, кому он звонил, снял трубку сейчас же. Разговор был ночной, короткий, четкий. В деле, которое на днях будет слушаться, сказал рейхссоветник, есть кое-какие неясности, утрачены какие-то нити, нет промежуточных звеньев, но часто упоминается фамилия одного изолированного. Так вот, не может ли он познакомиться с делом этого

чешского журналиста (он назвал кого именно)? “Пожалуйста, — ответил ему собеседник, — пускай рейхссоветник прилетает в Берлин, и ему будет дано все дело чеха”. — “А лично с ним встретиться?” — “Ну, на это надо получить особое разрешение”. — “А как это сделать?.. Так, так, так! Понятно, понятно! Хорошо!..” Если он действительно окажет такую услугу рейхссоветнику, то рейхссоветник сегодня же закажет билет. “Спасибо за обещание и помощь. Увидимся завтра!”

Он подошел к постели — твердый, спокойный — лег, открыл какую-то книгу и начал читать. Как-никак эта поездка что-то должна прояснить. Во всяком случае, она — чисто мужской шаг, нечто похожее на поединок. Так он и заснул.

К полудню следующего дня он был в Берлине, и все у него пошло с неожиданной быстротой и как бы само по себе.

В первый же день он увидел шефа. Это был массивный, бровастый человек с лиловыми бабьими щеками и глубоко запавшим носом. Он принял его в какой-то странной комнате, похожей на кабинет, где стоял стол, принесенный из гостиной, а по стенам висели оскаленные звериные морды — волк, кабан, медведь. Под каждым была прибита металлическая дощечка с надписью. В комнате было темновато (горели только две матовые лампы) и страшновато. Сам хозяин ее словно выплыл к нему из глубины комнаты. Разговор начался с пустяков: шеф спросил рейхссоветника об одном его однофамильце, с которым они встречались в 18-м году, и осведомился, не родственник ли тот рейхссоветника, закончился же вот чем:

— Что ж, хорошо, поговорите, — сказал шеф, — поедем вместе. Мне его тоже необходимо видеть, фюрер велел показать этого чеха иностранным журналистам. Вся европейская пресса кричит, что его уже нет в живых. Обычный газетный приемчик, конечно. Но основания отказывать в свидании нет. Пусть убедятся! — В это время они уже стояли около головы медведя и рейхссоветник читал дощечку: “Литва, осень 32-го года”.

— Это еще не самый большой мой медведь, — похвастался шеф, — самого большого я убил в Польше в 18-м году, я тогда был военным летчиком. — И без всякого перехода спросил: — А вы что, читали что-нибудь из сочинений этого чеха?

Он ответил, что читал книгу его театральных рецензий.

— А что, разве?.. — удивился шеф и вдруг вспомнил. — Ах да, да, театральных рецензий! Он ведь был мужем этой самой... ну, ну! — Он щелкнул пальцами. — Да ну же, она ему

еще письма из Америки шлет! А, черт! — Он так и не вспомнил ее имя и махнул рукой. — Нет, это все чепуха! А вот у него есть одна книга, — и тут вдруг в голосе у шефа дрогнуло что-то похожее на настоящее восхищение. — Книга рассказов о животных, вы читали? Называется — “Необычайные охоты”. Он там собрал из газет около тысячи самых странных и невероятных происшествий на охоте. Прекрасная книга. Хотите, дам?

Возвращаясь домой, рейхссоветник думал: “Шеф, вероятно, читает по-английски. А у меня под лестницей лежат пуда три старых английских и американских газет, в них есть специальный раздел — “Охота”. Надо вытащить их из кладовой и засесть с ножницами. Это может здорово пригодиться, только бы не забыть”.

Свидание с заключенным состоялось на следующий день в конторе. Первым к нему прошел шеф, а рейхссоветник сидел в приемной и слушал. Разговор, к его удивлению, был очень оживленный и даже веселый. Шеф попросту грохотал. И при этом они, наверное, еще оба курили, потому что, когда он вошел, комната была синяя от дыма. Заключенный №48100 сидел за столом и глядел на него очень светлыми, как неглубокий чистый лед, глазами. Он еще не кончил улыбаться, и, очевидно, ему было действительно весело. Поражала его тонкость, ладность его сложения, продолговатость лица, желтые волосы цвета влажного песка. Даже полосатый арестантский костюм с номером, и то сидел на нем ловко и не по-тюремному. Он держал сигарету и курил. Пальцы у него были длинные, белые, не огрубелые от работы, но, очевидно, его на работу и не гоняли. При входе рейхссоветника он положил сигарету и быстро встал. И только по этому движению, очень точному, ловкому, быстрому, можно было понять, что муштру он все-таки прошел изрядную. Но взгляд, который №48100 бросил в это мгновение на рейхссоветника, сразу же вывернул его наружу. Это был неприятный, хорошо натренированный, профессиональный взгляд журналиста. Он как бы сгладил разницу между государственным преступником №48100 и рейхссоветником, который пришел его допрашивать. Может быть, именно оттого следователи тайной полиции начинают допросы с пинков, ударов и крика. И верно, попробуй-ка поговори-ка с таким!

— Здравствуйте, господин... — и тут советник назвал его фамилию, — мы ведь раньше, кажется, с вами не встречались.

Заклученный 48100 посмотрел на посетителя и ответил дружелюбно и просто:

— Это как вам угодно, господин... — И тоже назвал рейхссоветника по фамилии.

И тут произошло необычайное: странное худошавое лицо заключенного вдруг сразу переменялось. Как это бывает в кино, через совершенно чужие черты начали проступать изнутри знакомые очертания какого-то другого лица, смутно знакомого. И это сходство нарастало с каждой секундой, пока советник не вскрикнул: “Вы?!” А заключенный 48100 вдруг улыбнулся совершенно партикулярно и ответил:

— Ах, вспомнили? В свое время я имел даже удовольствие говорить с вами минут десять во время антракта в Маленьком театре. — Он помолчал и добавил: — Если я только не ошибаюсь!

Черта с два он мог ошибиться! Память у таких железная! Собачья! И советник действительно вспомнил, что такой разговор был, и из-за него ему пришлось потом пережить наедине с собой множество неприятных минут. Он тогда выслушал и наговорил много лишнего. И когда через несколько месяцев совершенно неожиданно произошел переворот, и к власти пришел фюрер, которого все считали отыгранной картой, ему стало очень не по себе. Какого черта ему нужно было трепаться неизвестно с кем! А ведь он, собственно говоря, даже и не трепался, а просто глупо и слепо поддакивал своему собеседнику — высокому, худошавому, отлично одетому господину с каким-то значком в петлице. То, что говорил этот господин, он, конечно, не помнит, но общий смысл высказываний был ясен. “Пьесы нет, — сказал господин. — То, что сейчас они показывают, это разрозненные и очень черновые обрывки, выхваченные с самого дна академического издания. Автор — молодой шизофреник, самоубийца, один из злых гениев литературы времен ее великих титанов — Шиллера и Гёте. И, наверное, он считал еще себя богборцем и Прометеем, когда сочинял эту выпренную галиматью, переполненную пьяными выкриками и выпадами против человека и человечности. А на самом деле пьеса попросту скучна и неумна. Все кричат, никто не говорит спокойно. Но режиссер знал своих покупателей: сумасшедшему ефрейтору и его корпусу бандитов все это должно нравиться. Ведь это совершенно солдатское зрелище! В речах главного шизофреника почти столько же шума и воды — холодной текущей воды, — сколько в речах их вожа-

ков. Это просто утомительно, как интеллигенция средней руки не понимает, на какого дьявола она работает”.

И советник согласился со всем этим бредом: “Да, да, вы совершенно правы, — сказал он. — Это все лягушки, просящие царя. Они всегда кончают жизнь в чьем-то желудке. Уже лучше бы им жить со вчерашним чурбаном — он и стар, и глуп, и безвреден!”

Оба они рассмеялись и разошлись.

Тогда он остался очень доволен своим собеседником и главным образом собой.

А через полгода случился переворот — и он вспомнил этот разговор, стал панически припоминать, кто же из знакомых при нем присутствовал, и гадать: с кем он говорил? Так вот, значит, с кем!

С хорошо наигранной усмешкой он смотрел на заключенного 48100 и быстро соображал: как же вести себя дальше? Сказать, что заключенный ошибся? Пропустить намек мимо ушей? Воскликнуть: “Ну вот, видите, до чего вас довели подобные настроения?” Просто уйти, раз все уж так обернулось?

Пока он размышлял и, улыбаясь, смотрел на собеседника, тот вдруг сочувственно спросил:

— Так что же вы делали все это время?

А рейхссоветник снова встал в тупик, и у него как-то само собой вылетело:

— Да что? Работал, развелся, женился. Моя жена... вы ее, наверно, знаете...

Имя он назвал негромко и почему-то опять улыбнулся. И тут вдруг ответно улыбнулся и заключенный 48100, и очень хорошо, по-простому улыбнулся, так, что сразу исчезло ощущение тюремной камеры и узник снова превратился в светского человека — независимого, вежливого и благожелательного незнакомца.

— Ну, поздравляю! — сказал он. — От души поздравляю! Это вам повезло. Она замечательная актриса и чудная женщина. Я ведь знал ее совсем молоденькой. Она что же, продолжает играть?

Он ответил, что да, продолжает, и назвал несколько ее последних ролей. И заключенный 48100 опять улыбнулся, и теперь уже опять по-иному — гордо и радостно.

— Молодец! — похвалил он ее. — Значит, держится. В их вещах не играет! Молодец! (“Боже мой, боже мой, — пронеслось в голове рейхссоветника. — А если и там тоже догадываются об этом?”) Вот посмотреть бы ее хотя бы в “Норе”. Да

нет, видно, уж не удастся. — И он третий раз улыбнулся. Но как-то печально, слабо, почти по-детски, и все-таки такая сила была в этой улыбке, что рейхссоветник понял — ничто на свете не способно побороть его тихую выдержку. И именно потому, что этот человек обречен и никогда уже не выйдет отсюда, рейхссоветнику стало жаль его, так жаль, что он на мгновение даже забыл, зачем он пришел.

— Но почему же? — спросил он. — Почему не удастся ее увидеть, ведь против вас нет обвинений. Вы же просто изолированы! Вот если бы вы, например, написали туда...

— Да о чем писать-то? — усмехнулся заключенный 48100. — О том, что я изменил свой взгляд на волчатник? Не буду я этого писать. Ну, скажем, хорошо — напишу, они меня выпустят, что же я буду делать? Писать? О чем же? О ролях вашей жены? Если бы я был еще коммунистом или принадлежал к какой-нибудь партии... А так лучше уж сидеть тут. Постойте, — сказал он вдруг, — я вам расскажу о моей последней статье — уже ненапечатанной, конечно. Вы знаете, у Микеланджело есть статуя спящей, она называется “Ночь”. Так вот, один из поэтов того времени написал такие стихи: “Дотронься до плеча спящей, и она проснется”. Но Микеланджело вовсе не хотел, чтобы его спящая проснулась, и он ответил на стихи так:

*Не подниму я каменного взора.
О, дай мне спать, молчание храня.
Быть камнем — это счастье в век позора,
Молчи, молчи, чтоб не будить меня!*

— Вот! — Он засмеялся снова, и теперь это был звонкий, злой, торжествующий смех. — И я тоже не хочу, чтоб меня будили. Эта камера меня кое в чем очень устраивает. “Быть камнем — это счастье в век позора”.

Он встал и прошелся по камере.

Советник посмотрел на него почти с испугом. Он отлично понимал, что разговор, с которым он пришел, провалился. Все, что оставалось, — это просто встать и уйти. Но почему-то именно это и было невозможно. И он сидел, придумывая, что сказать еще, и улыбался. И тут заключенный 48100 вдруг махнул рукой и сказал:

— А потом, ведь это еще и бесполезно. Вы видели, кто у меня сейчас был? Ну, так вот, он мне прямо сказал: “Мальчик мой, — конец! Никто вас никуда не выпустит. Сидите и пиши-

те о зверях. И не слишком о себе. Самое страшное свойство победителей — это что у них отличная память!” Здорово?! — Он засмеялся. — Кто им готовит афоризмы? А в общем, это по-своему довольно добродушная скотина. Но вреда-то он причиняет, конечно, не меньше, чем вот тот параноик. — И он кивнул головой на потолок камеры.

“Гора Берхтесгаден”, — мгновенно понял советник, и у него даже замерло сердце.

— Вы очень много что-то болтаете, — сказал он испуганной скороговоркой. — А потом обижаетесь на правительство!

Тут и был бы самый подходящий момент уйти. И он даже приподнялся, но 48100 вдруг махнул на него рукой и добродушно сказал:

— Да ничего, я не обижаюсь. Вы спросите-ка вашу жену. — Рейхссоветник дико посмотрел на него, и тот объяснил: — Однажды я провожал ее после спектакля, и она мне сказала то же самое. Все дело в том, дорогой мой, что в истории время от времени повторяются такие моменты, когда добродетели приходится просить прощения у порока за то, что она существует. Это Шекспир сказал. А вы это должны чувствовать особенно.

— Почему? — заносчиво спросил советник. — Почему именно я? Вы, видимо, принимаете меня совсем не за то, что я есть.

48100 удивленно взглянул на него. (“Все это было сделано, сделано, сделано, — твердил рейхссоветник на улице. — Поэтому они и снюхались, что оба актеры, оба они проклятые актеры”.)

— Как? — спросил заключенный. — Разве вы не представитель суда... И он назвал очень точно, какого именно суда и какой земли.

— Да, — сказал удивленно рейхссоветник, — откуда вы...

— Да вот тот, кто был перед вами, тот и сказал мне об этом, — улыбнулся 48100. — Он сказал: “Сейчас к вам придет судья — не распускайте язычок. Рейхссоветник идейный и очень выдержанный человек, если что-то скажете, он сейчас же донесет”. Так на чем же я кончил? На Шекспире, кажется. Так вот, самое страшное заключается в том, что эти пороки запутывают в свои сети тысячи хороших, слабых людей и тащат их за собой в могилу. Ну, им-то конец известный. Но вас, скажем, зачем они губят? Ведь каждое судебское кресло — это будущая плаха.

— Очень интересно, — сказал рейхссоветник и встал (“Пусть говорит. Я слушаю его для того, чтоб узнать, можно ли допускать сюда иностранцев”). — Ну, ну, дальше.

— А дальше конец: вы — их! Так они считают. Раз вы рубите головы... Кстати, у вас их рубят гильотиной или топором? Везде ведь по-разному

— Неважно! — крикнул рейхссоветник, срываясь с места.

— Да, конечно, неважно, — согласился 48100. И вдруг его словно передернуло. — Они ведь голову рубят по-особому, так, что топор падает на горло. Но, верно, неважно, неважно. Так вот, они думают, что вы запутаны, запуганы, лишены воли, что самое главное в вашей жизни — это страх расплаты, сознание того, что обратного пути уже нет — вы их соучастник. Это, конечно, глупость и шантаж. Сколько вы вынесли смертных приговоров?

— Неважно! — снова крикнул рейхссоветник. Но это вышло бессильно и жалко.

— Нет, это важно, это очень, очень важно, — сурово сказал 48100, — десять, сто, тысячу?..

— Пятнадцать, — сознался рейхссоветник. И сейчас же понял, что вот именно этого совершенно незачем было говорить. — Но среди них было десять убийц и грабителей, — сказал он поспешно, защищаясь.

— Отбросим их, — согласился 48100. — Пять! — Он подумал. — Ну что ж, другой бы целую гору черепов наворотил. Но вот имейте в виду, что пяти голов уже достаточно, больше на себя не принимайте ни одной, поняли! — Он говорил тихо, возбужденно, но не говорил, а приказывал. Вытащил откуда-то коробку хороших, дорогих сигарет, закурил одну, и протянул коробку рейхссоветнику. И рейхссоветник тоже взял сигарету, закурил. И тогда 48100 вдруг встал и забегал по камере. Бегал, махал своими длинными руками и говорил, говорил, возбуждаясь все больше. И, поддаваясь той неизвестной, высокой и подымающейся силе, которая струилась на него, рейхссоветник спросил 48100 не как судья преступника, а как сообщник сообщника:

— Но ведь если я уйду, на мое место посадят другого, а он...

— Неважно! — закричал теперь 48100. — Если упустите время, вы пропали — вы их! Помните, надо бежать! Бегите, пока не поздно. — Он вдруг остановился и посмотрел на него голубыми, почти безумными глазами и спросил: — А завтра

вам пришлют группу из ста человек — саботажников или коммунистов, и что вы будете делать с ними?

— Да, — кивнул головой рейхссоветник. — Это дело уже лежит у меня на столе.

Глаза 48100 вспыхнули и сейчас же погасли. Он подошел к столу, опустил на него и сухо приказал:

— Так уходите, это единственный вам шанс. Они уже изнемогли изнутри, значит, сунутся в большую войну. И тогда конец. — Он помолчал, вздохнул, пододвинул к себе ящик с сигаретами, снова нащупал одну, взял, закурил и закончил:

— И вам тоже... Около вас на ножке стола звонок, позвоните, пожалуйста.

А рейхссоветник продолжал сидеть в той же позе, как сидел. Что-то непомерно сильное не позволяло ему окончить разговор, хотя наговорено и выслушано было достаточно. И самый подходящий момент уйти он уже упустил.

— А что у вас с сердцем? — спросил он тихо, отыскивая и нажимая кнопку.

— Ничего, — скучно ответил 48100, — но я сдохну именно от сердца, и это произойдет в самые первые дни войны. Значит, через год-два. — Тут он снова улыбнулся уже утомленно и как-то очень, очень издаleка.

“Вот пускай к нему иностранцев”, — каким-то краем мозга подумал рейхссоветник, и сейчас же 48100 ответил ему:

— Поэтому они и хотят пустить ко мне иностранных корреспондентов — смотрите, мол, жив. Но тех-то не обманешь, они сразу все поймут.

Он вдруг взглянул на рейхссоветника и сказал зевая:

— Да, если бы скорее, скорее уж! Если бы они чуть поумнее и посмелее...

И он снова зевнул.

“Все это сделано, сделано, сделано, — твердил рейхссоветник, идя по тюремному коридору. — Это ложь и игра, просто я встретился с очень умным, сильным и умелым врагом, все это ложь и игра”.

Через день его вызвали к шефу. Только теперь шеф принял его не в зале, а в служебном кабинете. Это был очень маленький кабинет, в нем стояли только стол, телефон да диван. И, наверное, это был еще какой-то очень особый кабинет, такой, где шеф работает по ночам. Когда рейхссоветник вошел, шеф сидел и писал. Увидев вошедшего, он кивком головы указал ему на диван.

— Я сейчас, — сказал он. Потом он вызвал секретаря, и подвинул к нему бумажку (“Ну, вот, примерно, так”), и обернулся к рейхссоветнику.

— Так как вам понравился этот бесноватый? — спросил он весело.

Легкость его тона обрадовала и успокоила рейхссоветника, и он ответил:

— Он действительно бесноватый, я так от него ничего и не узнал.

— Да? Это бестия такая, это бестия! — убежденно проговорил шеф, смеясь. — И я теперь понимаю, почему его любили женщины. Вот вы мне тогда говорили насчет его театральных рецензий. Да ведь за них он имел любую актрису.

— Вот как? — пробормотал рейхссоветник, улыбаясь и бледнея.

Шеф посмотрел на него, тоже улыбнулся и вдруг спросил:

— Вы рассказывали кому-нибудь о свидании с ним?

— Нет, — ответил рейхссоветник.

— Ну, и отлично, — тоже кивнул головой шеф, — никому ничего! Мне только что звонили из тюрьмы. У него сильный сердечный припадок, я велел его отправить в больницу. Но исход, вообще-то говоря, сомнительный, — он посмотрел на рейхссоветника и спросил: — А вы не вынесли такого впечатления, а?

“Конечно, — понял он. — Это уж все”. И сказал:

— Да, безусловно, вынес.

А сам подумал: “Что же будет с ней, когда она узнает?”

* * *

Он ничего не сказал ей прежде всего потому, что ее не было с ним. Но твердо и бесповоротно решил, и не решил даже, почувствовал, что, во-первых, он, этот чех, с его женой действительно жил, а во-вторых, что это его совершенно перестало волновать.

Большое дело о преступной подрывной организации уже лежало на его служебном столе, оформленное, подшитое и переплетенное. И хотя проходили по нему не сто человек, а всего десятка полтора, он чувствовал: ну вот и подошло к нему то, от чего предостерегал его 48100. Кресло судьи все больше превращалось в эшафот.

К вечеру он унес дело к себе и просмотрел его. Исход был ясен, по крайней мере, для шести человек. Переписка с загра-

ницей, листовки, подрывные речи против фюрера, а в общем, как ни хитри, а голова долой. В крайнем случае можно было свести число смертников до трех, но эти три уже погибли наверняка. Да и участь других двоих тоже была очень сомнительна — не то удалось бы их спасти, не то нет. Итак, после этого процесса его счет бы сразу увеличился до восьми или десяти смертей. Притом такие дела должны были участиться, ибо к началу года приурочивалось издание каких-то чрезвычайных законов о подрывной деятельности и охране государства. Об этом ему сказал прокурор. Он особенно подчеркнул это слово — “чрезвычайных” и пожал плечами: “Что ж поделаешь, ведь и правда живем в предвоенное время”, — сказал он. И сейчас, листая дело, рейхссоветник все время вспоминал его — высокого, полнолицего, румяного человека (румянец лежал на его лице багрово-сизыми пятнами) и слышал его голос — всегда уверенный, бодрый, веселый. Уж очень хотелось прокурору хорошей, быстрой, веселой войны. “Что бы подумала она? — пронеслось у него в голове. — Если бы слышала этот разговор!”

И не успел он подумать о ней, как зазвонил телефон. Он снял трубку и сейчас же услышал ее голос: “Здравствуй, милый, — сказала она очень ласково, — у меня хорошая новость, меня отпускают на три дня. Я говорю с аэродрома, через час увидимся, встречай!”

Из самолета она вышла радостная, возбужденная, с букетом роз и сразу же бросилась ему на шею. “Ты знаешь, я буду на приеме, нас приглашено всего сорок человек”, — выпалила она после первой минуты разговора. И тон у нее был такой радостный и хвастливый, что он подумал: “Вот так “я ненавижу”!”

Когда они поехали в закрытой машине, она попросила открыть окно и, положив ему руку на плечо, смотрела на мягкие дымчатые сумерки, на тихую, умиротворенную осеннюю природу. Ехали по парку. Становилось прохладно и сильно пахло хвоей и горьким осенним листом.

— Как хорошо, — сказала она и предложила: — Пройдем немного.

Они вышли и пошли по высокой, уже прохладной траве. И тут он рассказал ей о своей поездке и о номере 48100. Она слушала его молча, опустив голову, он не видел ее лица, но сразу почувствовал, как на нее пахнуло из его рассказа спертой тишиной одиночки. Она спросила, каков он. Он ответил: “Живой, разговорчивый, веселый”. — “Он работает?” —

спросила она, помолчав. “Нет, не работает, — ответил он. — Шеф обещал прислать все нужное для продолжения его зоологических работ”. Она сначала недоуменно поглядела на него, а потом улыбнулась:

— Да, ты говоришь о его ранней книге! Он всегда любил зверей, у него дома жила ручная крыса, днем она лежала у него на постели.

При слове “постель” у него опять сжалось сердце. “Была, была, была любовницей”, — понял он.

— Что ж они теперь с ним делают? — спросила она.

Он пожал плечами:

— Да ничего особенного. Если сумеет просидеть смирно, придет время, его выпустят.

— А когда оно придет, его время? — спросила она.

Он опять пожал плечами и начал: “Если не будет войны, то...” И вдруг совершенно непроизвольно перебил себя: “Но с сердцем у него плохо”.

Она поглядела на него и ответила: “Сердце у него было, как у боксера, значит, эти подлецы...” И она сморщилась, как от зубной боли. “Слушай, сядем в машину”.

И дальше они уже ехали молча. Дома он ей сказал, что намерен уйти в отставку. Она сначала изумленно взглянула на него, а потом равнодушно сказала: “Ну что ж, попробуй. — И вдруг очень нехорошо усмехнулась: — А кто ж тебя отпустит, ты же такой хороший судья!” Она ушла в ванную, он сел к письменному столу и стал что-то писать. В полночь она позвала его, уже из кровати: “Подойди, пожалуйста, мне что-то не спится”. Он подошел, и она, высокая, стройная, парная от сна, вся в насквозь просвечивающихся дымках, вдруг вскинула длинные лебяжьи руки и обняла его за грудь. Он растерялся от этого объятия, порывистого и виноватого, и только и нашел, что положить ей руку на голову. А она вдруг жалобно произнесла под его рукой:

— Уходи, пожалуйста, от них, уходи скорее.

Не отпуская руки, он сел с нею рядом, и она, касаясь горячими губами его груди, продолжала:

— Вчера в Берлине казнили трех женщин, все жены видных людей, одну я знала, она приходила ко мне за кулисы, и мужа ее знала тоже — он советник министерства общественных работ. Говорят, английская шпионка. Какая она шпионка, просто она назвала Гитлера при друзьях мужа выродком и сказала, что Германия пропадет, если не найдется какой-нибудь настоящий человек с метким глазом.

В нем возмутилась вся осторожность, и он воскликнул:

— Так сказала при чужих людях?

Она подняла на него глаза.

— А ты думаешь, легко все время молчать? — спросила она. — Это тебе легко, потому что ты...

Он довольно долго думал, а потом снял руку с ее головы и сказал:

— Говори, пожалуйста, только о себе.

И вдруг прибавил с внезапно вспыхнувшей злобой:

— А что ты, собственно говоря, знаешь про меня?

Она не ответила, а только звонко поцеловала его в грудь.

Наутро они решили твердо, что он сегодня же подаст ходатайство об освобождении и представит медицинское свидетельство.

Два дня они провели в полном согласии, и он все листал и листал дело и понимал, что без трех смертей здесь не обойдешься никак. В последний день ее пребывания к нему пришел прокурор с женой — красивой, черноволосой, курчавой дамочкой, похожей на чертенка, и они вчетвером устроили нечто вроде крошечного банкета. Сидели вокруг круглого стола в библиотеке, вспоминали о разном, шутили и рассказывали. Прокурор немного опьянел и, отвалившись на мягкую спинку кресла, ничего не говорил, а смотрел на всех присутствующих добродушными круглыми глазами, и глаза у него были, как у очень умной собаки. Тут он решил пощупать, поддержит ли его ходатайство он, повернулся к нему, взял его за рукав и спросил, хорошо ли ему у него.

— Очень! — спокойно воскликнул прокурор. — Тихо, спокойно, уютно. Побольше бы таких вечеров, так ведь устаете от всего этого. Одни машинки чего стоят! — Он улыбнулся. — Душе нужны тихие, теплые ванны, вот такие, — и он немного помахал рукой перед собой.

— Да, да, — сказал рейхссоветник задумчиво, — вы совершенно правы, тихие, теплые. А ведь я на пятнадцать лет старше вас.

— Мы все вам удивляемся, — почтительно и прочувствованно произнес прокурор. — Поверьте.

— Да, да, — продолжал рейхссоветник, пропустив эти слова мимо ушей. — Так вот, я решил подать в отставку.

Прокурор оторвал голову от спинки кресла и удивленно спросил:

— То есть как в отставку? Когда? — С его лица сразу сошло выражение задумчивости, и голос уже был почти гневным.

— Да вот сегодня подал ходатайство, — ответил рейхссоветник.

— Почему? — спросил прокурор.

— Устал, — ответил рейхссоветник и развел руками.

— Устали? — все еще не понял прокурор. — Но ведь... Нет, это какая-то чепуха! — воскликнул он. — Как же уходить в такое время?

— В какое? — быстро спросил рейхссоветник.

— В военное! Ведь не сегодня, так завтра все мы натянем мундиры.

— Сомневаюсь, — улыбнулся рейхссоветник.

— А вы не сомневайтесь! — резко сказал прокурор. — Мы сейчас не просто судим преступников, а уничтожаем лазутчиков, проникших в наш тыл. Ведь и те пятнадцать человек...

— Что те пятнадцать человек? — резко спросил рейхссоветник недовольно.

Маленькая брюнетка, похожая на чертенка, толкнула локтем его жену, они сразу же обе рассмеялись и закричали: — “Ну, хватит, хватит! О делах без нас”.

Но прокурор зажегся уже по-настоящему:

— Те пятнадцать лазутчиков, которых мы вздернем через три дня, — сказал он громко и тяжело.

— Я пока ничего не знаю, — сказал рейхссоветник. — И никого не собираюсь вздергивать. Приговора я не предрешаю.

— Он предрешен историей, — закричал пьяно прокурор. — Всей мировой обстановкой! Той опасностью, которая грозит нашему народу!

— Слова! — тяжело махнул рукой рейхссоветник. И вдруг почувствовал, что его голова зазвенела от бешенства, как от хорошего вина, и весь он вдруг стал легким и приподнятым. — История, мировая обстановка, опасность! Это все, дорогой, не юридические понятия, когда дело идет о жизни человека.

— О жизни врага, — по-настоящему тяжело сказал прокурор. — Мы должны разрубить на теле страны кольца гигантского удава, если голова его еще нам доступна.

— Господи, — сказал рейхссоветник и махнул рукой, — да ведь это же плакат! Красный удав! Это же самый обыкновенный плакат! И наш, и их! Только у нас удав красный, а у них коричневый! Что вы мне суετε эти листки под нос? Я сужу по закону, определенному заранее, безлично. Вот и все!

— А политическая задача суда? — прищурился прокурор.

— Вот так я и понимаю политическую задачу суда, — отпарировал он. — И вообще, думать о мировой конъюнктуре — это дело законодателя, а не мое! Я — исполнитель!

— Вы не уйдете в отставку, — ответил прокурор решительно. — Несмотря на все, что вы сегодня наговорили, никуда вы не уйдете, так и знайте.

— Ну, хватит, хватит! — закричали дамы.

И тогда прокурор как-то дерзко и нагло взял бутылку с коньяком, молча налил всем по стаканам и сказал:

— Ну! За...

Рейхссоветник хотел грубо обрезать его, сказать, что здесь не партийный банкет, но кто-то из женщин толкнул его ногой, и он молча выпил. После этого гости вскоре ушли.

Она сразу же подошла к кровати и легла, а он ходил по комнате и взволнованно говорил:

— Вот кретин, вот шут, красный удав, а?!

Она ответила ему уже сонно, лениво:

— Все эти речи делают тебе честь, господин рейхссоветник, но после них тебе уж не удастся спасти от петли ни одного красного.

Он даже фыркнул от неожиданности и негодования.

— А кто тебе сказал, что я их собираюсь спасти от петли? Я хочу их судить, и все.

— А мы же сегодня говорили, что ты именно не хочешь их судить, — напомнила она сонно и повернулась на бок.

...Казнили не трех и не шестерых, а всех пятнадцать, и он ходил смотреть. Оказывается, экзекуция происходила не в помещении тюрьмы, а в особом корпусе во дворе. Там находились четыре камеры и большой зал. Когда он вошел в него вместе с прокурором и взглянул на голые стены, ему сразу стало пусто, одиноко и мерзко. Все помещение было облицовано белыми фарфоровыми плитками и тускло блестело. Пол цементный, окон нет, и вообще весь этот зал напоминал что-то очень обыкновенное, но страшноватое, нечто вроде газоубежища, морга или общественного писсуара, в котором на ночь забыли погасить электричество. В углу стоял небольшой квадратный голый столик. Часть комнаты вдоль была завешена серой холщовой занавеской. Она не доставала до потолка и ходила по проволоке. Над ней горела особо яркая лампочка. Когда они вошли — он, прокурор, начальник тюрьмы, — с лавки, стоящей около стены, поднялись несколько человек в черной тюремной форме. "Сидите, сидите", — сказал проку-

рор скороговоркой и повернулся к начальнику тюрьмы. Тот слегка кивнул головой, и сейчас же кто-то вышел в коридор, и там приглушенно хлопнула дверь, напевно и хрупко звякнул замок, слышались шаги нескольких ног, и в комнату вошел первый из осужденных. Рейхссоветник смотрел на него во все глаза. Это был совсем не тот человек. На суде он был подтянутый, нестерпимо высокопарный и беспокойный. Он поминутно вскакивал со скамьи, и двое дюжих полицейских еле-еле снова притискивали его к месту. И последнего слова его тоже пришлось лишить, хотя, к великому удовольствию рейхссоветника, он все-таки успел упомянуть коричневого удава, который душил мир. Теперь заключенный был тих и умиротворен. Он шел обычным шагом, и не видно было, чтоб он сознавал, что они последние. На нем были черные бумажные штаны, куртка, туфли. Все новое. Волосы сбриты, руки сзади в наручниках. Полицейские довели осужденного до середины помещения и остановили перед прокурором. Прокурор стоял и смотрел на него с той молчаливой благожелательностью и даже сочувствием, которое обретают судьи и прокуроры, когда передают осужденного в руки палача.

— Ганс Кронфельдер, — сказал прокурор мягко. — Приговор суда сейчас будет приведен в исполнение. Не хотите ли вы сделать какие-нибудь дополнительные замечания или передать личные распоряжения? Я обязан их принять и проследить за выполнением.

Наступила пауза, и вдруг Ганс Кронфельдер сказал:

— Вы банда политических убийц и бандитов. Моя смерть...

Так он говорил еще с минуту, и прокурор слушал его молча и серьезно, с тем же благожелательным вниманием.

— Так, значит, никаких личных заявлений вы не сделали? — спросил он так же мягко.

— Я? Сделаю.

Заключенный повернулся, посмотрел на рейхссоветника и вдруг ловко и легко харкнул ему в физиономию. Рейхссоветник вскрикнул и схватился за щеку. Тюремщики рванули осужденного, и он упал.

— Давайте, — быстро приказал прокурор и махнул рукой. И сейчас же серый занавес, как на эстраде, бесшумно раздвинулся, и показалась очень небольшая гильотина — два столбика, внизу промеж них доска с круглым отверстием и платформа в виде желоба. Около нее неподвижно стоял человек во френче и крагах.

На всю жизнь советнику запомнилось его лицо с широким покатым лбом и плоской шишкой посредине. Круглый нос, серые глаза под череп, бугор на горле. Он стоял один. Все было настолько механизировано, что требовался только один специалист. Надзиратели сразу подхватили осужденного за руки, оторвали от земли, понесли на платформу перед станком. Один из надзирателей — третий — вдруг очутился сбоку, поднял верхнюю часть деревянного ошейника, и палач, подойдя, сейчас же ткнул туда голову осужденного. Что-то щелкнуло. Это закрылся ошейник. Осужденный лежал в желобе, голова его была по ту сторону. Руки, скованные на спине, слегка ворочались и поднимались. Палач взглянул на прокурора. Тот кивнул головой. Палач поднял руку (запомнились сильные длинные пальцы) и с силой повернул какую-то железную выгнутую ручку, и сейчас же что-то упало, послышался звук одновременно и твердый, и мягкий — так заступ, с размаху врезаюсь в песок, стучается о камень, — и что-то деревянное рухнуло по ту сторону. Осужденный рванулся, согнул скованные кулаки, ноги его быстро-быстро задрожали, и сейчас же из-под ножа веселыми ручейками побежала, затренькала кровь. Два надзирателя схватили обрубок за руки и стащили с гильотины. И только они бросили его на пол за два шага, как палач подошел к стене и что-то повернул. Хлынула вода. Это было так неожиданно, что рейхссоветник вздрогнул. Вода текла, как в душе, весело, звонко, она еще была теплая, наверно, потому что сразу запахло банной сыростью и теплицей. И опять что-то загудело и запело около гильотины. Это вода сбегала в сток. Потом тело подняли за руки и вынесли через маленькую дверку в другом конце помещения.

— Можно следующего! — сказал прокурор начальнику тюрьмы. Но палач, что-то делающий около гильотины, серьезно и важно попросил: “Одну минуточку!” К нему сразу же подошли двое тюремщиков...

Когда рейхссоветник через час сидел в машине рядом с прокурором, в его ноздрях стоял все тот же запах бани и тепличной сырости, смешанной почему-то с терпким ароматом увядающих кленовых листьев. Он был так бледен и подавлен, что прокурор посмотрел на него и засмеялся. “Кровь не пахнет, — сказал он, — но ее запах ощущают новички. Это пройдет”. Рейхссоветник ничего не ответил, только отвернулся к окну.

Ехали по окраине, и, как нарочно, мимо автомобильного окна пролетали простые приземистые здания, сложенные из почерневших кирпичей, низко спускающиеся гребни крыш, черные чугунные ворота столетней давности, потом мелькнул постоянный двор с золотым окороком на крючке и двумя жестяными медведями. Мирно, тихо, спокойно, кошки, воробьи, голуби, прохожие. Кто здесь думает об отрубленных головах, о них — о прокуроре и судье, возвращающихся с казни. Черт знает что такое! Дома рейхссоветник долго сидел в кресле, не зная, куда себя девать и что с собой делать. Подумал было о театре. Но только представил себе декольте, накрашенные губы, голые вскинутые ноги, флейту и барабан, наглый яркий свет, как его вдруг охватила такая тоска, такое отвращение ко всему, что едва не стошнило. “Главное — не верю, не верю я тебе”, — сказал он кому-то вслух и, опомнившись, замахал руками, закачал головой, сморщился и побежал по комнате. А уже близко к ночи ему позвонил прокурор и спросил, как он себя чувствует. Голос был теплый, заботливый, дружеский. Рейхссоветник бодро ответил, что нормально. Что он делает, спросил прокурор. Ответил, что листает Анатоля Франса. В трубке послышался смехок. А потом прокурор спросил: “Наверное, “Боги жаждут”? Да, это подходит”.

Рейхссоветник, который просто ляпнул первое, что пришло ему в голову, осекся и не нашелся что ответить. А прокурор вдруг сурово сказал:

— Не кисните, это всегда трудно в первый раз.

— Да, — ответил он. — Да, в первый раз.

И тут по ту сторону трубки что-то произошло, что-то как будто упало на пол и разбилось. И прокурор заговорил совсем иным тоном:

— Послушайте, я учился в Париже и развозил по утрам тележку с печенкой для кошек. Старые воблы мне бросали из окна монеты в бумажке, но мало, я всегда голодал. И знаете, что мне сказал один французский полковник с нафиксатуаренными усами? “Вам плохо, молодой человек, и я вам сочувствую, вот вам 15 франков, поешьте. Но только не дай Бог, чтоб вы, немцы, опять заимели крепкие штаны на заднице да кусок свиной колбасы в руке. Вас только и можно терпеть вот такими”. Так вот, я запомнил его слова. Никогда больше мы не отдадим страну ни коммунистам, ни веймарским пингвинам с жирным задиком. Никогда у нас

немцы с болячками около рта не будут больше рыскать по помойкам!

“Нарезался!” — понял рейхссоветник и сказал:

— Но то же говорят и коммунисты!

— А вот коммунистам рубить головы, чтоб они так не говорили! — закричал прокурор. — Да, головы рубить, а кровь смывать, как в сортирах. Вы видели сегодня, как это хорошо делается.

И трубка со звоном упала на рычаг. Он был не только пьян, но еще и, наверное, здорово пьян. И рейхссоветник вдруг вспомнил, что это уже не впервые. По какой-то нужде он звонил ему поздно вечером, и сначала подошел сам прокурор и с минуту бормотал что-то непонятное, а потом вдруг трубку взяла его жена и сказала, что муж болен, у него температура, и он в кровати. Днем рубит головы, ночью напивается до чертиков. Хорошо!

И рейхссоветник отошел от телефона и в самом деле открыл Франса, ту главу, где на казнь ведут судью, до этого рубившего головы другим, — тоже хорошо и кстати.

А через день пришла газета, и он узнал, что в Берлине что-то произошло. Были арестованы и расстреляны десятки виднейших членов партии. О неизвестных сообщалось очень глухо. Причины были совершенно неясны, хотя о них и писали довольно подробно. Наиболее конкретной из всего была фраза фюрера: “Когда государственные чиновники удаляются с иностранными дипломатами в отдельную комнату и ведут многочасовые беседы, я приказываю их расстрелять, даже если разговор у них зашел об охоте”.

Рейхссоветник хотел поговорить об этом с прокурором, но того неожиданно и срочно вызвали в Берлин. Даже не вызвали, а увезли. Просто к вечеру к нему явились двое военных, подали какое-то предписание, выпили вместе с ним и его женой по чашке кофе, посадили в машину и увезли. А через два дня выяснилось, что брат прокурора расстрелян в числе первых жертв, и прокурор больше не вернулся. “Вот и тебя задушил удав”, — подумал рейхссоветник. А утром его самого вызвали в Берлин к шефу. Он сразу же вылетел на самолете, и к вечеру этого дня шеф его принял. Состоялся короткий, но дружеский разговор. Шеф вышел к нему в шершавом купальном халате и шлепанцах без пяток. Раскрасневшийся, толстый, свежий, добродушный человек с волосатой грудью и светлыми, влажными еще волосами.

— Ну как, дезертируем, господин советник? — спросил он весело и, сделав ему знак сесть, сам опустился с ним на диван. — Молодчик-то, а? — Он подмигнул. — Я про вашего прокурора говорю, оказалось, что он тоже по уши завяз в этом свинстве. Братец-то посвятил его во все дела, а он молчал. Ладно, пес с ним. — Шеф махнул рукой. — Так вы хотите переходить в другой округ?

И тут рейхссоветник вдруг набрался духу и сказал:

— Я знаю, что такие вещи сейчас не говорят и об этом сейчас не просят. Но освободите меня, пожалуйста, от должности судьи, я больше не могу. Я болен. Эти дела требуют от меня такого напряжения, что у меня уже полгода непрерывная бессонница и головные боли. Я боюсь, что в дальнейшем окажусь совершенно неспособным. Я очень, очень прошу вас. — И он даже руки сложил на груди.

— К чему, — спросил шеф лукаво, — к чему вы окажетесь неспособны?

Рейхссоветник молчал.

— Нет, надо, надо быть способным, — засмеялся шеф, — у вас такая молодая жена! Вы что, ее так и не видели с каникул?

Рейхссоветник что-то сказал.

Шеф задумчиво поглядел на него и вдруг спросил:

— А за границу вы не поехали бы? Вчера я получил письмо из Новосибирска, там консулом сидит мой университетский товарищ, адвокат по специальности. — Он с минуту подумал, а потом добавил:

— Но только жена ваша первое время останется здесь. На ней же весь репертуар.

Рейхссоветник молчал, и шеф подытожил:

— Значит, вы согласны. Отлично! Я ничего не обещаю, это не полностью от меня зависит, но... Позвоните мне завтра в это же время, у меня будет встреча с нашим министром. Таких работников, как вы, у него немного. — Он встал. — Ну вот и отлично, звоните завтра, я надеюсь.

Рейхссоветник вылетел в Новосибирск ровно через неделю. Жена с ним не полетела ни через полгода, ни через год, ни позже. Он видел ее только во время отпуска, но и этого времени было слишком много для обоих. Они не знали, куда его девать и что делать друг с другом. Зато у него была секретарша, которая ведала его папками и вырезками, клеила их, переплетала, делала оглавления. Он был ею доволен! Очень доволен он был ею!..

Фюрер был в ударе, он ходил по комнате и говорил:

— Возможно, очень возможно, что сейчас, на первых порах, я получу полностью все, что требую. Воевать эти господа не хотят и не могут. Но я не позволю, чтоб наш народ, и в особенности молодежь, рассчитывали только лишь на меня, на мое умение разговаривать с этими господами. Немецкий народ должен быть готов к тяжелейшим жертвам и крови. Он должен знать, что наступит и такой час, когда я без колебаний кину в огонь войны сотни тысяч лучших юношей и наведу в Европе порядок. Эти господа говорят, что не могут сейчас отдать мне африканские колонии в Африке, что надо еще ждать! Хорошо! Я согласен получить их в Центральной Европе и Азии, Камерун и Того от меня все равно не уйдут, а пока не до них. В этой войне они нам, пожалуй, и не потребуются.

Ему показалось, что кто-то усмехнулся за его спиной, и он повторил уже зло, на оборачиваясь:

— Да, да! Для наших штабов не нужна ни мебель из черного дерева, ни ручки слоновой кости, ни портфели из крокодиловой кожи. И дамы наши тоже пока обойдутся без туфель из удавых шкур!

“Не любит дам, — подумал шеф, — никак не может им простить прошлого пренебреженья”. Но сидящий рядом с ним худой, верткий, маленький, длиннолицый человек сказал спокойно и веско:

— Это, конечно, мы втолковываем народу всеми путями, которые возможны. Но я, откровенно говоря, не хотел бы, чтоб об этом в таких или в сходных выражениях начали трещать наши газеты. К крику об африканских колониях так привыкли, что их уже не замечают, а вот уж разговор о Европе нужно вести поосторожнее.

— И в особенности надо остерегаться, чтоб не всполошить Россию, — сказал сидящий рядом высокий старик в глухой военной форме. — Она-то, безусловно, способна воевать и будет воевать. Стоит нам только завязнуть на Западе, как она ударит нам в спину. А северная война — это такое предприятие, о котором мне и страшно подумать.

— Генерал учитывает только военные факторы, — усмехнулся шеф, увидя, как фюрер быстро и резко отбросил прядь волос со лба, хотел что-то сказать, но воздержался. — Надо посмотреть, что делается в России. Армии обезглавлены, лучшие полководцы перебиты, и в колхозах голод, недовольство

растет с каждым днем. Страна все больше и больше покрывается концлагерями. Мы внимательно следим за сложившейся обстановкой и делаем все, что можем, чтоб не ослабить этого напряжения. Если так пойдет и дальше, через год-два страна не выдержит внезапного массированного удара.

— Хм, это Россия-то не выдержит? — усмехнулся старый военный. — Голубчик мой, вот эти самые штучки повторяют все безответственные люди в нашей стране не первое уже столетие. А ответственные люди верят им, к сожалению! И получается чепуха. Вы, кажется, сравниваете ситуацию 17-го года с ситуацией 37-го? Это огромное заблуждение. Останутся лагеря или нет, но Россия сражаться будет. Это надо запомнить очень твердо. А то напряжение, которое вы создаете... Ну что ж, честь и хвала вам за это. Серьезное ослабление армии налицо. Но ведь все это может создать только второстепенные благоприятные моменты, а не победу. До победы еще безумно далеко. И помните, пожалуйста, что Фридрих Великий говорил: "Русскому солдату мало отрубить голову, его надо еще повалить на землю". А вот этого мы и не сможем. Сейчас по крайней мере. Вот когда Европа будет в наших руках...

Фюрер сидел на самом краю стола и, наклонив голову, быстро чертил на клочке бумаги какие-то фигурки и — крыши домов, квадраты, башенки, круги. За ним давно уж не водилось такого. Значит, он действительно волновался. Но сегодня был званный вечер, фюрер принимал гостей, и разговор о политике возник как-то сам собой, помимо его воли. Все это заставляло его быть сдержанным. Воевать с Советским Союзом он решил давно, бесповоротно, считал эту войну необходимой, но говорить о ней не говорил ни с кем. Он знал, что это будет очень трудная, кровавая война, что тянуть нельзя. Россия становится все сильнее и сильнее. Но боялся он этой войны ровно столько же, сколько и желал ее. Не утешали его ни сводки, ни отчеты о внутреннем положении страны, ни донесения военных атташе, которые он время от времени просматривал. То есть тогда, когда он читал эти бумаги, ему казалось, что победа будет за ним, Россия рухнет после нескольких ударов германского меча. Он веселел, с удовольствием позировал своему фотографу и особенно его прекрасной ассистентке. Голова гордо поднята, глаза устремлены вдаль, мощные руки, способные в ладонях удержать земной шар, мирно пока лежат на коленях. Но это продолжалось всего несколько часов. А потом снова приходили неуверенность, страх и беспокойство. И теперь, когда разговор совершенно неожиданно

зашел о том же, он повернулся к своему соседу — маленькому толстому человеку, который ведал всеми продовольственными ресурсами империи. И тот понял, что хочет от него фюрер, и, повернувшись к старому генералу, спросил:

— Вот вы за войну на Западе, но не на Востоке. Так как по-вашему, долго Германия может сама продовольствовать свою западную армию? — И так как генерал молчал, строго объяснил: — Два года, а если ввести строгую карточную систему, то, пожалуй, можно дотянуть и до трех. Но это и все. Без восточного хлеба нам не обойтись. Европа ничего не даст. Первые же недели войны превратят ее в развалины. Нет, похода на Россию нам не избежать.

Наступило молчание. Было видно по всему, что генералу что-то очень хочется сказать, но он пересиливает себя и молчит.

— Россия нас пугает примером Наполеона, — вдруг вмешался в разговор редактор официозной газеты, человек с бритым актерским лицом. — Мол, никто не справится с территорией, массовостью и климатом. Воевать с Россией можно только летом, а когда придет зима, все чужие армии замерзнут. Я сам из России и знаю, там верят в эти рассуждения. Существует даже такая книга: в Россию заслали — очевидно, с диверсионными целями — яйца тропических гадов. И вот когда их положили в инкубатор, то вместо породистых кур стали вылупляться удавы, крокодилы, змеи, еще всякие страшилища. В короткое время они захватили всю страну. Жизнь замерла, люди попрятались. А потом ударил мороз, и гады передохли в течение суток. Иноземным гадам не жить на Российской земле. Вот такова мораль русских. И, надо сказать, это очень типичное для русского человека рассуждение. Утешительная концепция, конечно, но... — И он развел руками.

И тут вдруг раздался смех. Все обернулись. Смеялся большой грузный человек с бабьими трясущимися щеками, тяжелыми надбровными дугами и коротким толстым носом.

— Стойте, я вас сейчас потешу, — сказал он, полез в карман, вынул толстый старомодный бумажник из крокодиловой кожи. — Я вам сейчас докажу, что удавы отлично переносят русскую зиму, да еще какую! Горную! — Он вытащил газетную вырезку и протянул ее редактору. — Вот вы специалист по России, — сказал он, — почитайте и оцените.

— Позвольте, позвольте, к чему ж это? — сказал редактор недовольно, быстро пробежав заметку. — Ну, убежал где-то из Алма-Аты удав, его ловили, не поймали, он провел зиму в

горах, летом появился опять, напугал там каких-то колхозников. К чему все это?

— А ну, прочитайте, прочитайте, — вдруг крикнул старый генерал. — Удав перезимовал в горах! Это, верно, интересно. Как же он по снегу-то ползал? Неужели это может быть? Это же мировая сенсация!

— Сенсация? В России все может быть, кроме сенсации, — сказал редактор и начал читать заметку.

* * *

“Дорогой партайгеноссе, я получил вашу в высшей степени интересную вырезку из русской газеты об удаве, сбежавшем из зоо и перезимовавшем в сибирских горах. Счастлив известить вас, что перевод этой статьи, приложенный вами к тексту, был прочитан мной в одной большой компании, где присутствовал сам фюрер. Все были очень заинтересованы, и особенно интересными оказались некоторые аналогии и сравнения, высказанные, развернутые перед присутствующими одним из самых крупных знатоков России и русского народа.

Вместе с тем было указано и на то, что вся заметка все-таки носит весьма неопределенный характер, и факты, так сказать, изложены с чисто журнальной точки зрения. Не названы фамилии очевидцев, нет географических координат, змей называется то питоном, то удавом, что далеко не одно и то же, не указано зоологическое название животного. Отсутствует даже подпись в конце статьи. Все это, конечно, сильно снижает достоверность присланного вами интереснейшего материала.

Таким образом, я был бы благодарен вам, дорогой партайгеноссе, если бы вы дополнили эти сведения. Поверьте, я понимаю, в каких условиях вам приходится работать, и, однако, не ошибусь, если заверю, что фюрер весьма заинтересован в получении как можно более подробных сведений об этом русском феномене. Ваша милая супруга... Остаюсь с лучшими пожеланиями...”

— Вот дьявол, — выругался консул, когда прочитал письмо. — Откуда же я достану фамилии-то?

Он вызвал секретаршу и показал ей письмо.

— Ну, что ж будем теперь делать? — спросил он. — Накликал на свою шею, а?

Секретарша быстро пробежала письмо и сказала:

— А вот прочтите, — и подала номер “Вечерней Алма-Аты”.

“Еще об одном индийском госте” — называлась статья на первой полосе. Консул стал читать и увидел, что это как раз

то, о чем его спрашивали. Были имена, был назван колхоз — “Горный гигант”, 6-я бригада, было обозначено место, где все произошло, — 8 километров от города в сторону кирпичного завода, была фамилия — Потапов Иван Семенович, консул сразу же занес ее в блокнот. Так звался, значит, тот дурак, который стрелял в удава и промахнулся. Далее сообщалось, что работающая в горах экспедиция Центрального музея, руководимая ученым-хранителем (фамилия) и археологом (фамилия), включила в план своих работ проверку всех сообщений. Если они окажутся достоверными, работники экспедиции намерены принять участие в облаве на животного.

“Наиболее интересным, — говорилось в статье, — является вопрос, как удав провел зиму. Мнения об этом резко расходятся. Так, профессор (такой-то) предполагает, что в горах имеются пещеры, где в течение года держится постоянная температура. Указания на такую пещеру имеются. Так, в 1913 году один из охотников, преследуя подранка (тура), обнаружил такую пещеру, зашел в нее, заблудился и проблуждал три дня. Вышел он за десять верст от того места, куда вошел. Однако в настоящее время месторасположение этой пещеры неизвестно. Об этом, конечно, следует только пожалеть”.

Под статьей стояла подпись: “Никс”.

— Ну вот, — видите, — сказал консул облегченно. — Это и все, что требуется. Вы гений, Герта. Сегодня же пошлем авиапочтой.

— Авиапочтой? — удивилась она.

Он взял ножницы и тщательно вырезал статью.

— Ну а что? — спросил он. — Обыкновенная газетная вырезка, пусть цензуруют!

— Адрес? — спросила секретарша.

— Да! Вот адрес какой же? — задумался на минуту консул. — Ну, надо что-нибудь нейтральное. — Он подумал еще и решил: — Пошлите на имя моей жены. Положите мне на стол заклеенный конверт, я надпишу его. И надо будет сделать перевод статьи. Займитесь этим!

Секретарша посмотрела на него и улыбнулась.

— Положить вам заклеенный конверт? — спросила она, нажимая на каждое слово.

— Да, — ответил он сухо, не принимая ее иронии, — положить мне заклеенный, именно заклеенный конверт. И, пожалуйста, скорее.

Секретарь шефа снял трубку и четко отрапортовал свое имя и звание и сейчас же заулыбался и закивал.

— Здравствуйте, фрау... — сказал он. — Сейчас соединю вас, фрау... Шеф только что приехал. Одну минуточку, фрау...

Шеф лежал на диване (опять заныла нога) и читал докладную записку со всеми приложениями и морщился. И какая, собственно говоря, это была докладная записка? Ему прислали приказ, не подлежащий обсуждению. Значит, все это ненужная писанина, просто-напросто следствие канцелярского мышления двух или трех высокопоставленных чиновников страны. Впрочем, может быть, это было и того хуже. Фюрер просто-напросто брал его в советчики. Вот эта мысль бесила его больше всего... Ведь вот он же не заставляет за себя отвечать других. Все его решения, определения, акты имеют только одну подпись — его подпись. Конечно, он согласен со всем, что исходит от фюрера. Тот сделан из теста, из которого пекутся вожди. У этого человека есть настоящая последовательность, точное знание того, что он хочет. Он не подвержен колебаниям, у него нет личной жизни. А так как она существует у каждого из них, его сподвижников, то вполне естественно, что он-то полководец, а они его солдаты. И единственное, что требует от них полководец, — это верность — рассуждать они не должны. Но если бы даже произошло такое чудо и он вдруг начал бы думать и не согласился бы с этим распоряжением, чтоб он мог сделать тогда? Попытаться отговорить фюрера? Но это бесполезно. Дезертировать? Но это значит положить голову под топор. Одним словом, какое имеет значение его согласие и какому дьяволу оно потребовалось? “Я бы никогда не смог стать членом вашей партии, — сказал ему заключенный 48100, о котором он вспоминает все чаще и чаще, — я часто колеблюсь и сомневаюсь, а вы все и для всех уже решили. Как я могу взять на свою ответственность судьбу мира, если в свое время я не смог решить судьбу любимой женщины. Она вышла замуж за вашего судью”.

Вот тогда он и сказал ему: “Кстати, о судьбе. Сейчас к вам зайдет один наш судья. Не откровенничайте с ним, у него не тот чин. Поняли?” И 48100 улыбнулся и ответил: “Да, полностью”.

Зазвонил телефон. Шеф снял трубку. "Слушаю", — сказал он недовольно и услышал ее голос. Тогда он сел и продолжал слушать сидя.

— Я ничего не понимаю, — весело сказала она. — Мой супруг прислал мне из Новосибирска какую-то газетную вырезку с переводом, очевидно, для тебя. Какая-то мудрость — про сбежавшего удава. В середине статьи рисунок — яблоня, обвитая змеей.

— А-а, — засмеялся он, — райская жизнь в колхозе. А Евы нет?

— Есть, — ответила она. — На ней платочек и юбочка. Она уронила корзину с яблоками.

— Плохая же она Ева, — покачал он головой, на что-то намекая. — Наши Евы удавов не боятся, а?

Они оба немного посмеялись над тем, что немецкая Ева удава не боится.

— Так как, — спросила она, — ты пришлешь кого-нибудь или подождешь меня?

— А что, — спросил он, — не так скоро думаешь осчастливить меня своим посещением?

Вошел адъютант с какой-то папкой в руке. Шеф недовольно махнул рукой, и он исчез.

— Сегодня, во всяком случае, нет, — сказала она. — Кроме всего прочего, у меня поздно кончается спектакль.

— Оставь все прочее в покое, — усмехнулся он. — Ты же знаешь, что оно никогда нам не мешало быть счастливыми.

— Но тогда только ночью, — согласилась она. — Примерно в час или два, после спектакля. Захватить удава?

— Захватывай, Ева.

— До свидания, Удав.

— Ну, ну, — прикрикнул он на нее, — только без имен. Жду! — Он положил телефонную трубку на рычаг и нажал кнопку звонка. Адъютант вошел с папкой и остановился, неуверенно глядя на шефа.

— Ну что у вас? — спросил шеф брюзгливо. Адъютант открыл было рот. — Ладно, идите сюда! — Он выхватил бумагу, бегло взглянул на нее, отбросил на диван.

— Слушайте, Мюллер, — сказал он тяжело. — Неужели мне с вами действительно придется ссориться? Почему вы меня не слушаетесь?

— Я, господин шеф, — начал адъютант...

— Нет, нет, вы совершенно меня не слушаете. Я уж вам сказал, что все подобные бумаги пересылать в подотдел, а не

мне. И тем более вот такие! — Он слегка кивнул головой на валяющийся пакет. — Ладно, принесите сургуч, — приказал он коротко и начал подбирать с дивана разбросанные листы. Потом аккуратно сложил их вдвое, засунул в конверт и зажег сургуч. Сразу потянуло смолой и лесом. Шеф ляпнул несколько больших киноварных капель на конверт, потом втиснул в них печать и подал запечатанный конверт адъютанту.

— В мой личный архив! — приказал он. — И вызовите машину, поеду домой. Никаких бумаг не посылать, ни с кем не соединять. Меня нет. И вообще идите домой, сегодня вы уже мне больше не потребуетесь.

* * *

Она приехала только в третьем часу. Он сидел на диване и осматривал свои охотничьи ружья. Несколько пустых футляров лежало рядом, а он вертел в руках короткий английский винчестер с желтовато-белым прикладом.

— Здравствуйте, — сказал он, обретая в ее присутствии свой постоянный тон, добродушный и ворчливый. — Что так поздно?

— Никак нельзя было раньше, питончик, — сказала она ласково. — Опять ругались с директором. А ты?

— Да вот видишь — осматриваю свое хозяйство. Март не за горами.

— И куда поедешь? — спросила она.

— Да куда-нибудь туда, — он махнул на восток. — Туда, поближе к твоему мужу и его новым хозяевам. В Польшу или Литву.

Она, сидя рядом с ним на диване, вынула из сумочки конверт и подала ему.

— Читай про своего удава, — сказала она.

И тут он бросил ружье, и ловко обнял ее.

— Удав, — сказала она, смеясь, — ты меня не задушишь, удав? И что я с тобой связалась, удав? Зачем?

— Хм, — сказал он, вставая и садясь, — в самом деле, зачем, а? Зачем я тебе нужен? Просто не понимаю! — Он заглянул в вырезку. — Вот, значит, Ева, а вот удав. Ладно, прочту завтра. Так он в самом деле ничего тебе не написал? Странно! — Он задумался на секунду. — Ну как — интересная история, — спросил он, — прочла?

— Чепуха какая-то, — небрежно воскликнула она. — Бог знает, что тебя заинтересовало!

— Дорогая моя, — сказал он ласково, — это не чепуха! Я запрашивал твоего мужа об этом удаве специально по желанию фюрера.

Она удивленно посмотрела на него и перестала улыбаться.

— Фюрера? Ты мне что-то не то говоришь. Или я совсем дура и ничего не понимаю, или тут у вас есть... — Она не договорила.

— Агентура, шифр? Нет, это не шифр, — сказал он. — Такой организации и таких людей у нас там, к сожалению, не имеется. Удав есть удав. Но, видишь ли, в то же время он не только удав, он еще и символ, и предзнаменование, и психологический флюид, слетевший на фюрера. А фюрер верит в сверхчувственное...

Она смотрела на него все с большим и большим изумлением.

— И ты тоже веришь в сверхчувственное? — спросила она ошалело. Тут он нагнулся и обнял ее.

— Нет, Ева, я верю только в чувственное, — сказал он. — В тебя, Ева.

* * *

Через полчаса из другой комнаты она спросила его:

— Ну, ладно, а что ж тогда этот удав как символ?

Она стояла перед зеркалом и закалывала волосы. Он, умиротворенный, распаренный, подобревший, сидел на диване и опять возился с винчестером.

— Ты все слишком буквально понимаешь, — продолжил он. — Никто никакого влияния на фюрера иметь не может. Понимаешь? Никто! Ни ты, Ева, ни я, удав, ни этот удав в Алма-Ате, ни белая дама Гогенцоллернов — никто! Но фюрер принял рассказ об этом сибирском удаве как какое-то очень знаменательное совпадение. До этого шел разговор о русской зиме и гибели наполеоновской армии в русских снегах. И вот кто-то сказал, что это и есть навязчивая идея русских: поднявший меч на русскую землю погибнет от русского мороза. Кто-то другой вспомнил, что имеется подобный рассказ какого-то русского писателя: иноземные гады гибнут от русского мороза. Но ведь удав не погиб, а выжил. Фюреру это совпадение показалось весьма знаменательным. А в предзнаменование и приметы фюрер свято верит. — Он отбросил винчестер и заключил: — Так что, сам того не зная, твой муж мне оказал порядочную услугу.

— Я могу об этом ему написать? — спросила она.

Он усмехнулся.

— А вы переписываетесь?

— Слушай, — спросила она, — питончик, почему ты такой бестактный, что это, тоже свойство сверхчеловека?

Он снова усмехнулся, и на этот раз — высокопарно.

— Очевидно, это просто свойство всякого генерала. Ничем иным я свою бесцеремонность объяснить не могу. — Он подошел и погладил ее по голому плечу. — Слушай, что ты злишься, разве я не выполняю твои условия? Помнишь, что я тебе сказал в первый день? Определяй наши отношения сама. Что ты можешь мне предложить, то я и принимаю. Если вернется твой муж и ты мне скажешь “сгинь!” — я сразу же сгину! Заплачу, конечно, но исчезну.

Она прищурилась и прикусила губу.

— Это ты-то заплачешь? — спросила она насмешливо.

— Безусловно, — весело подтвердил он. — Просто буду разливаться, как ребенок, но сгину. Перед этим, конечно, постараюсь с тобой расплатиться на прощание как следует. Вот и все.

Она все глядела на него.

— Хорошо, — сказала она. — Это время приблизилось. Я требую расплаты. Вот ты говоришь, что эта вырезка пришлась тебе очень кстати. Здесь затесался сам фюрер. Значит, ты что-то выгадал. Можешь ли ты мне устроить только одну вещь?

Он задумчиво поглядел на нее.

— Ведь ты опять заговоришь о прежнем. Это чертовски неудобно! Очень, очень неудобно! Притом он в больнице... — Он подумал еще. — Я вот даже не знаю, как обосновать свой приказ о свидании. Почему ты хочешь его видеть? Для чего немецкая женщина хочет видеть врага своего отечества? Ну-ка, скажи!

Она поглядела на него.

— Очень просто, он первый меня заметил и...

— Ах, — с отвращением отмахнулся он рукой, — три К! Вот уж действительно три К... Кюхе, кляйнер, кирхе! Говори это в кирхе своему пастору, это как раз для него. — Он вдруг встал, грубо обнял ее, так что она даже пискнула, и сказал:

— Ладно, что-нибудь придумаем. Если только обещаешь не трепаться...

* * *

Заключенный 48100 лежал в отдельной палате тюремной больницы и смотрел в окно. Он уже давно не поднимался с постели, но сиделок не терпел и все, что нужно, делал сам. Дверь в его камеру открывалась не чаще трех раз в сутки:

подать, убрать, положить газеты. Но и газеты от мог читать не больше часа в сутки, затем в глазах начинало рябить, буквы оживали, копошились, ползли, как муравьи, в разные стороны. Тогда он бросал газету, ложился и закрывал глаза. При каждом резком повороте у него появлялось чувство высоты, полета и невесомости, кровать исчезала, он парил в воздухе. Все кончалось головокружением и дурнотой. Если же он открывал глаза, то видел, что комната плывет в сигаретном дыму, распадается слоями, как колода карт. Значит, поднималась температура, начинался бред. Бреда он боялся больше всего. В комнате начинало вдруг греметь все — поезда, груженые железом, летели под откос, кто-то лопатой подбрасывал и ловил металлический лом, и он гремел. Гудели и стонали рельсы. А через эту метель, шабаш взбесившегося железа, неслись мысли, обрывки фраз и слов. Говорил кто-то, находящийся в нем самом. Что говорил он, 48100 запомнить не мог. Но это было очень мучительно. Он метался по подушкам, разбрасывал простыни и плакал. А потом приходил день, и температура спадала, он смотрел на небо в окно. Оно стояло перед ним сплошной серой отвесной стеной, и стоило ему поглядеть на него десяток секунд, как оно, словно море, переливалось через подоконник, бесшумно подкатывалось к нему, смывало его с кровати и несло. Сразу отлетало все, оставалась только великая светлая пустота, тишина и высота. К глазку подходили люди: доктор, сестры, надзиратель. Они смотрели на вытянувшегося на кровати человека, на величественное лицо его, словно вылепленное великим скульптором — смертью, и, покачав головой или вздохнув, отходили в сторону. “Ну, этот уж готов! — говорил надзиратель. — Уже ничего не слышит и не понимает”. Он же слышал и понимал все. Только они находились в одном мире, а он в другом. А потом наступала темнота, зажигали свет, он медленно приходил в себя и брался за газеты. Сидел на кровати и читал. В эти минуты он был опять самим собой. К нему возвращалась его точная беспощадность, глубокое понимание сути явлений в самых отдаленных последствиях. Он читал и понимал все. Понимал, как дорого обойдутся бездарной империи все ее бескровные победы, как перепуган мир, как все ближе и ближе дело доходит до фунта мяса, максимально близкого сердцу. Значит, война! Мысленно он даже назначил сроки. Года два-три — самое большее. Это очень много для него. Доктор обрек его на смерть в течение месяца. Но он постарается протянуть еще годик. И одно только чувство поддерживало его. Если бы его спросили, какое, он не

сумел бы ответить. До какой степени все, что происходило в нем, не соответствовало обычным человеческим понятиям. Но скорее всего это было все-таки злорадство. Но какое же бедное злорадство! Без радости, без торжества, без озарения! И все-таки это чувство он не променял бы ни на свободу, ни на здоровье, ни на славу. Таким оно делало уверенным, гордым и сильным его, так поднимало над всеми. И однажды он почувствовал это особенно ясно. Он очнулся от утреннего забытья и увидел около себя женщину. Она сидела на стуле. На ней был белый халат. Все время она ловила его взгляд. Он приподнял голову, взглянул на нее, и вдруг ее лицо увеличилось и полетело к нему, хотя они оба не двигались. Тогда он назвал ее по имени. Она кинулась было к нему, но только дотронулась до края подушки и остановилась. Он улыбнулся ей, оперся рукой о подушку, приподнялся и сел. После, когда он пробовал вспомнить, с чего начался разговор, то удивился тому, что помнил только середину.

— А ты мало переменилась, — сказал он.

— А вот видишь, — сказала она и нагнула голову. — Видишь, сколько их тут? Это с той ночи...

— Да, — сказал он невнятно. — Да, та ночь...

Опять помолчал.

— Я часто встречаю твое имя в газетах, — сказал он, придумывая, что сказать. — Ты молодец!

Она неуверенно поглядела на него.

— А ты давно получаешь газеты? — спросила она, что-то прикидывая.

— Да уж год, — ответил он.

— Значит, ты знаешь, — трудно начала она. — Что мне пришлось играть в...

— Знаю, знаю, — прервал он ее. — Ты вышла замуж, твой муж адвокат по гражданским делам.

Она кивнула головой.

— Я когда-то встречался с ним.

— Ах, вот как! — негромко воскликнула она.

Они помолчали.

— Ты не осуждаешь меня? — спросила она жалобно.

Он поглядел в ее глаза. Они уже не казались зелеными.

— Что вышла замуж-то? — спросил он громко и показал глазами на дверь. — Нет, зачем же?

— Нет, не за это, а за то, что я...

— Ну что ж, — ответил он раздумчиво. — Конечно, ты больше всего нравилась мне в Ибсене и Гауптмане. Но ведь их сейчас не ставят. Хотел бы я увидеть тебя в новой роли.

— Ты еще увидишь, — пообещала она робко.

— Да, надеюсь, — спокойно и твердо улыбнулся он. — Я ведь не преступник, я... как это у них называется? Временно изолированный, так, что ли? Кончится время, и меня выпустят.

— Ну, какой же ты умник! — воскликнула она, — я рада, что ты тоже так думаешь. Ну, конечно, конечно, они тебя выпустят. Зачем ты им?

Глаза ее снова были зелеными. Он глядел на них, на ее чисто вылепленный, не особенно высокий ясный лоб, на ямочки на щеках, которые вспыхивали и пропадали, на тонкие, все времядвигающиеся губы (он всегда считал их куда более выразительными, чем ее глаза), на длинные тонкие холодные пальцы и думал, насколько он все-таки мертв! Ничего его больше не интересует! Не тянет, не мучает! Что бы он стал делать с собой, если бы очутился на воле? А она вся подобралась, сделалась уверенней и деловитей.

— Я для этого и пришла, — сказала она негромко. — Ты обязательно должен продержаться. Не из-за себя, так из-за меня. Я люблю только тебя, и никого больше, понял? Я никогда никого не любила, кроме тебя. Понял? Никогда! Никого! Сейчас я убедилась в этом. Ты выйдешь, я это сделаю, и больше мы с тобой не расстанемся. Я никуда тебя не отпущу. Я увезу тебя к морю. Понял?!

Она вколачивала в него свою уверенность, как в стенку гвозди.

Он ласково сказал:

— Понял, понял, дорогая. Обязательно поедем, я так стоковался по морю.

— Вот ты опять мне не веришь, — сказала она тоскливо. — Слушай, я уж все сделала, я говорила с... (замялась) — ну, в общем, я говорила с одним видным человеком, и он мне обещал. Дело только в докторах. Но им тоже прикажут, и они дадут бумажку.

“Ой, дура, — подумал он. — С кем же она говорила?” Он поглядел на круглый зрачок глазка. Он был слепым и темным, им предоставляли время обо всем переговорить.

— Хорошо, дорогая, — сказал он твердо. — Я все понял. Насчет доктора — это очень умно! Я поеду с тобой, куда ты

хочешь, только, пожалуйста, никогда, ни с кем обо мне не говори! Вот этот видный человек, он что — твой муж?

— Нет, это... — начала она.

— Ну, ладно, ладно, — перебил он ее. — Не надо называть имен. Стой! Слушай меня! Ты знаешь историю с Шенье? Ну, великий французский поэт! Он был приговорен к гильотине, но о нем забыли, и он сидел и ждал. И дождался бы не смерти, а свободы. Но, на беду, у него оказался любящий брат. И этот болван подал просьбу о помиловании. И тогда о Шенье вспомнили и немедленно казнили. А через день случился переворот и казнили уже судей Шенье! Доходит до тебя этот пример? Ничего не надо просить! Самое страшное у победителей — их отличная память, и вот я боюсь.

— Нет, нет! — крикнула она. — Не бойся, он большой человек! Он любит твои рассказы! Он...

— Ах, вот ты про кого, — улыбнулся 48100. — Ну, ну! Это другое дело. Ты в самом деле умница. Постой-ка. — Он осторожно оторвал ее руки, как будто для того, чтобы поцеловать их, освободился и блаженно вытянулся во весь рост.

— Ты умница, — сказал он. — Но пока больше ничего не делай. У меня есть с ним своя договоренность, вот я и боюсь, что ты испортишь дело, понимаешь? — И он подмигнул ей. Но она ничего не понимала. Она стояла над ним — высокая, стройная, зеленоглазая — такая красивая, что от нее ломило глаза. Бесконечно далекая женщина, занесенная в его камеру с Венеры или Марса, — нежданная и досадная помеха в его, в общем-то, вполне сносном существовании. Что ее привело сюда? Какого черта она снова лезет в его жизнь, где все уже решено? Любит его все-таки! Как все это ни к чему!

— Ладно, — сказал он ласково. — Расскажи мне на прощание что-нибудь хорошее. Что это мы только о делах? Ты не обидишься, если я повернусь к окну, а?

Он отвернулся от нее и сейчас же увидел небо. Было оно серебристо-серое, неясно мерцающее, как шелк парашюта. Он призывно взглянул на него: "Ну, приходи же!" И сразу же оно перешагнуло подоконник, и все в палате стало небом, светом, пустотой. Ничего он теперь не желал, ничего ему не было нужно, кроме тишины, покоя. А она все рассказывала ему что-то. И он (верно, лицо его — безошибочно отрегулированный в течение жизни механизм) отвечал на ее вопросы и обращения — то улыбкой, то гримасой, то восклицанием. Потом она вдруг встала, подошла и поцеловала его. От этого он очнулся и как-то по-новому посмотрел на нее. Целовала она его так, как никогда

не целовала даже в минуты последней близости. И вдруг он вздрогнул по-живому, почувствовал боль, холод, дрожь, увидел прекрасную женщину, стоящую перед ним. Его женщину! На веки вечные — его! До могилы и после могилы — его! Ту, которая всегда вздымала его дыбом, намагничивала, доводила до бешенства, до драки! И сразу же небо отхлынуло, померкло, и он оказался в своей камере: увидел приотворенную дверь, зеленые стены коридора, начальника тюрьмы в мундире с блестящими пуговицами, понял, что свидание кончилось, что она сейчас уйдет. Он встал перед ней на колени на кровати и глядел на нее блестящими, совсем живыми, осмысленными глазами.

— Милая, — сказал он, — милая ты моя!

Она вдруг всхлипнула навзрыд, прижала его к себе, ее лицо вдавилось в его лицо, а зубы в зубы, и он услышал ее дыхание. Затем пронзающая острота укола, смешанная с запахом ее тела, со вкусом ее крови. С каким-то гигантским снопом света, который как будто взорвался перед его глазами и ослепил его. (Это был не свет, конечно, но иначе он не мог бы передать то, что с ним произошло.) И не успел он опомниться, как она ушла, и дверь захлопнулась. Но теперь в палате не было уже тишины, теперь все грохотало, как железнодорожная станция: снова под гору неслись поезда, груженные железом, снова громыхал железный лист, и через все это он услышал, как, свистя, ухает кровь, увидел багровое пятно на стене. Оно прыгало, как солнечный зайчик. Это билось сердце, и он видел его.

Был вечер, закатывалось солнце, на стуле стоял его обед. Он поднялся и сел, и долго просидел так, присматриваясь к своим коленям и качая обезьяньей волосатой ногой. На ней был выколот удав, душащий обнаженного мужчину.

Так десять лет назад, в горькую минуту последней, как ему казалось, ссоры с ней, он изобразил их отношения.

Публикация К.Ф.Турумовой-Домбровской

В СТЕПИ

Холмы, холмы, холмы в степи — слегка
означенные, как сердцебиенье.
Сквозь вспыхивающие облака —
лучей вечернее столпотворенье.

Дышать легко. Валун лежит века.
Прохладное и ровное давление
под камень привлекает червяка,
жука, мокрицу, желтые коренья.

И, чувствуя твердыню над собой
и под собой, почтенная жилища
той тесноты — презренная мокрица —
довольна сплющенной своей судьбой,

себя и мир сознавшей, гармоничной,
на чью-то мерку — мрачной и мокричной.

ЗЕМЛЕЙ И ВЕРОЙ

Памяти Вячеслава Макарова

Весьма неглупый идиот, ревнитель правил,
нам во спасенье ДО и ОТ кругом наставил,
но быть и значить не могли такие знаки:
пойдем — не по лицу земли, — так по изнанке!

**Владимир
ЛЕОНОВИЧ**

— родился в 1933 году в Костроме. С 1944 года живет в Москве. Учился в Одесском мореходном училище, Институте военных переводчиков, на филологическом факультете МГУ. Автор трех поэтических книг — "Во имя" (1971), "Нижняя Дебря" (1983), "Время твое" (1986).

Там ветерок небытия дрожит и веет,
там кожа на лице моя ороговевает.
На той, на левой стороне, на черной воле
понадобятся жабры мне иль что-то вроде.

Нам выпала от всех щедрот глухая трасса —
простая жизнь-наоборот, ход Китовраса.
Выламывая по ребру при повороте,
тот зверь не выжил ни в миру, ниже в природе...
Такие темные дела, мой милый Слава.
Тебя достала, пригнала тебя держава.
Прочь от нее, сутул и крив, стезей прямою
ты уходил, асфальт взбугрив, куда-то к морю.
Как не был — весь сошел на нет...

Из психодрома
ко мне “с приветом” твой портрет: сидит ворона
на голове твоей живой. Бери, историк,
картинку в книжку про застой: в больничный
дворик

ворона вовсе не на труп летит смердящий —
она летит на шелест губ, на мозг творящий.
По обе стороны черты творится правда.
Подкинь мне, Слава, черноты из андерграунда!
(А в скобках и для знатоков такая справка:
в раю, где Николай Глазков,
живет еще Макар Славков,
владелец птичьих языков —
Макаров Славка.)

Вас много там и мало здесь. Кривосутулы,
друзья твои предержат честь литературы
горбом! Проталина пряма, трава на взгорке —
так близко вы — сойти с ума — в земле, в подкорке!
Да будет крепок наш собор земель и верой —
пока вершится их террор, глухой и серый!

ПАМЯТИ ГУРАМА АСАТИАНИ

Он молодую мне представил
и моложавую жену —
я про себя его поздравил,
хотя подумал: ай да ну! —
уж захлестнет тебя волной...
А что — естественное дело!
Она еще помолодела,
когда знакомилась со мной.
И сам я чести не ронял...

А он сказал: поехал к внуку,
Я внял, однако, только звуку,
а смыслу этому не внял.
Гурама — внук, жена — Гурама...
Что? Молодая эта мама
еще и бабушка к тому ж?
Не может быть — какая чушь!

И вижу вдруг и потрясенно,
как молода еще мадонна —
та, с мертвым сыном: ей же ей,
он с т а р ш е матери своей!
Какое дивное значенье
глядит оттуда! Где мученье?

Улыбка легкая и свет —
Ея лицо — Ея завет.
И мраморное облаченье,
и между слабеньких грудей —
на перевязи между ними —
ваятеля почиет имя,
счастливейшего из людей.

ТЕАТР-АБСУРД

Георгию Маргвелашвили

Из-за президиума на трибуну
красивая всплывает голова
и в темный зал, освещивая лунно,
поет и шепчет пыльные слова.

Оратор вдохновенно-бездыханен,
пока трепещет облачко над ним...
И впереди сказали: марсианин,
а позади сказали: пьяный в дым.

Ты был трезвее трезвого, не так ли?
И в паузах открыто хохотал,
являя ложь во лжи, спектакль в спектакле,
театр-абсурд — и плавал и блистал...

А в зал сходя, качнулся: это дело
на миг пришлось тебе не по плечу.
Потом — свобода — поднебесье — Белла —
она поет — ты плачешь — я молчу.

ГРАНАТ

*А. Жигулину
Л. Сулаберидзе*

О, жизни пестрой полоса!
Я видел эти сны:
и ровный белый свет в глаза,
и холод со спины.
Моя равнина полегла,
и южная гряда
ковыльный край приподняла
неведомо когда.

А Север красным на разлом
сверкает, как гранат!
В геологическом былом
рептилии царят.
И черное лежит плато
на согнутых плечах,
и братья — Толя и Ладос
в стране БУТУГЫЧЛАГ.
Впадает время в Мезозой
неслыханных утрат,
где смерзлись кровью и слезой
навек с братом брат.
Гранат созрел, мои друзья,
чтоб каждый в нем узнал
весь наш печальный, без вранья,
интернационал.

АХПАТ-УРПАХ

Мрачным Господним черновиком
скомкана местность — и целиком
наше ущелье сюда перенес
каменотес эскимос Мартирос.

Во льду продышу лады:
— Эй! Немота агатовая,
где же вода твоя?
— Да, твоя, да, твоя...
Нету воды.

А мороз!
Глянeshь по снегу — ззелено!
Вот расселина, Мартирос —
на кривых ледяных столбах.
Чу, ручей!
— Джурр, — отвечает эхо, —
джурр! — Урочище это

зывается Урпах,
что уже чересчур.*

Ведь сюда я один
протеснился по каменной трещине!
Было когда-то:
шли от Ахпата
на Санаин —
двое — при женщине.

Ей отслужил,
его пережил,
с вами рассорюсь.
Осиротею, как совесть.

Горы —
черно и синё
и красногубые шлаки —
армянские маки...
За тебя, за нее
и за камни Ахпата —
благо мне — плата.

* Джур — вода (арм.).

ПРАЗДНИК СОЛИДАРНОСТИ

Недавно в газете “Известия” прочел: “Экстрасенс В.М. без колебаний пришел на помощь незнакомому человеку, потерявшему сознание на улице Новосибирска: брызгал водой в лицо пострадавшего, нажимал пальцами на нервно-чувствительные точки, растирал уши, похлопывал по щекам. Тут-то его и огрели резиновой дубинкой по спине. Ошеломленный экстрасенс оказался в наручниках...”

И далее, когда экстрасенс, приехавший в Новосибирск аж из Америки, объяснял в милиции, что он не карманы обшаривал у человека, а помогал ему, — спасителя оборжали, как наглого вралю-авантюриста, и добавили ему еще дубинкой, чтобы знал, где находится, — тут не Америка, тут давно через упавших на улице спокойно перешагивают и идут дальше, спешат на заседание общества “Милосердие”, может, и поважнее куда.

И вспомнился мне в связи с этим один случай. Он произошел совсем недавно, лет сорок тому назад. По историческому измерению — мизер, миг, мгновение, а как далеко мы успели за это время уйти вперед...

Есть на свете, точнее — на Урале, городок Чусовой. Советский город со всеми его советскими порядками и достижениями. В этом городе издавалась газета “Чусовской рабочий”. Я в ней трудился более пяти лет, и мы, сотрудники, прозвали ее “Очусовелый рабочий” за суету, надсаду, вечную бедность и бдительный надзор “сверху”.

Этой газете, как и всем райгазетам, полагалось в майские праздники, точнее — в День печати, проводить городскую спортивную эстафету.

**Виктор
АСТАФЬЕВ**

— родился в 1924 г. в селе Овсянка Красноярского края. Участник войны, был тяжело ранен. Выступил с прозой в 1951 г. Ныне один из наиболее авторитетных русских писателей. Лауреат Государственной премии за роман “Царь-рыба”.

Стоило бы описать грандиозный праздник солидарности Первое мая и патриотическое возбуждение народа в задымленном трудовом городке, пребывающем почти в полумесечном безделье, потому как именно в мае сосредоточились праздники один другого важнее, осветить жизнь города и его повседневные трудовые будни, но это в другой раз, в другом месте. Здесь я поведаю об эстафете, об ежегодной городской эстафете, которая для редакции была бедствием, для города — еще одним массовым праздником и развлечением среди серой, унылой жизни.

К эстафете готовились задолго. На какое-то время редактор газеты и от главных своих обязанностей отклонялся ради более серьезного и важного дела.

Средств никто никаких не давал, эстафету же требовали и ждали все, но прежде всего патроны газеты — партийные власти, чтобы отчитаться вверху о своей неусыпной деятельности среди народа и для блага народа. Сверху, пусть и невысокого, всего лишь чусовского, жали неумолимо и настойчиво на редакцию, брали подготовку к эстафете на особый контроль и требовали, чтобы редактор на бюро горкома время от времени докладывал, как там дело движется с подготовкой к важнейшему на сей день мероприятию.

Редактор, сдавив кулаками виски, подсчитывал, мудровал, ловчил и мухлевал, чтобы из скудного гонорара городской газеты как-то выхимичить средства на полотно для приветствий, на кубки, призы, грамоты, знамена, государственные и партийные хоругви, потому как контролировали, страшали, проверяли со всех сторон, помогать же никто не помогал, считая, что пламенное партийное слово сильнее всяких там повседневных дел.

Я долгое время на эстафеты, массовые празднества, конференции и собрания не допускался по той причине, что у меня не то чтобы парадного, но и вообще никакого костюма не было. Я жил и трудился в военной гимнастерке сперва слесарем, затем литейщиком, затем разнорабочим, и к моему пришествию в газету “Чусовской рабочий” одежда, выданная мне при демобилизации, утратила не только боевой, но и вообще всякий вид.

Но наконец-то мы с женою поднапряглись, в долги залезли и купили на базаре костюм — из американских подарков был костюм, бостоновый, темно-синего цвета. Проявив российскую сметку и ловкость, молодая моя трудовая супруга из какого-стародавнего кукольного лоскута или из чулка сшила

мне галстук, и стал я походить на солидного совслужащего, которому на люди показаться и самую передовую в мире печать представлять в массах не стыдно.

По случаю невиданной еще нами социально-материальной победы жена же зазвала меня сняться на карточку, и мы с нею снялись на том же базаре, где приобрели костюм, и чусовская карточка с неумело на мне завязанным галстуком висит на стенке в моем нынешнем кабинете, напоминая о нашей бедной молодости, памятной радостями, поскольку были они в ту пору редкие.

Редактор газеты “Чусовской рабочий” не менее обрадовался моей обновке и снизошел до приглашения меня на эстафету, чтоб вместе с ним руководил я этим грандиозным в городских масштабах соревнованием. Было это не просто приглашение, но и тактический маневр со стороны редактора, и маневр тот раскусил я не сразу. Дело в том, что редактор у нас из-за давнего, еще в детстве полученного увечья был шибко хром, эстафета же дело хлопотное, бегучее — то забыли принести спортивные принадлежности, то лозунг иль призыв не туда прибили иль портрет лучшего друга совфизкультурников и отца всех народов не столь высоко, как того он достоин, повесили, молоток утеряли, гвозди рассыпали. Вот и вовсе паника поднялась среди руководящей головки — в какой-то финансовой ведомости не обнаружилось подписи бухгалтера исполкома, а живет он, голубчик, аж за рекой Чусовой, в поселке Чуньжино иль на Больничной горе, куда в связи с возведением там новых благоустроенных домов началась массовая миграция местного начальства. Транспорту в газете и в городе в ту пору не было, свои машины партийное руководство свято стерегло, да ему, вечно занятому глобальными вопросами начальству, и в голову не приходило кому-то еще доверять вверенный ему транспорт, тем более каким-то занюханным работникам занюханной редакции, — вот если б из “Правды” корры приехали...

На эстафету вплоть до демократически настроенного, амбиций не понимавшего Владимира Михайловича Хохолкова, взявшегося сперва до секретаря горкома, затем и до ответработника Цека, главные-то чусовские вожди и не приходили. Народные массы и физкультурников приветствовали, взбодряли руководители спортотдела горисполкома, зав. горно, профсоюзные и комсомольские деятели, а также зам. директора по быту металлургического завода — главного в городе предприятия. Если эстафета проводилась под эгидой железно-

дорожников, тогда громко кричал в жестяную трубу о служении и верности народу, Родине и Сталину начальник политотдела железнодорожного узла.

Тут-то я, в новом костюме и при галстукe, хорошо облегченный послевоенной пайкой, выветренный вольными ветрами бездомовья, после победы вместе с женою, как и миллионы других рядовых победителей, выброшенный на улицу главными нашими отцами-командирами, — тут-то был я в самый раз. Носился по городишку, не чуя под собой земли, собирал какие-то подписи, бумаги, спортивные предметы, на кого-то даже и голос повысил, кого-то и куда-то вгорячах даже и послал.

Редактор, которого мы простодушно именовали фюрером за служебное величие и похожесть прически, как и положено вождю, повелительно указывал влево, вправо и вперед. А я носился, а я носился обалдело, резво, возбуждение в моем сердце и праздничный набат в голове все возрастали и возрастали.

Когда, как унялась организационная сумятица — я и не заметил, но уже по ту и по другую стороны дороги, высланной грубым булыжником, стояли жидкие цепи милиционеров, и сам начальник горотдела, Зайцев по фамилии, в нарядном картузе взнялся на трибуну, благоговейно охраняемую с двух углов специально подобранными молодыми, самыми красивыми чувсовскими милиционерами с пока еще несмелыми, но все равно бравыми усами.

Обвалом грянул оркестр, все на минуту замерло, мою спину скорбило надвигающимся ожиданием чуда, какой-то еще неизведанной радости иль потрясения. И многие чувсовляне вокруг меня и даже ко всему привычный редактор малость побледнели. Побледнел, должно быть, и я, да самого-то себя ведь не видно, зеркальце же, чтобы поглядеться, в те годы мужики с собою не носили.

Редактор “Чусовского рабочего”, фюрер наш незабвенный, взыскующим, строгим взглядом обвел сверху город, улицу, зрителей, участников эстафеты на старте, почти под горою, потому как центральная улица имени, конечно же, Ленина была горбата, с уклоном. Сгрудившихся участников эстафеты только ему, фюреру, и было видно с трибуны целиком, все же остальные лишь головы, ну в крайности до трусов зрели молодых парней и девушек, одетых в разноцветные майки и трусы с номерами. По случаю спортивного соревнования из школ, РЭУ, с предприятий и контор были отражены целые

команды; случалось, и черные от копоти бойцы участвовали в соцгородском соревновании — этих прямо из горячих цехов, не дав умыться или душ опять не работал, на рекорды, в спортивную борьбу бросали.

Лицо редактора посуровело, напряглось, во всем его облике проступила решительность полководца, озревающего боевые соединения перед броском в битву, и как полководец же он повелительно взмахнул рукою. Тут же толстый мужик с розовым лицом и обвислыми щеками по фамилии Вайсбаум, всю жизнь двигавший местный спорт к победам и достижениям, сам одетый в трусы и майку, разбрызгивая грязь сандалетами сорок седьмого размера, помчался по улице, на ходу сорванным голосом командуя: “Н-на ста-аарт!”

А я в ужасе содрогнулся: “Речь! Редактор забыл произнести речь!” Они же, речи-то, в ту пору произносились по любому поводу, часто и без повода, и одна речь другой зажигательнее. Следом за редактором должен кто-то от партийной власти слово молвить, затем от комсомола, от профсоюзов, от школ, от предприятий, от ветеранов труда, просто от общественности, и все как есть единодушно с волнующими призывами везде и всех побеждать, быть здоровее всех в мире, как товарищ Сталин и партия велят...

Бывало, к концу всех речей участники эстафеты, почти нагишом переминающиеся, пританцовывающие на кривой большой улице, до того сморются от скуки и околеют, до того у них ноги истомеют, что бегут они со старта совсем резво, но власти-то думают — это слово их яркое, которым они в совершенстве овладели, такое благотворное влияние возымело, эво как погнало оно к победам и свершениям трудовые массы. Бегут! Бегут родные и устали не знают!

Однако ж и простывали участники эстафеты часто, не являлись на работу, сидели на бюлетне, и решено было на этот раз боевым словом попуститься, речей не произносить, а только бегать и побеждать, но я-то не знал этого, вот и ударился в панику. Молодой газетчик еще был, зеленый, но насчет идеологических явлений и передовой нравственности крепко подкованный.

Пока я паниковал и думал, как мне поступить, напомнить ли редактору и начальству о речах или оставить это без последствий, авось “не заметят”, забудут, парни и девушки стали в ряд, сжав в разом отверделых ладонях палки, напленные из рыбацкого удилища школьным плотником дядей Колей Неустроевым и выкрашенные школьниками в два цве-

та — розовый и синий, наклонились, замерли между двумя жердями, на которых было натянуто красное полотнище со словом “Старт”. По всей улице разноцветными группами сбившиеся эстафетки колыхнулись, переступили и тоже замерли, не переставая, однако, молча оттирать туловищами сотоварищей своих, чтобы быть ближе к дороге и скорее других перенять на бегу у связчика заветную палку и рвануть вверх по улице.

Стартового пистолета у Вайсбаума тогда еще не водилось, он взнял в воздух волосатый кулачище — все вокруг совсем перестало шевелиться, вроде бы и дышать перестало, и, громко выпустив из себя много воздуха вместе со звуком, напоминающим “ах”, “гах” или “арш”, рубанул кулачищем — и тут же физкультурники сорвались с места, ринулись вдаль по мокрому булыжнику.

У Господа нашего праведного есть, видать, особые претензии к плутоватой советской прессе — никогда Он, милостивец, просто так торжественный День печати не пропустит, непременно на нем поприсутствует, испортит его, поднапустив ветру, холоду, когда и дождя со снегом.

Вот же, совсем недавно, несколько дней назад прошел праздник солидарности трудящихся в солнечном сиянии, в тепле, люди на демонстрации шли в пиджаках, в платьях, физкультурники почти и вовсе без ничего пирамиду делали на открытом кузове грузовика Вторчермета. Празднование Дня печати спервоначалу тоже ничего неприятного не сулило. С утра солнышко выглядывало, даже теплом с Уральского хребта веяло, редактор руки потирал, радуясь погоде, но пока я носился по городу, пока редактор организовывал эстафету, выводил ее к цели, на небе произошли роковые изменения.

Надо заметить, что, кроме множества красот, достопримечательностей, природных явлений, исторических притч, легенд и странностей, окружающих город Чусовой, а также всяческих разнообразных событий, происходящих в самом городе, есть совсем уж особенность уникальная, единственная в мире: именно здесь, в уральском городе Чусовом и его окрестностях, окончательно останавливается и замирает течение Гольфстрим. И кабы оно, течение-то морское и воздушное, взяло бы и просто так остановилось, так нет ведь — прежде чем остановиться, походит, покружит подле города и над городом космической грозой, повыщелкает все стекла в домах, побьет чего надо и не надо, смоев бешеными потоками все дерьмо, весь хлам, вывезенный на гору, в улицы, и тогда

поверженно, растерянно замрет горд, по улицам которого сочатся нечистоты мутными потоками, дымятся и парят возвращенные ему с высот богатства санобоза.

Металлургический завод и город подле него строили французы, капиталисты проклятые, хорошо, правда, строили, добротнo, поближе к удобствам и сырью — им тут не жить, приснули вот от очистительной революции, а небесные силы громят и моют город, живи вот в нем, терпеливый трудовой народ, эстафету каждый год проводи.

Словом, еще до того, как взметнул вверх свой кулачище спортивный вожак Вайсбаум, до того, как он издал клич, зовущий к победам, накрапывало уже, и с Уральских гор дохнуло холодом, и не был еще пройден первый этап эстафеты, как улицу Ленина наискось прочеркнуло несколько пробных белых линий; ко второму этапу небо обвалилось на город, заклубило, понесло по нему снежную завесу, свету Божьего сделалось не видно, однако физкультурники все равно героически бежали куда надо и передавали палку кому надо. Чусовской, ко всему привычный народ не расходился, закрываясь от непогоды кто чем, кутаясь кто во что, зрители кричали, взбадривая “своих”, даже начальство с трибуны не сошло. В разрывах снежного смерча стойко сверкал кокардою нарядный картуз начальника милиции Зайцева. Но вот, как-то разом, словно из мучного мешка уже все вытряхнулось, осадило в улицы белую пыль вместе с дымом и сажею металлургического завода, черно поплыло по канавам, меж булыжников. Уныло обвисли, скомкались лозунги с бодрими призывами, сникли красные знамена, и тут еще один удар настиг и без того подпорченную, почти сорванную небесной канцелярией эстафету газеты “Чусовской рабочий”, подверглась она еще одному совсем суровому испытанию. На третьем, последнем, этапе вдруг схватилась за грудь девушка в белой кофточке, в голубых трусах, шибко намокших и обозначивших формы, далеко не богатырские. Ноги девушки начали в коленях гнуться, раздваиваться, движение их замедлилось. Девушка падала, но и падая, не выпускала эстафетную палочку, протягивала ее вперед, беззвучно распахнутым ртом звала кого-нибудь принять эстафету, донести до цели.

Забухали сапоги по камням — это два самых молодых, самых красивых чусовских милиционера, бросив пустую, хотя и почетную службу по охране празднично убранной трибуны и начальства, в непогоду на ней бедующее, но не сдающееся, зажав картузы под мышками, бросились навстречу де-

вушке. Один из них подхватил физкультурницу, уже оседающую в жидкую грязь на булыжник, другой, переняв палку, бросился догонять эстафету. Поскольку парень стоял на посту без дела, сил молодецких в нем сохранилось много, он у самого уж финиша настиг бегущих и, будь еще хоть маленько дистанции в запасе, обогнал бы их, но все означенные пределы кончились, милиционер по собственной инициативе еще пронесся сколько-то метров, затормозил возле тротуара, взняв сапогами ворох брызг, из толпы послышалось: “У-у, лешой, всю грязью обвожгал...”

Милиционер тряхнул мокрым чубом, бросил на голову картуз и потрусил к трибуне, на пост, а ему со всех сторон овации, крики, сам начальник милиции Зайцев руку жмет, редактор приветствует, горкомовское руководство одобрительные улыбки шлет. Милиционер же одно свое: “А как девушка-то? Что с ней?” — “Да вот она, я... — выступила из-за трибуны девушка в наброшенной на плечи шинели ремесленного училища. — Вы уж меня извините, пожалуйста...” — “Да чего там, — махнул рукой милиционер, — главное — не померла, главное — эстафету донесли, лицом в грязь не ударили...”

Когда вручали грамоты и кубки, заминка получилась, хотели молодых милиционеров чем-то поощрить, но грамот лишних не было, тогда наш редактор нашелся и объявил устную благодарность молодым бойцам и еще раз руку им пожал. А я назавтра написал отчет об эстафете в газету “Чусовской рабочий”, и он был крупно, выделительно набран и напечатан на первой полосе под развевающимися знаменами среди радостной толпы чусовских трудящихся.

Потом я видел braveго милиционера гуляющим под руку с молодой девушкой. Город невелик, здесь почти все про всех знают. Говорят, что это та самая девушка-“эстафетница” и есть, будто с эстафеты дело меж ней и спасителем ее сладилось, будто стали они мужем и женой, будто двух детишек нажили и в люди вывели...

Совсем святочная мистерия, со святочным концом получилась в городе нашей далекой молодости, и было это совсем, совсем недавно, кажется, вчера было...

6 октября 1991 г.

Академгородок

ОСЕННЯЯ ДОРОГА

Венок сонетов

1

По дороге в Загорск понимаешь неволью, что осень
Не желает уже ни прикрас, ни богатства иметь.
И опала листва, и плоды разбиваются оземь.
И окрестные дали оплавил тусклая медь.

Что случилось со мной на ухабистой этой дороге,
Где осеннее небо застыло в пустом витраже,
Почему подступает неясное чувство тревоги
И сжимается сердце, боясь не разжаться уже?..

Вдоль стекла ветрового снежинки проносятся вкось,
В обрамлении белом летят придорожные лужи,
А душе захотелось взобраться на голый откос,
Захотелось щекою к продрогшей природе припасть
И вдогонку тебе, моя жизнь, прошептать: "Почему же
Растеряла июньскую удаль и августа пышную власть?.."

2

Растеряла июньскую удаль и августа пышную власть...
Беспощадное время и ветер гуляют по роще.
Никому не дано этой жизнью насытиться всласть,
И судьба на ветру воробьиного клюва короче.

**Евгений
БЛАЖЕЕВСКИЙ**

— родился в 1947 г. в Кировабаде (ныне Гянджа). Окончил Московский полиграфический институт. Автор книги стихов "Тетрадь" (1984 г.).

Мимолетная радость в изношенном сердце сгорит,
Ожидание смерти запряжено в завязи почек,
Да кому и о чем на могильной плите говорит
Между датой рождения и смерти поставленный прочерк!..

Неужели всю жизнь, все богатство ее перебора
Заключает в себе этот жалкий, нелепый дефис?!.
Я лечу сквозь туман за широкой спиной шофера,
Мой возница молчит, непричастный к подобным вопросам,
И пора понимать, что с подъема спускаются вниз,
Что дороги больны, что темнеет не в десять, а в восемь...

3

Что дороги больны, что темнеет не в десять, а в восемь,
Не приемлет душа, но во времени выбора нет.
Как постылого гостя, мы с ней тяжело переносим
Зажигаемый рано худой электрический свет.

На осеннем ветру мир туманен, суров и немолод.
Жизнь запрягалась в шкуры, в берлоги, за стекла теплиц.
Подворотнями мается мучимый слякотью холод,
И небесное бегство закончили выводки птиц.

Опустело вокруг, и такая большая печаль
В эту пору распада, расхода, разлета, разъезда...
Мой возница, ругнувшись, нажал тормозную педаль,
Заработали "дворники", веером сдвинули грязь,
И тогда я увидел за черной чертой переезда,
Что тоскуют поля и судьба не совсем удалась...

4

Что тоскуют поля и судьба не совсем удалась,
Запишу на полях своей повести небезупречной,
Где нескладный герой, от насущных забот удалясь,
Пребывает в тоске и бессмысленной муке сердечной,

Где с мостами сгорели его корабли за спиной,
Где он склеил гнездо из осколков разбитой посуды
И притом повторял, что ни встречи, ни жизни иной
Не предвидит уже и пора прекратить пересуды.

Только что это?! Вновь возникает наплыв силуэта,
И тебя узнаю сквозь рябое от капель стекло...
Наваждение мое, отголосок счастливого лета,
Это правда, что я из прекрасного возраста выбыл,
Что взаимное время для нашей любви истекло,
Что с рождением ребенка теряется право на выбор?..

5

Что с рождением ребенка теряется право на выбор,
Понимаешь не сразу, но бесповоротно уже.
Как продутому Невскому снится заснеженный Выборг,
Так ребенок приснится своей беспокойной душе.

И куда бы ни ехал, куда ни спешил бы отныне,
Ощущенье вины подавляет тебя изнутри.
И пора позабыть о своей чистокровной гордыне,
Позабыть хоть на день, хоть на год, хоть на два, хоть на
три...

А возница опять нажимает шальную педаль
И скрипят тормоза, проверяя изгиб поворота.
Налетает снежок, подмосковную зябкую даль
Оживляет солдатик с развернутым красным флажком.
Переходит дорогу из бани спешащая рота,
И душе тяжело состоять при раскладе таком...

6

И душе тяжело состоять при раскладе таком,
Где тепло очага охраняет незримая Веста
И стоит, среди прочих, недавно построенный дом,
Но в квартирном быту для тебя не находится места.

Разорвать бы пространство, его заколдованный круг,
Нескончаемый круг, из которого вырос и вызрел!..
Мимолетная жизнь как метафора наших разлук,
И судьба одинока, как дальний охотничий выстрел.

И куда убежишь!.. Пожелтели твои перелески,
Промелькнула церквушка, со стекол стекает вода.
И пространство летит, и туман опустил занавески

На осенний пейзаж, и дороги — куда ни вели бы —
В эти тусклые дни возвратятся с тобою туда,
Где семейный сонет исключил холостяцкий верлибр...

7

Где семейный сонет исключил холостяцкий верлибр,
Там округлая форма реки, заточенной в трубу.
И по ней не плывут корабли, а ленивые рыбы
Не стоят косяком, на крючок направляя губу.

И течет твоя кровь, в темноте замедляя движение,
По гармошкам бормочет стоящих в доме батарей,
И семью согревает железное кровоснабжение,
Целиком поглощая все помыслы жизни твоей.

И уже не хватает ни правды, ни слов, ни тепла,
Ни тревожной надежды, ни тайны, ни внутренней силы,
Хоть в горячих потемках сошлись и совпали тела,
Хоть любовь замерцала в остышей золе угольком...
Но приходит пора, когда быть молодым — некрасиво,
И нельзя разлюбить, и противно влюбляться тайком.

8

И нельзя разлюбить, и противно влюбляться тайком,
И с подружкой под ручку спешить переулком холодным,
И давиться любовью, как послевоенным пайком,
Но, вкусив молодой поцелуй, оставаться голодным.

И, поспешно одевшись, сказав на прощанье “Мерси...”,
Убегать в никуда, растворяясь в осеннем тумане,
И, поймав на пустынной дороге пустое такси,
Озираться опасливо, словно Печорин в “Тамани”.

А вокруг темнота. Только лист, вдоль дороги торчащий,
Только ветер, шумящий в шатрах облетающих крон,
Да предутренний голос, усталой душе говорящий,
Что любви не догнал, не схватился рукою за стремя...
Кто бы ни был попутчик — шофер или пьяный Харон,
По дороге в Загорск понимаешь неволью, что время...

По дороге в Загорск понимаешь невольно, что время
 Не песочно-стеклянный бессмысленный катамаран.
 Сокращаются сроки, беднеет на волосы темя,
 А в глазах, как и прежде, ночует весенний дурман.

Не считаются чувства с неловкой усталостью плоти,
 Как чужие, живут на харчах и довольстве твоём.
 Ты едва поспешаешь в мелькающем круговороте,
 И качели, скрипя, пролетают земной окоём...

А водитель опять закурил голубой "Беломор"
 И нашарил приемник тяжелой мужицкой рукою.
 Говорили о спорте: Пеле... Марадона... Бимон...
 А я думал о том, что не надо судьбу ворошить,
 Что покой бытия, да с подкладкой своей роковой,
 Не кафтан, и судьбы никому не дано перешить...

10

Не кафтан, и судьбы никому не дано перешить —
 Этот мир, что надет на тебя поначалу на вырост
 И просторен вполне, но потом начинают душить
 Воротник и потертый пиджак, из которого вырос.

Ни вольготно плечом повести, ни спокойно вздохнуть —
 И в шагу, и под мышками режет суровая складка.
 И уже не фабричная ткань облегла твою грудь
 И запястья твои, а сплошная кирпичная кладка!

Впрочем, это гипербола выгнула спину дугою,
 И кирпичный костюм вроде сказочки Шарля Перро.
 Видно, время прошло и, возможно, настало другое,
 Непонятное мне... И куда-то уходит горенье
 Суматошного сердца, и падает на пол перо,
 Коли водка сладка, коли сделалось горьким варенье...

Коли водка сладка, коли сделалось горьким варенье —
 Не вина, а беда беспробудных ваньков и марусь.
 Безрассудному пьянству не буду искать объясненье,
 Но насколько оно безрассудно, сказать не берусь.

В этой слякоти дней, в этом скучном ничтожестве быта,
 Как забвеньё — бутылка, как счастье — граненый стакан...
 Керосинная бочка судьбы да четыре копыта,
 И куда доходяге-коню подражать рысакам!..

“Ну и прет же алкаш!..” — возмущенно бормочет шофер.
 Промелькнуло пальто, и фигура качнулась слегка...
 Что хотел он сказать, когда руки свои распростер,
 И в стекло погрозил, и пошел в направлении забора,
 Этот жалкий прохожий, спешащий домой из ларька,
 Коли осень для бедного сердца плохая опора?..

Коли осень для бедного сердца плохая опора,
 То дождись декабря, где тяжелому году конец.
 Наряжается елка, и запахи из коридора
 Воскрешают страницы пособия Молоховец.

И снежинки, слетаясь, стучатся в оконную раму,
 И дубовым становится стол перочинно-складной...
 Ты веселых друзей пригласи и покойную маму
 Усади в уголок, чтоб ей не было скучно одной

В этот вечер, когда за спиной открываются бездны
 И на миг вспоминается зыбкая детская тайна...
 — Вам салат положить или крылышко?.. — Будьте
 любезны!..

И пошла мешанина, и начали свечи тушить,
 И опять вперемешку — Высоцкий, Матве, Челентано
 И слова из романса: “Нам некуда больше спешить...”

И слова из романса: “Нам некуда больше спешить...”
 Про себя повторяю в застольном пустом разговоре,
 И мотив продолжает в прокуренном горле першить,
 И пролетка стоит на холодном российском просторе.

И сидит в ней надменный писатель в английском плаще,
 Словно кондор, уставясь в сырое осеннее небо.
 О, старинная грусть и мечтания, и вообще
 Чепуха, вспоминать о которой смешно и нелепо!

Как любил я тебя в девятнадцать рассеянных лет,
 Навсегда покидая свой край, где Кяпяз и Кура!..
 Но меня уже нет, и девчушки хохочущей нет,
 И машина за КраЗом уныло ползет с косогора,
 И о том, что спешил неизвестно зачем и куда,
 Так и хочется крикнуть в петлистое ухо шофера.

Так и хочется крикнуть в петлистое ухо шофера:
 — Не гони лошадей по разбитой своей мостовой!
 Им уже не нужны ни ямщицкая глотка, ни шпора,
 И зеленый бензин заменил табунку водопой.

Пусть они постоят бестелесные, холочка — к холке..
 Колеса вдоль погостов, базаров, ангаров и школ,
 Я вполне преуспел в запоздалой своей самоволке
 И без них обойдусь, догоняя того, кто ушел.

Лошадиные силы души и душевные силы мотора!..
 Перепуталось все: из камней создают виноград,
 И детали растят на бесхозной земле у забора,
 И тебе самому твой угрюмый характер несносен;
 Только как разобраться в потерях и кто виноват?
 По дороге в Загорск понимаешь невольно, что осень...

По дороге в Загорск понимаешь невольно, что осень
Растеряла июньскую удаль и августа пышную власть,
Что дороги больны, что темнеет не в десять, а в восемь,
Что тоскуют поля и судьба не совсем удалась,

Что с рождением ребенка теряется право на выбор,
И душе тяжело состоять при раскладе таком,
Где семейный сонет исключил холостяцкий верлибр
И нельзя разлюбить, и противно влюбляться тайком...

По дороге в Загорск понимаешь невольно, что время —
Не кафтан, и судьбы никому не дано перешить,
Коли водка сладка, коли сделалось горьким варенье,
Коли осень для бедного сердца плохая опора...
И слова из ромansa “Нам некуда больше спешить...”
Так и хочется крикнуть в петлистое ухо шофера.

Юрий Морозов

ПАРАШЮТИСТЫ

Все случилось так просто, как приключается только в добротных ночных кошмарах или вестернах совместного советско-индийского производства.

Волков ехал в метро и думал: выходить ему у “Электросилы” или нет? Опять звонила Инна и сказала, что от семи до восьми вечера будет сидеть на скамейке возле киосков. Узнает он ее по гитаре и по тому, что она будет петь.

Волков стоял, облокотившись на поручни возле монотонно смежающихся и расходящихся дверей вагона, когда у “Московских ворот” ворвавшийся на остановке жлоб двинул его здоровенным “пластилинадавом” по ноге. Был он в пятнистой куртке наемника. “Афганец”, — подумал Волков, а демобилизованных “интернационалистов”, обычно красно-рожих и дюжих, он почему-то на дух не переносил.

— Ты не мог бы поосторожнее? — вякнул Волков, успев схватить жлоба за плечо.

— Руки!

Предполагаемый «афганец» повернулся к Волкову и сделал правой рукой некое угрожающее движение.

— Сейчас, — ответил обычно пацифистствующий, но внезапно озверевший от десанничьего хамства Волков и, сняв руку, оскорбленной ногой резко наступил на ногу пятнистого героя. Краем глаза он успел заметить повторное угрожающее движение снизу вверх его, видимо, хорошо натренированной

**Юрий
МОРОЗОВ**

— родился в 1948 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский политехнический институт. Работает звукорежиссером фирмы “Мелодия”. Писать начал в 70-е годы, но лишь в 1991 г. напечатал два ранних своих рассказа в коллективном сборнике “Светильник” (Спб.). “Парашютисты” — первая журнальная публикация Ю.Морозова.

в подобных ситуациях десницы, а затем дыхание в горле пресеклось, и в глазах сверкнуло, как в грозовую ночь. Пятнистый ребром ладони огрел его по шее и ухмылялся, глядя на посиневшее от удушья и гнева лицо Волкова.

И тогда опять произошел этот, как он называл про себя, “прыжок без парашюта”. Пространство обыкновенного воздуха, света и звуков с треском разорвалось, и он, не чувствуя за плечами обычного спасительного зонтика рассудка, съехал в это беспарашютное измерение. Как будто чужим, но хорошо заученным движением (то ли шпионские фильмы сыграли свою роль, то ли давно позабытые детские криминальные игры и схватки), он выхватил из заднего кармана брюк маленький перочинный нож и тем же чужим профессиональным движением разломил его во всю длину.

Волков никогда не носил при себе ничего острее ключа от квартиры и ношение оружия почитал уделом натур чрезвычайно трусливых или маньяков. “Под Богом ходим, какое там, к черту, оружие”, — не раз говорил он своему приятелю, таскавшему в кармане куртки то велосипедную цепь, то отвертку, то перочинный нож.

А этот острый и ладный, как игрушка, ножичек с малиновой пластмассой щечек и металлической вязью никелированного иностранного слова “Викторинокс” на боку был подарен ему всего два часа тому назад одним заезжим швейцарским музыкантом, с которым он пил роскошное пиво из невесомых дюралевых баночек, беседовал на лапидарном английском и которому подарил свою новую пластинку, только что купленную им в “двойке” напротив “Думы”. “Бери, бери, — говорил швейцарец, — ты хороший музыкант, а это очень хороший нож, замечательная сталь, специально для офицеров швейцарской армии”. И точно, на коробочке было написано: Victorinox. Schweizer offizier. Остер был ножичек по-бандитски...

Пятнистый наемник даже как будто обрадовался такому героическому повороту событий и, по-дровосечьи хекнув, выбросил вперед невидимую в полете ногу. Но Волков, или тот, кто за него в беспарашютном измерении фехтовал ножичком, тоже не сплоскал и, отпрянув в сторону, полоснул перед собою рукой — по уже трупно запятнанной, но пока еще только от грязи шее.

Кучей пятнистого дерьма тело противника завалилось к самой двери вагона, и та, как в добротном кошмаре, вновь разошлась, мелькнули белые маски чьих-то лиц с выпученными глазами, а чужеродно суперменистый Волков, перешагнув

через исковерканную и обрызганную кровью человеческую морду, очутился на довольно пустынном перроне.

Рядом разевала пасть шахта бегущего вверх эскалатора. Дежурной в плексигласовой будочке не было, за спиной царил мертвая тишина, Волкову везло как утопленнику, и он гигантскими шагами бросился к эскалатору. Его вынесло наверх, потного от изнеможения. Метрополитеновский мент равнодушно прошел мимо в свое ментовское логово. Дежурная верха что-то делала около касс, и сквозь кошмарно-стеклянные двери — кажется, не открывая их, а прямо сквозь стекло — он выкатился на улицу. Как раз напротив станции уже зашторивал двери троллейбус, но подскочившему, словно в истерике, странному пассажиру водитель распялил одну из шторок вновь, и они благополучно отчалили от призрачного острова под флагом голубой буквы М, удивительно безлюдно в этот еще не поздний час.

Домой Волков добрался, не помня как, соскочив со спасительной палубы троллейбуса через одну морскую милю, то бишь через две или три остановки. Войдя в квартиру и убедившись, что жены нет дома, он бестолково потоптался посреди кухни, потом подошел к раковине и, машинально достав из кармана брюк сложенный, как положено, “Викторинокс”, открыл кран горячей воды. Когда он его сложил и сунул в карман, он не помнил. Нож был без единого пятнышка, но Волков совершенно машинально взял щеточку, намылил ее хозяйственным мылом из корзинки, присосавшейся к эмалированной стенке раковины, и драил щеткой то нож, то руки, то зачем-то рукав кожаной куртки, которую так и не снял, войдя в дом.

Зазвонил телефон. Порыскав глазами, куда бы пристроить нож, а кухонный стол и другой столик под кухонным шкафчиком были заняты посудой, бутылками из-под молока и прочей дребеденью, он положил его на верх шкафчика, как раз над раковиной, и пошел к разливающемуся тревогой аппарату.

— Ты знаешь, не получилось. Репетиция сумасшедшая была. Я только что вошел в дом. Извини, мне еще нужно собраться.

Ехали опять поездом. В последнее время билеты на самолет доставали только кудесники, а директор группы Волкова кудесником не был. Но, впрочем, путешествие этим допотопным и обстоятельным видом перемещения в пространстве и во

времени имело свои особые прелести. Так, в поезде возникала та особая купейно-гостиничная атмосфера отношений между членами волковской команды, и частенько происходили различные любопытные случаи, которые, конечно, никогда не смогли бы произойти в чересчур спрессованном пространстве обшарпанных лайнеров Аэрофлота.

В прошлую поездку, например, места их были разбросаны по трем купе, и в одном из них Волкова достала разговорами одна довольно симпатичная особа из провинции, но с претензиями всезнайки во всем и в “русском роке” тоже. Волка она как-то видела по “ящику” и узнала его. Рок-н-рольные суждения ее основывались на впечатлениях от 8—10 наиболее разрекламированных групп, и она страстно жаждала узнать поподробнее образ жизни музыкально-легендарных личностей и волковской в том числе. “Ну ты сама догадываешься, дорогая, что у нас все не так, как у жлобов”, — серьезно изрек Волк. — “Ну вот, например...”

И через полчаса простушка-провинциалка сидела по-турецки на вагонных полатах с сигаретой в одной руке и стаканом портвейна в другой, и что примечательно — абсолютно голая. А Волк, одетый и в меру серьезный, менторски втолковывал ей, что в среде музыкантов и передовых женщин такие манеры и способ общения наиболее распространены. В купе входили и выходили члены команды, как будто не обращая особого внимания на привычно голых железнодорожных попутчиц, она при этом уже почти не смущалась, а за дверью купе давились от хохота.

К ночи, утомясь от портвейна и умных разговоров, она начала было укладываться на нижней полке, но Волк сообщил, что наверху он спать не может с раннего детства. “А зачем тебе лезть наверх? — спросила наивная простушка. — Мы и внизу вдвоем поместимся”. — “Ну что ты, — ответил коварный Волк, — я вдвоем на таком прохрустовом ложе даже в Бердичеве не спал”. И он подсадил голую и недоумевающую провинциалку наверх, попутно, естественно, случайно (за что он тут же извинился) попав ей своим большим пальцем куда-то в очень чувствительное место. После этого лег и уснул мертвым сном. А наутро эстетствующая любительница все знать бесследно исчезла, хотя ей нужно было выходить, по ее разговорам, еще не скоро.

Как и в прошлые поездки, тоже, конечно, по чистой случайности, в их купе оказался целый рюкзак портвейна, и это несмотря на форменную блокаду русского народа, которому,

как известно, без вина, либо без одеколона, либо ацетона, либо древесного спирта жить невозможно никак.

“Ладно, — думал Волков, — этот концерт предпоследний. Еще сыграю на весеннем фестивале и...”

Но в глубине души он чувствовал, что и фестиваль, возможно, не будет его последним выступлением, хотя что ни концерт, то вечно какой-нибудь бардак то ли с организацией, то ли с аппаратурой, то ли с балансом звука, то ли с непомерными аппетитами аппаратчиков, ставящих “аппарат” и вымогающих все деньги, вырученные за концерт. А все же жизнь без поездок и гастрольных передраг была бы жизнью послушника, готовящегося ко вступлению в монашеский орден.

Бывали, правда, исключения из правил, и случался концерт, как недавно в Академии художеств, когда все звучало как надо потому, что не было никакой аппаратуры: ни микрофонов, ни пультов, ни кроссоверов и усилителей с “порталами”, ни вечно рваных и “фонящих” кабелей. В храмовом пространстве старинного зала согласно витали и голоса, и фыркание флейты, и звон гитар, и все это происходило так же естественно и просто, как и во времена зарождения этого странного явления — музыки. И немногочисленная публика, казалось, чувствовала это тем самым местом, которым она редко когда чувствует, а потому, несмотря на сорокаградусный мороз, трещащий на улице, услышанным осталась довольна весьма.

И Волков был рад, что не перловая крупа тел и лиц напирала на него, а люди, чуть ли не каждого из которых можно было распознать, идентифицировать, посмотреть именно на него, а не куда-то в темноту зала. От огромного скопления людей Волков страдал с самого детства и старался избегать его как только мог, хотя в начальный период его карьеры ему, бывало, льстила роль повелителя обезьян, которые по взмаху его руки или по одному слову начинают визжать, топать, лезть на сцену и почти так же послушно превращаются в подобию людей по воле другого слова или взмаха руки. Но теперь на сцене частенько ему хотелось в разгаре особенно людного концерта рявкнуть в микрофон: “Ну, чего как мухи на дерьмо слетелись? А ну по домам живо”. Из-за этой черты характера много концертов с его участием не состоялось — может быть, самых лучших.

Концерт в очередном Усть-Пропашенске был сборной солянкой, потому как на сольный в наше апокалипсическое время публика собирается только ради звезд, удостоившихся чести соседствовать фотографиями на коопларьках рядом с

опухшими от гормонов культуристами и сисястыми телками из американских эротических фильмов.

Бардак, начавшийся в поезде, продолжался в гостинице и, конечно, на сцене. Один из звездных героев этого уездного фестиваля два дня безвылазно пьянствовал в номере, в семейных трусах до колен разгуливая по нему и время от времени выпадая в общий гостиничный коридор, но почитатели и почитательницы звезды не давали ей упасть в лестничный пролет или заблудиться в комнате горничных и благополучно втащили в конце концов его полуживого под руки на сцену как главную закуску местных фанов...

Волков и его акустическое трио отыграли свое ни хорошо, ни плохо, а нормально, сколь это возможно было при подвыпившем операторе за пультом, который дал в подзвучку одни голоса и флейту, но забыл про гитары. Впрочем, они и не особенно старались, но так как Волков прочно числился в полужизнях, публика принимала его с видимым воодушевлением и после последнего номера, не отпуская, шумела: "Волк, давай еще, Волк, Волк..." На хиты они реагировали нормально, но стоило ему копнуть чуть глубже и спеть одну из тех песен, что он написал в последнее время, как недоумение разливалось по залу и кто-нибудь уже кричал: "Волк, кончай мудить, давай "Сгиньте люди!"

После недолгого музыкально-эротического хаоса, произведенного группой спившихся пионеров, которую по созвучию с оригинальным названием группы в народе ласково называли "Менструация", на сцену один с гитарой вышел первопроходец отечественного рока Вася Голодный со своими религиозными балладами, приглашенный на эту тусовку скорее всего случайно, по ошибке. Голодный возник на сцене незаметно, как бы из воздуха. Происходило это потому, что до выхода на сцену разглядеть в нем рок-артиста было чрезвычайно трудно. Без заклепок и шипов, без кожаной куртки "рок-н-ролл", без прихлебателей и приятелей, всегда в своем потертом пальто до пят с полевой сумкой из "кирзы" через плечо и в облупленных, потрепанных туфлях, которые Волк видел на Голодном неизменно в течение последних десяти лет. Кстати, туфли эти тот нашел на берегу маленького лесного озера вместе с Волком. Хозяин то ли сам выбросил их из своей жизни, то ли жизнь вытряхнула его из них, и вот, пожалуйста, в криминальных опорках десять лет ходит большой артист и человек. Да, Америке такое не по плечу.

Волков из-за кулис видел, какими ушибленными стали лица у многих в зале после первой же песни, и слышал отдельные выкрики: “А мы в Бога не верим”, “Металл давай!” Что им было до Бога и до каких-то там проблем в каждой, да, да, в каждой, хотя бы через одну, песне. Первопроходцы, бывшие и настоящие, у этой публики были не в цене, и большой энтузиазм вызывал какой-нибудь Мишка, с которым не так давно еще вместе пиво у ларька распивали, а теперь он, глядишь, из Гамбурга на своем “мерсе” прикатил. Вот это круть! Да и попрыгать под Мишкину музыку можно, поорать, сесть кому-нибудь верхом на шею или себе на горб какую-нибудь телку закинуть. А тут сиди, слушай, как дурак, неизвестно что, непонятно о чем.

Волков со стыдом вспоминал, как однажды в метро, сразу после поездки в Париж, он, веселый и слегка пьяный, в компании с неким Лешкой, только что тоже вернувшимся то ли из Копенгагена, то ли Берлина, встретил Васю. Голодный ехал на работу в больницу, где работал медбратом, таскал носилки с прогнившими строителями светлого будущего, в настоящем выброшенными на помойку истории, как отработанный шлак, по собственному почину ухаживал за стонущим недужным человечьим мясом, колол шприцем бесконечные отлежанные задницы, в общем, развлекался как мог и все не по принуждению, а сам, САМ.

И подвыпившие, повидавшие вольный мир, может быть, от его воздуха пьяные Волков и Лешка стали похлопывать Голодного по плечу и признаваться ему чуть не со слезами на глазах, что если б не он и не его песни (и, перебивая друг друга, они цитировали их одну за другой), не бывать бы ему, Волку, ни в Париже, ни в Гамбурге, а Лешке ни в Ливерпуле, ни в Риме, ни даже в Узбекистане. А послезавтра Лешка летел в Сан-Франциско, а ты, отец, как, едешь куда-нибудь?

— Да, вроде бы в Житомир собираюсь, если на работе отпустят.

— Ну, Житомир — отличный город, лучше, чем Гамбург, в некотором смысле. Езжай, не пожалеешь, — великодушествовал Лешка.

И Голодный ехал в Житомир, Волков в Париж, Лешка во Фриско. Каждому свое. А жаль парня. Такие песни писал и вдруг задурил, да еще как, что ни песня, все с религиозным уклоном. Пошел работать в больницу, а мог бы деньги загребать лопатой на одном только раннем материале. Но его он больше не поет, а все про Христа да с моралью норовит.

В глубине души Волков сочувствовал Голодному и знал, что он, Волк, прост, как говорящий валенок, а Вася — человек. Почувствовал лажу в том, что происходит с роком, вообще с людьми вокруг, с ним самим тоже, и плюнул на эту круговерть. Ведь поначалу все они были просто парнями с гитарами, запевшими о том, о чем больше не могли молчать. Потом из них стали делать артистов. Хочешь сниматься на TV или в кино в роли, которую тебе придумал выживший из ума киношный педрила, — ломайся, кривляйся, стань похожим на тех, ненавистных тебе с детства совковых лицемеров, отвращение к которым заставило тебя взяться за гитару. А чтобы эти беззубые кривлянья не были столь беззубы, не посыпать ли их перчиком чертовщины? А не вытащить ли на сцену телку посисястее, у которой от всего этого рока мозги набекрень, да пусть попляшет голой, чтобы эросом не запахло, а завоняло. Вот это будет рок!

Да, ему, Волку, нужно совершить в своей паршивой полужизни что-то подобное тому, что сделал Голодный. Вырваться из толпы протитупирующих на чем угодно стебко-пареньков, девочек однодневочек и рок-монстров, сначала утрировавших свою монстровидность в шутку, а потом уже всерьез, за деньги, потому что теперь они не в силах что-либо изменить. Доморощенным рок-мефистофелям, конечно, далеко было до сатанинских шоу-шабашей мефистофелей из-за бугра, но главное ведь в театре не на сцене, а как вживешься в роль. И вживание проходило успешно: одни вешались или резали вены, другие выпрыгивали из окон или убивали своих подруг.

И с Волком в последнее время не все было в норме, пока что где-то глубоко в колодце подсознания, но протуберанцы этого подземелья иногда пробивали толщу коры засаленного бытия, и тогда он в необъяснимом пароксизме деструкции разбивал вещи, рвал знакомства, отменял концерты. Или иногда, глубоко задумавшись, вдруг ловил себя на том, что разрабатывает план проникновения куда-нибудь, например, в Большой дом. На нем супербронежилет, автомат “узи”, компактный огнемет. Он врывается в эти длинные высокие коридоры с бесконечными рядами трехметровых дверей по обе стороны и... Или он устраивает хитроумную засаду — оборону в своей квартире и сражается с целым десятком вооруженных мафиози...

А Вася выскочил из их толпы, меченной печатью рок-н-рольного проклятия. Но выскочил ли? Быть может, это только передышка. Ведь начинал он так же, как и все они. Да, впрочем, что это он несет — как все? Конечно, не так, как все,

а неизмеримо круче. И это не пустое бахвальство подмастерья, месившего глину в одной посуде с мастером. Нет. Так оно все и было. И то время, когда он играл с Голодным в одной команде, не только лучшее время в его волчьей жизни, но и в жизни вообще.

В те глухие, безголосые годы, о которых со слезами на глазах ныне грезят отощавшие объекты экономических и прочих реформ, Голодный, Волков и их команда были, наверное, единственными бескомпромиссными подвальными бойцами среди и так не густой армии пошловатых, с кабатчинкой, так называемых “русских рокеров”. Впрочем, “русскими” они стали позже, в пору всеобщего национального экстаза.

Что пели до них с Голодным? “Мальчики, на девочек не косите глазки”. Что-то слегка обиженное про серых людей, мешающих лучезарным хипанам нюхать цветы. Что-то слащавое про любовь и, естественно, про неестественную, без голубизны, мужскую дружбу. Или просто цельнотянутые, наивно замаскированные англоязычные подстрочники.

А Вася дерзко вывел на русскую сцену антигероя с перепутанными стропами нервов, опасного, как зараженная СПИДом красавица нимфоманка, но с душой ребенка и богоискателя. А потом он все бросил — и своего антигероя, и смоделированную в чем-то под него свою рок-судьбу, а он, Волк, подхватил брошенное им черное знамя, и вот ему хлопают его фаны, не часто, но пишут его имя на стенах мест общего пользования, и околмузыкальные девчушки, может быть, и не испытывают на его концертах свои первые оргазмы, но балдеют в полный рост, а бедного Васю, фактического отца этих блудных детей рока, обходят молчанием радио, телевидение, дерьмовая “Мелодия”, а в ублюжьих рок-энциклопедиях за родоначальника русского рока держат эту рекламную вторичность — Щенкова, который переводил слова одних английских песен, подставляя к ним гармонии других и, пожалуйста, — РОДОНАЧАЛЬНИК...

— Ну и стадо! — раздражался Волков. — Хотя бы на секунду своими, а не чужими ушами критиков и модничающих остолопов прислушались к тому, что и как он поет!..

И он с надеждой выглядывал из-за кулис в зал, где вежливо-индифферентная вначале публика быстро переходила к недовольным выкрикам: “Хватит, надоело, иди домой” — и начинала захлопывать новую песню. А Волков злобно вспоминал, как во времена, теперь уже библейские, когда не было ни законодателей рока, ни писателей-неудачников, сначала ругавших этот самый рок, а потом пригревшихся в тени создан-

ной ими самими “русской рок-культуры”, люди с надеждой слушали именно музыку, а не собирались в густые стада парнокопытных, тусующихся подо что-нибудь новомодное или всеми признанное. И еще вспоминал он, как совершил воровской поступок по отношению к Васе, потому что ему нравилась до судорог некая блондинка-меломанка, а у нее извергала слезы Васина песня “Облако”. И он сказал ей, что это его песня, и вкушал райские плоды своего разбоя не один раз, а вот теперь музуроды реагируют только на имя, многожды повторенное на афишах или прочавканное лицемерной утробой телевизора, а сердца и души их как фильтры, отсеживающие только грязь и накипь...

После концерта где-то на флэту, как всегда, приключилась с местными рокерами пьянка не пьянка, но встреча с пивом и коньяком. Толпа всякого народу, шум, дым. Крутилась какая-то помятая запись, где под гитару довольно чистый женский голос пел что-то как будто ужасно знакомое, но нет — совершенно неизвестное, просто внутренне очень близкое. О чем поет — не разобрать, запись плохая, но голос интонирует так уверенно, так тоскливо-прекрасно, что даже кожа покрывается гусиными пупырышками.

— Что это? — спросил Волков.

— А, это Инна. Неплохо поет, но как-то не в струе, не модно. Кстати, она была твоей и Голодного отчаянной фанаткой. Даже кое-какие твои песни пела.

И верно — с измятой пленки сквозь шорох и треск доносилась его песня “Сбитый Ангел”. Но Боже! Какой неузнаваемо чудной была она в исполнении этой Инны! Ведь, наверное, это она все названивала ему по телефону, а он думал, что это очередная рок-шизофреничка из тех, что коллекционируют мгновения любви с известными музыкантами. Как та, что недавно достала-таки его своей энергией и миловидностью. Но вовремя, пока он еще не включился на третью скорость, проговорила, что он у нее юбилейный: 150-й по счету музыкант за один только год. “Прими мои поздравления, — сказал сразу застегнувшийся на все пуговицы Волков, — но у меня сегодня что-то не юбилейное настроение...”

— Почему пела? — спросил Волков.

— Да она уже с полгода как уехала в Питер. Мужа здесь оставила, а сама туда. Как раз полгода назад на их свадьбе гуляли. Муж у нее тоже музыкант, хороший рокер, но что-то

у них, видимо, не срослось. Раз как-то она “колес” наглоталась. Едва откачали.

— Наркомша?

— Да нет. Помереть хотела. А потом уехала. В Питере у нее брат, то ли двоюродный, то ли троюродный. Недавно из армии вернулся.

— А фотографии какой-нибудь ее нет здесь?

— Может, и есть. Хозяин флэта раньше все сэйшины и рокерские сходки фотографировал, пока не запил да не женился.

И собеседник Волкова повел его в другую комнату, где в ящиках из-под посылок лежали грудями сотни любительских фоток.

— Вот она и вот, — указывал гид Волкова, но он и сам уже узнал эту блондинку с невероятно белыми, как будто даже седыми, но, кажется, не крашеными, а такими от природы волосами.

Он вспомнил, как на одном концерте месяца 3—4 назад она выбежала на сцену с тремя розами и поцеловала его в щеку, а он в насквозь промокшей после игры черной майке прижал ее признательно к своей груди, а когда отпустил, то на ее тонкой белой блузке отпечатались два круглых влажных блюдца. Он эти блюдца потом не раз вспоминал, но в конце концов, конечно, забыл. Тогда сразу после концерта он спешил к кому-то на пьянку и отшил ее по-быстрому. Припомнил он, что она давным-давно передавала ему через знакомых кассету со своими записями, но он не удосужился ее послушать, априори пренебрежительно отнесся к какой-то там Инне из какого-то Нижнезадрищенска.

К тому же отечественных поющих женщин Волков с молодости не переваривал. А уж звезды советского рока или эстрады ничего, кроме мозговой рвоты, быстро переходивший в спазмы желудочно-кишечного тракта, у него не вызывали. Фирменные тетки другое дело: Бренда Ли, Д.Джоплин, Д.Баэз, Н.Хаген, Д.Росс и даже Б.Стрэйзанд. “Мне кажется, — говаривал Волков, — что у них в голосовом резонансе не только грудь вместе с сиськами резонирует, но и попа, ноги и то, что между ног, и даже пятки. А эти российские кобылы начнут верещать одной гортанью или полтитьки задействуют, если совсем перенапрягутся, а толку никакого, только трусы мокрые”.

А кассету ее он, кажется, затер. Куда-то надо было срочно послать его новые песни. Чистых кассет под рукой не было, и он воткнул в пасть магнитофона то, чего было не жаль. Верну, мол, ей потом другую. Обойдется.

Невыспавшийся и смурной после давешней вечеринки и ночного поезда Волков ввалился домой. Жена, критически обозрев его мятую, небритую физиономию, непонятно хмыкнула, а потом сообщила:

— Тебе опять звонила одна из “этих”.

— Каких “этих”?

— Ну, шизофреничек твоих роковых.

— Откуда ты знаешь?

— Да по голосу слышно. И не первый уж раз звонит. Смотри, Волков, сейчас свободных баб, которые посимпатичней, не бывает, я же знаю твой вкус. И получишь ты от ее мужика или от следующего так, что не до баб тебе будет. Кстати, мне тут сон один приснился.

— Опять сон!

— Почему опять? Мне давно ничего не снилось, а тут вдруг приснился ты в крови и весь какой-то непонятный — то ли тебя убили, то ли сам кого-то пришел.

Волков вздрогнул.

— Ты же знаешь — я медиум. Тебе, конечно, никого не убить, музыкален ты чересчур. Даже меня ни разу не попытался не то что убить, а побить по-хозяйски, как положено в хорошей семье.

И Волков не понял, шутит ли она о побоях, или действительно хочет, чтобы он хоть побил ее, что ли, только бы не обходил вот так стороной.

— А вот тебя самого действительно могут. За бабу или какая-нибудь твоя роковая дуреха из тех, что с бритвами на шее. Этими бритвами тебя и полоснет.

Волков, ничего не ответив, молча прошел в свою комнату и, поискав там некоторое время неизвестно что, но не найдя, сел, взял гитару и стал в задумчивости тренькать что-то старое, полузабытое.

Женился Волков, как настоящий парашютист — в прыжке, а научил его прыгать без оглядки в неизвестность, как в музыке, так и в жизни, все тот же Голодный. У него даже постулаты его парашютистской философии имелись. Так, главный из них гласил, что тот, кто изо всех сил цепляется за несущий его самолет, обязательно вернется на тот же аэродром или на другой, аналогичный любому аэродрому на свете. И только между аэродромами можно найти что-то стоящее и достойное настоящего прыгуна.

— А если попадешь к каннибалам?

— Каннибалы не самое страшное, да и нет их уже почти на свете. Смотри, лучше в коммунизм не попади, особенно с национальной окраской.

Сам Голодный в своей женитьбе, естественно, обогнул аэродромы, а жену нашел в прыжке в морскую воду. В Крыму, на диком пляже, где стояла его палатка, как-то во время небольшого шторма волнами сбило с ног и закрутило до беспамятства жертву его пикирующих способностей. Он вытащил ее из воды, делал ненужное, впрочем, искусственное дыхание, а ночью в его палатке она отдалась ему, по всей видимости, из-за обострившегося под действием шума моря, верещания цикад и массандровского шампанского чувства благодарности.

Спасенная Афродита (а Голодный тогда очень увлекался культом этой древней богини) оказалась петербуржкой, и узаконить их так удачно начавшиеся отношения по возвращении домой было проще, чем выпить бутылку портвейна № 13. Волк удивился было такой скоропалительной женитьбе и даже сказал Голодному, что “посмотрел бы сначала на нее месяцок-другой, а потом...”. — “А потом другую присматривать? Нет уж, — ответил ему Вася. — Прыгать, так прыгать”.

Три раза расходились супруги Голодные, но третье перемирие, после его службы в армии, было последним. Жена окончательно поняла, что Голодный сошел с ума — целыми днями сидит в «лотосе» в пустой квартире, освобожденной от лишних, то есть совершенно необходимых вещей, ест овес и капусту, через день вставляет в зад резиновый шланг и засасывает животом через него воду из таза. А поет не песни, как раньше, а так называемые мантры или ноет что-то тягучее и бесконечное про Иисуса Христа.

Но это все было потом, а тогда, сразу после Васиной свадьбы, Волк сильно призадумался. Ему вконец осточертела разовая любовь при огромном постоянстве желания. И он тоже решил стать прилежным последователем учения о парашютизме и в еще более красивом прыжке, чем сам учитель, доказал верность новой жизненной концепции.

Была у него одна знакомая, “Изольда”, как окрестил он ее про себя. А потому “Изольда”, что при скандинавской симпатичной внешности обладала она неуступчивостью и силой духа в вопросах эроса просто феноменальными. Лихой с другими, Волк перед ней только что книксенов не делал и почти краснел, выслушивая ее отповеди своим непристойным помыслам и желаниям. А еще у Изольды была сестра, младше ее

на год, и, как чувствовал Волк по ее бойким глазкам и улыбкам, в интересующем его вопросе была та сестра не совсем скандинавкой.

И вот в канун какого-то полузабытого теперь революционного праздника, который раньше отмечали и стар, и млад, так как привычка была такая — праздновать всенародно, что под руку подвернется, в призадумчивом своем настроении и с тремя гранатами шампанского оказался Волк в квартире своих знакомых скандинавок. А там уже гуляли напропалую, и даже Изольда была в менее скандинавском настроении, чем обычно. И Волк, распив бутылочку-другую, решил не затягивать прыжок. Завел он Изольду в одну из пустующих комнат ее большой квартиры и изложил напрямую, что любит ее и желает ее, да, желает, непременно сейчас, потому что все отговорки про то, что — “это” только после свадьбы, ему ни к чему. Завтра он ей предлагает идти в загс, но сегодня она должна позволить ему все. И молодой, не ободранный еще жизнью Волк изложил ей свой взгляд на взаимоотношения полов. Что секс должен быть прост и естествен, как дыхание. А ведь невозможно дышать с задержками на неделю, день или даже пять минут. И еще он добавил, наверно, загадочную для нее фразу про то, что “его самолет уже горит”. “А мой еще в полном порядке”, — ответила она, не менее загадочно открывая дверь и оставляя Волка в пылающем одиночестве.

Это потом, гораздо позже, с уже наметившимся пунктиром серебряной чеканки в рок-кудрах тот же Волк скажет:

“Да, если бы не страх перед СПИДом или даже обыкновенным сифилисом, если бы не вечная опасность стать нежеланным отцом или спонсором по устройству более или менее приличного аборта, если бы не эта долгая и однообразная, по сути, диванная возня, если бы женщины тут же не требовали повторения только что проделанного, если бы не чувство опустошения не только тела, но и души, да если бы еще не эти чересчур физиологические запахи, сопутствующие любви, то секс был бы приятной вещью”.

А пока он раздумывал обо всем понемногу, в оставленную полуоткрытой дверь заглянула младшая сестра. И он внезапно совершил прыжок вместе с ней, а потом с ней же в охапке приземлился прямо в “мотор” и примчал к себе домой. Дома никого не было, ибо родители отдыхали от трудов своих на даче. И он, испытывая странное и мучительное чувство близости к Изольде, всю ночь совершал то обычные, то комбинированные,

то затяжные прыжки с ее сестрой. А наутро они по настоянию Волка пошли в загс.

Вначале все было хорошо, потому что просто: развлечения, секс, игра в жизнь, концерты. Потом жена стала его ревновать. Ревновала к Изольде, старым знакомым, женским голосам в телефонной трубке, поклонницам на концертах, игре на гитаре и даже к тому, что он мог заниматься с ней любовью сколько угодно. Ей снились бесконечные сны на эту тему. Утром она рассказывала их Волкову, жадно и пытливо вглядываясь ему в лицо, и от каменной безответности его приходила в отчаяние. Жизнь превращалась в медленное шизофренирование.

На лестничной площадке рядом с их квартирой жила ничем не примечательная, но миловидная девчушка в возрасте, в котором уже надо начинать что-то делать с собой, особенно со своим телом, не желавшим только учиться, только работать или только ходить в бесчеловечной пустоте. И приснилось однажды жене, что потоптал эту соседку Волк своими мохнатыми волчьими лапами. А несколько дней спустя, утром, когда жена была на работе, девчушка постучала в их дверь и простодушно спросила Волкова, “нет ли у него какой-нибудь хорошей музыки”. И Волк, до пророческого сна жены не обращавший на соседку ни малейшего внимания, вдруг решил проверить истинность сна. И все случилось, как было предсказано. Жена попалась им на пороге, когда Волк выпускал пташку из клетки обратно, теперь уже в очеловеченную пустоту. Лицо жены отобразило сложный зигзаг чувств, но Волков сказал веско: “Спокойно. Это всего лишь сновидение”.

Следующий сон был о том, что некто будет мстить Волку за свою поруганную любовь и — что же... На другую ночь кто-то поджег их дверь, предварительно обильно полив ее бензином. Дверь сгорела так, что пришлось ставить новую, а Волков слегка стал побаиваться ясновидческих способностей жены.

Но вот однажды утром она произнесла только одно слово: “Изольда” (давно уже по примеру Волкова называя так свою гордую сестрицу). И в тот же день Волк полетел к ней, экзистенциальной скандинавке. И когда она открыла дверь, не сказав ни единого слова, облек в единый мучительный поцелуй ее всю: ноги, руки, шею, лицо... И Изольда стала героиней его личного, волчьего эпоса, но героиней, не любящей и тоскующей о нем, а смирившейся под ударами гордого одиночества и непонятой печали. И больше встречи с ней не повторялись. Изольда ужаснулась своему падению с мраморного

педестала, а Волков резко излечился от неразделенной любви к мифу.

А ясновидящая жена вдруг перестала рассказывать Волкову свои сны. Может быть, она перестала их видеть, а может быть, после волковских сеансов совмещения реального с метафизическим что-то произошло в ней самой, потому что на глазах иссякла ее неукротимая ревность. И она даже, как будто непритворно, охладела к Волкову. У нее появились свои знакомые и неизвестные Волку свои дела. Как-то само собой они перестали спать сначала в общей постели, а потом вообще, как муж и жена. Волков стал чаще ездить и реже бывать дома. Общались они по большей части записками: "Я там-то и там". — "А я поехал туда-то на столько-то". У Волкова завелась более-менее постоянная подруга. У жены, наверно, тоже кто-то, но по-прежнему они жили не разъезжаясь. В Совдепии ведь жили, не в Америке или в России XIX века. Прописка, жилплощадь и прочие изобретения большевизма не очень-то поощряли удаль души и сердца. Да что там удаль! Просто обыкновенную человеческую "мелкобуржуазную" жизнь.

После возвращения из поездки Волков недолго сидел дома без дела. Буквально на следующий день в ленфильмовском кафе, куда он зашел нехотя, да надо было одного гопника повидать, его подцепил летящий в вихре современности некий кинорежиссер. Предварительные переговоры с маэстро выяснили, что Волков не против сниматься в эротической трагедии с усложненной фабулой, но весь его актерский опыт ограничивается только ролями в семейных сценах да непосредственной ролью рок-певца старого образца.

— Чепуха все это, — резюмировал маэстро, — мне актеры и не нужны. Ты, главное, внутренне будь честен в том, как ты дышишь, смеешься, сидишь на унитазах, и все. Ты когда-нибудь женщину бил?

— Возможно, — сдержанно ответил Волков.

— Молодец, это замечательно, а то приходят сниматься, а сами ни фиги ни в чем пальцем не ковыряли. Тебе там по ходу действия нужно одной шалашовке или морду в кровь, или прибить чем-нибудь. Ты как насчет этого? — И режиссер с надеждой посмотрел на крепкого и рослого Волкова, который толком не понял вопроса: то ли как он относится к участию в кинематографическом убийстве, то ли нет ли за его много-

опытными плечами чего-нибудь посущественней, чем битье женщин.

Но Волков промолчал, а режиссер продолжал делиться мыслями вслух:

— Я думаю, что каждый способен на небольшую драчку и маленькое убийство, и только пожизненная дрессировка, страх и благоприобретенная брезгливость при виде крови не позволяют людям распоясываться на каждом шагу. Но у нас, русских, это еще впереди. А ну-ка, изобрази мне сейчас приступ отчаяния при виде любимой женщины в постели с другим. Только честно.

— А Буденного не надо? — спросил Волков.

— Пожалуй, ты прав будешь, — после двухминутного молчания сказал маэстро. — Без партнера тебе не потянуть. Надо пробую.

На пробу выехали поближе к матери-земле, в дачный пригород Питера. Сначала полдня снималась общая панорама, чьи-то шевеления в кустах и проплывание нечетко идентифицированных по половому признаку обнаженных тел в зарослях камыша. Потом в ход пошел Волков. Задача была элементарная. Якобы на опушке леса, под будто бы раскидистой березой он должен был просто, без особых ухищрений задушить одну довольно смазливую особу в майке с фирменными виньетки, которые очень выгодно были расперты изнутри двумя похвальной формы вещичками.

— Ну, давай, — кричал режиссер, сам глядя на него сквозь блещущее на солнце стеклышко кинокамеры, — только честно.

Волков задумчиво разминал кисти рук и топтался вокруг намеченной жертвы с несколько отсутствующим видом.

— Ну что же ты, давай, давай.

— А за что я ее душу? — спросил Волков.

— Какая тебе разница? Души за то, что она баба. Я сюжет еще не полностью проработал. Души, и все, только честно.

— Если честно, то мне хотелось бы ее душить без этой майки. (В толпе празднующихся вокруг съемочной группы почувствовалось одобрительное оживление.)

— Так в чем же дело, правда, эта сцена должна быть без всякого секса, поэтому снимать майку нельзя, а можно порвать ее, как будто в борьбе за горло. А ну, рви!

И пока Волков под жужжание камеры с серьезным лицом рвал майку сверху вниз, он успел прощупать то, что было под ней, и остался доволен результатом проделанного опыта. Осо-

ба в разодранной одежде с весьма фотогеничными грушами, вырвавшимся на, видимо, привычную свободу, выглядела ужасающе жертвенно, но Волков медлил. Потом с каменным лицом взял особу за горло и тут же отпустил.

— Ну, что еще! — возопил маэстро, опять начавший было стрекотать камерой.

— Если быть совсем честным, — сказал Волков, — то мне хотелось бы снять с нее и юбку.

— Нет, — твердо сказал режиссер. — Это ты будешь делать в другой раз, в другой сцене, а сейчас нужна твоя предельная внутренняя самоочестность по отношению к ней. Души!..

И Волков, скорчив наиболее, по его представлению, угрожающую рожу, кинулся на уже заскучавшую было шалашовку.

— А где твоя вторая рука, почему у нее на груди, а не на шее? Еще раз. Еще... Так. Замечательно. А ну-ка, Сашка, давай теперь ты. Только честно.

Сашка, своротив морду набок, еще более идиотским образом, чем Волков, и помогая рукам матерными выражениями, придушил особу тоже раз пять-шесть, с каждым разом удушая ее все более виртуозно.

— А что, похоже, — сказал маэстро, и съемки закончились.

— Запомни мои слова, — изрек маэстро на обратном пути, сидя рядом с Волковым в уютно подпрыгивающем съемочном автобусике, — не выйдет из тебя убийцы ни в кино, ни в жизни. Честности в тебе для этого мало.

Инна позвонила поздним вечером того дня, который был последним перед полетом на Камчатку. В этот раз Волков решил потряхнуть стариной и выступить не в акустике, а в электрическом варианте. Так оно бодрей будет, да и соскучился он без стремительных сольных проходов, без ревуших квинт на пятой и шестой струнах, по лихим барабанным брэкам и бегемотовому уханью баса. Команда собралась быстро, на Камчатку ведь, не в Великие Луки, репетнули раза три, и готово дело.

Волков сразу узнал ее голос.

— Ты знаешь, — сказал он, — не везет тебе, впрочем, мне тоже. Никак нам не встретиться. Но я вернусь через неделю. Позвони обязательно. Мне самому тебе надо кое-что сказать. Нет, поездку уже не отложить, но разве это так серьезно? Да? Ну, подожди неделю. Это всего семь дней. И, может быть, ты

зря так надеешься на меня. Возможно, мы не поймем друг друга. Ты думаешь, нет? Ну, ладно, до встречи. — И только успел положить трубку, как раздался вновь звонок.

— Волк, ты?

— А, Игорь, я.

— Слушай, Голодный доигрался со своим пацифизмом.

— А что такое?

— Получил в бубен так, что в больнице лежит. Кажется, еще и попорили серьезно.

— Да ты что! А кто, за что?

— Концертишко в каком-то клубешнике был, а вначале что-то вроде дискуссии. И китайцевские фаны его там спросили, как он относится к Китайцеву. А он сказал: никак. После концерта его уже ждали то ли панки, то ли просто какие-то уроды и стали бить его и спрашивать, простит ли он их, как учит в песнях.

— Ну?

— Ну били, били, требовали, чтобы он ясно и громко сказал, что прощает их. А он все молчал, тогда и поронули его пером.

— Вот сволочи! — И в сердцах Волков бросил трубку.

“Ну, уж это в последний раз точно, — отважно думал Волков. — Надоело ломаться перед фантомами собственной неполноценности”. В обычной жизни они подразбавлены серым веществом толпы, а на рок-концертах — в чистом виде, сто процентов пробы. Ни за что бы не поехал, но Камчатка! Когда еще и как попадешь в эту особую зону девственной красоты и особого паспортного режима. В Париж и то легче пробраться.

Он сел поудобнее, хотел было что-то почитать, но мысли все равно возвращались к Голодному, который сам теперь залег вместо одного из своих клиентов на больничную койку. И как глупо все вышло! Ведь это не он, Волков, должен лететь на интересные гастроли, а Вася, подобно Троцкому совершивший черновую революционную работу и выброшенный этой благодарной революцией за борт.

А всего-то делов! Не ломался бы в свое время, не корчил из себя Творца, а лобал бы, что людям по ндраву, да американские рок-н-роллы нашей подворотной блатотой да кабатчиной облагораживал, и все было бы ништяк, а так сидел в подвале и будешь сидеть, а зубастым Мишкам с Лешками теперь не до

подвалов. Они пять нот заложат в компьютер да три в сэмплер, подаренные им любопытными до русского андерграундного безобразия иностранцами, и спляшут под них на потеху целому белому свету, а себе на очень большую пользу.

Но знал Волков, что никогда и ничего поперек своей души и совести Голодный не сделал бы. Он ведь был парашютистом, но прыгнувшим на одну землю, а попавшим на другую.

А как было весело вначале, какую смурь они нагнали на Питер своими черными песнями, аналогов которым не было в целом Совке, да что в Совке — в целом мире! Клуб черной магии, в те времена, естественно, подпольный, сделал их, Голодного и Волкова, своими почетными членами и приглашал на сакральные мистерии, по слухам, с жертвоприношениями, да не ходили они на них. И без клуба магов развлечений хватало. А после по городу распространялись легенды о диких концертах, где как будто бы он, Волк, зубами рвал живую кошку, и находились живые свидетели этого, якобы виденного ими шоу.

Волков улыбнулся.

А их самый шумный концерт в Политехническом, в спортзале! Как народ гроздьями висел на шведских стенках вокруг них, отгородившихся от толпы музыкальным и спортивным инвентарем. Как один сумасшедший лежал около ударной установки, засунув голову внутрь большого барабана. Осталось ли что-нибудь у него в голове после той игры? Многие зрители, а особенно зрительницы обрывались с обрешеченных стен прямо на их усилители да и на них самих. Напротив Волка навзрыд голосили две впечатлительные и симпатичные девушки (тогда их называли “биксами”), потрясенные их игрой и имиджем. А потом, сразу после игры, одна из них схватила Волка за руку и, задыхающимся голосом приговаривая “пойдем, пойдем”, потащила куда-то во тьму аудиторий и там, во тьме, что-то делала с ним такое, от чего у Волка, как от трех стаканов портвейна, набок съехала крыша.

Она исчезла, как дух, а он, застегивая джинсы, долго выбирался на свет, спотыкаясь на ровном месте, как пьяный. Потом таскали аппаратуру и инструменты из зала на улицу, в машину, и почему-то не было Голодного, а когда он появился, то тоже спотыкался, и “молния” на джинсах была еще не зашторена, и вела его за руку та же самая впечатлительная девушка, которая сначала умыкнула Волкова.

“Теперь вы молочные братья”, — сказал им всезнающий барабанщик, и действительно что-то подобное братским узам возникло между ними с того вечера...

Да, многое из того, что тогда они только наметили, послужило ему, Волкову, трамплином в будущей музкарьере. И до сих пор еще львиной долей того, что он делает сейчас, обязан он тому времени и Васе.

За иллюминатором день неестественно быстро, часа за три, угорел и сгустился в фиолетовую ночь, а Волков все вспоминал, как их порознь и вместе таскали в комитет госбезопасности. Туда идти как будто бы и не приказывали, приглашали, но как! А там, по врожденной гэбистской привычке, бредили, выясняя, к какой фашистской организации они принадлежат, слухами об их античеловеческих песнях, мол, взбудоражена общественность. Потом, как всегда, подписывали на стук. Послали они их с Васей к черту, а может быть, зря? Обещали ведь в случае согласия снять все запреты с их концертной деятельности и даже рекламировать при всяком удобном и не особенно удобном случае то, что возможно из их репертуара.

В общем, была широкая известность в узких кругах, но все переменялось после Васиной службы в армии. Свой срок более молодой Волк уже оттрубил гораздо раньше и успел все, что с ним там было, успешно позабыть. Даже слишком успешно. Он не вспоминал никого из армейских приятелей, да и были ли они? Забыл все, что он делал там, кроме тех песен, что там сочинил.

А вот Голодного, которого забрали уже в престарелом возрасте, 27 лет, армия, видимо, надломила. После его возвращения оттуда все мало-помалу переменялось. Стал он больше задумываться, а следовательно, меньше маячить на сцене перед микрофоном. Волк, с восторгом было встретивший его после службы, вскоре заметил, что Голодный им как будто бы тяготится, да и песни его ему перестали нравиться.

Помнит он их последний разговор о смысле их рок-н-рольной судьбы, которой, как чувствовал Голодный, правит не Бог, а Сатана, провоцируемый ими самими, их образом жизни “не выше пупка”, их музыкой, где преобладающий размер — размер поступи Сатаны, их беснованием на сцене.

— Если поначалу к року с симпатией относились многие духовные личности, да и в самой его культуре возникло множество ярко выраженных духовных характеров, то сейчас рок — это поле жатвы дьявола. Толпы пляшущих, как черти, негров и копирующих их белых затоптали даже блюз, а без

него какой рок? Кстати, обрати внимание, что в этой стране мало кто любит слушать, а тем более играть блюз, в то время как им заслушивался весь мир от Зимбабве до Польши. Но теперь под электронные хлопушки, имитирующие живые барабаны, человечество пустилось в свой последний сатанинский пляс, и мне с ним уже не по пути.

Потом он сравнивал их жизнь с лестницей в смутное никуда, у которой каждая ступень — новая песня или новый концерт.

— Куда ты идешь по ней? — спрашивал Голодный у Волка, и тот не знал, куда, но пока он шел по ней, у него были деньги, известность, развлечения, но, может быть, конец лестницы, уходящей в клубящийся туман будущего, свисал над пропастью?..

Волкову очень понравилась гостиница “Молодежная”, где их поселили по прибытии. Архитектор, проектировавший этот шедевр гостиничного зодчества, видимо, сильно тяготел к пенитенциарной обусловленности форм. Поэтому круглая, как цирк, гостиница внутренним устройством своим ничем не отличалась от интерьера тюрьмы Синг-Синг с беспрепятственным обзором из центра большого зала всех номеров, расположенных по окружности на галереях пяти этажей.

В первый же вечер в номер на третьем этаже, в котором Волков поселился вдвоем с барабанщиком группы длинноволосым Вадиком, постучали. Волков сидел в одиночестве, меняя перед концертом струны на гитаре. Вошла решительная женщина из персонала Синг-Синга с неизгладимой печатью верности идеалам коммунизма на овчаркином фэйсу, из разряда тех, кто, подобно генералам, маршалам и президентам, в ключевых словах своего лексикона, таких, как: молодежь, мышление, договор, квартал, хаос, — ударение ставит на первом слоге. Она зорко оглядела номер и сообщила, что уже 21 час и чтобы баба, пришедшая с ним, немедленно собиралась, а не пряталась в “сортирном клозете или гардеробе”, и шла домой.

— Вы ошиблись номером, — сказал Волков.

— Я вас предупредила.

Через пятнадцать минут после явления первого совершилось и второе. Уже без стука, но с грохотом дверь распахнулась, и ворвались три osoby, решившие за нравственность советской молодежи положить животы свои, довольно объемистые. Не обращая внимания на начавшего было возмущаться Волкова,

они по-гэбистски профессионально быстро осмотрели шкафы, туалет, ванную, пространство под кроватями, за телевизором на тумбочке и в удивлении воззрились на Волкова.

— А баба где?

— Съел я ее, гражданочки. Сначала занимался с ней различными садосексуальными извращениями, потом удавил гитарными струнами. Задницу и ляжки, как самое питательное, съел, а остальное выбросил в форточку. Вы за окном посмотрите.

Гражданочки молча вышли, а недоумевавший некоторое время Волков вдруг догадался, что это Вадика с тылу они по волосам за бабу приняли. А когда он выходил из номера, то по лицу и по спрятанном в воротник волосам они его как мужика учли.

Ночь напролет, как всегда, пили у кого-то в номере, и что удивительно: вопреки всем полицейским ухищрениям особы зловредного женского пола все равно наличествовали, и пили водку, и занимались женским непотребством, как будто у себя на собственной квартире.

Днем, едва подержав голову на подушке часа полтора-два, поехали на репетицию, и тут приключилось то, что позднее Волков обозвал словами Д.Леннона: Instant karma.

Включив гитару в “комбик” и подкручивая то “верх”, то “низ”, то “середину”, он добился желаемого звука, после чего подошел к микрофону и взялся за него, чтобы чуть-чуть приподнять под свой рост. Последнее, что он помнил, были его пальцы, охватившие микрофон. После этого мир сцены странно заблестал, как будто включенными оказались все прожектора. Но свет этот трясся зеленовато-оранжевой дрожью и сотрясал мозг и душу Волкова. И душа вдруг поддалась, стронулась со своего темного, насиженного места и стала продираться куда-то вверх сквозь ребра и голову. Сердце рвалось за душою вслед, выдираясь из тела с невыносимой болью, как вдруг натянувшаяся струна света, боли и стремления вверх лопнула, и Волков стал медленно приходить в себя, лежа на полу далеко от того места, где он взялся за микрофон, сорвал его со стойки, на длинном шнуре протащил за сцену и бился тут в углу с гитарой и микрофоном, пока что-то не нарушило цепь.

Он разжал пальцы. Они были в красно-черных точках ожогов, а на ладони левой руки, мертвой хваткой охватившей гриф гитары, отпечатались все шесть струн, словно от шести раскаленных проволок. Вокруг стояли побледневшие члены

группы, какие-то охающие женщины, растерявшийся и ничего не сумевший выключить электрик сцены.

Гитарный провод из усилителя с “джеком” на конце выдернул дрожащей похмельной рукою басист Андрюха, тот самый, что своим беспробудным пьянством и хулиганскими выходками так достал Волка, что не далее, как сегодня, перед самой репетицией, он уже было совсем собрался гнать Андрюху в шею, поставив на бас оператора Сашку. А достал Андрюха утренней похмельной выходкой в автобусе, когда, рыча, стал бросаться на пассажиров, предварительно объявив, что он болен СПИДом и сейчас всех перекусает. Началась паника, автобус остановился. Кое-как комсомольцы отбрехали от шофера и толпы, зарекшись на будущее ездить в общественном транспорте.

Потом уже Волк с Андрюхой много водки перехлебали за этот случай, но Волков так и не понял, действительно ли он благодарен Андрюхе за то, что тот выдернул “джек”, или не очень. Может быть, Андрюха как раз лишил его шанса умереть еще молодым и в расцвете полуславы?

Концерт, видимо, вследствие электрошокотерапии прошел на высоком градусе. Волков кричал в микрофон и метался по сцене, как в последний день Помпеи. Публика не привередничала и впадала в экстаз с пол-оборота, густо посыпая ладошным шорохом, а также мелкими монетками и значками каждый новый номер.

— Ты был крут сегодня, — сказала ему после концерта одна клевая герла с ногами такой длины, упитанности и стройности, что Волков ее сразу узнал.

— А, Крыса. Я вообще крут. Только ты этого не замечала.

С Крысой он познакомился год назад в другой поездке во Владивосток, организованной местными комсомольцами, вся деятельность которых в последнее время свелась к соответствующему приему рок-звезд из столичных городов. Комсомольцы возили пиво в канистрах и красную рыбу на “флэт”, где их поселили у местной рокерши Нэлли, и, установив на “флэту” видик, бесперебойно подкрепляемый свежей порнухой и боевиками, подсовывали разных молодых и не очень молоденьких телок. Подсунули и Крысу. Крыса была металлишкой, но металлишкой с очень миловидным лицом, прозрачными умными глазками и потрясающе красивыми ногами. Все остальное у нее тоже было в полном порядке, но ноги...

В тот вечер, когда она появилась, было особенно весело. Во Владик прибыла из Питера еще одна команда лихих музыкальных бойцов, и на «флэту» происходило братание обеих команд с участием местного, в основном женского населения. Волков от бардака подальше удалился в комнату Нэлли, где она читала ему собственноручные стихи и никому из рокеров не давалась, так как считалась, как он мельком услышал от кого-то, закоренелой лесбиянкой. Посреди чтения за стеной вдруг раздался страшный грохот, зазвенела разбиваемая посуда, захрустела растаптываемая мебель.

— Спокойно, — сказал Волков Нэлли, — это ненадолго.

И действительно, не прошло и получаса, как все кончилось. Ругань, как всегда, началась с поношения оператора за плохой звук; потом перекинулась лесным пожаром на гитаристов из-за разногласий в постановке рук при забивке косяков, потом сцепились барабанщики по поводу какой-то Виктории, которая “кому-то дала, а кому-то нет”. Все, как обычно, но равновесие шавочьего потягивания испортил пацифистствующий директор второй группы по кличке Хиппи-бюрократ, который в ответ на чье-то колкое словцо о причинах его пацифизма внезапно с воплем подпрыгнул, как ужаленный, выше человеческого роста и двумя грязными пятками в дырявых носках положил на землю сразу двух оппонентов.

Когда Волков с Нэлли прекратили занятия поэзией, все благополучно закончилось и братание продолжалось с новой силой, хотя кое у кого появились фингалы и распухшие носы, а пол был усыпан осколками корейского фарфора, которым так гордилась Нэлли в начале их знакомства. Был еще кое-какой пустяковый беспорядок, вроде двух растоптанных стульев, сломанного торшера и раздавленного журнального столика, выбитого окна и следа на стене от разбитой бутылки красного вина, но волковский басист Андрюха на пару с басистом из соперничающей команды уже втаскивали в дверь два ящика водки, и пошел пир горой. Нэлли, с горя принявшая на грудь два стакана водки подряд, плюнула на свою лесбиянью закоренелость и удалилась куда-то во тьму сразу с двумя сексуальными надеждами из обеих команд. Кто-то из гостеприимных комсомольцев побежал за свежими телками на подмогу. Бардак раскручивался по своей обыкновенной гастрольной спирали, и в чаду этого Валтасарового греховодища возникла и затмила всех своей ножной фактурой Крыса.

Волков ее не неволил и ничем особым не привечал. Она сама залезла к нему в постель на исходе бурной ночи, а когда

он, возбужденный ею и общей культурно-комсомольской атмосферой, попытался ею овладеть, она не далась, сообщив, что еще девственна и пока что хочет такой и остаться, но очень любит рок и рокеров.

Тогда Волков изрек, что девушка всегда сможет сделать мужчине приятное, даже оставаясь и впредь девственной, и стал толкать ее вниз, туда, к началу начал. И она поддалась и стала делать это приятное, но так неумело и неодушевленно, что он прекратил ее мучить и, тесно прижавшись к ней сзади, внезапно крепко уснул. Наутро ее в постели не оказалось.

С фанами и Крысой в автобусе подъехали к камчатской Синг-Синг. “Ну что, попробуем?” — спросил кто-то из провожавших. Волков и законно живущие прошли к себе в номер, а один из устроителей концерта занял интересным разговором гостиничную охранительницу высоких моральных принципов совмолодежи. Тем временем Андрюха открыл окно на первом этаже, в которое забрались страждущие культуры камчадалы, и, выйдя из комнаты на первом этаже, быстро перебежали на третий этаж в комнату Волкова и Вадика.

Полночи пили и тихо тренькали на гитарах. Волков, возбужденный насильственным выходом в астрал и шумным концертом, никак не мог успокоиться, и, когда наконец стали ложиться спать, лег с Крысой, шаря по ее шуршавшим под руками, как змеиная чешуя, колготкам, по еще более развившейся, но все еще девичьей груди.

— Надеюсь, теперь мне не придется выступать в роли профессионального дефлоратора?

— Тебе, наверно, не придется выступать вообще ни в какой роли.

— Это почему?

— А потому. Ты думаешь, вам, крутым, все можно и все телки ваши? И мне твоя музыка к тому же не очень нравится. Поначалу, правда, как будто бы ничего, и то из-за ошибки. Прислали мне кассету с запиской, что на одной стороне ты, а на другой Щенков, а кто на какой — неизвестно. Понравилась мне одна сторона, думала, что это Щенков, а оказалось — ты. Но после я послушала повнимательнее и поняла, что у тебя не тащит по сравнению с ним. А сейчас у меня парень есть, похож на Щенкова, как родной брат, и к тому же занимается каратэ, не пьет и не валяется в постели с первой встречной.

— А только с тобой?

— Только.

— Ну и дура ты, Крыса.

— Я, может быть, и дура, но если захочу, тебе со мной не справиться, а он со мной делал все, что хотел.

— Это мне не справиться?

— Тебе.

Как бы шутя Волков сомкнул свои обожженные током пальцы на ее горле и слегка подавил ими.

— А если придушу?

— Куда тебе. Играй лучше на гитаре. Это мой парень мог бы задушить меня, и я бы только...

Но Волков уже не слышал ее голоса. Чуть-чуть придавив это девственно-гордое горло, он вдруг вспомнил свои пальцы, в судороге сжавшие микрофон, и сразу провалился в пространство воздуха и света, в котором парят с нераскрывшимся зонтиком парашюта. Он скользнул в нем, сначала гулком и темном, но все расширяющемся и постепенно светлеющем, как вдруг ослепительно резкий свет и чьи-то руки, заламывавшие его крылья, прервали экспоненту полета почти у самой точки выхода на финишную прямую нирваны.

Второй раз за день Волков опоминался от беспамятства, окруженный вопрошающе-тревожной галереей портретов современников, на этот раз сплоченных в коллекцию истощным женским визгом. Его держали за руки, а прямо против него стояла в одних лиловых колготках Крыса, держась обеими руками за свое лишенное девственности горло, и взгляд ее выражал величайшее удивление тем, что кто-то, кроме ее парня и, возможно, Щенкова, мог делать то, что дозволено только им.

— Отелло недофаканный, — наконец прохрипела она Волкову и, отвернувшись от него, стала одеваться.

Ах, как печальна судьба парашютистов! Многие из них начинали эти безумные скольжения не по своей воле, а с инструкторского пинка под зад или в дыму горящего самолета. Некоторые прыгают по своему желанию, и много десятков раз это им сходит с рук, но тем не менее конец всегда один. Тут было бы уместно привести мнение гр.Сатаны, высказанное им как-то в частной беседе:

— Ослы! Я тысячу раз в день, в месяц, в год даю им безнаказанно сигать со своих летающих братских могил только ради того, чтобы усыпить их бдительность. Я разрешаю однажды без лишних трупов спланировать на землю целому полку парашюти-

стов вместе с танками, но всего лишь для того, чтобы потом, в удобную мне минуту великолепно хлопнуть об землю одним, другим, третьим, а то и целым десятком этих ослиноголовых. А они, конечно, думают — “случайность”. Вот в следующий раз соблюдем все меры безопасности, и ничего подобного не произойдет. Ха! Ха! Ха... Случайность именно в том, что им хотя бы один раз удалось приземлиться живыми.

Итак, однажды за спиной не слышно спасительного хлопка, и к земле, на которую так всегда желалось вернуться, лететь больше не хочется, да что там не хочется! Дальше лететь просто невозможно, противостоестественно.

Где стоп-кран?

Караул!

Я хочу назад.

А потом, соскребая с поверхности Земли очередную лепешку не пойми чего, очевидцы дают себе слово никогда не летать, а тем более, Боже упаси, прыгать с этим дьявольским зонтиком — парашютом...

В Питер вернулись аж через три недели, уж очень веселыми вышли и концерты, и сами гастроли. Так сразу неохота было возвращаться, да и местные деятели, выражая волю народных масс, тоже не отпускали. Жена сообщила, что Инна ее достала окончательно, и ей пришлось послать ее. Волков опечалился, а потом поругался с женой, что случалось с ним не часто.

Напрасно просидев дома целых два вечера в ожидании телефонного звонка, наутро третьего дня решил он съездить на дачу к одним знакомым, которые его давно приглашали. “Денек-другой потерпит, если три недели терпела”, — подумал он об Инне, и сказано-сделано. И уже стоял он у двери с ключом в руке, но вернулся назад на телефонный звонок. Кто говорил, Волков так и не понял, но не это было важно, а то, что Голодный, Вася, вчера, один, на паршивой больничной койке, измученный уколами и двумя операциями... нет, не умер, а ушел от них от всех. И он запер дверь, спустился по лестнице вниз, сел на автобус, подъехал к вокзалу, дождался нужной электрички, сел. Поезд тронулся.

Как-то Волкову попала на глаза в бульварной рок-газетенке такая тирада о творчестве Голодного:

“К сожалению, несмотря на прошлые заслуги, остается за бортом отечественной рок-культуры, именно благодаря тому, что еще более индивидуализирует и без того, мягко говоря, чересчур индивидуальное творчество в то время, как коллективное рок-мышление нашего региона поднимает волну мировой рок-революции на небывалую высоту”, — и что-то с пафосом о “русском роке” еще на две страницы. Как со знаменосцами, вроде Щенкова, во главе советский образ жизни одержал сокрушительную победу над всеми прочими, и что-то вроде того, что густые толпы иноземных фанатов с боем берут стадионы во всех углах земного шара, едва слышав два магических слова: “Советский рок”. Никто уже давно, мол, не ходит на супершоу “Роллинг стоунз” или “Пинк Флойд”, или всяких там Жан Мишелей Жарров с П.Маккартни в придачу. С компетентных слов Щенкова, на последнем концерте Майкла Джексона было всего сто человек, и то одних приехавших из России. А значит, в этом триумфе есть и его, Волкова, а не вредного индивидуалиста Голодного малая капля.

Но со странной улыбкой на сарказменных устах стряхнул Волков роль свою вершителя мировых рок-потрясений с ума своего. Нет уж, увольте его каплю из этой Красной Армии... то бишь “Красной Волны”. Он тоже индивидуалист. Сами кичитесь и слушайте своих родимых суперзвезд, даже в расцвете звездности так и не научившихся толком петь и играть, а устраивающих на сцене папуасский серпасто-молоткастый балаган для дебилов.

Супротив балаганов Волков был не против (только без сельскохозяйственной символики), но музыку все же любил больше, чем балаганы. И на сцене играл в свои уже немалые годы не только публики или славы для, а еще ради тех недолгих и все реже случавшихся мгновений, когда пространство обыкновенного воздуха и света вдруг с треском расшивалось перед ним, и он мог делать с голосом или с гитарой что угодно, и игра превращалась не в игру, а в сотворение миров и пространств воздуха, света и звука — новых, как во дни сотворения мира.

И кто первый в этом пространстве, кто последний — разве не все равно, хотя, как подозревал Волков, многие первые, чьи физиономии вперемешку с прозрачными девичьими трусиками глядели на него из-за стекла каждого коопларька, в этом запредельном мире никогда и не бывали. Ведь музыка не спорт, несмотря на повальное увлечение спортивно-музыкально-эротическими танцами. В Третьем рейхе тоже увлека-

лись ритмической гимнастикой, и называлось это: "Путь к силе и красоте через музыку и танцы". Вся молодая Германия "качала" мускулы и извивалась в аэробике 30-х годов. В 40-е допрыгались.

А проникновения в запредельные пространства с Волком случались все реже, а все чаще игра превращалась в нудную рутину на фоне пестрых бардаков. И все трудней ему было соблюдать зарок, который они с Голодным дали друг другу еще тогда, когда были вместе: ни одной нотой своей не служить режиму. Раньше, когда их никто, кроме своих, не слушал и концерты устраивались не Рос. Мос. и Ленконцертами, это условие было легковыполнимым. А теперь не то. Режим стрижет с них купоны и ими себя оправдывает и прославляет, что бы там эти рокеры ни пели. А рокерам не все ли равно, кто устраивает концерт? Для них ведь главное деньги, слава и телки.

И режим вместе с теми, кто его олицетворял, были недалеко от истины. Самые забойные антирежимные хиты лучших отечественных рок-звезд, на Волчий зоркий взгляд, были просто зеркальным отображением режима. Звучали они все маршеобразно, и если не вслушиваться в слова, то задорно и боевито, как и положено настоящей комсомольской песне, а тексты густо напиčkаны лозунгами и клише из культурно-патриотического обихода, только в менее конкретном применении. Вот, например, типичные клише, взятые наугад из самых популярных, якобы не режимных песен:

*Лучше быть мертвым, чем вторым.
Мы вместе.
Ни шагу назад, только вперед.
Кто не с нами, тот против нас.*

И т.д.

Кажется, будто они валяют дурака над системой и классом-гегмоном под видом китча. А на самом деле с рождения поражены системой в голову и мыслить иначе просто не могут. И махание флагами и сельхозсимволикой на самых крутых концертах — тот же самый энтузиастический режимно-коммунальный шабаш, почти без смены декораций.

Но эпохальность и литую звонность музыка эта приобретала все же не сама по себе, а сплавленная воедино в тигле здоровой социалистической песни с такими странными ингредиентами, как блатная лагерная феня и кабацкая лирика, кристаллизовавшаяся в шумных и "тихих кабинетах рестора-

нов", где преемственно "снимали тонкие трусы" гулявшие в обществе цыган аристократки, буржуазки и мещанки, затем нэпманки, бандитские подружки и сбившиеся с панталыку пролетарки и комсомолки, дальше сталинские кокотки и лауреатки Государственных премий, а потом уже всякая шваль, отпотевшая во времена "хрущевской оттепели" и забуревшая в период "застоя". Кабатчине даже тесны стали тихие кабинеты, и она ураганом ворвалась на сцены спортивно-концертных комплексов, подтвержденная в своем свирепом праве на жизнь ревом десятидесятых тысяч толп экс-строителей коммунизма.

Сложный химический сплав этот, по западной тлетворной технологии разлитый в формы разного достоинства, и дал нам плеяду замечательных мастеров "русского рока". Попадались, правда, среди них самородки из народа, избежавшие предварительной формовки, но фантастически быстро они переплавлялись по общей формуле, если не успевали вовремя выскочить из окна девятиэтажного дома или резко уклониться от роли лагерной суперзвезды.

А Голодный и Волков где сознательно, где интуитивно избегали тигеля и технологий и, наверно, поэтому были революционерами, но не из тех, что берут власть в свои руки, а из тех, кто о власти не думает. Правда, в последние годы Волк все меньше соблюдал чистоту данного ими когда-то зарока и в результате становился все более известным, а Голодный, начисто отказавшийся от правил игры, оказался в пустоте.

И однажды Волков спросил Голодного — уже тогда, когда он запел свои религиозные баллады:

— Вася, а для чего ты поешь сейчас? Денег за это ты не получишь. Телок тоже. Славу, может быть, но в очень неблизком будущем. Я же вижу, ты человек мирового масштаба, а здесь болтаешься в вакууме. Так для чего же все это?

— Для людей, Волк.

— Но это же не люди, а крысы. Я давно это понял. Мало кто замечает, особенно мы сами, что у русских типично крысиные повадки. Они безмозглы, жадны, нахальны, трусливы, разрушают и жрут все на своем пути. Не обладают ни культурой, ни моралью, ни религией, ни нравственностью, не уважают ни себя, ни тем более других. Немногих людей, возникающих на их земле, они же сами и сжирают в своих вонючих крысятниках. Меня они не тронут — я из их породы, а съедят — так одной крысой меньше будет. Но ты же не крыса! Тебе надо бежать, уезжать из совка подальше от чумного стада, и не в Европу или Америку, куда они уже прогрызли

ходы, а в Новую Гвинею, в Боливию, хоть к черту. Забудешь это проклятое сапожно-тюремное наречие, которое называется современным русским языком и в котором, кроме мата, системной фени и жаргона барменов и проституток, есть еще три слова: водка, Сталин и жопа. Я же знаю, ты человек, принадлежащий вселенной, и не будешь пороть мне славянофильских бредней о Родине и о Пушкине. И самое главное — ты парашютист или уже нет?

— Нет, Волк, я не уеду. Это ни к чему. Я знаю, где я живу, но почему-то должен петь для них, хочу я этого или нет. Наверное, воля Божья. И буду метать перед ними бисер, потому что чувствую — так надо. И как Христос в Гефсимании знал, что его ждет, и просил пронести чашу ту, я тоже знаю свое будущее, хотя и не Христос и не прошу о чаше. Просто не боюсь я крыс с детства. А что касается парашютного спорта, то дух мой соскочил не только с самолета, но, кажется, и вообще с земного шара.

На даче было хорошо, и компания собралась легкая, без напряжения, только одна легкомысленная дама все пыталась затеять с Волковым интрижку, но Волков был сдержан и больше ходил по лесу, сочиняя ностальгические тексты, или сидел один у костерчика и пещерно глазел в огонь. Но когда на второй вечер, как, впрочем, и на первый, за столом опять появился самогон местного производства, он не выдержал, напился за Васю, как сапожник, и, возясь с доставшей его наконец дамой, вместо положенного им самому себе срока пробыл на пленэре целых четыре дня.

Но вот четвертой ночью он проснулся в страшной тоске и в слезах. Разбуженные его стонами знакомые пытались удерживать его хотя бы до утра, но он, едва распрощавшись с хозяевами, чуть ли не бегом кинулся на станцию, до которой, однако, было километров десять.

А приснилось ему сначала прошлое. Их с Васей команда и какая-то канувшая в вечность репетиция, на которой они вместе: строчку один, строчку другой пишут текст, потом пробуют, как звучат слова, потом поют в единственный микрофон “на голоса”, в терцию, точно соблюдая высчитанное ранее расстояние от зубов до микрофона (чтобы был баланс): у Васи 10 см, а у него 15. Они снова молоды, переполнены энергией, плещущей через край, счастливы своей силой и, бренча на дрянных, самопальных “банках”, ни в чем еще не

сомневаются и ни о чем не жалеют. И как-то незаметно на репетиции вдруг оказывается Инна, радостная, смеющаяся и красивая, и он, отложив гитару в сторону, ненасытно говорит с ней о чем-то неуловимом, родном, чему нет эквивалента на языке проснувшихся. Но вдруг посередине разговора лицо ее темнеет, изо рта высовывается раздвоенный, как у змеи, длинный язык, и она со стонами бежит к дачному колодцу, в котором и исчезает, только, раскачиваясь, бренькает потревоженное ею колодезное ведро. И нет больше ни Инны, ни Васи, а только в страшной тишине назойливо дребезжит это проклятое ведро...

Ночь выдалась звездная, лунная, и идти было хорошо и ловко; так бывает, когда стукнут первые осенние заморозки и вокруг прекрасно, свежо и чисто — и небо, и звезды, и облака, и лес. Волков думал о том, что пора кончать с жизнью, которую вел, хотя, вернее, жизнь вела его до сих пор. Хватит с него интрижек с дамами одноразового пользования, хватит гастролей, хватит плыть по течению этой помойной речонки, что зовется активной человеческой жизнедеятельностью. Он станет лучше и чище, как эти осенние звезды над строгим и чистым лесом. Он уедет от всех, чтобы не было искушений, в глухую деревню и будет читать книги, много книг, может быть, даже напишет что-то сам. И он будет стараться быть мудрым. С собой он возьмет только Инну, если, конечно, она согласится. И только потом, когда осыплется шелуха мелкого тщеславия, суетная маета никчемных делишек, увлечений и привязанностей, только тогда они, может быть, вернутся в город, чтобы начать все сначала. И ему с такой силой захотелось всех этих изменений и встречи с Инной сейчас, сию минуту, что от нахлынувшего на него желания он замер на месте, как вкопанный, напротив чьего-то ярко освещенного лунной садового участка. А там весь залитый бриллиантовым светом яростного полнолуния высился колодец, и хорошо было видно косо стоящее на его срубе ведро. И вдруг ведро это, будто сброшенное чьей-то невидимой рукой, упало и, дребезжа, как в давешнем сне, покатилося по дорожке к калитке, возле которой ни живо, ни мертво стояло что-то вроде Волкова. И это что-то не помнило, что было потом, а пришло в себя, только грохнувшись поперек железнодорожного пути...

До утра пришлось сидеть на станции, где Волков тупо задремал и проспал все первые электрички. Зато потом в поезде было просторно, и даже не мешали мыслям печально вывшие коты, в корзинках и сумках рачительными владель-

цами увозимые с дач опять в опостылевшую городскую под-
стольно-придиванную безысходность.

Дома было пусто, а на столе в его комнате лежало письмо от Инны с комментариями жены на конверте. “Как порядочная женщина, я, конечно, не вскрываю почты даже с письмами твоих любовниц, но эта блядь мне порядком надоела. И вообще нам с тобой пора серьезно поговорить”.

“.....тоже пыталась стать певицей, сначала в своем городе, где всем до пения столько же дела, сколько до безалкогольного пива; потом в Питере, где все мечутся в поисках денег, славы и удовольствий, а на музыку... Я пела день и ночь, а когда ехала крыша и все осточертевало, я ставила на маг кассету с твоей музыкой, те вещи, что ты еще делал с Голодным, и она заставляла меня снова и снова петь.

Я не знаю, чем могла бы отплатить тебе за эту помощь. Любить тебя просто как женщина я, наверное, даже не смогла бы. Не подумай, что мне для тебя чего-то жаль. Я вся твоя: делай, что хочешь, хоть убей. Но ведь тебе ничего от меня не нужно. Ты просто молчишь, не отвечаешь на письма, не приходишь на встречи. А мне страшно. Недавно какой-то сумасшедший или маньяк просто так, походя, зарезал в метро моего двоюродного брата. Он не был очень хорошим человеком, может быть, даже не очень хорошим, но мне его все равно жаль и жаль себя, потому что из комнаты брата мне пришлось уйти, и ночью я теперь на квартире, где за постой приходится платить собой. А уехать отсюда я не могу. Я хочу петь и не могу быть вдали от тебя. Но мне страшно жить в мире, где за обыкновенную человеческую услугу надо продавать себя, где могут полоснуть по горлу в метро или автобусе, где не слышат звездной гармонии твоей музыки — и Голодного, конечно, тоже, потому что вы с одной роковой планеты. Но Голодный странный, хотя так и должно быть гению, а ты — свой в доску и нравишься мне больше него... Прости, я уже не о том... Позвони мне, пожалуйста, по номеру до пятого...”

Он посмотрел на часы, было десятое. “Вот, черт”. По указанному номеру жили одни лишь длинные гудки, и Волков,

хлопнув трубкой по кругу виноватому аппарату, снова чертыхаясь, выскочил на улицу.

А там скалил зубы вечный российский апокалипсис. Его возвещали и озверелые лица бывших строителей светлого будущего, непохожие на человеческие, а скорее напоминающие хари босховских упырей (странно, что во Франции, Германии и вообще в Европе у всех виденных Волковым людей были осмысленные, разумные лица, даже у панков, хулиганов и негров из трущоб на окраинах Парижа, а еще в Европе он не видел ни одного военного, кроме как родных ящеричных мундиров на дешевых распродажах а Западном Берлине); и угрюмые обломки большевизма с подетальной прорисовкой в виде жилых и покинутых домов с одинаково треснувшими стенами, выбитыми окнами и осыпавшейся штукатуркой, с навсегда погасшими, изуродованными уличными фонарями, с вывернутым наизнанку чревом улиц в кишечных извивах теперь надземной канализации, водопровода, газа вдоль навечно вспоротых траншеями дорог, обрамленных забитыми наглухо дверями продовольственных и винных магазинов, с неизбывными предвыборными плакатами на всем вокруг, с выбитыми стеклами, изнасилованными дверями и кастрированными телефонными аппаратами загаженных телефонных будок, с разбитыми и сожженными скамейками, с тушами сидений в трамваях, освежаванными с такой свирепостью, словно эта нация нищих решила дать последний бой всему чего-либо стоящему на свете и навеки утвердить свое апокалипсическое нищенство, доламывая первые и последние проявления бывшего примитивного комфорта... И, конечно, проклятые ларьки, как грибы после радиоактивного дождя заполонившие улицы ограбленных городов, эта сверкающая дорогая дешевка побрякушек, фирменной жвачки, поддельных духов, неизбывных лифчиков и трусов из рыбачьих сетей, предназначенных для ловли акул, эти изгибающиеся в пароксизме сладострастия календарные и плакатные девчушки вперемешку со звездами отечественного рока и импортного культиуризма... "В Новой Зеландии папуасы сидят за компьютерами, а папуасы из СССР пускают слюни над побрякушками для питескантрапов", — подумал Волков.

А рядом с ларьком — старуха, роющаяся в урне в поисках пустой бутылки или, может быть, уже того самого куска хлеба, которым большевистские газеты 70 лет умозрительно попрекали толстопузых западных капиталистов, заставлявших своих рабочих свободное от работы время проводить на свал-

ках и помойках, дабы не подохнуть с голоду. Вчера в магазине сдачу мелочью отвешивали на весах. Получите, гражданин, сто грамм гривенников, потом двугривенных, потом рублей, а затем начнут вешать и сторублевки. С металлоломным скрежетом, заволакивая, как занавесом, всю улицу пылью, мимо прополз облезлый, с распученным от человеческой икры брюхом автобус. Сквозь мутные, грязные стекла его ничего не было видно, но на задней площадке одно окно было высажено, и Волков увидел, как двое маленьких, худых пассажиров душили за горло одного большого и толстого...

Очень кстати возле запыленных окон затравленного общественностью "Сайгона" попался навстречу Волкову приятель, мыслящий тусовщик и говорун. Пошли с ним по Рубинштейна и осели в пиццерии. Волков больше молчал, думал о своем, но прислушивался и к тусовщику.

— ... всю жизнь мечтал, как о Луне, своими глазами увидеть живых "Флойдов" и вот еду в эту краснозадую Москву, билетов на "Стрелу", естественно, море, какие хочешь, но я человек простой, с четвертаком в руке лезу в первый попавшийся вагон, сплю ночь на полу у проводника. На входняк приготовил стоху, а тут знакомых музыкантов пропускают без билетов. Я пристроился, и бесплатно! Представляешь, на "Флойд" бесплатно прошел! Ну, на радостях, что деньги сэконобил, пошел со знакомыми в буфет и весь концерт квасил там конину. Только под утро очухался, не знаю где. Представляешь! Был на "Пинк Флойд", а не слышал и не видел...

"Не может быть, — думал Волков, — чтобы мы наконец не встретились. Теперь это уже невозможно. Ты можешь божественно просто и естественно чудоносно войти даже в эту забегаловку прямо сейчас. Я чувствую это".

Как будто само собой появилось на столе проклятие русского полуинтеллигента — бутылка паршивого азербайджанского коньяку.

Но тут их внимание привлекли две подозрительные личности в белых марлевых масках на лицах и с какими-то странными приборами в руках. Личности возились со своими приспособлениями в углу за соседним столиком, откуда шел не менее странный, чем сами личности, запах.

— Простите, вы случайно не бензином тут поливаете? — спросил Волков.

— Ну что вы, — ответил один из беломасочников, — всего-навсего тараканов травим. А вы не беспокойтесь, на людей это действует только в концентрированном виде.

— А что, в другое время нельзя было?

— Это когда же? Рабочий день у нас с 9.00 до 17.00. Забегаловка эта функционирует с 11 до 18 без перерыва, а в воскресенье меня сюда трактором не затащишь, своих дел дома хватает. Так что терпите.

— Черт с вами, травите, — сказал Волков, — все равно пропадать в этой стране, как тараканам. Прыскайте на меня, на него и на всех.

Но личностей, видимо, действительно интересовали только мелкие насекомые, и, деликатно попрыскав под столом Волкову и его приятелю на ноги, они удалились.

— ...и что же удумали эти краснозадые, — как ни в чем не бывало продолжал волковский знакомец, — пиво в бане давать только моющимся. А мы, мол, с улицы, нам не положено. Ну, Колька с Игорем разделись под дверью и голые в буфет. А там целая очередь голых, мужики с бабами вперемешку...

— Да хватит тебе, гонщик-самоучка.

— Да чтоб мне...

— Ладно, ладно, — урезонивал Волков. — Ты Юрку давно не видел?

— Давно! Мы с ним неделю назад в такое говно вкакались, что, может быть, я здесь сижу, а меня в Крестах уже поминают и нары метут, а позавчера видел его на похоронах Голодного, из КПЗ только выпустили.

— Хоронили Васю?

— Да, и закопали по всем правилам. Народу было человек пятнадцать...

— Что?!

Ему даже в голову не пришло, что с Васей надо бы попрощаться, и тем более надо, что на похороны к нему вряд ли соберутся густые орды фанатов, собутыльников, истеричных дев, недозрелых отроковиц и прагматичных лжедрузей. Похоронили Васю как собаку, а он, Волк, обязанный ему (а может, все же не обязанный?), развлекался на даче с самогоном. Эх, сволочь! И обидней всего было то, что когда недавно хоронили закосячившегося мажора Китайцева, тысячи дур от мала до велика по всему городу рыдали и скорбели о нем, и одна совсем забуревшая от своей пэтэушности шизичка пыталась на могиле борца с косяками покончить жизнь при помощи тупого гвоздя.

“Вот и живи в этом стаде, — думал Волков. — Чувак на банке еле-еле аккорды умел переставлять, бренчал ум-ца, ум-ца в любой песне, не пел, а бубнил что-то с пафосом

Леонида Ильича, а кумир. Да, зубы и пронируемость — вещи более надежные, чем какой-то там талант, от какого-то там Бога”.

И он чувствовал почти что радость за Голодного, уже отмучившегося, и даже слегка завидовал ему, первому ушедшему, и с честью, туда, куда ему еще неизвестно сколько идти, а идти надо, и с честью ли придешь, а не приползешь ли, как червяк, на брюхе... Только больно было за свой скотский пофигизм и за жалкие похороны действительно великого человека...

— А что вы там с Юркой натворили?

— Да зашли мы с ним на телевидение к Наташке, а у нее там тусовка со всякими музыкальными педрастами за «круглым столом», и Щенков за главного педрилу. Мы тоже поодаль присели, а эфир прямой, прямой без заворотов. Ну, слово по слову, пальцем по столу, Наташка тут и вопрошает Щенкова что-то о смысле славы и как она дается, для чего и кому. Китайцева помянула на ночь глядя, кстати, грандиозный концерт в его честь собираются уделать. Тебя, кажется, тоже приглашают. Короче, дальше Щенков развонялся на пустом месте, как член партии с 1895 года, но все мимо. Тут я тоже сделал фэйс секретаря обкома и слова попросил.

— Представляю!

— И представлять нечего. У меня протокол, сейчас прочту. Слушай. Как раз за день до этого «круглого стола» написал.

Баллада о славе

*Бульдозерист Дубков любил таскать за
перси девок,
и он таскал их после трудового дня,
таскал по праздникам, субботам, воскресеньям,
но в понедельник, трезвый и суровый,
он, на бульдозер свой любимый взгромоздясь,
давил вокруг все, даже девок удивленных,
соляркой, словно пивом, упоен,
сносил дома, кладбища и ларьки,
до верху полные кроссовок и трусов,
а в 18.30 — девки в пляс —
бульдозерист Дубков на вас
войной иною шел и со стахановскою страстью
ей предавался до рассвета,
погиб Дубков печально и нелепо —
задавлен был бульдозером своим,
когда на гусеницу вылез помочиться,*

*мотор не выключив и балуясь струей,
которой и попал он, видно, на рычаг
коробки скоростей,
но память о лихом бульдозеристе
в народе до сих пор жива,
ведь матери, оттасканные им когда-то
и уцелевшие от гусениц потом,
отцову славу детям передали.*

— Ха! — сказал Волков, — недурно. А что дальше?

— Ну, естественно — атас. Все забалдели. Камеру в другой угол оттащили. Наташка нас с Юркой в шею. Я кричу им: “Не любите вы голую правду, глаза щиплет, вам ее в кальсонах подавай, в голубеньких, с завязочками”. Все равно выгнали. Порыли мы с горя к Казанскому и сняли две герлы. Ну, просто со страниц “Плэйбоя”. Ввалились с ними к Игорехе, а у него тоже герла сидит евонная пригорюнившись. Пьяный угол за углом, а денег — даже говорить неудобно: 3 рэ. Ну, мы с Юркой достали по четвертному, и все о’кей. Сидели часов до пяти утра, потом стали разбираться, кому с кем спать ложиться. Хотел я эту беловолосую ущучить, но Юрка, гад, да не гад вышло, а молодец, ущучил. Он потом мне рассказал, что легли они с ней как люди и стал он интеллигентно ее ощупывать. Вымя у нее, говорит; знатное, а трусы не сняла, менструация, мол. Боролись они под одеялом довольно долго, вдруг вскакивает она и говорит: “Я сейчас”. Ну, Юрка лежит себе спокойно, пошла девушка пописать. Может, после лучше будет. Только лежит он так полчаса, час. Удивился наконец, вскочил. Даже если бы у нее понос был, и то бы за глаза и за уши времени хватило. Пошел к туалету, тот заперт, тишина гробовая, только вода журчит в унитазе. Заснула, что ли, на очке? Стал стучать, звать ее: “Инка, Инка!”

— Инка?

— Ну да, Инкой звалась. Ну, не достучался и спать пошел. Я-то своей телке вставил пистон и спал как убитый, а утром вскочил, на работу опоздал опять и сломя голову когти рвать в сторону службы.

— Ну?

— Ну и ну. Повесилась Инка. Больше не будет у нее менструаций. Утром все встали. Игорь по двери ногой как даст. А она висит на цепочке, за которую дергают, пописамши. У Игоревой квартиры потолки-то пятиметровые, и бак этот черт-те где под потолком, а с него цепочка эта с ручкой фарфоровой. Забралась она повыше, захлестнула цепочку и

отвинтила язык налево. Юрка рассказывал, что очумел по самые помидоры, когда увидел это вымя, что несколько часов назад мацал, у себя над головой.

— А дальше что?

— Телка моя тут же слиняла, да она эту Инку, кроме как по имени, больше и не знала. Юрка беспаспортный. Игорю в ноги упал — упросил, что его там и не было. Герла Игорева тоже быстренько соскочила, и остался Игорь один на один с Инессой Сидоровной до прибытия участкового и так называемого врача из судмедэкспертизы.

— Ну?

— Что ну?

— Дальше.

— Дальше что. Игоря сначала посадили в КПЗ. Думали, попытка к изнасилованию. Но герла его прискакала все же и доказала, что была там и сама спала с Игорехой, а эта беловолосая попросилась от кого-то ночевать, вот ее и пустили на свою голову. Кто она, что она, естественно, никто не знает, а менты и узнавать не будут. У них таких историй каждый день до 23 бывает. Увезли ее в Первый медицинский, в трупарню, а там студенты, наверное, всю уже по суставчику расшелушили...

Волков молча вертел стакан в мертвых, никчемных пальцах, брякнул доньшком об доску стола и, медленно сшибая стулья, пошел к выходу.

Очнулся он на кладбище. Как он сюда попал, сам ли, или кто привел, не помнил. Да, что-то неладное с ним. Хотя, кажется, в пиццерии он спрашивал, какое кладбище и где могила.

И вот она. Даже есть свежевыкрашенная ограда вокруг деревянного креста. Это его религиозные друзья, наверно, постарались. И у Васи теперь новый номер, не паспортный, а могильный, сзади на кресте... 1564. Там были еще цифры впереди, но Волк видел только эти четыре последних кабалистических знака...

Давным-давно шли они как-то с Васей с репетиции посреди пустынной улицы, обсуждая какие-то детали игры, и едва успели увернуться со своими гитарами от здоровенного грузовика, выскочившего неизвестно откуда и мгновенно скрывшегося с глаз. И они успели оба запомнить его номер: 15-64. Потом, при встречах, как паролем, они приветствовали друг друга этими четырьмя цифрами: 15-64. Мол, все в порядке. Если и была опасность, то миновала. И этот почему-то втемяшившийся в голову номер пережил в его памяти многие другие

номера, черты лиц множества людей, много стихов и слов, сказанных наедине, и вот приветствуют его опять:

1564

Тогда тот грузовик только проехал по краю Васиной судьбы, а теперь вот догнал. И как ни пытался Вася изменить свою рок-н-рольную карму, сатанизм, посеянный им в начале пути, настиг и его. Значит, правду он говорил, что все они, так или иначе причастные к явлению “рок”, — прокляты, что просто так, без приключений, никому из них не выжить, не умереть. И его постепенно обступали со всех сторон знакомые и грустные лица: Бади Холи, Эди Кохрэн, Отис Реддинг, Марк Болан, Джим Моррисон, опухший, как слон, от своей славы Элвис, Хендрикс, Джэнис Джоплин, Леннон, Брайан Эпштейн, Бонэм, своей смертью убивший “Лед зеппелин”, Брайан Джонс, Джони Роттен, живой, но сумасшедший Ози и дальше смутная вереница лиц и жизней утопившихся, отравленных алкоголем, ЛСД, героином, марихуаной, убитых током, разбившихся в самолетах, машинах, поездах, задохнувшихся от дыма в горящих гостиницах, застреленных полубезумными фанами. А сколько их выжило, но с отметинами Сатаны на теле и в душе... И ему, Волку, долго ли еще метить волчьими следами тропы между сумасшедших домов, кладбищ и концертных залов?

По дороге домой, куда он медленно полз, как раненый зверь ползет в родную берлогу, Волков думал о жене, которой он давно уже должен был сказать что-то важное, да все было недосуг: то поездки, то съемки, то знакомые, то... Но сейчас ему так больно, что не хотелось чьей-либо боли еще. Наверно, он разлюбил ее, да и она его тоже. А может быть, любовь — это не только желание, секс, дети, а скорее наоборот: смирение, долготерпение, спокойствие. Ведь они уже давно не мешают друг другу, даже больше — помогают этим мирным тылом вот в таких несчастьях и потерях. Сейчас он придет и скажет ей, что она его ангел-хранитель и даже при очевидной малозаметности их отношений она все же нужна ему. Да, да...

Войдя в квартиру и в который уж раз споткнувшись об отстающую в коридоре паркетину, он привычно выругался: “Проклятые большевики!” Дверь в ее комнату была плотно прикрыта. Волков огляделся, пальто висело на вешалке. Он постучал в дверь. Ответа не было. Он постучал сильней.

— Что тебе нужно?

— Я хочу поговорить с тобой.

— Я не могу.

— Почему?

— Потому что я не одна и не хочу говорить с тобой именно сейчас о чем бы то ни было.

— Не одна?

Этого Волков ожидал меньше всего.

— Открой, — стучал он все нетерпеливей. — Открой же.

И дверь открылась, и он увидел ее, одетую кое-как в халат, с неприбранными, как обычно, волосами, загораживающую собой перспективу комнаты. И она ответила на мучивший Волкова вопрос, но совсем не так, как он ожидал.

— Убирайся вон.

Как он добрался до кухни и что сделал или сказал после этих слов, он не помнил. Привел его в чувство телефонный дрызг.

— Волк, ты?

— Я.

— Голос что-то твой не узнаю. Это Олег. В субботу концерт памяти Китайцева в Лужниках в Москве. Мне надо точно знать, в каком виде ты будешь играть: в акустике или электричестве?

— Ты знаешь, Олег, я не буду играть.

— Ты что, умом болен? Придет тысяч 50—70 народа, телевидение пустит его по первой программе, киношники будут об этом концерте снимать фильм. Реклама на весь мир! А ты заслуженный рокер Страны Советов, а все как будто ни при чем. Кончай гнать, давай состав быстро и сколько вещей будешь делать?

— Я тебе перезвоню через тридцать минут.

Пересохшее горло рвали спазмы. Надо было выпить чая. И вот уже чайник шуршит свежекипяченным паром, и Волков стал искать заварку. Но та как сквозь землю провалилась. “А что, может быть, действительно сыграть? Последний раз — и потом все к черту. Отыграть так же круто, как на Камчатке, чтобы у 70 тысяч ослов крыша поехала и встала на плечах ребром”.

Безрезультатно хлопая дверцей настенного шкафчика уже в третий раз, он наконец взбесился и в сердцах треснул по нему, ни в чем не повинному, кулаком левой руки, держа в вытянутой правой под струей воды из крана заварной чайничек. Что-то блеснуло перед ним в воздухе, словно серебряная рыбка с красными глазами в мутной тишине аквариума, и как будто искривившаяся струя горячей воды из-под крана плес-

нула по нежной коже локтевого сгиба и железно грянулась в сверкающую операционной белизной чашу раковины. Изумленно перебегая глазами с рдяного бутона, расцветавшего между плечом и предплечьем, на огненно-малиновый, давным-давно позабытый “Викторинокс”, празднично посверкивающий ладным своим тельцем возле чайника, Волков оцепенел, пока только что белоснежная раковина не превратилась в подобие розового импортного унитаза.

Он вскрикнул, выругался и смял бутон пальцами неповрежденной руки. Кровь продолжала весело струиться и между пальцами. Он кинулся было к телефону, потом в коридор к выходной двери. Около нее замер, постоял немного и вернулся вновь на кухню. Придвинул белый, как в операционной, кухонный табурет поближе к раковине, сел на него, выбросил из раковины порозовевший чайник и, опустив бутон внутрь раковины прямо под струю, другой рукой подкрутил кран холодной воды, чтобы было ни горячо, ни холодно, а как раз.

И он сидел, и вспоминал смутно, как из другой инкарнации, такую же розовую раковину, когда сержант Рыбаков разбил ему, а может, не ему... Позвольте! Какой, к черту, Рыбаков, этого же не было или было не с ним. Ну, хорошо, пусть с ним, что дальше... когда сержант Рыбаков разбил ему нос в первый раз. Потом весь бесконечный жаркий день, пока их батальон отсыпался за славную трудовую ночь, он чистил и драил “толчки” в туалете, до блеска тер маленькой щеткой пол казармы.

А ночью их снова погнали в оцепление, и вновь горбоносые люди, женщины, старики, дети стыдили их и рвались куда-то. Одна молодая шустрая девчушка плюнула Рыбакову в лицо, и он уложил ее ударом приклада по голове, а потом дал по зубам Волкову, который стоял рядом с ней и не бил людей автоматом, а только интеллигентно отталкивал их. И снова вся казарма храпела, охала, материлась во сне, благоухала портянками, кирпичом и плохо переваренной перловкой, а Волков драил пол и “толчки” и зажимал над раковиной разбитый нос. Если бы в автоматах у них тогда были не холостые, а боевые патроны!

На третью ночь было все то же самое: кричащие, протестующие люди, Рыбаков, ткнувший его автоматом в спину так, что спина после этого ныла месяц. И Волков, неделю назад сочинивший красивую пацифистскую балладу, вдруг как будто полетел в бездну с безнадежно перепутавшимися стропами парашюта.

Но вместо того, чтобы повернуться назад и шарахнуть прикладом по морде ненавистного Рыбакова, он сделал то же самое, не поворачиваясь. И кто-то отступил перед ним. Потом упал. Но это, конечно, сделал не Волков, а кто-то другой, позади него. Ведь он ничего этого не хотел и вообще все забыл. И это не его сержант Рыбаков похлопывал по плечу, а он, вернее — тот, за его спиной, не вытирая плевка, полученного от горбоносой женщины с горящими от ненависти глазами, ударил прикладом прямо по этим глазам. И снова все было хорошо, и Рыбаков больше не бил его ни в спину, ни по лицу, а казарму и “толчки” скребли уже другие салаги.

Всего в оцеплении они стояли неделю, и больше их часть никогда не посылали на подобные дела, так как они были обыкновенной пехотой. И Волков смял в тугой комок воспоминания той ночи и затолкал их так далеко, что теперь сам не мог понять, приснилась эта ночь ему или действительно была, скорее всего приснилась.

Или вот что. Всю эту историю рассказал ему один фан, длинноволосый такой, хиповый, а Волков еще и возмущался. Или тот фан ему про Афганистан рассказывал, где он убил целую семью из десяти человек?.. В общем, чепуха какая-то ему привиделась. Ведь как ни в чем не бывало писал он пацифистские баллады и после армии и, как и до нее, сильно не любил ражих наемников в беретах за их готовность бить кого прикажут. Не от смелости же эта услужливость, а из-за Рыбаковых, всегда стоящих за спиной сомневающих. А он, Волк, — смелый. Он — парашютист по собственной воле.

Внезапно, как ночной обыск, обрушились головокружение и нешуточная тошнотворная слабость. Он снова вскочил на уже заплетающиеся ноги и, зажимая рану рукой, кинулся вон из квартиры. Дверь лифта отворилась сразу, как будто только его и ждала. Нетерпеливо выжимая кнопку первого этажа, Волков рассчитывал в уме, сколько шагов нужно пробежать от лифта до крыльца подъезда, а от него до подъезда соседнего, где находилась, на счастье, станция “Скорой помощи”.

Кабина вдруг стала как вкопанная, но дверь не открывалась. Волков нажал кнопку второго этажа, третьего, четвертого, потом кнопку вызова. Попытался было на мгновение оставить рану и руками раздвинуть дверцы лифта, но убывающих с каждой секундой сил уже не хватало. “Скотина, — подумал про себя самого Волков. — Чем трусливо подышать в этой крысоловке, как

обманутая крыса, лучше бы по своей воле кинул тапки там, над раковиной, хотя жена подумала бы, что я из-за нее, а я не из-за кого, а просто..." И когда из последних сил уплывающего в темноту сознания не он, а звериное чувство самосохранения из глубины спинного мозга только было собралось завопить что-то вроде жалкого "спасите" или "караул", двери лифта вдруг разомкнулись, и вышедший из-за спины начавшего было сползать по стенке Волкова, неизвестно откуда взявшийся наемник в пятнистой куртке, вновь сильно толкнув уже почти мертвого рок-страдальца, вышел вон из лифта...

— "Электросила", — прочавкал ненатуральный голос над головой. — Следующая станция "Парк Победы". Волков, как ошпаренный, выскочил из лифта и медленно разжал пальцы левой руки, сжимавшие локтевой сгиб правой. Опять кто-то толкнул его, стоявшего столбом на проходе, и он, подхваченный общим потоком, втек на эскалатор, а с него сквозь стеклянные двери станции метро вытек на Московский проспект.

На одной из скамеек возле киосков в компании пяти-шести молодых людей сидела девица с гитарой и достаточно фальшиво пела примитивную песню, побрякивая на гитаре часто совсем не впопад. Волосы у нее были черными, голос прокуренный, неприятный. Что ж, все было в порядке вещей, и Вася Голодный, кажется, еще не умер, а по-прежнему лежит в своей больнице. А может быть, и не было никакого Васи, тем более Голодного?..

Рука сильно болела, особенно у локтевого сгиба, кажется, от того удара током. А действительно ли Андрюха выдернул тогда "джек" из усилителя? И, с недоверием ощупывая свое тело, он запнулся обо что-то в кармане брюк. Это опять был вездесущий "Викторинокс". Волков вытащил его из кармана и открыл главное лезвие. Оно было в буро-коричневых пятнах, похожих на засохшую акварель. Откуда они были, Волков не помнил.

1990—1991

ПОСЛЕ РОССИИ

Стихи З.Н.Гиппиус из старых эмигрантских изданий и рассказ “До воскресенья”

“Никогда я не умела писать стихов. Это очень точно: не умела. Как не умею мостовую мостить. Если и писала, то всякий раз, по выражению Бунина, “с большими слезами, папаша”. Уж когда было не отвертеться”, — писала З.Н.Гиппиус В.Ф.Ходасевичу.

Это “неумение” многое объясняет в природе поэтического творчества Гиппиус. Стихов она всегда писала немного, еще меньше печатала, в редко выходившие сборники включала далеко не все, напечатанное ею в периодике, и на редкость спокойно относилась к своей поэтической славе.

Когда-то ее строчка “Мне нужно то, чего нет на свете” облетела читающую Россию и принесла Гиппиус славу поэта. А другая строчка — “Но люблю я себя, как Бога” — прибавила к этой славе элемент скандала. Скандал — излюбленный художественный прием Достоевского, любимого писателя Гиппиус, — сопровождал многие ее поэтические, прозаические и литературно-критические публикации, как и эксцентричность ее литературно-бытового поведения, ее любовь к мистификациям и провоцирующим шуткам. Это совсем не божественное легкомыслие и не только игра, столь ценимая Гиппиус за “бескорыстие” и “загадочность” (см. стихотворение “Игра”). Взрывную силу скандала она использовала сознательно и активно.

Жизнь для Гиппиус — это движение, творчество, направленное на достижение мыслимого совершенства во времени. Все неподвижное в жизни, остановившееся, окостеневшее и окаменевшее — все это для Гиппиус проявления небытия, провалы, черные дыры в живой ткани жизни, из которых смотрит пустыми глазницами смерть. Небытие неприметно, но оно вездесуще, оно пронизывает всю жизнь. Персонификацией небытия является — в стихах и рассказах Гиппиус является буквально — традиционный персонаж христианской демонологии — черт. Если собрать вместе стихи и рассказы Гиппиус, где действует эта хвостатая тварь с раздвоенным копытом, меняя обличья, получился бы целый томик “Дьяволиады”.

Борьбу с небытием, “борьбу за живое с мертвецами” Гиппиус связывала с высвобождением из него бытия, живой жизни из жизни-неподвижности, из тех исторически отживших форм человеческих отношений — моральных, бытовых, половых, семейных, — которые обрекают человека на жизнь в серой паутине, на совместную смерть в жизни.

Эту смерть Гиппиус прежде всего видела в своей душе, в стихах безжалостно обнажая ее небытие — косность, мертвенность,

оцененелость, равнодушие. И в стихах же явлен ее стальной дух, нечеловеческая воля, которой она взнуздывала свою душу, понуждая ее выбираться из очередной черной ямы, из стоячего болота, в вязкой тине которого так хорошо и сладко спится, из мудрости вольного рабства — смириться, покориться, терпеть.

Среди пестрого цветения поэзии начала века стихи Гиппиус, выросшие из совершенно своеобразной душевной ткани, занимают особое место, что так или иначе ощущалось современниками. Блок говорил о "единственности Зинаиды Гиппиус". Бальмонт, вообще не склонный ценить поэзию современников, сказал о стихах Гиппиус, сравнив ее поэзию с магистральным сонетом в венке сонетов: "Она дает основные формулы настроений, которые разрабатываем все мы".

Хорошо известно, как Гиппиус отнеслась к октябрьскому перевороту, к новой власти в России. Мережковские почти три года прожили в советской России, прежде чем в начале 1920 года нелегально перешли русско-польскую границу, и у Гиппиус был богатый личный опыт жизни в советских условиях. Но природа большевизма была ей ясна задолго до 1917 года. Это было то самое ненавистное Гиппиус смертоносное небытие, мертвечина, вылезшая из черных провалов жизни, цепящая и опутывающая живую жизнь.

Предлагаемая ниже небольшая подборка дает представление о стихах Гиппиус, которые она писала в эмиграции. Это та же Гиппиус, что и в России, — узнаваемые ритмы и интонации, та же сдержанная сила, неукротимый дух, тот же горький неженский скептицизм. Но в чем-то это уже и другая Гиппиус. Как Лотова жена, обернувшаяся на горящий Содом, Гиппиус не может оторвать взгляда от России — соблазненной и падшей, опутанной серой паутиной небытия. Как писала она в одном из прежних стихотворений: "Единый миг застыл — и длится, // Как вечное раскаянье... // Нельзя ни плакать, ни молиться... // Отчаянье! Отчаянье!"

Живая боль разрыва окрашивает мысли о вечности, о смерти, о Боге. Понятия вины и греха становятся ключевыми в осознании того, что произошло. В стихах нет прежнего уверенного знания, нет и гневных инвектив против большевиков. Вопросы, вопросы, вопросы, на которые нет ответа. Настойчивость вопросительных интонаций происходит не от растерянности, которую при любых обстоятельствах трудно предположить в Гиппиус, а от выстраданной глубины этих тревожных вопросов. Ответы на них только у Бога, а прямой и честный человеческий ответ может быть один — не знаю. Те же ответы, которые может дать Гиппиус, несут на себе печать трагической уверенности, превращающей один из таких ответов — стихотворение "Грех" — в грозное пророчество.

Стихи Гиппиус всегда писала от мужского лица. Это неприлично, хочется найти этому какое-то объяснение. После смерти

Мережковского в 1941 году и до конца своих дней Гиппиус работала над книгой воспоминаний о Мережковском и над поэмой "Последний круг (и Новый Дант в аду)". То и другое осталось незаконченным. Сюжет поэмы такой: некая душа, естественно безымянная, бродит по аду в поисках души своего прежде умершего любимого мужа, чтобы соединиться с ней, и после разнообразных событий находит ее в раю — их встречей заканчивается поэма. В аду эта душа видит итальянского летчика, потомка Алигьери, который решил повторить его путь в царство мертвых. Проводя Нового Данта по кругам ада, безымянная душа рассказывает ему о своей земной жизни, о муже, о друзьях и, в частности, о том, что на земле она была женщиной и поэтом, но когда садилась писать, чувствовала себя мужчиной.

Прозу, в отличие от стихов, Гиппиус писать "умела". В России она писала романы, повести, выпустила шесть сборников рассказов. Но за 25 лет жизни в эмиграции она опубликовала всего десятка три рассказов и две повести: "Чужая любовь" и "Мемуары Мартынова". Это уже не та продуктивность, что в России. И дело здесь не в естественной убыли жизненной силы, которой, судя по ее стихам, не было, и не в эмигрантских издательских возможностях и сложностях, которые Мережковские ощущали на себе в полной мере. Видимо, Гиппиус была из тех писателей, которые не приживаются на чужой почве.

Главная тема ее эмигрантских рассказов — русские без России. Она пишет о соотечественниках, как и она, оставшихся без родины, но сохранивших ее — разной и по-разному — в сердце и в памяти. Люди церкви — монахи, священники — и прежде были частыми героями рассказов Гиппиус, и она относилась к ним весьма критически, перенося на них свою критику церкви за поселившийся в ней дух тяжести и неподвижности. В эмигрантских рассказах те же монахи, те же священники, но теперь, как в рассказе "До воскресенья", Гиппиус склоняется в низком поклоне перед их животворящей верой, перед величием их страдания и крепости.

Под стихами, написанными в эмиграции, Гиппиус редко ставляла дату. В тех случаях, когда отсутствует авторская датировка, а первая публикация их не обнаружена, стихи оставлены без даты. Даты первой публикации даны в скобках. Стихотворение "1917" публикуется по сборнику Гиппиус, вышедшему под псевдонимом: Антон Кириша, "Походные песни", Варшава, б.г. Стихотворение "Память" — по публикации в газете "Возрождение", Париж, 1928, 9 февраля. Остальные стихи печатаются по сборнику Гиппиус "Сияния", Париж, 1938. Рассказ "До воскресенья" печатается по публикации в газете "Последние новости", Париж, 1926, 2 мая.

Н.И.ОСЬМАКОВА

1917

Глядим, глядим все в ту же сторону
На мшистый дол, на топкий лес,
Вослед прокаркавшему ворону,
На край бледнеющих небес.

Давно ли ты, громада косная,
В освобождающей войне,
О Русь, как туча громоносная,
Восстала в вихре и в огне.

И вот опять, опять закована,
И безглагольна, и пуста...
Какой ты чарой зачарована?
Каким проклятьем проклята?

Но, во грехе тобой зачатые,
Хотим с тобою умирать.
Мы дети, матерью проклятые
И проклинающие мать.

(1920)

МЕРА

Всегда чего-нибудь нет, —
Чего-нибудь слишком много...
На все как бы есть ответ —
Но без последнего слога.

Свершится ли что — не так,
Некстати, непрочно, зыбко...
И каждый не верен знак,
В решеньи каждом — ошибка.

Змеится луна в воде —
Но лжет, золотясь, дорога...
Ущерб, перехлест везде.
А мера — только у Бога.

(1924)

ПАМЯТЬ

Недолгий след оставляю я
В капризной памяти людской.
Но память — призрак бытия —
Ненужный, лживый и пустой.

На что мне он? Живу в себе,
А если нет, не все ль равно,
Что кто-то помнит о тебе
Иль всеми ты забыт давно.

Пройдут единой чередой
И долгий век, и краткий день,
Нет жизни в памяти чужой.
И память как забвенье — тень.

Но на земле, пока моя
Еще живет и дышит плоть,
Лишь об одном забочусь я,
Чтоб не забыл меня Господь.

(1925)

СТЕНА

В полусверкании зеленом,
Как в полужизни-полусне,
Иду по круто-узким склонам,
По бело-блещущей стене.

И тело легкое послушно,
Хранимо пристальной луной.
И верен шаг полувоздушный
Над осиянной пустотой.

Земля, твои оковы сняты,
Твои законы сметены.
Как немо, вольно и крылато
В высоком царствии луны!

И вьется в полусмертной тени
Мой острый путь — тропа любви...
О мать-земля! моих видений
Далеким зовом — не прерви!

Ужель ты хочешь, чтоб опять я
Рабом очнулся и в провал —
В твои ревнивые объятия —
Тяжелокаменно упал?

(1925)

* * *

Господи, дай увидеть!
Молюсь я в часы ночные.
Дай мне еще увидеть
Родную мою Россию.

Как Симеону увидеть
Дал Ты, Господь, Мессию,
Дай мне, дай увидеть
Родную мою Россию.

ИГРА

Совсем не плох и спуск с горы:
Кто бури знал, тот мудрость ценит.
Лишь одного мне жаль: игры...
Ее и мудрость не заменит.

Игра загадочней всего
И бескорыстнее на свете.
Она всегда — ни для чего,
Как ни над чем смеются дети.

Котенок возится с клубком,
Играет море в постоянство...
И всякий ведал — за рулем —
Игру безумную с пространством.

Играет с рифмами поэт,
И пена — по краям бокала...
А здесь, на спуске, разве след —
След от игры остался малый.

Пускай! Когда придет пора
И все окончатся дороги,
Я об игре спрошу Петра,
Остановившись на пороге.

И если нет игры в раю,
Скажу, что рая не приемлю.
Возьму опять суму мою
И снова попрошусь на землю.

(1930)

КАК ОН

Георгию Адамовичу

Преодолеть без утешенья,
Все пережить и все принять,
И в сердце даже на забвенье
Надежды тайной не питать, —

Но быть, как этот купол синий,
Как он, высокий и простой,
Склоняться любящей пустыней
Над нераскаянной землей.

ЗА ЧТО?

Качаются на луне
Пальмовые перья.
Жить хорошо ли мне,
Как живу теперь я?

Ниткой золотой светляки
Пролетают, мигая.
Как чаша, полна тоски
Душа — до самого края.

Морские дали — поля
Бледно-серебряных лилий...
Родная моя земля,
За что тебя погубили?

(1936)

ГРЕХ

И мы простим, и Бог простит.
Мы жаждем мести от незнания.
Но злое дело — воздаянье
Само в себе, таясь, таит.

И путь наш чист, и долг наш прост:
Не надо мстить. Не нам отмщенье.
Змея сама, свернувши звенья,
В свой собственный вопьется хвост.

Простим и мы, и Бог простит,
Но грех прощения не знает,
Он для себя — себя хранит,
Своею кровью кровь смывает,
Себя вовеки не прощает,
Хоть мы простим, и Бог простит.

(1938)

ДО ВОСКРЕСЕНЬЯ

...На “рю Дарю”^{*} слишком хорошо поют. Слишком! Ах, знаю, чего вы от меня ждете: начну сейчас вспоминать деревенскую церквушку на родине, да как я туда к Светлой заутрени ходил, да как талой землей пахло, а народ, в это время, со свечечками... Но у меня никаких подобных воспоминаний нет. В деревне я ранней весной не бывал, в церковь меня в детстве не водили, только в гимназии, в гимназическую; а там какая уж трогательность! Рос в городской, интеллигентно-обывательской семье и сам вышел таким же интеллигентно-обывателем: всем интересовался — понемногу; в университете преимущественно политикой (в такой кружок попал), но тоже не до самозабвения. Церковью и религиозными вопросами не интересовался никогда. На этот счет уж было установленное мнение, его мы и держались.

Кончил университет, надо было в военную школу идти, но тут как раз случилась революция, я и остался. И почему-то мы, то есть я и некоторые из нашего кружка, очутились в левых эсерах. Главный был Гросман, а другие, особенно я, так, сбоку припека. После октября завертело, и вскоре я всех из виду потерял. Долго рассказывать, ну, словом, через год или меньше, — я и сам не знал, кто я такой, не до левого уж эсерства, а просто чувствовал себя зайцем, которого травят и все равно затравят. Два раза ловили, сидел подолгу и как-то, случайностью чистой, оказывался на улице. Но теперь знал: попаду в третий раз — кончено. А не попасть было нельзя: такое время наступило, что брать стали решительно всех и отовсюду, из домов, с улиц, с базара, из-под моста, из театра, — значит, не скроешься. Я уж почти и не скрывался. Не жил, правда, нигде, — то на барке заночую, а то попросился раз к хозяйке знакомой, девицы у нее разбежались, — а ее еще не трогали. Во второй раз, впрочем, не пустила.

И завяз я в тоске. Такая тоска, и не она во мне, а именно я в ней сидел. Смотрю сквозь нее на все, как сквозь желатин, — и все мне омерзительно, и панель, и дома, и большевики... Хожу тоже как в густом желатине: ноги едва двигаются. Раз подумалось: это предсмертная тоска; верно, такая она и бывает.

Наконец взяли.

^{*} “Рю Дарю” — на улице Дарю в Париже находится русский православный Александро-Невский собор.

Я предполагал, что сейчас и конец. Однако, держат. Допросов не было, время уж очень горячее, некогда. Такое горячее, что в камеру к нам все подваливали, да подваливали, без всякой меры. Я привык за прежние разы, — и ко всему уже привык: меня никто не мог бы от прочих оборванцев отличить, а главное, я сам себя как-то не отличал; но тут становилось тяжело. Они и сами, верно, увидали, что некуда: начались выводы. Я опять подумал, что в первую партию угожу, — давно сидел, — да они, черт их знает, по какому порядку выбирали, заметить было нельзя.

Сначала разгружали тихо, только чтоб с новыми не прибавлялось, но зато после как пошло, как пошло, — беда. Камера, конечно, стала бешеная, не выдерживали. Утром еще туда-сюда, а ближе к ночи — вой, плач, хохот. Были и совсем помешанные. Это всегда так, это и раньше я видел, но тут уж дошло до чрезвычайности.

В крайнем углу было нас трое тихих. Один большевик, столяр, толстоносый: все шепотом, страшно, ругался и повторял: “Это не большевики, я сам большевик, это живорезы! Сказал — и еще скажу!” Но тут же плакал. Другой — мальчик, паршивенький, дикий. Молчал, как немой, озирался, и вдруг задрожит — целый час продрожит.

Из новых сначала ничего, а осмотрятся — и они взбесятся.

Вдруг пошел слух один: будто из выводных, кое-кого, по строгому отбору, ведут не прямо, а сначала “в кабинет”. А там уж, будто, судьба твоя в твоих руках... Что ж вы думаете, повеселела камера. Всякий стал надеяться, без малейших даже оснований, — вдруг попадет в отбор? А там уж...

Основания были — у меня, потому что отбор-то, по дополнительному слуху, делал товарищ Гросман, и я догадался: мой Гросман. Давно потерял его из виду, а говорили, как будто: пошел в гору. Вот она где, гора: в здешнем кабинете. Но мне было все равно. Тоска все завалила. Скорей бы уж; вызовет Гросман — пусть. Не вызовет — тоже пусть. Скорей бы только.

Но все — нет. Очищали же сильно: десять новых, а берут по двадцати и больше. Раз навели новых порядочно, разношерстные какие-то, всякие. Сунули одного в наш угол, сверх комплекта. Смотрю — старик. Полненький, лысина, а сзади седоватые волосы длинные. Поп! Бывали у нас и попы, да не помнилось особенно. Этот, как новенький, сейчас разговаривать. Глазами моргает, но ничего, не беспокоится. Мне стало досадно, что он, видимо, не понимает, куда попал. Рассказы-

ваю ему, в трех словах: на допрос вряд ли попадете, и так далее. Он ничего. Тулупчишка у него был, мешок небольшой, — с краю стал пристраиваться. Я, говорит, ненадолго, так много места не надо. — Почему уверены? — спрашиваю. — Да из ваших же слов заключаю. А мое дело прямое.

За что кто взят — у нас не говорили, уж по той причине, что никто этого не знал. Попик же мой словоохотливый мне объяснять, — камера гамела, так он мне почти в ухо, — что взяли его, будто, за рыжую кобылу. Рассказывал пространно, я, от нечего делать, прислушался и стал понимать.

Из села привезли, откуда-то из-под Вышнего Волочка. Там он попил двадцать лет, со всеми жил хорошо, и, будто, привыкли к нему. Потом началась эта, как он выразился, “будоражь”, и свои, на местах, еще ничего, а наезды хуже, наезжать стали беспрестанно. Как третьего дня служил — налетела их туча, пьяные, верхами, спешились и лезут в шапках в церковь. Его схватили, — тут он что-то долго рассказывал, поиздевались, должно быть, изрядно, — вывели на паперть.

— Гляжу я, середь них наш же Федька Босмаников, солдатом уходил, ничего был парень, теперь шапка на затылке, комиссар, и орет: докажи, что не контр-революционер, богам кланялся, поклонись моей рыжей кобыле! Ну и все за ним невозбранно, — поклонись да поклонись, а нет — у нас мандат, нам тоже строго, хоть и наша власть.

— Ну и что же?

— А что же? Мандат так мандат. Они не понимают.

— Да кобыле-то вы поклонились? Ведь они только всего и требовали?

— Только всего. А что вы думаете, господин, или как вас величать, товарищ, — достойно мне, алтарю предстоящему, рыжей кобыле кланяться?

Я ничего не ответил. Дико мне это было. Столяр-большевик, рядом скорчившись, захохотал шепотом: “А стенке предстатье хочешь? Вмескобылы на живопырню. Большевики тут, что ли? Живорезы!”

Попик очень серьезно на него поглядел, очень серьезно, и как-то, совсем просто, сказал:

— Мне что хотеть; что Господь хочет. Не хочет Господь, чтоб я рыжей кобыле кланялся, так я и не кланяюсь.

Поп этот — отцом Виринеем (Иринеем?) он назвался — сильно стал меня изумлять. Главное, совершенным своим уверенным спокойствием, веселостью даже. Я все-таки подумал:

не понимает. Ведь чепуха же, пьяные, рыжая кобыла... и сюда. Эдакая чепуха!

Но он отлично понимал. Он каждый день — я видел — готовился. Придут в камеру — он ничего. Уйдут (еще не сегодня, значит!) — он опять ничего. Я все ждал: посидит, осмотрится, схватится?.. Нисколько. В грязи нашей, в духоте, в вони, в гаме, в вое — сидит себе на полу, на мешочке (тулуп у него не то свистнули, не то сам отдал кому-то), шепчет — молитвы, очевидно, читает, — а лицо приятное, будто так и надо.

Теперь позвольте досказать кратко, впрочем и время было краткое: может, неделя, а может, дней десять. Заинтересовало меня чрезвычайно, как он не поберег себя из-за такого вздора, да мало себя — старуху-попадью бросил, прихожан своих покинул, — а хорошие, говорит, были из них, жалко! — и теперь так уверенно готовится, не боится.

Выспрашивал; но он немногословен был насчет этого, точно не понимал, чего тут можно не понимать. “Да меня же, говорит, Сын человеческий постыдился бы; какая же мне была бы польза?” — “Это вы про Христа, что ли, отец Вириней?” — “А про кого же? Никакому человеку нет пользы сберегать себя, хуже потеряет”.

Через краткие слова, а больше через то, что я воочию видел, какая ему польза, — вошло все это в меня клином. Так занялся, что и тоска — ничего, и камера — ничего: все слышу, вижу, понимаю, как оно ужасно, а ужаса не чувствую. Даже сроднились они у меня, и Вириней, и гам, и ожидание, — не сегодня ли? Столяр, будто, не слушал нас, но должно быть слушал: затих ругаться. И про других я стал замечать, которые дольше сидели: нет-нет — тянутся в наш угол.

Под конец, как вспоминаю, я совсем утерял время: будто это навсегда, и камера, и выводы, и Вириней, и я. Между тем не удивился, когда пришли, — спешкой, как обычно, — и в счет попал Вириней. Я только вскочил за ним, и когда солдат оттолкнул меня прикладом от него и от столяра (столяр тоже попал), я остановился в каком-то недоумении. Виринеева лысая голова была еще близко, обернулся ко мне, ручкой помахал: “Прощай, миленький! Я ведь ненадолго! Прощай, до воскресенья!” Кричу ему — что? когда? А он опять, уж из толпы, сквозь стук и вой: “До воскресенья! до воскресенья только!”

Мальчишка дикий так тут завизжал пронзительно, побавь, что все заглушил, да визжал, без перерыва, минут

десять. Уж давно ушли, а он все визжит. Я уши сначала заткнул, а потом привык, — хоть бы и навсегда это визжание около меня.

Хорошенько не помню, а, кажется, на другой же день попал в партию и я.

Подробно не рассказываю, не стоит; действительно, по дороге ввели меня к Гросману; только вышло это молниеносно; он на меня взглянул, я на него, и сказал ему всего два слова — он тотчас дверь открыл: “Присоединить!” и меня присоединили.

Думал, поведут нас куда-нибудь в подвал. Нет, наружу вывели, на грузовик, и повезли. Ночь была теплая, весенняя, воздух меня почти обеспамятил. Везли долго, я мало что понимал, от воздуха. Кто-то сказал рядом: “Теперь до воскресенья последние”... И обрадовался, что “до воскресенья”...

Помню едва-едва, что ужасная была спешка; сырая земля; густые кусты. Потом мелькнули огоньки; и все.

Вам неизвестно, но поверить мне можете: существовали тогда такие люди — разные, между ними девушки интеллигентные, — которые брали на себя опасное дело, прямо смертельное: где расстрел (тогда часто это под городом, в укромных местах) — они, при малейшей возможности, старались пробраться туда — сейчас после. Потому что в горячие времена, при спешке, ночью, — постоянно оставались недострелянные. Забрасают пока валежником, или чем, — и назад. Чтобы как следует — приезжали потом.

Было излюбленное место — мое — там кустов много. Туда и ходили эти, у кого я, после, раненый лежал, в домишке ихнем, в поселке, недалеко. Выжил, без доктора, и ничего, по веснам только грудь болит.

Их — не семья, разные люди; профессор был, две курсистки, одна барышня с архитектурных курсов, дьякон кладбищенский... Но поверьте, никогда я таких людей ни раньше, ни после не видал. В ихней лачужке я окончательно и привел в порядок все, что с собой из камеры унес и через кусты протаскил. Без них... да что говорить, что было бы без них! А они еще помогли — научили.

Летом, едва поправили, ушел на Финляндию. Нельзя было, ради них. И так двое, еще при мне, пропало.

Вот я и говорю: что клином вошло, того выбить нельзя. И уж оттуда, где мой Вириней, я не уйду до самой... до самого воскресенья, как он говорил. То есть, из церкви православной. Я и здесь-то осел, хоть трудно было устроиться, потому что

здесь храм. Но скажу вам по совести: в здешнем храме не все мое сердце. Я начал с того, что слишком хорошо поют на "рю Дарю". И повторяю: слишком. Для меня, по крайней мере. Как вам выразить? Сидел Вириней на полу, на асфальте черном, камера гамела, выла, ревела, выводов ждала, безумствовала, — и осталось это во мне цельно; но не ужасом осталось, а так — будто прислушаться... и где-то под визгом, под ревом, услышишь ангельское пение...

Здесь же оно, почти что ангельское, прямо дается, не нужно и прислушиваться: всякий сразу тронут. Камеры никакой будто на свете не бывало. А ведь она есть. И все мне чудится, что сторонкой ее не обойти, не сделать, как ни старайся, чтоб ангелы с неба прямым путем нисходили...

Может, искушение, но вам признаюсь: когда уж очень хорошо поют, душа в горния унесется, — вдруг я, сквозь ангельское-то пение, начинаю тот вой и рев слышать. И ужасаюсь...

Вы улыбнетесь, а я раз даже сон видел: стою, будто, в храме, благолепие; поют — ну, концертно. А рядом Вириней, как был, в дырявом ватном подряснике, и лысой головой качает, шепчет мне в ухо: чего ты, миленький, здесь, ведь некогда! А слушать — лучше услышишь, потерпи до воскресенья...

(1926)

ХОЧУ ЗАПОЛНИТЬ ЭТУ ПАУЗУ...

* * *

Памяти отца

Нальем же в бокалы постылый нарзан,
Окончено время лишений!
И что-то с глазами. И больно глазам
От света последних решений.

Пусть правда блестит над страной, как нож
Над брюхом балтийской селедки!
Не верю я в правду. Не верю я в ложь.
Ни в то, что лежит посередке:

Ни в добрую волю, ни в трепетный ум,
Ни в трезвость, ни в прочую мерзость,
Покуда работают почки и ГУМ
И почва еще не разверзлась!

Покуда на грядках растет сельдерей,
И девки приходят в малинник,
И души усопших стоят у дверей
Своих даровых поликлиник,

И тени живущих, как тени секунд,
Ложатся на землю родную.
Их дома секут. И на службе секут.
И вьюги поют отходную.

**Алексей
ЗАЙЦЕВ**

— родился в 1958 г. в Улан-Удэ. Студент Литературного института. Печатался в журналах "Огонек", "Литературная учеба", в альманахе "Теплый Стан".

* * *

Э.Ласкер-Шюлер

По городу ходил я, где дома
Похожи на могилы мусульман,
Но на балконах сушится белье,
И у теней густая бахрома.

Здесь улиц нет — одни лишь тупики,
И жители — с пеленок старики.
Я бронзовое зеркальце нашел
В кустарнике у высохшей реки.

Его поверхность выше всех похвал
Искусный мастер так отшлифовал,
Что я глядел и видел, как в зрачке
Скакал чертенок в светлом колпачке...

Когда на трон восходит идиот,
Когда дрожат над миром миражи,
Поэзия, как девочка, идет
Ко мне, не поднимая паранджи.

Я, первый встречный, до остатка дней —
Поклонник прозаических утех.
Но ломкий луч, от бронзы отлетев,
Сплясал веселым чертиком пред ней!

* * *

“Я кровь от рук твоих отмою...”
А. Ахматова

Хочу заполнить эту паузу,
Продлить ее. Вернуться снова
В предместье Кёнигс Вустерхаузен,
В подвальчик с потолком дубовым.

Вернуться в зимнюю Германию
С гирляндами под каждой кровлей,
С внезапным чувством о т м ы в а н и я
Всего себя от чьей-то крови.

И снова слушаю до одури
То венский вальс, то голос леса,
И вновь от страха и раскаянья
Освобождается душа,

Когда из Франкфурта-на-Одере
Я жду вечернего экспресса,
И ангелы садятся стаями
На острие карандаша.

* * *

Как росли наши души?
А души растут
Без надежды на то,
Что их после спасут,
Что не скосят косой,
Что не срежут серпом
Не положат снопом
И не сядут верхом.

...а вокруг нас толпится
Парад — не парад,
С оглушительным ржаньем
Табун — не табун.
Нам лохматые девки
Кричали с эстрад,
Нас плешивые старцы
Учили с трибун...

И покуда нам памятны их голоса,
Все нам — божья роса.
Все нам — божья роса.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Я всю ночь горевал,
В кружку чай наливал
И стихи до утра
Про себя напевал.
И они волновались, как ветер в траве,
И смычком вышивали по вольной канве.

Думал я: в этот час
По пустыне идут
За верблюдом — верблюд,
За верблюдом — верблюд,
А под сводами леса кибитка стоит,
И улитки глядят из своих пирамид.

Где-нибудь далеко
В этот сумрачный час
Васильком на конфорке
Распустится газ,
И младенцу согреют на нем молоко,
Но ни нам, ни младенцам не станет легко.

Накреньясь, канонерки
Несутся в волнах,
И русалки взбивают
Прибой на мели.
Отцвели уж давно хризантемы в садах,
И поместили каждый бутон кобели!

Но травой зарастают
Следы от колес,
И любые морщины
Разгладит песок,
И хотелось мне в это поверить до слез,
И с собой ничего я поделать не мог.

Юрий Петкевич

ЯВЛЕНИЕ АНГЕЛА САПОЖКОВУ

Обыкновенная история

Всю жизнь Сапожков искал смысл жизни. Один раз он напился водки и пошел в баню. Набирала силу весна, но ветер кружился, как самой проклятой осенью, и мелкий нежный лист летал по воздуху вместе с песком и пылью. У бани стояли мужики. Сапожков пожаловался им:

— Фу, я очумел, — и вошел в баню.

По предбаннику ходили полуголые люди с отсутствующими, тупыми лицами. Сапожков еле-еле стянул с себя рубашку, а потом сапоги и штаны и отправился в гулкий теплый грохот в носках, трусах и майке, опустив голову.

В парилке кто-то пел.

Сапожков, боясь поскользнуться, побрел в парилку, сел на полок, обхватил руками колени и положил голову на руки и колени, наморщив влажный лоб.

— Оооо-аа-о! — запел лысый мужчина, усмехаясь и поглаживая себя.

Певец то умолкал, то сопел взволнованно, и Сапожков иногда улыбался ему, глупо и мило. Но майка, трусы и носки сделались мокрыми и противными. И Сапожков приподнял с коленей голову и спросил:

— Чего ты поешь?

Лысый посмотрел на него, засопел и дальше запел. Тогда Сапожков разозлился, встал, подошел к певцу и стукнул его в грудь, и говорит:

— Не пой, пожалуйста.

**Юрий
ПЕТКЕВИЧ**

— родился в 1962 г. в Белоруссии. Окончил Белорусский институт народного хозяйства, затем Высшие сценарные курсы в Москве. Писать начал в 1985 г., но еще не печатался. "Явление ангела Сапожкову" — первая его публикация.

Тот и замолчал. Сапожков шлепнулся на полок, но в организме его все нарушилось, тогда он встал и вышел из бани в мокрых трусах, носках и майке, не зная, что бы сделать. На улице по-прежнему стояли мужики. Сапожков сказал им, улыбаясь:

— Я приеду в Яблоновку умирать, там природа красивая.

Холодный ветер сухой пылью ударил в него. Сапожков заплакал и вернулся в баню, чтобы одеться и вообще из нее уйти.

Когда он от тоски бродил, как мокрая курица с желтыми глазами, по бульвару и сам запел, подошел лысый певец из бани и сказал:

— У меня сегодня день рождения. Давай выпьем, — и показал из внутреннего кармана пиджака горлышко с бумажной пробкой.

— Давай, — согласился Сапожков.

И они спрятались в глубь кустов, где не спеша выпили самогонку, причем именинник дал Сапожкову закусить куском мяса.

Через кусты была видна танцплощадка, загороженная по кругу высокой мелкой железной сеткой. Перед ней толпился народ. За сеткой танцевали. А на эстраде бушевал оркестр. Сапожков с лысым пробрались сквозь начинающие зацветать кусты и подошли к народу. Народ был не дурак и хотел пройти на танцы обманным путем.

— Сейчас и мы через дырку пройдем, — зашептал лысый.

Они обогнули по кругу танцплощадку и спрятались в зарослях за эстрадой.

— Так где она? — искал дырку в железной сетке именинник.

— Может, вот это? — что-то нашел Сапожков.

— Да, — сказал лысый, — сволочи! — проволокой закрутили.

Он стал развязывать проволоку и развязал, в кровь изодрав пальцы.

— Натягивай сетку на себя, — сказал он Сапожкову, — а я потом тебе натяну оттуда.

Сапожков натянул на себя край разорванной сетки, и лысый полез в дырку. Когда осталась одна нога, он обернулся, подхватил ее руками и бросился в глубь танцующих.

— Уходи! — он крикнул Сапожкову, побледнев, со страшным лицом.

Сапожков, не глядя никуда, вжал голову в плечи и полез за ним, но чья-то тяжелая рука схватила его за воротник. Сапожков обернулся.

— А-а-аа... — сказала ему властная, как лебедь, женщина.

Он вырвал голову назад из дырки и оцарапал лицо проволокой.

— А-ангел... — говорила женщина.

— Ссссука! — крикнул ей прямо в глаза Сапожков, почувствовав губами ее колючие ресницы, рванулся и отпихнул со всей силы эту бабу.

Она отлетела в кусты и упала там, а он убежал, не оглядываясь со страху, в глубь парка.

Уже начинало смеркаться. Вдруг сразу везде зажглись фонари. Сапожков повернул обратно. На розовом домике висела вывеска: "Касса". Он подошел и встал в ряд за людьми, и очень задумался, и не заметил, когда подошла его очередь.

— Бери билет! — закричал мальчик, который стоял сзади.

Сапожков положил копейки в окошечко, но тотчас отскочил, спрятавшись за мальчика, потому что в окошке улыбалась золотым зубом женщина, которую он бросил в кусты.

— На́ билет, идиот! Прямо в ухо дышит, — проворчал мальчик.

Сапожков взял билет и пошел на танцы.

Сразу же ему попалась будущая жена. Он схватил ее за талию и потянул танцевать — задерживая взгляд, когда смотрел на женское лицо, чтобы она что-нибудь почувствовала. Но она ничего не чувствовала и даже не смотрела на Сапожкова, потому что у него выросли большой нос и большие уши. Во время танца Сапожков думал и как-то вдруг сообразил, что люди живут для того, чтобы породить детей почему-то. И всем своим нутром обрадовался он и понял, что действительно — это смысл жизни. И если для кого-то может еще существовать какой-нибудь смысл жизни — построить коммунизм, например, то для него существует только один смысл, потому что Сапожков ничего не умел делать и ни к чему не был способен.

— Рыбу хорошо горохом прикармливать, — вдруг услышал он и весь изменился: это говорил своей напарнице в танце мальчик, который обозвал его идиотом.

— Кто это рыбу горохом прикармливает? — завопил Сапожков и подскочил к мальчику.

А тот ударил внезапно Сапожкова палкой по голове. Будущая жена заплакала, а Сапожков убежал с танцплощадки в трепетную темень и тоже заплакал, но, увидев перед собой мерцающие глаза, замер.

— А, это ты, — сказал кто-то из мрака.

— Кто — я? — спросил Сапожков.

— Мы же с тобой сегодня пили, — говорил кто-то. — Ты что, по голосу не можешь узнать?

— Не могу, — ответил Сапожков и узнал.

— А я тебя по голосу сразу. Ладно, давай лучше выпьем, — обрадовался именинник.

— А есть?

— Я здесь в кустах целый саквояж спрятал. У меня же сегодня день рождения, — грустно сказал лысый певец...

Напившись, еле-еле приплетясь на казенную квартиру, Сапожков сразу же завалился в постель от одиночества, тоски и холода, но посреди ночи проснулся от вони. Воняло где-то рядом, почти на Сапожкове. Он встал, и зажег электрический свет, и обнаружил, что соседский кот залез внутрь пододеяльника и оправился там.

У Сапожкова не было сил ни выгнать белого кота, ни побить его, а тот с невинным видом прохаживался по квартире. Зловещая ночь царила за окном, увидел Сапожков. Он нашел полбутылки и выпил. И сидел, задумавшись, за столом, дрожа от тоски и холода, голый, пока от алкоголя не забылся, но стул и стол стучали всю ночь.

Назавтра, проснувшись оттого, что мозги разваливаются, Сапожков отправился в пивную. По дороге он встретил будущую жену. От удивления перед судьбой и почувствовав Бога, она ужаснулась — ее волосики встали дыбом. Сапожков носил кепи и взял и надел его на женскую голову, даже забыв, что козырек грязный, и стоящие дыбом волосики пригнулись. И она пошла с ним на пиво, и хлопала время от времени несколько раз подряд ресницами мелко-мелко. А Сапожков подумал, что она может так и уйти с его шапкой на голове, и

ему придется мерзнуть, покуда не купит новое кепи, и ему стало безучастно.

Скоро устроили пышную свадьбу. Собрались все будущие родственники Сапожкова за богатым столом. Пили не из бутылок, а из графинов, чтоб не украли: графин труднее украсть. Сапожков сначала стеснялся, а потом перестал стесняться. Один из присутствующих был директор фабрики “Индошивсаван” и сидел, как генерал.

Все больше ели, чем разговаривали. Сапожков слышал сопение. Иногда оно затихало, а потом снова: кто-то посопит-посопит, и Сапожкова в пот кинуло, — послышалось ему сопение знакомым. “Где-то я слышал этот сап”, — подумал он и вспомнил, что это сап лысого мужика, который в бане пел. Испугался Сапожков и узнал в тесте лысого певца, который в эту минуту тоже узнал Сапожкова и смотрел на него, не мигая.

— Здравсьте, — сказал ему Сапожков.

— Здравсьте, — сказал тесть. Сидит, молчит и только потом говорит: — Почему ты не любишь музыки?

Сапожков отвечал:

— Я люблю музыку. Я, правда, как сапог в музыке, но я люблю музыку.

Под столом появился кот. Опыневший Сапожков стал задевать нетвердой рукой за свой нос. Кот сидел у ног и смотрел, как Сапожков ест вареное яйцо.

— Но яйца я тебе не дам, — сказал коту Сапожков, и у него изо рта вывалился кусок вареного яйца, и кот бросился подбирать его.

Сапожков забыл, зачем пришел сюда, и ему захотелось сделать что-то гадкое, но потом он стал улыбаться. Кислая капуста полосами висела на его черном пиджаке. Его избранница засмеялась от его вида и, застеснявшись, убежала. Он вскочил и побежал за ней. Но тесть поспешил за ним, схватил за руку и поволол назад.

— От меня не убежишь, — воскликнул он, — пей! — приказал.

Сапожков выпил и стал закусывать соленым огурцом. А теща сказала своему мужу:

— Скотина несчастная!

— А ты не жена мне, а корова! — закричал лысый певец.

Они стали драться. Но женщина оказалась бойкой, а ее муж трусливым. Хотя он был ответственный партийный работник, но проявил себя мужик мужиком и схватил графин с водкой, и закричал Сапожкову:

— Пошли!

Тут Сапожков в теще узнал кассиршу, которую бросил в кусты на танцах. У Сапожкова похолодели внутренности, и он побежал за лысым тестем.

Они заскочили в отдельную комнату и закрылись. За дверью покричали-покричали да успокоились. Но лысый тесть долго не мог прийти в себя:

— Кретины, кретины! — махал пальцем у носа Сапожкова тесть и даже раз попал по носу. Его палец был очень тяжелый. — Какие они глупые, да?

— Да, — согласился Сапожков.

— О, Боже, — тесть поглядел в потолок. — О, Боже, люди, как я вас люблю и ненавижу!

Он бросился к двери и закричал туда:

— Дураки!

За дверью возмущенно закричали в ответ.

— А-а-а! Подонки! — дрожащим голосом воскликнул тесть. — Вот этот директор фабрики “Индпошивсаван”, — тесть повернул лысую голову к Сапожкову и зашептал: — Он полфабрики этой украл. А все кланяются перед ним, скоты. А вот тебя я люблю, — вдруг открылся тесть Сапожкову. — Я не знаю, за что, но люблю.

Сапожков улыбнулся и сказал:

— Я приеду в Яблоновку умирать — там природа красивая.

Тесть вздохнул, сел за стол, и они стали пить из кружек с изогнутыми ручками. Но взгляд тестя остановился, он опять вскочил и бросился пинать руками и ногами картины, висящие на стенах, и даже стал плевать в них.

— Что вы делаете? — изумился Сапожков.

Кружка с изогнутой ручкой свалилась со стола и прицепилась к тестю за штанину.

— Ха-ха-ха! — засмеялся тесть и стал отдергивать кружку от штанов.

— А кто это рисует? — спросил Сапожков.

— Жена... Вот нужна желтая краска, — вспомнил лысый тесть. — Почему-то эта краска больше всего идет. Наверно, потому, что кожа человеческая — желтого цвета... А между

прочим, мы с женой долго жили, и я ее не любил. Но потом как-то полюбил. Вот твоя дурочка, — сказал он Сапожкову про его суженую, — она точно дурочка, потому что когда мы с женой ее зачали, мы не любили друг друга и даже не знали, что это такое. А моя новая доченька — это совсем другое дело: жена ее родила, когда мы уже любили друг друга.

Тесть бросился к двери и закричал:

— Доченька, доченька!

За дверью начали вновь возмущаться. Тогда он попросил нежным, срывающимся от волнения голосом:

— Доченька, милая, любимая! Пройдись около окна на дворе, я хочу на тебя посмотреть. Доченька, милая! — Тесть от отчаяния упал на пол и заплакал.

Сапожков бросился поднимать его, крупные слезы катились по лицу тестя, он медленно встал и вдруг спросил у Сапожкова:

— Слушай, а у тебя не было или было с моей дочерью необыкновенное, а?

Сапожков очень смутился, в нем замерло все, и он сказал:

— Слушайте, нельзя же задавать такие вопросы.

— Нет! Ты отвечай. Прямо в глаза мне смотри. Отвечай.

— Я не знаю, — ответил смущенный Сапожков.

— Значит, не было, — вздохнул тесть. — Так и должно быть. Потому что ты ангельский человек, ты белокрылый чешуйчатый ангел. Ты чист и прекрасен. А я думал, ты грешен. Но тогда что же свинское тебя омрачает постоянно?

Окно комнаты, в которой они находились, выходило на каменный желтый дом через улицу, с балконом, куда выскочил человек и протянул руку в воздух. Тесть открыл форточку, и послышалось:

— Божественность в окружающем пространстве вижу, — сказал вдохновенный человек на балконе. — И я не переживу этого. Как счастлив тот, который может строить самостоятельную красоту. Но я должен умереть от рождающегося во мне чувства рассыпанной божественности в небесах. И я чувствую небесную фальшь и обман так же, как это чувствую на ваших лицах и фигурах, — и показал пальцем на Сапожкова и его тестя.

— Это мой брат, — сказал тесть. — Он чокнулся, потому что от него ушла жена. — Вдруг тесть закричал восторженно Сапожкову: — Смотри, смотри!

За окном, по палисаднику маленькому, перед Сапожковым проплыла девочка в шелестящем платьице, с желтенькими, аккуратно подстриженными волосиками. Сапожков понял, что это новая доченька тестя, сотворенная в любви. От нахлынувшей тоски тесть ослабел и опьянел, повалился на кровать и сразу же захрапел. Сумасшедший человек сгорбился и ушел с балкона внутрь желтого здания. Сапожков заскучал, устроился подле тестя на краю кровати, чувствуя необычное холодное томление, и тоже постепенно уснул.

Проснулся Сапожков от того, что почувствовал себя в чем мать родила. Он испугался и вскочил с кровати, и увидел в ночных сумерках рядом с собой не тестя, а жену. Ужас нашел на него... Нашедши свою одежду, Сапожков оделся; поблескивал графин на столе; дрожащими руками Сапожков схватил его и прикончил, что там оставалось; через окно выбрался на воздух и вышел на улицу, где и забылся от алкоголя.

В это время по улице проезжали милиционеры на автомобиле. Они увидели лежащего на земле Сапожкова, и им показалось, что он без головы. А Сапожков просто продрог и натянул свой пиджак на голову. Милиционеры были вдрызг пьяные и привезли Сапожкова в морг, а в морге тоже все были пьяные, — и таким образом он очутился в морге.

Под утро он очнулся, потому что хотел писать. Он встал на ледяной пол в казенном помещении и посмотрел с удивлением по сторонам. Покойники лежали до такой степени неподвижно, что казалось, сейчас встанут.

— А, напились, — усмехнулся им Сапожков, ничего не понимая в жизни, совершенно не страшась покойников и не раздумывая над необычным своим положением, но от того, что кто-то этой ночью второй раз его раздел, волосы на его голове встали дыбом.

Сапожков открыл дверь из морга в ночь и сад и с порога стал писать, и будто поплыл, и все вместе с ним поплыло от свежего воздуха.

— Ааааааааааа!!! — вдруг за спиной раздался безумный крик.

Сапожков перестал писать и обернулся. Человек с большой челюстью и маленьким курносым носиком голосил восторженно, будто запел под электрическим светом.

Сапожков очень испугался, спрыгнул с крыльца и бросился во тьму. Деревья слегка светлели в черной ночи, и от них

распространялся запах цвета. Молодая росная трава была очень холодна — это взбудрило дрожащие ноги. Сапожков понял, что он погибающий человек, в котором совсем немного осталось духа. Сапожков проверил: живой ли он? — и для этого прищемил язык зубами. Язык заболел, значит, Сапожков существовал в этом мире.

Вдруг над Сапожковым с дерева слетела птица, очень напугав его, захлопав крыльями, так что он чуть не умер от разрыва сердца, — и посыпалась роса, и стали опадать, как снег, мокрые лепестки цветов, которые он ощутил всем своим голым телом, потому что они сразу же прилипли.

Ощущая сад, дух Сапожкова на самом деле был Бог знает где, следя за тем, чтобы корова Чайка стояла на месте, когда оправляется. Почему-то из всего детства Сапожков больше всего помнил корову, как она проходила по двору, а отец его следил, чтобы придурковатая корова Чайка стояла на месте, когда оправляется, потому что всегда это делала на дворе, и приходилось кучи переносить в хлев. Эти кучи и Чайка мучили Сапожкова. И чем больше куч, тем больше духа оставалось в нем, хотя он понимал, что это грубо и вульгарно.

Во мраке Сапожков увидел круг света и пошел на него, продираясь сквозь ветки, осыпающие росу и мокрые лепестки цветов, которые уже иногда падали не на его тело, а лепесток на лепесток. Круг света становился все больше и больше, и Сапожков наконец увидел столб с фонарем и забор. Сапожков перелез через забор и очутился, как понял, на улице, в каком-то городе.

Из-за облаков показалась круглая луна. Он насчитал на своем пути много старинных церквей. Они были все похожи одна на другую. И Сапожкову казалось, что он идет и идет по одному и тому же месту. И он никак не мог сообразить, как очутился в этом городе и что это за город. Вокруг стояли покосившиеся, одноэтажные, изредка двухэтажные, каменные дома. По городу текла река, и на ее берегах страдали поля и луга, на которых квакали жабы. Там росли жалкие березы, а на мокрой земле под луной Сапожков увидел следы коров, коз и овец.

Тут Сапожков все сразу вспомнил и понял, что это за город и что уже много лет живет здесь и только сегодня, почувствовав себя в чем мать родила, обостренно воспринял мир, какого раньше не видел и не обращал внимания на него.

И от радости Сапожков полетел, закувыркался по улице вниз, сверкая телом своим с белым цветом, — в полумраке,

навстречу ясному небу со рдеющими несколькими облачками, откуда потом должно было выйти солнце. Вскоре он попал в туман и опять обрадовался этому и огорчился, потому что сделалось очень холодно, и земля ушла из-под ног, и началась трава, прямо ледяная. И тогда Сапожков побежал, оставляя за собой изумрудные следы на белой от воды траве, потому что стоять на одном месте было невыносимо. И это было так радостно, что он стал смеяться, как от щекотки.

Вдруг он оказался у каких-то кустов, посаженных квадратом, за ними был желтый дом, и Сапожков узнал его. Ему стало тоскливо, он упал на кусты и закатился внутрь огороженного ими квадрата. Тут рука его наткнулась на что-то, Сапожков испугался и вытащил из-под куста саквояж. Он опять узнал: это был саквояж тестя, из которого они угощались недавно. Сапожков заглянул внутрь, там еще оставалась бутылка. Он схватил ее жадно и никак не мог сорвать зубами пробку, они стучали от холода и царапали по стеклу. Наконец Сапожков справился и быстро стал пить большими и мелкими глотками, и ему сделалось совсем тоскливо. От слабости в ногах он стал ползать на четвереньках по траве, не понимая, как выйти из этой геометрической тюрьмы. Иногда он изумленно поднимал голову и рассматривал черные кусты стеной перед собой и над ними зеленоватое небо со звездой, а с другой стороны сумасшедший дом.

Тут на балкон желтого дома вышел Коля и увидел его. Он один только видел Сапожкова, и никто больше не мог видеть его, потому что Коля смотрел сверху, а кусты выросли высокие и густые.

— Эй, подсоби! — попросил Сапожков.

Сумасшедший Коля стал помогать ему советами, но Сапожков ничего на понимал и только топтал цветы и скоро совсем забылся от алкоголя...

...Сапожков стоял в кустах, прикрываясь ими от наготы. Солнце уже высоко сверкало в небе, опалая его голову, которая высывалась из кустов на тонкой шее. На лугу у реки уже бродили козы, коровы и овцы. Рядом Сапожков увидел постройки, в которых расположилась фабрики "Индпошивсаван". Тут, не замечая Сапожкова, в заднюю часть кустов вошел какой-то счастливый человек, он принес с собой солому, лег там и, улыбаясь, заснул.

Сапожков подумал, как ему глупо стоять в голом виде задом к спящему человеку, и вылез на всеобщее обозрение, продираясь сквозь ветви, а высохшие лепестки цветов на нем — облетели некоторые в траву. Сапожков пожалел их и увидел, что они яблоневого.

Вдруг из-за угла желтого дома вышел тоже совсем голый человек, но в тапочках, и зашагал навстречу Сапожкову. Они, не отрываясь, смотрели друг на друга. В руках человека был зонтик. Зонтик был косой. Сапожков почувствовал что-то невероятное в своих мозгах, голова его закружилась, и он, когда тот совсем приблизился, сказал:

— У вас зонтик косой.

— Ты сам косой, — гневно ответил голый человек и прошагал мимо Сапожкова. А Сапожков пошел к фабрике.

Вдруг шарканье тапочек за его спиной прекратилось. Сапожков обернулся. В это же мгновение тот голый человек тоже обернулся. Взгляды глаз их странных встретились. Современники отшатнулись друг от друга, и снова поспешили в разные стороны. Сапожков тихо ахнул: он никогда не видел таких печальных, ужасных глаз. Он только сейчас скорее догадался, чем узнал, что это тесть, а тесть так и не узнал Сапожкова, обсыпанного цветом.

Голый тесть зашагал, глядя в землю и покачиваясь, в гору по улице, иногда останавливаясь и восклицая убийственно:

— Эй, милый, эй!

Тесть скрылся за горой. До Сапожкова еще долетало: “эй, милый”.

Тут к фабрике подъехал автобус, отравляя чистый воздух газами. От смущения и от того, что надо что-то делать, Сапожков обезумел, бросился в тень, отбрасываемую постройками фабрики, и стал рвать цветы чуть ли не из фундамента. Это были желтые одуванчики. Из автобуса вышли родственники жены Сапожкова и стали осматривать несчастного обнаженного, и восторгались его красотой; в это время дух его на берегу далекого озера, поссорившись с коровой Чайкой, построил летательный аппарат для камней и пускал камни в озеро. А сам Сапожков увидел среди праздных людей мечтающую любимую девочку тестя и, может, полюбил ее. Она была прекрасная и — в голубой курточке!

И Сапожков вспомнил, как очень давно, когда был маленький, незабываемой весной собирал желтые одуванчики последний раз на одной чудесной лужайке, и одна маленькая девочки со светлым, очаровательным лицом сплела из тех

желтых одуванчиков венков и положила его себе на голову, на волосы. И у той девочки были очень красивые туфельки... В тени от построек фабрики "Индпошивсаван" гуляла прохлада, и кожа Сапожкова — голая и под цветками — покрылась гусиной кожей, и цветки яблони немного покоробились. И Сапожков ощутил связь неожиданного воспоминания детства с явлением девочки в голубой курточке, потому что это все было выражением одного и того же небесного каприза.

Голый и несчастный, понимая, что прекрасная девочка в голубой курточке последняя его надежда в этой жизни, он воодушевился. Родственники были, видно, счастливы и не заметили, что Сапожков голый, хотя некоторые увидали его яблоневого цвета и улыбнулись восхищенно. Вынесли гроб из фабрики, погрузили и поехали.

Сапожков тоже влез в автобус и устроился поближе к девочке. Она сидела рядом с мамой своей, тещей Сапожкова, и держала в одной руке кисть винограда какого-то неземного произрастания, потому что была весна, а не осень, а другой рукой срывала с веточки виноградинки и ела. Несколько ягодок с милой ручки скатились и повисли на коротеньких веревочках и на одной веревочке большой. И в эту же минуту Сапожков действительно и полюбил и этот виноград, и эту ручку, и ее всю — славную девочку.

Вдруг теща обернулась с кистью винограда в руке и предложила его Сапожкову. Он очень застенялся и отказался, хотя ему хотелось винограда. Женщина расстроилась и отвернулась. Сапожков сидел сзади и видел только светлые волосы девочки, но в окне автобуса невесомо отражались смиренный профиль и голубая курточка. Он наклонился вперед и опустил руку на плечо тещи. Женщина даже не повернула головы и кончала кушать виноград.

— Извините, что я голый, — сказал он.

Девочка в голубой курточке показала немножко свое лицо, и он увидел ее пепельные ресницы, хотя еще не увидал глаз, скрытых полным телом лица, которое чуть-чуть покраснело.

— За границей уже давно ходят голые, в искусственном яблоневом цвете, — ответила девочка, подразумевая, очевидно, не ту границу, которая разделяет страны.

Сапожков задумался об аллегорическом смысле высказывания девочки и от возвышенного настроения засмеялся и увидел близко глаза ее, которыми она чуть посмотрела на него.

— У вас сначала глаза были голубые, а теперь серые, — сказал он маленькой красавице.

— У меня глаза голубые, — обиделась она.

Тут Сапожков протянул девочке букет желтых одуванчиков.

— Вам нужны цветы? — спросил он и затем увидел на крышке черного гроба в автобусе яблоневого лепестки со своего тела.

— Нам не нужны одуванчики, — сказала мама девочки.

Автобус подъехал к дому тестя, где ожидала жена Сапожкова, одетая жалостно. Сапожков, опустив голову и зажмурив глаза, чтобы никого не видеть и чтобы никто его не видел, стал выходить из автобуса. Он очень теперь хотел кушать и жалел, что не взял винограда, и очень ослабел. Он понял все в своей жизни. Он понял, что сейчас увидит другое, свое настоящее тело и будет присутствовать на собственных похоронах, и даже не удивился этой малости, потому что ему открывалось нечто такое, чего никто не знал.

Дома у тестя родственники подали Сапожкову траурный костюм. Сапожков надел его на яблоневый цвет, который посыпался вниз по телу под одеждой.

Тут все опять вышли на воздух и пересекли улицу около высоких кустов, посаженных квадратом, и пошли внутрь каменного двухэтажного желтого дома с балконом.

Курносая старушка с крашеными красными волосами уже ждала их и заплакала, и они, стуча неровно сапогами и нежно рыдая, поднялись по ступенькам парадного входа на второй этаж. Их ожидали измученные люди, построенные в актовом зале. Они не могли стоять смирно, и строй слегка колыхался.

— Ну! — прозвучал, как команда, голос директора дома сумасшедших.

В то же мгновение музыканты заиграли траурную мелодию. Старушка с красными волосами перестала плакать, и родственники Сапожкова вытерли глаза, носы и рты носовыми платками, которые оказались все одинаковые: розовые в клетку. Только девочка в голубой курточке не могла успокоиться, а рыдала, и глаза ее сделались красными. Плач нарушал чудную гармонию, и директор дома сумасшедших то и дело поглядывал на девочку сердито.

Вдруг послышался мерный стук сапог на парадной лестнице. Девочка перестала плакать; все замерли; только звучала небесно-классическая музыка. В актовый зал дома сумасшед-

ших вошел директор фабрики “Индпошивсаван”, скрипнув страшно дверью. Современники повернулись к директору и трагически закивали ему головами. Директор фабрики тогда тоже трагически кивнул.

Неожиданно сумасшедший скрипач отдернул смычок от скрипки, струны взвизгнули дико, сумасшедший поднял руку со смычком и затряс ею в воздухе; лицо его печально перекопилось, и он сказал директору фабрики:

— Дурак! Сбил меня, идиот!

Сумасшедший с барабаном опустил палку, как кувалду, и улыбнулся нежно. Ряды сумасшедших сбились. Они молчали, но нечто страшное таилось в их взглядах. Курносая старушка с красными волосами испугалась и сказала:

— Пойдемте!

Родственники Сапожкова поспешили, стуча сапогами, за ней по гулкому коридору. Вдруг старушка остановилась; они не успели остановиться и натолкнулись на нее, зачем-то нагнувшуюся, и чуть не сбили с ног. Надо было извиниться, но никто не извинился, и поэтому все сделались сердитые и строгие. Старушка доставала из-за голенища сапога ключи. Она забренчала ими и выпрямилась.

— В карманы не кладу, потому что выкрадут. Поэтому — в сапоги. Из сапогов не крадут, — сказала она.

Она нашла в связке нужный ключ, всунула его в отверстие замка и открыла дверь.

— Заходите! — проговорила старуха.

Но никто первый не осмеливался. Тогда подтолкнули Сапожкова, и он вошел в комнату. За ним поспешно, все сразу, ввалились остальные. На койке лежал брат тестя, который сошел с ума, потому что от него ушла жена, и который проживал в этом доме в особой комнате с балконом. Все смотрели на него, не моргая, а Сапожков по привычке стал осматривать комнату.

Под кроватью стояло много ботинок и сапог. Стоял голый стол. Из стен торчало много гвоздей, и на них висело много штанов сумасшедшего человека. Сапожков поднял голову и посмотрел на потолок. Сапожков удивился, запрокинул еще сильнее голову и стал читать, что там написано. Потолок находился далеко, комната оказалась высокая, буквы — хоть и сиреневого цвета, но большие, и Сапожков читал легко, правда, читал все несколько раз подряд, потому что не понимал.

Там было написано:

Я убедился, в конце концов, что все люди какие-то идиоты. Жизнь их полна бессмысленности, но когда я им говорил, как надо жить, они не слушали меня, а жили жизнью животного, хотя животные живут прекрасной жизнью, кроме свиней, но человеку нельзя жить животной жизнью, потому что она для него недостижима и непонятна. Вся трагедия человечества, может быть, в том, что люди очень похожи на свиней. У них и тело свинское, и уши, и глазки. Но как может сочетаться Божеское со свинским? Жизнь моя должна кончиться трагически и внезапно, и я завещаю людям уразуметь человеческую природу и отделить от свинства, и вот тогда жизнь кончится, когда могла бы только начаться: коммунизм, чудо, Божественное явление — триединая сущность вершины человеческого духа. А для себя прошу одного: похоронить меня в моей родной деревне Дудки.

Коля.

Тут все увидели, что Сапожков стоит с поднятой головой, — подняли головы тоже. Сапожков с жалостью посмотрел на покойника Колю и ужаснулся трагическому выражению лица его. Все в комнате затаились с поднятыми головами и читали напряженно завещание, и даже не повернули лиц на Сапожков стон. Сапожков вспомнил про балкон и вышел на воздух, и был ослеплен солнцем, глаза зажмурились до слез, и он побоялся окосеть от такого света и возвратился обратно в комнату.

— А он мне давным-давно говорил о своем завещании, — рассказывала курносая старушка с красными волосами, — но я не догадывалась поднять голову.

Тут внесли гроб, невесомый, как ночной воздух, и сумасшедшего Колю положили в черный гроб, и поехали в деревню Дудки, где родился Коля. В деревне была уже ночь, и не горел ни один фонарь. Сходили с ума собаки, захлебываясь. Автобус проехал двумя фарами деревню, вырывая из мрака по очереди хаты и деревья, и остановился у одного дома. Они зашли в него и включили везде электрический свет. В доме никто не жил. Они стали двигать все, в ночи шорохи раздавались страшные, и поставили лавку посреди хаты.

Затем все высыпали из дома, и вскоре медленно и осторожно внесли гроб. И поставили его на лавку. После этого они

снова стали лазить вокруг, суетиться. Только Сапожков стоял около гроба, бледный, ему было все страшно: дом, весь освещенный электричеством, мрак за окнами, жалкий одинокий свет в автобусе на улице, непрерывный лай собак, шорохи в ночи, суeta в доме. Но, несмотря на страшный лай деревенских собак, никто не пришел в этот дом, чего Сапожков очень боялся, — все в деревне спали мертвецким сном. Шофер пошел и выключил свет в автобусе. Собаки начали успокаиваться. Все в доме, не раздеваясь, легли спать при зажженном электричестве. Только один Сапожков не лег спать, а сел у гроба. Все смолкло окончательно. И одновременно вдруг запели испуганные соловьи и заревели жабы. Сапожков тут сразу почувствовал счастье в себе и так, не шелохнувшись, налитый высокой радостью и торжеством, сидел у гроба и думал что-то, просветленный, до самого утра, когда все проснулись и гроб повезли на кладбище. Там Сапожков встал на холме, скрестив руки, и смотрел издали на кладбищенский сосновый лесок, в темноте которого мерцали из-за стволов человеческие лики. Редкие голоса доносились оттуда. Сапожков очень страдал, он страдал более, чем любой, кто находился сейчас у гроба. Сапожков это знал. Но вдруг из леса выбежала любимая доченька тестя — и с такими рыданиями, что Сапожков понял, что эта девочка еще более милосердная, чем он сам, и помрачнел. Она размазывала по лицу слезы грязными руками и бежала прямо на него. Но, почувствовав, подняла голову, взглянула и сразу опустила глазки, и, сдерживая рыдания, прошла мимо, и скрылась в кустах, и там запричитала:

— Ой, мой ты хорошенький! Ой, мой ты любименький! Ой, мой ты хорошенький!..

Голоса в лесу раздавались отрывистее и громче. Из сосен стали выходить люди с поникшими головами и направлялись в деревню.

Сапожков долго стоял на холме, пока не ощутил голод. Тогда он отправился на поминки. В доме, где родился Коля, сидели за столом и ели мясо, и пили водку, которые привезли из города. Сапожкову тоже нашлось место, и он сел там. На поминках присутствовало много деревенских людей. В основном были они пьяные и дурацкие, хотя встречались мудрые старики. Деревенские употребляли только эфир, который принесли с собой. Они дали попробовать его Сапожкову. Он выпил и сразу сделался пьяный. Из эфира возносился изумительный запах. Сапожков попросил, чтобы ему еще налили эфира, встал и сказал:

— Выпьем за здоровье Коли.

Все за столом засмеялись и сказали, что Сапожков — дурак. Сапожков тоже тогда улыбнулся. Вдруг он увидел одну красавицу. Она смотрела на него и хлопала маленькими ресницами. Было в ней что-то очень-очень знакомое Сапожкову. Он встал, показал на нее пальцем и сказал:

— А кто вы такая?

Она потупила свои глазки. Сапожкову зашептали на ухо:

— Это кузина сумасшедшего Коли. Она молодец. Это она достает эфир для всей деревни. Она — красавица.

— Вот интересно, — сказала Сапожкову красавица неожиданно, — у вас такое лицо, будто вы постоянно ищите смысл жизни.

— Да, — сказал Сапожков.

— Ну и — находите?

— Что? — не понял он после эфира.

— Смысл у жизни.

— Нашел, — ответил Сапожков.

Она тогда отвернула свое лицо, показав совершенный профиль, и оперлась головой о руку, задумавшись утонченно.

Тут Сапожков увидел свою жену, о которой забыл. Жена плакала и не вытирала слезы. Сапожков понял, как жена несчастна внутренне. И она сразу зарыдала диким голосом и стала вылезать из-за стола. Но Сапожков понял, что она плачет не по сумасшедшему, а по своим внутренним причинам. Вдруг он увидел за столом тестя и удивился. Тесть был без зонтика и в таком же черном траурном костюме, как у Сапожкова. Тесть тоже увидел Сапожкова, но не удивился, а схватил графин с водкой и закричал Сапожкову:

— Иванушка, пошли со мной!

Они выбежали из хаты, но за ними не побежали, потому что все происходило на чужих людях. Тесть с Сапожковым ушли подальше и оказались под цветущей сиренью.

— О, Боже, — тесть поднял сиреневую голову в легкой тени, — о, Боже, люди, как я вас люблю и ненавижу! — Он встал и принялся чесаться лицом о листья, как фиолетовый кот, сморщился и сел. — Скоты. А вот тебя я люблю, — вдруг сказал он Сапожкову, — я не знаю, за что, но люблю.

Тесть снова поднялся и ударился головой о ствол дерева. Маленькие несчастные цветочки посыпались, обсыпая не тестя, а Сапожкова. Тесть сморщился и бил, как дитя, руками по стволу. Сапожкова завалило цветом и даже немного попало внутрь графина. Сапожков показал пальцем туда и засмеялся.

Руки тестя, бывшего сирень, очень заболели, он заплакал от бессилия и опустился на рябую землю в блеклых, маленьких цветочках, сам немножко обсыпанный, увидел, что Сапожков смеется, и спросил у него жестоко:

— Слушай, а у тебя не было или было с моей дочерью что-то необыкновенное, а?

Сапожков перестал смеяться, очень смутился, в нем замерло все, и он сказал:

— Слушайте, нельзя же задавать такие вопросы.

— Я знаю, я знаю, — сказал тесть. — Но ты чист и прекрасен. Что же свинское тебя омрачает постоянно? Ведь ты ангельский человек, ты белокрылый чешуйчатый ангел.

— А вы купили желтую краску? — спросил Сапожков.

— Не купил, — ответил тот. — Невозможно купить желтую краску. И моя милая женушка картины теперь не рисует. И она перестала меня любить.

Тесть поднял над головой графин и стал пить водку, как насос. Вдруг медленно опустил графин и осторожно вышел из сирени, но затем очень быстро направился к своему родительскому дому. Сапожков побежал за ним. Тесть не выпускал из руки графин. Водка бешено переливалась, сверкая изумительно через стекло. Тесть всунул голову в открытое окно родного дома и закричал:

— Доченька! Доченька!

— Нет ее тут. Нет ее, — отвечали.

— Доченька! Доченька! — звал бедный тесть.

— Кирюша, миленький, нет ее тут, — со слезами отвечали ему.

— А где же она? — спросил он.

Но ему никто не ответил, а на крыльцо вышел директор фабрики “Индпошивсаван”, дал Сапожкову пять рублей и сказал, чтобы он сходил в магазин и купил чего-нибудь покушать, потому что в их отеческом доме все давно умерли и там ничего не осталось, только стены и мебель, а еда, которую привезли из города, кончилась.

Сапожков пошел в магазин. Яркая зелень веселила дорогой голову, и он разглядывал освещенные солнцем окрестности. Порхали мимо мотыльки. Песок улицы нагрелся и сверкал. Магазин стоял на высоком берегу большой реки. Сапожков зашел за магазин и стал смотреть вокруг. По реке медленно проплыл пароход. На голубом небе начинали появляться пушистые белые облака. Берег холмами и оврагами далеко внизу опускался к воде. По берегу бегали овечки. Они в основ-

ном были черные. Высоко в небе парил коршун. Берег опускался совершенно голый, только чахлое дерево росло у одного оврага, который завалили мусором, чтобы дальше не разрастался. У оврага стояла котельная с черной железной трубой. Противоположный берег реки простирался низкий и тоже голый. И также там росло одно дерево. Было видно далеко-далеко — километров на пятьдесят. Сладкий воздух погонял изредка ветерок. Где-то над головой закричали какие-то птицы, но Сапожков не увидел их. Он лег на молоденькую зелененькую травку. Ему сделалось очень хорошо, а мозги прояснились — чистые, пустынные, звонкие. Высоко в голубом небе с пушистыми белыми облаками кругами летал черный коршун. Сапожков испугался, что коршун может упасть на него, и поднялся с земли. Две маленькие девочки в красных курточках сбегали по холмам вниз к реке. Это было так прекрасно, и Сапожков с завистью смотрел на девочек. Они быстро уменьшались и у самой реки превратились в маленькие красненькие точки. У реки они стали ходить взад-вперед. Вдруг Сапожков не выдержал и побежал тоже по холмам вниз. Иногда берег спускался так круто, что Сапожкову становилось страшно сбегать. Он летел быстро, как птица. Теплый ветер шуршал в ушах его. Ноги бежали сами. Красные девочки быстро приближались и увеличивались в размерах. Необыкновенное упоение нахлынуло на Сапожкова. И он ощутил в себе сумасшедшее счастье, какое никогда не приходило и не придет к нему. Он сбегал к реке и остановился. Девочки в красных курточках, одна побольше, а другая поменьше, гуляли по траве, одетые в желтые чулки и коричневые сандалии. Сапожков тоже отправился гулять взад-вперед по берегу над самой водой — и внизу шла желтая муть от паводка... Девочки бродили по близким холмам. Сапожков начал подниматься к магазину. Коршун парил в небе, но Сапожков уже не боялся птицы. Когда он брел в гору, ему вспомнились девочка с венком желтых одуванчиков на голове и туфельки этой девочки. Сапожков вспомнил, что у нее кожа лица была белая и немного пухлая, и кожа рук тоже, и когда девочка выросла, ей купили туфельки с высокими каблуками, тоже очень красивые, и он украл их. Сапожков подумал, почему это ему вспомнилось? Но понял, что девочки в красных курточках и та девочка — это проявления все одного и того же небесного каприза.

В магазине Сапожков купил рыбных консервов и принес голодным. Тесть начал открывать ножом консервы. Все ос-

тальные родственники ожидали за столом. Сумасшедший Коля тоже сидел за столом и грустил, но Сапожков не успел удивиться, потому что тут в дом вошла красавица, кузина Коли, которая снабжала деревню эфиром, и принесла кувшин молока. Она присела у окна. И все стали наливать себе из кувшина. И Сапожков тоже с наслаждением выпил, а потом ему захотелось выйти из дома, и он направился просто так по улице.

Вдруг кто-то набежал сзади и закрыл ладонями глазки Сапожкову. Он схватил эти руки и почувствовал, что они — женские. Дух Сапожкова заняло. Он царапал ресничками эти ладоши и молчал. Пленящее дыхание слышалось сзади. Тогда Сапожков с силой оторвал руки от своих очей и обернулся — сестра Коли стояла перед ним с кувшином на голове и сияла. Он умилился ей, а она сняла с головы пустой кувшин и заспешила дальше своей дорогой. И тут вдруг Сапожков перед собой увидел чешуйчатого белого ангела. Ангел несмело тербил ногой ногу.

— Стой! — закричал Сапожков красавице.

Она обернулась. Он подошел с ангелом и сказал:

— Дай мне, пожалуйста, эфира.

— Пошли, — сказала она.

Они втроем пошли дальше по улице. Чешуйчатый ангел смотрел в землю, но изредка поглядывал на красавицу. Она улыбалась. Наконец свернули во дворик и попали в благоуханный домик, красавица из буфета достала эфир — и раз, и два — налила Сапожкову и ангелу. Сапожков выпил, ангел тоже, и лицо его восторженно просияло. Ангел подошел к красавице. Он был необычайно совершенный.

— Постой, — замахала она ему пальчиком и закрыла пробкой эфир.

Она блаженно улыбалась.

— Ну, давай, — сказала она.

Чешуйчатый ангел несмело приблизил руки к ее телу и поцеловал нежно-нежно белую шею. Красавица засмеялась. Он схватился руками за шею женщины и стал тереться щекой и чудным носом о груди ее за тонкой материей. Красавица смеялась и стонала. Они стояли все у буфета. Она прислонилась к буфету. Ангел безумно начал ласкать ее. В буфете все зазвенело и задребезжало. Отдельные чарочки стали осыпаться с полки на полку. Красавица притихла, не смеялась уже, только иногда просила:

— Не надо, не надо.

Вдруг она открыла глаза и сказала Сапожкову:

— Чего стоишь?

Смущенный Сапожков поспешно вышел из дома. Но не успел он выйти, как неприличный хохот раздался за спиной.

— У него нет ничего ни мужского, ни женского! — кричала красавица.

Ангел вылетел из дома бесшумно, обдав Сапожкова воздушной струей. Сапожков зашагал назад по улице. Ангел пропадал — и пропал в небе. Тут Сапожков очнулся: автобус бибикал, и ему махали руками, и Сапожков побежал.

— Где ты шляешься? — сказал ему, ухмыляясь, директор фабрики “Индпошивсаван”. — А, эфир пил?

Около автобуса ожидала жена Сапожкова. Он полез в автобус. Жена поднялась по ступенькам за ним. Она прижалась к спине его и зашептала в ухо:

— У нас, наверное, будет ребенок.

Сапожков не удивился, а спросил:

— Мальчик или девочка?

— Дурак, — сказала жена.

Вдруг он заплакал обильными слезами. Он уселся отдельно от всех и закрыл руками лицо. Дух коровы Чайки вышел из него. Сапожков почувствовал, что не в детях счастье. Что дети — это не то, чего он хочет. В нем все перемешалось: иллюзии, мысли, воспоминания. Он почувствовал, что умирает. Красавица, торгующая эфиром, расстроила все в нем. Сапожков почувствовал в себе какую-то возвышенную силу. Но что это за сила и зачем она — не понимал.

— Что это за красавица?! — закричал Сапожков на весь автобус.

Все молчали, как мыши, чувствуя его силу.

— А-а-а... — жестоко сказал он, — серые люди! Вы не видели, что видел я, вы не видели кувшина на голове.

— В мире есть Бог, — заплакал вдруг сумасшедший Коля, — и надо слушаться Бога, и не надо самому добывать совершенную красоту, потому что сам ее не возьмешь, а ее должен дать Бог, и он даст.

Сапожков был согласен с Колей, и когда приехали в город, он сам отвел Колю мимо высоких кустов, посаженных квадратом, в его желтый дом. Старушка с крашеными красными волосами уже ожидала Колю. Сапожков передал его старушке и отправился на службу, но тут он увидел, что

по городской улице навстречу ему бредет из Яблоновки усталая мать его с коровой. Сапожков дернулся невольно повернуться и убежать вниз по улице к реке, не оборачиваясь, но было уже поздно: лицо матери озарилось от улыбки. Ноги Сапожкова оцепенели от завладевшего им испуга. Мать приблизилась к нему. Он поцеловал ее, как Иуда Христа, и почувствовал это.

— Я почувствовала, что ты женился, — сказала мама, — и привела тебе корову, как подарок.

— Но это же не Чайка! — воскликнул Иванушка Сапожков.

— Чайку уже давно сдали в колхоз, — проговорила мама, — может быть, и тебе достался какой-нибудь кусок ее.

Тут Сапожкову от того, что он много-много лет не был в Яблоновке и не навестил мать и отца, и даже не написал им ни одного письма, сделалось так горько и стыдно, что в нем возникла роковая темная сила — вместо того, чтобы показаться; потрясающий мучительный крик вырвался из груди его; с брызнувшими слезами из глаз он отвернулся от матери и предназначенной ему коровы и побежал по улице вниз к реке.

Над окрестностями возвышалась гора. Сапожков залез на нее. С горы виден был весь город с множеством церквей. Неторопливо текла река. По берегам ходили коровы, козы и овечки. Из города шел гул техники. По горе бегали дикие собаки и, приближаясь к Сапожкову, неотрывно смотрели на него с рычанием. Сапожков стоял и глядел. Из глаза его вытекла от ветра последняя слеза. Он достал из кармана пиджака кусок мяса и начал его есть. Не переставая жевать, он глядел в небо, а когда опустил голову, человек с большим подбородком и маленьким курносим носиком приблизился к Сапожкову в его костюме, который тогда остался в морге. Но Сапожкову это было уже безразлично, дух его тосковал и хотел в Яблоновку. Сапожков спустился с горы в город и опять оказался около кустов, посаженных квадратом. Тут он почувствовал себя совсем плохо, упал на кусты и закатился внутрь огороженного ими квадрата. От слабости в ногах он стал ползать на четвереньках по траве, не понимая, как выйти из этой геометрической тюрьмы. Он поднял голову и увидел над собой зеленоватое небо со звездой, а на балконе сумасшедшего дома Колю.

— Эй, подсоби! — попросил Сапожков.

Сумасшедший Коля стал помогать ему советами, но Сапожков ничего не понимал и только топтал, и топтал, и топтал цветы...

...Коля утром проснулся на балконе. Солнце уже взошло и сверкало ярко. Он долго смотрел на солнце, пока не увидел Сапожкова. Его голое тело, обсыпанное яблоневыми лепестками, лежало неподвижно в квадрате. Сердце заколотилось в Коле, и он исчез в помещении, некоторое время спустя появившись на балконе с лестницей. Лестница была косая. Коля установил лестницу и спустился на землю, и упал целовать и гладить лицо покойника. Глаза Сапожкова были закрыты. И Коля вспомнил, что за всю жизнь ни разу не посмотрел ему в глаза, не знает, какие у него глаза. И ему сделалось грустно, и он заплакал.

Анатолий Стреляный

ПРИТЯЗАНИЯ ПЕРЕБЕЖЧИКА

I

В первый же приезд на Запад я встретил украинцев, о существовании которых прежде не задумывался. Они свободно говорили по-английски, хорошо — по-украински и с трудом по-русски. Это были, надо уточнить, люди с высшим образованием. “Вам действительно трудно разговаривать по-русски?” — спрашивал я Романа Ференчука, журналиста из Вашингтона. Английскому он учился в школе и на улице, украинскому — дома от родителей и при униатской церкви, а русскому было негде. Рассказывал, как впервые, году в семидесятом, приехал в Киев. В гастрономе на Крещатике он заговорил с продавщицей. Естественно, по-украински. Она закричала: “Говорите на понятном языке!” — “Но я не умею говорить по-русски”, — растерялся он.

В Мюнхене живущие там украинцы, один словацкий, другой американский, позвали меня в ресторан, — как выяснилось, специально затем, чтобы в непринужденной обстановке задать мне пару вопросов очень деликатного, по их понятиям, свойства. Были сильно смущены, долго извинялись, начали не раньше, чем было выпито несколько кружек не слабого немецкого пива и съедено

Анатолий СТРЕЛЯНЫЙ

— родился в 1939 г. на Украине. Окончил сельскую семилетку, затем педагогический техникум. Работал трактористом на целине. Закончив факультет журналистики Московского университета, работал в “Комсомольской правде”, в издательстве “Советский писатель” и в журнале “Новый мир”. Автор многих книг и публицистических статей — “В селе у матери”, “Сенная лихорадка” и др. Один из создателей известного телефильма “Архангельский мужик”. Постоянно сотрудничает с радиостанцией “Свобода”, на волнах которой звучала и публикуемая статья.

блюдо слымаків — так по-украински называют улиток. Я с любопытством наблюдал за их мучениями. Для меня это были украинцы, какими остальные могут стать лет через полсотни, когда над ними как следует поработает буржуазная идеология. Видя, что они колеблются и после слымаків, я пошел им навстречу: “Ладно, ребята, хватит мяться! Валяйте свои деликатные вопросы!” Интересовало их, собственно, одно: как вышло, что я, украинец по рождению и воспитанию, перешел в русскую культуру и не спешу возвращаться. Один из них говорил: “Для меня английский язык ближе украинского. Даже французский ближе, немецкий. Я мог бы прилепиться по крайней мере к любой из пяти сверхкультур. Но для меня не было такого вопроса. Я родился в Словакии, в украинской семье, и само собой разумелось, что моя культура души — украинская, я должен работать для нее”. — “Что же произошло с вами? — спрашивал меня американский украинец. — Вы родились и выросли на Украине — мы ее до сих пор не видели. По-украински вы говорите лучше нас. В чем же дело?”

Они меня не порицали, они искренне хотели во мне разобраться. Так же искренне я пытался им помочь. Рассказывал, что Украину покинул 17 лет, в 1956 году, что в России (в Москве) живу с 1962-го и так и не нашел пока времени сходить в Мавзолей, теперь уже, наверное, и не найду. До 17 лет я думал по-украински, учился на учителя украинской начальной школы, собирался всю жизнь прожить в родном селе, втайне надеялся дослужиться до директора, в крайнем случае — завуча. В планах было продолжать писать стихи и прозу в газеты. Районная уже печатала и то, и другое: и стихи (об армии и партии), и прозу (заметки о беспорядках в колхозе “Червона Украина”). Писал я по-украински, но не составляло большого труда — и по-русски. Русский язык на Украине преподавался со второго класса, я же выучился ему еще раньше — по книгам.

Рассказывал, как взбудоражился летом 1956 года, когда появилась возможность поехать на целину, в Казахстан, как боялся, что не дадут, по причине возраста, комсомольскую путевку, как интересно потом было осесть в Казахстане и жить там, зная, что в любой момент можешь сняться и махнуть хоть в Якутию. В Казахстане я пошел работать в русскую газету.

Тут, видимо, главное то, говорил я своим молодым западным соплеменникам, что Казахстан для меня был такой же свой край, как и Украина; с чувством, что еду не на чужбину, а путешествую по своей стране, я отправился бы куда угодно в пределах Советского Союза, не думая, что покидаю родину. Не было и чувства, что из одной культуры — украинской перехожу в другую — русскую. “Но как же так можно?!” — пристукивали кружками мои собеседники. “Не знаю как. Знаю только, что так было. Более того, ребята, — решил я признаваться до конца. — Я и сейчас такой же. Умом я понимаю, что, допустим, Грузия — не моя страна. Но чувство у

меня такое, что — моя. Должен сказать вам и другое. Многие грузины чувствуют то же самое к Украине”.

Я родился через десять лет после того, как Георгий Федотов написал, что хотел бы, чтобы великорусское, малорусское и белорусское сознания сделались **сложными**. Сознание великоросса — великорусским, русским и российским. Сознание малоросса — малорусским, русским и российским. Сознание белоруса — белорусским, русским и российским. Словом “русское” он объединял великорусское, малорусское и белорусское. Под “российским” понимал сознание, охватывающее все неславянские элементы империи. Мечта Федотова сбылась очень быстро. Довольно сложным было сознание уже моей матери. Малограмотная крестьянка, порусски она только читала, но когда перед ее мысленным взором появлялись несоветские нации, она говорила: “Мы — русские. Нас, русских, кто хочет, тот и обдурит”.

Вообще, это сложное сознание было известно задолго до советской власти. Сложным было сознание Гоголя, он, по его словам, сам не знал, какая у него душа — “хохлацкая или русская”.

Мне это было очень интересно — то, что им, выросшим в свободном мире украинцам, трудно понять мое, такое для меня обыкновенное, немудрящее сознание — сложное не столько от слова “сложность”, сколько от “сложенность”. Я видел на их примере, что в принципе возможно, стало быть, и простое украинское сознание. Было интересно пощупать эту материю. В юности мне, наверное, было бы так же трудно понять их, как им сейчас — меня. Правда, полной новостью простое сознание этих украинцев для меня не было — таково сознание всей Западной Украины, а “западенців” я знал в своем селе, куда они переселяются все послевоенные годы, по два-три человека за пятилетку. Их у нас воспринимают как людей другой национальности, с трудом понимают их речь — в ней много не наших слов и другая мелодия. Так в чем же она заключается, простота этого украинского сознания? Не в том ли как раз, что оно не может понять и одобрить сложное украинское сознание?

Когда я пытался объяснить, как оно во мне работает, ребята прерывали меня восклицаниями: “Абсурд!” И когда я им говорил, что восточных украинцев в колхозы не только загоняли, но многие сами в них шли: одни верили, что там будет рай, другие предпочитали даже ад, только бы в нем все равны, — тоже слышал: “Абсурд!” Я отвечал: “Поезжайте туда — еще застанете стариков. Сами их расспросите”.

И это — коллективизация снизу — тоже было в духе сложного украинского сознания, то есть включающего в себя великорусскую приверженность к общему, великорусское отвращение к частному.

Я делился с моими собеседниками последними наблюдениями: как всколыхнулись сложное украинское, сложное русское и сложное белорусское сознания, когда было объявлено о создании пресловутого СНГ, как ликовали на просторах Великой, Малой и Белой,

что наконец-то он возник, Славянский Союз, — ликовали, не вникая в текст официального сообщения, не желая знать того, что должно было разочаровать их, вычитывали только то, что очень хотелось вычитать: “Все, товарищи кавказцы и прочие мусульмане! Кончаем базар. Вы как хотите, а мы, славяне, идем вместе, своим путем”.

Наконец меня спросили о том, неужели я так и прожил свою часть советской жизни, не заметив, что отнюдь не у всех в моей стране такое незамутненное сложное сознание. Отчего же, сказал я, замечать приходилось, но задумывался редко и мельком. Это были особые случаи — когда сталкивался с очень уж острым проявлением национального чувства. От этих проявлений всегда неприятно, первый раз я это испытал в том же Казахстане, среди ссыльных кавказцев. Ты понимаешь, отчего человек такой, что его корежит, но иметь дело с искореженным все равно неприятно. Когда видишь, с каким лицом украинка раздирает зубами красный флаг, когда слышишь голос, каким украинец возвещает, что русский язык — это язык-оккупант, тебе ясно, что они больные люди. И думаешь: хорошо все-таки, что большинство здоровые. А здоровье я долго усматривал в том, что эстонец считает своим городом Харьков, а я считаю своим городом Таллинн.

Только в самом конце 60-х годов (вторжение в Чехословакию) я стал задумываться и над некоторыми минусами этого здоровья. Мне стало приходиться в голову, что в этом хозяйском чувстве тоже есть некий перекося. Сегодня я уже не удивляюсь, что для литовца Украина — чужбина, и не вижу в этом нездоровья, но сам, приезжая в Литву, по-прежнему чувствую себя дома, и, наверное, так будет со мною до конца.

Но моих украинских друзей в Германии больше интересовали мои отношения с русскими...

Первое, что меня удивило, как только я стал жить среди русских, — это то, что, когда они узнавали, что я украинец, на их лицах обязательно появлялись улыбки. И всякий обязательно прохаживался насчет моего племени. Когда я узнавал, что передо мною казах, чеченец или немец, меня не тянуло что-то по этому поводу сказать. Казах — ну, казах. Немец — ну, немец. Видя перед собой казаха, я ничего не думал о казахах. Я думал только об этом конкретном человеке: что он, например, худой, что у него внимательный взгляд и, должно быть, зоркий, хотя глаза и узкие. Так я, помню, подумал о Кибидене Байбулове, теперь уже покойном, когда оказался с ним за одной партой в Акмолинском русском педучилище, куда перешел на последний курс из украинского Ахтырского. Но когда русский узнавал, что я — украинец, он, повторяю, обязательно улыбался и что-то говорил об украинцах, о хохлах: или что хохлы — это то же самое, что русские, или что хохлы — хитрые, из них было много предателей во время войны. Но и при этом в конце добавлялось, что русский и хохол — это одно и то же. Мне не приходило в голову возражать.

Интересный факт, над которым я никогда не задумывался и скорее всего уже и не задумаюсь: какие бы гадости ни говорил русский о хохлах, я ни разу на него за это не обиделся. Когда он что-то дурное говорил про меня, я обижался, мог и в морду дать. Но что касается моей нации — да болтай ты что угодно, это меня не касается, это болтовня о чем-то абстрактном!

Второе, что меня удивило, когда я стал жить среди русских, — это то, что они ничего не знают об Украине и не желают знать. Много лет спустя, перед самым началом перестройки, я прочитал об этом у Георгия Федотова, теперь его часто цитируют. Он первый русский, у которого я вычитал признание этого греха культурной России перед Украиной. Культурная Россия Украину всегда только любила, но что там за писатели и поэты, что за театр, какими преданиями этот народ живет, какова его история, ей, России, было не интересно. Я привык, что особенно мало знают русские об истории Украины. Говорю, естественно, о людях с высшим нетехническим образованием. Головы русских гуманитариев с высшим образованием как-то так устроены, что там не держатся сведения из украинского прошлого. Поэтому я несколько не удивился, когда раздались первые крики, что Крым должен быть возвращен России. Моя реакция была такая: что ж, это в русском духе; я-то знаю, сколько украинцев было в Крыму еще в XVII веке, хотя исконно он все-таки не украинская и не русская земля, а скорее татарская; что касается завоевания Крыма, то завоевала его не Россия, а Россия вместе с Украиной, то есть Российская империя, империей же она стала только с присоединением Украины, не будет Украины в империи — не будет и империи... Знаю это все — мне этого достаточно. У меня не возникло позыва тут же сказать что-то русским.

Как и о Черноморском флоте ... Ни малейшего удивления не вызвал у меня грозный крик Ельцина, что Черноморский флот был, есть и будет русским флотом. Ни малейшего желания что-либо ему ответить! С меня и здесь было достаточно того, что знаю я (а русские — они на то и русские, чтобы этого не знать или не признавать): что Российский Черноморский флот перестал существовать в 1918 году, когда часть его была затоплена большевиками, а часть уведена из российских территориальных вод. Впрочем, и тот флот был не русским, а русско-украинским, то есть имперским. Нынешний Черноморский флот не российский и не украинский, а советский, точнее так: на 60 процентов — российский, на 16 — украинский, на остальные проценты — грузинский, армянский, якутский и так далее. То же самое относится и ко всем другим флотам бывшего СССР.

Одновременно с этим я несколько не сочувствовал украинскому президенту, который объявил Черноморский флот украинским. Я считал, что он поспешил с этим. Над ним не капало. Мог бы повременить год-другой, дать русским свыкнуться с новым состоянием шестой части. Поспешил и с приведением к украинской

присяге советских войск. Понять эту спешку можно: ковать железо, пока горячо, создать государство, пока не опомнились имперские силы в России. Но тут не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Украинской спешкой можно и возбудить эти силы, думалось мне. Непрактично также было забывать, что свою независимость Кравчук получил все-таки из рук Ельцина и что если Ельцина сметут красно-бело-коричневые, то Украине с ее храбрым президентом не поможет никакая присяга никаких войск. С другой стороны... Русские настаивали на том, чтобы был переходный период. Два-три года. Что такое два-три года? В сущности, это такой же пустяк, как и два месяца. Вся эта суета для меня имела только то значение, что стала поводом для маленького самоанализа. Я вспомнил кое-что из своих личных отношений с русскими и с Россией и первый раз в жизни задумался, почему я не могу сильно обижаться, когда русские грубят Украине и украинцам...

Вспомнил одного из моих многолетних друзей. Милый человек, литератор, с которым отмечено множество всяких праздников. Не было случая, чтобы он, перевалив за третий стакан, не откинулся на стуле и не сказал мне с добрейшей улыбкой: "Что бы ты мне, старичок, ни говорил, а украинского языка в природе не существует, это — испорченный русский". И вот загадка: я ни разу не вступил с ним в спор. Бывало, мне казалось, что он не шутит, тогда я говорил ему, что за этим языком, пусть он и испорченный, стоит особый национальный характер, пусть тоже испорченный, я хорошо знаю его рисунок, это явление объективное, его можно рассмотреть с помощью разных инструментов, этнограф использует свои, культуролог — свои. Не было случая, чтобы мой друг слушал меня больше двух-трех минут. Он говорил, что он пошутил, что он не хотел меня обидеть и не очень верил, когда я отвечал, что никакой обиды не чувствую.

За 35 лет жизни среди русских я встретил только одного русского литератора, которому что-то сказала имя украинского поэта Леонида Первомайского. Это был Александр Борщаговский. Однажды за столом он стал читать его наизусть. Оказалось, он долго жил на Украине, знаком был с Первомайским лично. Только один русский, когда я упомянул при нем имя Стефаника, сказал, что хорошо знает этого писателя и считает его мировой величиной. Меня так поразило это, что я запомнил, где все произошло — в поезде Москва—Ленинград и кто был мой собеседник — не кто иной, как поэт Юрий Кузнецов.

Я не встречал среди своих знакомых русских человека, в чьей жизни Тарас Шевченко существовал бы так, как, например, Гейне или Беранже. Это, разумеется, не значит, что таких русских нет, но то, что не встречал их я, общавшийся с не самыми темными русскими, тоже о чем-то, видимо, говорит.

Почему же меня не задевало это русское равнодушие к Украине и украинскому? Должен сказать всю правду. Может быть, потому, что я так же был равнодушен к Грузии и грузинскому, к Армении

и армянскому и так далее. И кое-что еще — то, что я говорил в первые годы перестройки знакомым латышам, литовцам, эстонцам: “Что вы обижаетесь, что русские не хотят учить вашего языка? Большинство из них и своего не могут выучить. Поймите: их раздражает не то, что вы требуете, чтобы они учили ваш язык, а само требование учиться. Они точно так же были бы недовольны, если бы им сказали, что они должны учить высшую математику”. И добавлял: “Но ведь в этом отношении и вы точно такие. Учиться никому не хочется!”

II

Переселившись в Россию, сделавшись русскоязычным автором, я не прервал связей с Украиной. Раз по пять в году ездил в родное село, написал о нем книгу, следил за украинской печатью, литературой. В одном отношении я был более украинец, чем моя родня и односельчане: я лучше, чем они, говорил по-украински, у меня был учительский украинский, у них — советско-сельский. Услышав мою речь, односельчанин обязательно спрашивал, где я живу, и, узнав, что в городе, да еще в каком — в самой Москве, удивлялся. Он привык, что всякий, кто пожил в городе хотя бы неделю, должен стать культурным человеком, то есть бросить говорить по-украински. Влюбленные подростки пишут друг другу письма на русском. Дольше всего за мову держатся девушки.

Однажды ко мне зашел земляк с женой, рыжей проводницей. Он нашел ее в Донбассе, взял с ребенком. Услышав, что я со своим ребенком говорю по-украински, она была поражена. Ее шестилетняя дочка оставалась в Донбассе у бабушки. Эта бабушка, маленькая начальница в торговле, не пускала внучку в село. В селе — украинская школа. “Не хочу, чтобы ее учили свинскому языку!” — говорила эта украинка. “Чем же плохо, если ваша дочка, кроме русского, будет знать украинский, а потом, может быть, и третий какой-нибудь — немецкий или английский?” — спросил я проводницу. “Ничего плохого, наоборот, только хорошо!” — сказала она. “Почему же вы не сказали этого своей матери?” — “Не знаю”.

Я знал, как страдали от этого мои друзья из сознательных украинцев. Это такая боль, от которой может мутиться разум, — я стараюсь помнить об этом, когда смотрю на Степана Хмару и его ребят, налетающих на Одессу и Севастополь. В утешение русским можно сказать, что таких украинцев, как мать этой проводницы, эти ребята любят еще меньше, чем их, русских.

В 60—70-е годы я часто бывал в Киеве. Мои тамошные друзья говорили, что, если дойдет до дела, они повесят меня первым — как изменника, и я знал, как много серьезности в этой шуточной угрозе. Я отвечал им, что это мое личное дело — где жить, на каком языке писать. Предъявлять мне на сей счет претензии — это тот же коммунизм, который вам вроде бы претит. Бывало, впрочем, и

оправдывался; когда оставлял Украину, национального вопроса для меня не существовало, а теперь уже поздно возвращаться даже и по семейным обстоятельствам, семья для меня все-таки выше нации, вы уж меня, друзья, извините.

Помню, как мы схватывались из-за одного стихотворения покойного Симоненко. Обращаясь к Украине, он писал: "Да молчат Америки, России, когда я с тобою говорю!" Я не мог принять этих строк, говорил, что Америка и Россия молчать не будут, как их ни проси, что нравится это украинским авторам или не нравится, а за внимание своей матери они всегда будут бороться не только с Россией и Америкой, а со всем миром, на чужой роток не накинешь платок. Конечно, можно попытаться отрезать мать от мира, но она за это вам спасибо не скажет, не надейтесь — первая вас выпорет.

Если "Правду" читать скучно, то украинский ее аналог невозможно взять в руки, потому мать и предпочитает "Правду". Если, глядя московское телевидение, хочется только плевать, то от киевского тебя сразу выворачивает наизнанку. Так что надо не злиться на Россию с Америкой, а самим писать так, чтобы Украина читала вас, а не нас, а для этого — больше учиться, работать над собой, а это труднее, чем дразнить власти антирусской трепотней.

И так далее.

Мои друзья рассказывали мне о русификации — это сознательная политика Москвы, вскрывали ее приемы, хитрости. Я знал это не хуже, чем они, но знал и то, чего им не очень хотелось знать: что украинцы сами стремятся русифицироваться, что каждую осень школьный отдел "Комсомольской правды" заваливается письмами украинцев, которые жалуются, что их детей принудительно определяют в украинские школы.

В моих огрызаниях сильно присутствовал личный мотив. Меня возмущало, что они ко мне пристают, лезут в мои дела, покушаются на мою автономию. Я не мог представить себе, что моей (все равно моей — а чьей же?) Украине может быть любезен сын, который из нежности к ней лезет в душу ко мне. На том и сейчас стою. Буквально на днях опять был спор. Друг-украинец с гневом отметал идею о главенстве прав человека: "Права человека на первом месте там, где все в порядке с правами нации! Вот утвердим права украинской нации, тогда и правами человека займемся". Мне по-прежнему кажется, что он ошибается. Утверждая права человека, можно утвердить и права нации. Наоборот — не получится. Во всяком случае, до сих пор не получалось. За все попытки поставить права нации выше прав человека народы до сих пор расплачивались очень дорого — если не кровью, так упадком национальной культуры. От того, что национальное ставят выше всего, страдает как раз национальное. Достаточно взять писания, навеянные мыслью о главенстве нации, о превосходстве общего над частным. Нет же ни одного произведения ни в каком жанре, чтобы его можно было читать! Ни один случай отступления к нечленораздельности не увенчался успехом.

Что еще мешало мне им сочувствовать — они плохо отзывались о русских. Это было преимущество моего двуязычия. Русские бывали со мной откровенны, потому что я был для них русский (русским, как мы знаем, для них был и всякий другой украинец, но я — больше). Украинцы бывали со мной откровенны, потому что я был для них украинец, хоть и предатель. Многое из того, что они говорили, было правда, но все равно их нападки вызывали у меня отвращение. В нападках русского на русских всегда был гнев, была боль. В нападках моих соплеменников на русских была только злобность. Мне было неприятно, что в моей нации есть такие злобные люди. Украинской культуре от них мог быть только вред, считал я. Злобность превращает просвещенность в заурядную начитанность, да и та сплошь и рядом изменяет человеку.

Главная же причина того, что меня мало трогали судьбы украинства, крылась в простом народе, в его настроении — спокойном. Моя мать не переживала, что “Радянську Україну” нельзя взять в руки — у нее была “Комсомольская правда”, “Правда”. Ее не задевало, что передачи из Киева невозможно смотреть — она смотрела передачи из Москвы. Ее не трогало, что на Украине все тише звучит украинская речь — она хорошо понимала русскую. Ей было все равно, что я живу в Москве, а не в Киеве — для нее лучше всего было бы, если бы я продолжал жить при ней, работал бы директором школы, держал бы огород, скотину, все было бы у меня свое, свежее, и была бы у меня такая же толстая шея, как у всех самостоятельных мужиков в селе.

Перемены в моем настроении начались с того, что мне вдруг стало невозможно терпеть язык моего села. “Какой “сахар”? Почему ты говоришь “сахар”?” — кричал я на десятилетнего Владика, племянникова сына. Тот, улыбаясь, поправлялся: “Цукор”. — “Что это еще за “юбка” у тебя?” — набрасывался я на его мать Нину, работающую закройщицей. “Сукня, сукня!” — ублажала она меня. “С каких это пор у тебя “мероприятия” пошли?” — осведомлялся я у племянника Виктора (он еще не был изгнан из партии и даже работал колхозным парторгом). “Міроприємство, міроприємство”, — уступал и он. Я допрашивал его, зачем он приноравливает свой язык к русским, даже когда говорит с украинцами. Он пожимал плечами: “Не знаю”. Слава Богу, мне еще не приходилось доказывать ему, что, если человек будет говорить на чистом украинском, русскому будет так же трудно понять его, как поляка.

Дошла очередь и до соседей. Однажды, говоря с одним из них, трактористом Иваном Иосифовичем Михайленко, я спросил его, кто испортил его язык. “А то ты не знаешь, — сказал он. — Те, кто нами руководит. Москали”. Я спросил его, что будет дальше. Он сказал, что дальше будет то, что Украины не будет: “Ее уже, можно сказать, нет”. Я спросил его, как он считает: Украина сходит на нет, потому что ее специально сводят москали, или это происходит само собой, просто потому, что всем руководит Москва. Есть, по его мнению, и то, и это, но больше все-таки второго: раз государство у

нас, что ни говори, русское, то русскими постепенно становятся все, и ничего с этим не поделать: “Стал москалем ты — станем москалями и мы”.

У меня мелькнуло предположение, что если в чем и брезжит спасение Украины, так это в новом настроении Ивана Иосифовича Михайленко. А может быть, и в моем, в том, что я уже не могу ходить по улицам Полтавы и Миргорода, толкаться на Сорочинской ярмарке: то, что слышишь даже там, — такая гремучая смесь, от которой свивает тебя в веревку. (“Не веревка, не веревка!” — орал я сестре Марусе, с которой мы привязывали взбрыкивавшего бычка. “Ну, хай будэ мотузок, тільки держи лучше!” — улыбалась она. “Не “держи”, а “трымай”! Не “лучше”, а “краще”!” — впадал я в неистовство.)

Так я увидел, что приблизился критический момент. Станет ли Украина независимым государством — неизвестно. Я понял другое: если она не станет независимым государством, то скоро не станет ее самой. Она должна уйти из-под власти России не потому, что ей чужда Россия, а наоборот — потому что Россия ей очень близка и делается все ближе, не по дням, а по часам: с ускорением всей жизни ускоряется и это сближение, и полного растворения Украины осталось ждать недолго. В своем сознании русские растворили ее давно, теперь это произойдет и на деле. Привечая украинцев как своих, вовлекая их в строительство империи, Россия тем самым и стирала различия. Это было не очень трудно: Россия сильнее во всех отношениях, она намного сильнее в главном — в культуре.

Ощущение критичности момента было почти физическим. Я говорил себе, что надо хорошо запомнить свое новое состояние. Я переживал за украинство потому, что на переходе в русское оно очень уж некрасивое, — как цыпленок, лезущий из яйца. Хотелось определенности, чистоты. Хватит межеумочности! Надо что-то решать. Или сюда, или туда. Пусть русский язык, если так суждено, овладеет моим родным селом, но — сразу и полностью! Когда на украинском экране люди беседуют один на украинском языке, другой на русском, я больше не могу этого слушать! Привередливость несостоявшегося учителя украинской начальной школы!.. Не должны звучать два языка одновременно! Даже когда у Льва Толстого герой говорит по-украински и речь его передается русским написанием, меня это царапает, как если бы французская речь передавалась кириллицей.

Я не верил, что Украина станет независимой, во всяком случае, при моей жизни, потому что не верил, что Москва сбросит коммунизм. Национально-освободительное движение — это, конечно, сила, да только там, где ей противостоит демократия (пример Алжира и Франции). От России освободиться невозможно. Россия только сама может освободить. Иногда думалось: а что, если скрытый смысл того, что коммунизм все длится и длится, — завершение русификации всей страны? Коммунизм плюс русификация... По крайней мере, Украины и Белоруссии. Тем более что

сам Богдан Хмельницкий называл свою страну Малой Россией и, когда просился в Россию, настойчиво упирал на то, что в противном случае в его земле исчезнет само имя русское — это имя вытравят польские паны и ксендзы.

Я не мог исключить такой итог событий, что три славянских потока сольются в один. Не исключаю и теперь. Но когда слышу, как образованный русский человек доказывает, что сохранить единство славянских народов СССР надо ради и на основе их духовной близости, что государственная независимость для них — ценность не единственная и не высшая, добровольное объединение — ценность более высокая, выше только всемирное единение во Христе, я вижу, что это говорит русский, который Украину не знает и которому до нее нет никакого дела, хотя, вполне возможно, он и сам не подозревает об этом своем равнодушии. Он думает обо всем, кроме украинского языка.

Я могу согласиться со всем. С тем, например, что в украинском сознании сосуществуют два настроения: тяга к России и отталкивание от России. К России больше тянется простой народ, отталкивается от нее — интеллигенция (в годы перестройки к ней присоединилось много чиновников). Не удивлюсь, если тяга к России окончательно победит, тем более что меня не убеждает теория, согласно которой украинский язык существовал изначально, а не выделился из восточно-славянского. Дело очень даже может кончиться слиянием языков. Могу согласиться, что этому будут сильно способствовать огромные трудности раздела. Действительно: Крым, Сибирь, Новороссия нажиты совместно — как их делить? Украина предложила русским: Сибирь пусть остается вам, Крым и Новороссия — мои. Российский парламент сказал, по существу, "нет". Дерзость позорная, но это лишний раз показывает, какое оно сложное — дело о разводе. Но не видеть, что, если семья устоит, украинский язык исчезнет (белорусский тоже) и что в разводе — последний шанс на спасение этого языка, нельзя. Человек, которого не занимает судьба украинского языка, может говорить сколько угодно умных и неизбитых вещей, я буду слушать его не иначе, как со все возрастающей печалью и протестом. Особенно, когда он будет ссылаться на христианское понимание ценностей... В подобных случаях люди типа Левка Лукьяненко говорят: вот так, такими проповедями русские из века в век и усыпляют украинское национальное сознание. Я исхожу из презумпции добрых намерений — не хочу видеть в этих проповедях сознательной политики, великодержавной задней мысли. На мой взгляд, тут просто безотчетная русская уверенность: то, что народы все больше русифицируются, — неплохо; ничего страшного, если они в конце концов и совсем обрусеют.

Было ясно, что если на Украине когда-нибудь что-то начнет — начнется оно с того, на что русский человек не обратит внимания, что покажется ему пустяком, делом десятистепенным, но что на самом деле будет предвещать собою геологический сдвиг.

Одного звука достаточно, чтобы сорвалась лавина и в несколько мгновений преобразила местность. Было ясно, что это и будет звук в буквальном смысле — звук украинской речи.

III

Скрытный Горбачев все-таки, наверное, когда-нибудь признается, какой головной болью с самого начала была для него Украина. Мне, во всяком случае, казалось, что на его месте всякий должен был бы денно и ночью молить Бога, чтобы она не раскачалась раньше времени, раньше Прибалтики. (Было бы трагедией, если бы и одновременно с Прибалтикой, даже вслед за нею, без заметного интервала). Щербицкого следовало держать до последнего, а умрет, проявив несознательность, — посадить на его место двойника, пусть сидит, пусть блюдет Украину. Я знал (а кто не знал?!), с какой лихорадочной энергией, с фронтовым упоением работала в те годы украинская охранка... Уверен, что и на прибалтийские номера Горбачев долго смотрел сравнительно спокойно потому, что не рыпалась, сохраняла верность Союзу Украина. Насчет мовы, правда, что-то там подбрасывали ей отдельные элементы; сначала то там, то сям, а потом и всюду появлялись общества украинского языка, но что такое эти общества по сравнению с ячейками Саюдиса! А на самом деле — шли в сравнение. Не из кого-то, а из профессиональных мастеров мовы сложился штаб Руха — антисоветского, антисоциалистического национального движения.

Первый же полусвободно избранный украинский парламент заговорил по-украински. Трудно было верить ушам: по-украински выступали, объяснялись, собачились виднейшие люди все еще коммунистической власти! И все это с утра до вечера показывалось по телевидению. Мать проводницы Шуры собственными глазами увидела, что на “свинском” языке говорит не задрипанная интеллигенция, а люди, которые умеют жить, — да еще как умеют! Не имело никакого значения, что они говорили, достаточно было того, что — по-украински. Это была первая и, в общем, решающая победа сепаратизма на Украине. Написанную по этому случаю заметку я назвал “Язык-победитель”.

Из высокопоставленных людей компартии в парламенте лучше всех по-украински говорил Леонид Кравчук. Его речь хороша и сама по себе, она вполне сравнима с речью его тогдашних главных противников — киевских литераторов; что касается западноукраинских патриотов, тех он кладет на лопатки играючи. В Киеве правильная и непринужденная украинская речь — это более важный признак просвещенности, чем такая же русская — в Москве. Чтобы свободно плавать в отборном украинском языке, нужно испытывать потребность в чистоте, а эта потребность не бывает отдельной, она живет в пучке других культурных потребностей. В высшем российском руководстве нет пока персонажа с

языком, о котором можно было бы без натяжки сказать, что это язык культурного русского человека. В высшем украинском руководстве такие люди есть, и первый из них Кравчук. Это не случайно. Без своего языка он бы не пробились. На Олимп его вознесла мова. (То, что по-русски он говорит с заметным украинским акцентом, тоже помогает ему в работе. Иногда мне кажется, Кравчук намеренно не борется с ним.)

...В этой обстановке появились “Посильные соображения”. Одна из ветвей украинского языка получила строгий выговор за то, что явилась на свет “при австрийской подтравке”, в целом же язык был одобрен, получил заверения в любви. Затем Украину призвали не уходить, была сделана попытка увлечь ее благим и, пожалуй, веселым делом — отбросить одним пинком “подбрюшье”, отодрать н а ш е от Казахстана. Критики этого произведения сказали о нем все, какие можно было, резкие слова, по старой привычке преувеличив влияние публицистики на историю, которая уже неслась, не оглядываясь ни на чьи советы. Следует вместе с тем сказать, что Солженицын был первым, кто заговорил об Украине серьезно, для кого все-таки не само собой разумелось, что она останется в России, кто понял, что с Украиной надо объясниться.

В новую жизнь Украина входила со своим мифом. Дело прочно, когда под ним — миф. Мы богаче России, мы ее кормим, без нас Россия пропадет. “Украина — это же вся таблица Менделеева! Вся таблица — у нас!” — доказывала мне хозяйка одного из первых на Украине частных станционных ресторанчиков Раиса Сергеевна Медоева, по национальности, кстати, русская. “Два-три года независимой жизни — и у нас будет лучше, чем в Англии, чем во Франции!” — убеждал старый лесник, упрямо продолжающий жить в своей хате чуть ли не под стеной Чернобыльского саркофага.

Студент-историк в Киеве, когда я заговорил с ним о том, что грамотному человеку все-таки не пристало верить в такие вещи, спокойно ответил, что не видит ничего плохого в этой народной сказке — она, мол, помогает народу распрямлять спину. Он напомнил мне, что нотки мессианства были и у Тараса Шевченко. Меня они, признаться, всегда смущали. Я не мог представить себе то состояние духа, тот сон наяву, в котором только и можно вещать об исключительной миссии твоего народа, объявлять его Бого- или чего-то еще -носцем. Другое дело, если решил, что повешать — нужно, из политических или стилистических соображений. Этот студент был одним из предводителей киевского студенчества, сбросившего последнее чисто коммунистическое правительство Украины. После этого он пошел в политику, мы встречались как раз в дни, когда он боролся за свободное место в парламенте.

Чем занялось украинское сознание — сознание тех, кто пишет, читает, оживленно рассуждает об украинстве — при первых не мнимых проблесках независимости? Оно стало усердно работать над созданием концепции украинской культуры — решать, каким

должно быть общепринятое представление о прошлом, настоящем и будущем этой культуры.

Многие быстро сошлись на том, что украинцы — это арийцы, а русские — турано-азиаты, ордынцы по своей натуре, что украинский язык не отстал от того же корня, от которого и русский, что крещение Руси на самом деле было крещением Украины, а святой Владимир — украинец, что исконные украинские земли доходят до Каспийского моря. Решено и насчет Гоголя: он погиб из-за раздвоения между украинством и рускостью, чувствовал свою вину перед Украиной за то, что ушел в русскую службу. Его имя дано одному из четырех типов украинцев, выявленных научно, а именно второму: способный украинец на русской службе, карьерист. Первый тип живет животной жизнью и тем доволен, третий уходит в свою внутреннюю возвышенную жизнь, четвертый — это герой, который стремится перестроить мир по законам праведности. “Слово о полку Игореве”, Кирилл и Мефодий — это все, конечно, тоже только украинское. Того, кто скажет: “А зачем его, “Слово”, делить? Было общим, пусть общим и останется”, часто осуждают как невежду или предателя.

О направлении и особенностях этого поиска концепции украинской культуры стараюсь судить по лучшим образцам — таким, как, например, доклад Н.Корниенко “Украинская и русская ментальность: проекция в современность”. Нелли Корниенко — кандидат искусствоведения, выступала на конференции “Украина и Россия”. Главное, что доказывала, — 350 лет назад, до воссоединения Украины и России, натура (менталитет) украинца была лучше, чем теперь. Испортилась она условиями жизни в Российской империи. До породнения с Россией в украинском сознании действовали нравственные абсолюты — потом они были утрачены, теперь задача в том, чтобы их вернуть. Кроме абсолютов было, да с утратой национальной государственности сплыло и теперь тоже должно быть возвращено “самодостаточное, самоценное достоинство личности”. (Это — вместо того, чтобы сказать: “Сознание достоинства самодостаточной, самоценной личности”. Свойство современной торопливой “конференц-речи” русских и украинских гуманитариев. Направляя прилагательное по ложному адресу, избегают встречи с подлежащим и другими частями предложения). В украинской натуре (менталитете) различаются плюсы — каковые, например, свободолюбие, созидательный героизм, и минусы — появившиеся, естественно, во времена русской колонизации: приспособленчество, “комплекс неполноценности, второсортности всего, чей статус не апробирован в империи”. (Еще один пример “конференц-речи”... Упущено, что “комплекс неполноценности” призван отвечать на вопрос “чей?”, а не “чего?”. Та же причина — торопливость и та же цель — проглотить как можно больше слов. В интересах украинского и русского языков следовало бы срочно условиться об отмене регламентов на симпозиумах, коллоквиумах и пр.)

В русской натуре — только минусы: рабская жестокость и самодовольство (частью — от русской природы, частью — вбито татаро-монголами), склонность к тоталитаризму, “духовное иждивенчество” (цитируются слова Розанова), особенно же — привычка искать виновных на стороне. Русский космизм, конечно, подарил миру идею нравственного совершенствования; у русских гениев (Нелли Корниенко приводит имена: Чаадаев, Лунин, декабристы, Толстой, Чехов) “рефлексии глубинного чувства вины и стыда” достигают кульминации, но русский народ, к сожалению, этих уроков не усвоил. В годы революции и гражданской войны, говорит она, противоположность украинской и русской натур проявилась нагляднее всего: украинец был настроен конструктивно, у него было чувство личной ответственности за ход истории, а русский был одержим вопросом “Кто виноват?”, искал врага. Дальше будет еще хуже. Согласно учению Льва Гумилева, который так завладел умами моих соплеменников, что может считать себя украинским национальным героем, русский народ сейчас в состоянии “супер-кризиса”, из которого может и не выйти, а украинский народ идет на подъем, “и в ближайшие два столетия, если позволит экологическая ситуация, с ним в историю Европы войдут принципиально новые концепции мирозерцания и жизнестроительства”. Что это за концепции, автор не объясняет — это делают другие. Если в двух словах, то речь идет об украинской “миссии добра”. Чтобы исполнить эту миссию, украинцам потребуются соответствующие лидеры. Действительно, начиная с 60-х годов, пишет Нелли Корниенко, в украинском обществе, словно в ответ на запросы генетической культурной памяти, стали создаваться условия для появления лидеров нового типа. Называются имена: Иван Светличный, Юрий Бадзь, Вячеслав Чорновил, Иван Дзюба. Они все обладают “компетентным знанием на уровне европейских и мировых стандартов” и “относительно высоким уровнем гармонии индивида этого типа”. (Да, да, оно общее несчастье русских и украинцев! — эта ф е н я научных междусобойчиков!..)

Третья особенность украинских разговоров, проявившаяся и в докладе Нелли Корниенко, тем более любопытна, что ее не ожидаешь, наслушавшись критики по адресу русских. Это — призыв к миролюбию, умеренности, возврату “глубинных традиционных ценностей культуры и этики”, к преодолению большевистского соблазна быстрых, простых и окончательных решений, к подчинению “политических экстрем философским и моральным абсолютам”... “Впереди, — успокаивает автор нетерпеливых, — 200 лет, 6 — 7 поколений для полноты самообновления, для самореализации”.

Есть и осторожная критика Западной Украины. Национальное сознание там более развито, признает Нелли Корниенко, но идеи лидеров Восточной Украины “часто стратегичнее и корректно фундаментальнее — в отличие от преимущественно публицистических идей западных братьев”. Кроме того, на востоке более мощное

“поле культуры”, это исключительно важно: “самые сильные и злободневные идеи самосознания не могут быть как следует воплощены, пока они остаются в лоне политики и идеологии”.

Людам, не обязанным знать шифра, который тут использован, надо, видимо, пояснить, о чем идет речь. Западная Украина, хочет сказать автор доклада, не так сильно обрусела, как восточная, но украинские патриоты на Востоке более образованны, спокойны и основательны, чем их единомышленники на западе. Это не случайно: украинский Восток в целом культурнее украинского Запада. Только тогда, когда он, Восток, как следует увлечется украинством, дело можно будет считать прочным. В связи с этим приветствуется усиление общественного внимания к религии, выражается поддержка автокефалии. “Сейчас время воссоединить Запад и Восток, а этого без ориентации народного сознания на независимую автокефальную украинскую церковь невозможно достигнуть”. На востоке Украины большинство приходов относятся к Русской православной церкви. Ее голоса в мирских делах пока не слышно. Автокефальная ведет себя живее, но прислушиваются к ней мало. Молодое государство пока занято флотом, Крымом, устройством таможен. Если оно возьмется вместе с интеллигенцией “ориентировать народное сознание” против русской православной церкви, то долго ждать успеха не придется: тайная полиция в этом государстве — прежняя, только с новой присягой; вся подноготная православного клира — в надежных руках. Автокефалия вносит в церковь украинский язык. Это большое дело. Но и потеря церковнославянского, на мой взгляд, — не благо. Это ведь мост, на котором издавна встречаются украинцы, русские, белорусы — и не только они. Хорошо, говорю я, западным украинцам с их “преимущественно публицистическими идеями”: для них плюсы не связаны с минусами. Вообще, между Западом и Востоком Украины разница пока в чем-то большая, чем между Восточной Украиной и Россией. В одном анекдоте западноукраинский батюшка проповедует, что Христос был украинец. “Зачем вы так говорите? — спрашивают его. — Вы ведь знаете, что это не так”. — “Знаю, сын мой, но людям нравится”. Я услышал этот анекдот в собрании украинских литераторов. Молодая женщина-прозаик из Львова сказала: “Ничего особенного. Меня бабушка тоже учила, что Христос был украинец”. На востоке Украины это невозможно.

Среди опасностей, которые подстерегают Украину, если тон будут задавать носители “преимущественно публицистических идей”, называющие русский язык оккупантом, есть совершенно особая: возрождающееся украинство может надоесть самим украинцам. Михаил Булгаков издевался на украинизацией предбольшевистской Украины, ему достается сейчас за это в агитпоездах Степана Хмары. Но еще ядовитее над той украинизацией издевались миллионы украинцев. Презирая Центральную Раду, они, как с мукой писал Винниченко, “высмеивали и все украинское: язык, песню, школу, газету, украинскую книжку”, и “это были не

отдельные сценки, а всеобщее явление с одного края Украины до другого". Мне говорят украинские друзья: ну, дуракам не под силу такое дело, как разрушение нашей долгожданной государственности! Но кто же, как не дураки, подобные дела обычно и вершит?

Я всей душой за украинскую независимость, но вопрос, вынесенный на последний украинский референдум и решивший дело, не могу считать полностью свободным от лукавства. Как и вопрос предыдущего референдума, на котором Украина проголосовала за обновленный Союз... Спрашивать, по-моему, надо было примерно так: "Хотите ли вы, чтобы Украина и дальше была в одном государстве с Россией?" Или: "Хотите ли вы, чтобы Украина вышла из общего с Россией государства?" Для украинского дела такой вопрос был бы рискованнее, и все равно: на душе спокойнее, когда игра чистая. Во-вторых, избежать этого прямого вопроса скорее всего и так не удастся. Жизнь вполне может к нему подвести. Недоговоренное рано или поздно договаривается, недовыясненное — довыясняется. Население Украины за то и презирало Центральную Раду, что она допускала слишком много недоговоренностей и двусмысленностей.

В первые годы перестройки, приезжая в Киев, я иначе, чем прежде, смотрел на украинскую столицу, особенно на главные столичные признаки в ней. Какие, однако, монументальные правительственные здания! Смеялся: Сталин со своими архитекторами заложил мину под империю. У человека, который каждый день ходит на службу в такое здание, толкает эту тяжелую дверь (да она одна — достаточный символ государственности!), не может не зародиться желание независимости. Коварный Сосо не одну — он 15 мин заложил под свое детище... Ну, что б ему стоило после войны прекратить игру в союз республик! Переоценил, переоценил провидец прочность постройки, думал, вечно будут довольствоваться видимостями. Но здания совминов на главных площадях — они-то не были видимостями, там даже до первого этажа надо вон сколько карабкаться взглядом по мраморному отколу цоколя...

Но это что касается настроений начальства и чиновничества. С народами бывает сложнее. Между украинским народом и его начальством (старшиной) недоразумения всегда были в порядке вещей. Вопрос и сейчас серьезный. То думалось: только государственная независимость спасет украинство. А теперь: не слишком ли много выплыло деятелей, которые опьяняются ею до потери образа и могут все испортить? Но подлинная серьезность вопроса в другом. Говоря очень просто: выкинет ли украинец из своей головы русского, а русский — украинца?

IV

Уже мне попадались первые секретари украинских райкомов, которые высказывались за уход из-под Москвы, а мои русские

друзья... “Ну, что ты говоришь такое! Всегда были вместе, а теперь разойдемся?!” Даже русские патриоты, на что уж бдительный народ, были беспечно озабочены Прибалтикой да жидомасонами. Уже вся украинская номенклатура почти открыто говорила, что ее последняя историческая миссия — обмануть Москву, обеспечить плавный, бескровный переход Украины к государственной независимости, а мои русские друзья... “Да ладно тебе! Что — номенклатура? Народ должен сказать свое слово”. А патриоты все не отрывали взглядов от Вильнюса. Ума не приложу, почему до сих пор не допрошены Алкснис, Коган, Шафаревич, по чьему заданию они отвлекали великорусское внимание!..

За все горбачевские годы высшая русская интеллигенция не родила ни одного, призванного и способного разбудить русское сознание произведения об Украине. Что это было? Кризис? Столбняк? Факт потрясающе интересный: русское национальное сознание до последнего момента вело себя так, словно Украины не существовало. Это такой огромный факт, что только его огромностью я могу себе объяснить, что он до сих пор не осмыслен. А ведь, только если держать этот факт перед глазами, можно понять поведение независимого Киева, а понять поведение Киева жизненно необходимо — без этого не может быть правильной русской политики в отношении Украины. Россия дала Украине независимость, так по-настоящему и не заметив, что она, Украина, существует.

Первое чувство тех немногих, до кого кое-что дошло, было: “Это что за географические новости?!” Второе: “Что за глупости? Кравчуку не дают покоя лавры Гамсахурдии? Несolidно, несolidно!” Время шло, и русское лицо все мрачнело: “Мы не ожидали от них этого”. — “Нельзя делать то, чего от вас не ожидают русские! — посмеивались в Киеве. — Делать надо только то, что русские от вас ожидают”.

Встречаются, конечно, и русские, которые говорят: “Да, мы, кажется, что-то проглядели. Видно, что-то не совсем в порядке с нашими органами восприятия и переработки сведений о жизни”. Но мне чаще попадаются другие: “Ну и скатертью дорога! Все равно русская культура — это русская культура. Она-то от нас не отделится. И в Европе мы будем раньше вас, хоть вы расшибитесь. Мы, собственно, — с Достоевским, Толстым — давно там”. И русский министр набрасывается в газете на украинского президента, как будто он не министр, а собкор “Правды” в советском Киеве, а Кравчук — все еще идеолог КПУ, уклонившийся в буржуазный национализм...

Я считаю себя и украинцем, и русским. Встречал людей, которые с этим не соглашались. Это интересные встречи. На человека, который вполне серьезно думает, что он лучше меня знает, кто я таков по национальной принадлежности, и ни секунды не колеблется, прежде чем указать мне, что должно быть у меня в

пятой графе, — поистине глядеть не наглядеться. Если у нас есть будущее, такие скоро вымрут, как динозавры.

Что же я чувствую сейчас как украинец? Я доволен, что на Украине прибавляется украинства, что растворение ее в русском остановилось или, во всяком случае, замедлилось. Но мне грустно знать, что Украина никогда не сможет стать таким важным государством, каким она уже была в сознании массы украинцев год назад. Грамотные и трезвые знали, что она, конечно, не первая в Союзе, а только вторая, но гордились и этим, втайне чувствовали себя хозяевами в Союзе наравне с русскими. Теперь до них начинает доходить, что вторыми мы были в Союзе, а не в мире и даже не в Европе, что, будучи вторыми в Союзе, стояли на таком большом расстоянии от первых, от России, что и мерить не хочется.

Год назад украинец был бодр, русский — уныл. Сейчас не рискну это утверждать. Если украинцу не было радостью открыть, что вес Украины в Советском Союзе равнялся всего 16 процентам, то для русского удивительно, что вес России — 60 процентов, было не в пример слаще. Украинец не думал, что Украина так легка. Русский не думал, что Россия так тяжеленька. Украинец думал, что Украина тянет процентов на 40. Русский... Того, как известно, вес России как России не интересовал, для него Россией был весь СССР. Всенародное уяснение этого соотношения: 60 и 16 — может иметь крупные последствия. Работать эти цифры будут в тех уголках сознания, где рождаются и умирают мифы. Народами по-прежнему движут мифы, сказки. Миф по-прежнему подлинный крот истории. Развенчанный миф тоже роет, иногда еще шустрее.

“60 процентов, — прикидывает русский, — это же только вес РСФСР. А если прибавить вклад русских, живущих в остальных бывших республиках?” Я прислушивался к этим прикидкам в электричках. Многих увлекают... Половина того, что весит Прибалтика, — это русский вес, самое малое. А если учесть, за кем там большинство на заводах и всюду, где сложная техника? Нет, никак не меньше половины! То же — в Казахстане, Средней Азии, на Кавказе. “Постой, постой! — все оживляется электричка. — Да ведь и в 16 процентах украинского веса четверть приходится на живущих на Украине русских, верно?” Электричка за справедливый подсчет, чужого нам не надо, хотя и своего не отдадим, — вычесть вклад украинцев, живущих на шестой части вне Украины, она не забудет, но результат такой, что не может он утешить мое украинство. Работаем мы хорошо, но мало нас вне Украины, меньше, чем привыкли мы думать. Процент в начальстве, конечно, побольше, руководить мы любим... Уже на подходе к Истре, где четвертый год зарастает бурьяном мой участок, вагонная статистика приходит к выводу, что этнический, так сказать, русский вес в союзном доходе был никак не меньше 80 процентов. Какое это имеет значение? А такое, что с таким процентом в башке можно жить,

мать честная! Россия может остаться великой страной — и стать еще больше, если не будет валять дурака.

“Империя никуда не денется!” — это слышу уже на перроне в Истре. До 17-го года была обычная Российская империя. После 17-го она стала прикрытой, теперь еще раз сменится одежда — и будет порядок. Откровенных приказов из Москвы на места поступать не будет — и не надо, они самим русским надоели. Зато усилятся не прямое... да не давление, не давление, кончай трепаться, наслушался демагогов! — будет влияние: честное, естественное и оттого еще более сильное. Русские останутся на своих местах и в Прибалтике, и где захотят. Никто их нигде не тронет. Пусть попробуют! Ельцин при всем своем желании не сможет оставить их на произвол судьбы. Русское присутствие на одной шестой останется потому, что никому не нужно, чтобы оно свернулось — ни русским, ни нерусским. На русское будут равняться все, кто и до сих пор равнялся. На русских будут равняться (делая вид, что отталкиваются) даже в Прибалтике, в первую очередь — на русский бизнес, раскованный, презирующий мелочность, усваивающий инженерную хватку военно-промышленного комплекса. Неважно, что это идилия, думаю я, прислушиваясь. Неважно, что действительность будет грубее. Миллионы-то не занудствуют: не спрашивают себя, что будет, если очередной, овладевший ими миф развеется подобно всем мифам...

“А теперь забудем, что кто-то из нас украинец, кто-то русский. Будем рассуждать как незаинтересованные лица, — предлагает русский из тех, с кем возможны продуктивные разговоры. — Россия не замечала и с большим трудом начинает замечать Украину, обижаются вы, украинцы. Это так. А много ли испытывает интереса Украина к самой себе? Так ли уж много там такого, что может привлечь внимание других? Украинский язык был и остается языком деревни. В этом смысле он — этнографическая достопримечательность. Но создать современную культуру на языке, который является этнографической достопримечательностью, — дело, как показывает жизнь, мудреное, не правда ли?

Забудем всякие общности, будем видеть перед собою личность. Возврат к украинству — это как возврат в хату из современной квартиры. Культурный горизонт человека, купающегося в русской культуре, все-таки шире. Ну, нельзя же этого не видеть! Уход Украины из России — это уход в себя. Это сокращение связей с русской культурой. Серьезная изоляция неизбежна, даже если крайние националисты будут сидеть сложа руки. А они сидеть сложа руки не будут. Из одного патриотизма предпочитать журнал “Вітчизна” “Новому миру” никто не будет. Стало быть, не может быть, чтобы не попытались так или иначе сократить приток русского на Украину. Усилятся то, что и сейчас бросается в глаза, — провинциализм, он станет заносчивым и оттого еще более жалким. Зачем это украинцу? Ходил в сапогах — и вдруг влезть в лапти... Что за блажь — обуть целую страну в лапти? Украина —

не Иран, на Украине одно из самых образованных населений в Европе. Эксперимент не пройдет. Один вон попытался проделать это с маленькой Грузией — и что вышло?”

К слову вспоминались другие славянские народы: поляки, чехи, болгары, сербы.

“Те — другое дело. Даже поляки никогда не были так связаны с Россией, как Украина. Там не была так укоренена эта традиция отбора лучших на русскую службу. На Украине придется пресекать эту традицию. Кому по силам?”

Из украинства население уходит, как из деревни. Это, по сути, одно и то же. Из деревни — значит, из украинства. Идет на убыль деревня — идет на убыль украинство. Не будем пока давать этому оценку, отметим факт. Украинская деревня не выдерживает соперничества с русским городом. Именно в этом смысл того, что украинцы массами уходят в русскую жизнь, способнейшие из них — в русскую культуру, работать в ней. Их можно понять, хотя они и не просят об этом. В мире даже с русским языком почти нечего делать — надо учить английский, а с украинским что — в цирке его показывать? Европейская публика решит, что это словенский или словацкий фольклор. Этот приговор выносят сами украинцы. О родном языке говорят: “свинский”. И вот затевают строительство крупного независимого государства на фундаменте этого языка. Что можно создать на таком фундаменте? Сколько потребуются времени, чтобы получилось нечто, представляющее общий интерес? А куда за это время уйдет Россия с ее культурой — демократическая, учтите, Россия? Вы представляете себе, как отстанет Украина?”

Это — главная мысль стремящегося рассуждать как незаинтересованное лицо русского.

“Привязанность к материнскому языку, как мы видим, не всегда может держаться только на чувстве и долге родства. Это так только говорится: кровное родство. Кровные могут быть еще какими чужими друг другу! В мире, где личность все больше вырывается из уз, сплетенных без ее участия, нужны более рациональные основания для привязанности. Чем больше выбор, тем свободнее выбирают. У человека, не чуждого культурных и общественных интересов, отношение к родному языку определяется часто тем, что он может прочитать на этом языке, чего добиться с ним в жизни. Это наглядно показал пример народов Советского Союза. Даже на русском в этом столетии написано не так уж много такого, что хотелось бы вновь и вновь перечитывать. А что — на украинском? И, никому не объясняя своих побуждений, даже сам себе не отдавая отчета в них, человек делает выбор... Украинский патриот может, конечно, убеждать публику, что в украинской поэзии есть своя Ахматова, но, во-первых, кончит тем, что Ахматова — это Горенко, во-вторых, разве оттого, что кто-то будет хорошо знать причины украинской культурной слабости и сочувствовать Украине, он станет читать то, что читать, мягко говоря, не обязательно?”

Я отвечал: все так или почти так. Может быть, действительно Украину окончательно вберет в себя Россия. Но кто знает промысел?.. А ну как зачем-то надо, чтобы этого не произошло? Чтобы среди тыщи языков существовала и украинская мова... Тогда будут приняты меры. Какие — уже видно: возобновление исторической жизни.

Украина все-таки большая. Русифицирована она не окончательно, последняя черта еще не перейдена. Из сорока миллионов этнических украинцев миллионов восемь, если не больше, думают и говорят на родном языке, им это легче, чем на русском. Это люди, которые рождаются и умирают в украинстве. Украинство — их среда обитания, оно для них естественно, русское ими воспринимается как чужое, далекое. Это сотни сел и десятки городов, среди них и крупные. Это Западная Украина, по существу — вся. Перед тамошним украинцем не встает соблазн перехода в русскую жизнь — его устраивает своя, украинская, в ней ему достаточно своих соблазнов. Если его спросить, зачем ему его слаборазвитое украинство, когда есть высокоразвитое российство, он, если кроткий, ответит просто: “Что ж! Кому что дано. Кому-то — российство, кому-то — американство, а мне — украинство, я уж в нем должен исполнить то, ради чего был позван в этот мир”. Я встречал там 90-летнюю женщину, которая пела мне украинский гимн “Ще не вмерла України” и говорила, что не хочет умирать, прежде чем Украина не станет свободной.

Среди остальных тридцати с лишним миллионов более или менее русифицированных украинцев миллионов пять готовы и способны легко вернуться в украинство, если от этого не будет неприятностей: если украинство по-настоящему станет господствовать на Украине. “Будем, братья, господами на родной стороне!” — поется в гимне. Это люди, которым не придется менять кожу — только одежду. Миллионов десять — это такие, как матушка проводницы Шуры. Когда они убедятся, что быть украинцем — уже не зазорно, что это вполне культурно, когда они привыкнут, что по-украински говорят их министры и попы и никто над ними не смеется, а наоборот, очень даже охотно и уважительно имеют с ними дело заграничные министры и попы, — эти миллионы тоже вернутся домой. Остальные будут, как и сейчас, двуязычными. Вместе с десятком миллионов русских на Украине они будут представлять собою массу агентов русской культуры, русских вкусов, русского уровня.

Что до культуры... Слов нет, вряд ли украинская культура легко и быстро встанет в ряд заметных европейских. Может быть, это вообще останется особенностью Украины: высокий уровень образования, высокая бытовая культура, мощная промышленность и наука — и сравнительно слабые литература, искусство. Что ж, такая ее судьба. Развитие культуры будет процессом трудным, может быть, малоудачным, но отныне он будет естественным, все посторонние влияния будут обычными, нормальными, и русский автори-

тет — будет авторитет не силы, а славы. Я спрашиваю: чему тут огорчаться? Неужели единообразие, даже если оно русское, — это то, к чему надо стремиться? Почему крах единообразия должен обязательно означать торжество пустоты, а не торжество многообразия? Может быть, несудача с насаждением единообразия означает просто то, что многообразие угоднее, милее Богу? Любоваться пестрым миром Творцу веселее?

Как-то я сказал на украинской “Свободе”, что от того, что сейчас происходит в России и на Украине, я хотел бы только выиграть. Как гражданин России и человек с русским рабочим языком я хотел бы что-то выиграть от российской демократии. Как украинец по рождению и воспитанию — от украинской. И при том я, естественно, ничего не хотел бы потерять из преимуществ, которые давало мне мое положение перебежчика в прежней, в советской, жизни. Если я потерплю какой-то ущерб от этих демократий, то они тоже понесут потерю. “Еще бы!” — насмешливо сказал в этом месте старый друг-украинец, когда я пересказывал ему свое выступление. “Да, да, они потеряют очень много, — настаивал я. — Мое расположение”. — “Действительно страшная потеря для них!” — сказал он. “А если они скажут, что как-нибудь проживут и без моего расположения, то это будут не демократии, а что-то, что уже было!” — ответил я.

Апрель 1992 г.

В СВЕТЕ КОНЦА, В ПРЕДВЕСТИИ НАЧАЛА

— Не забывайте: “Умом Россию не понять”!..

— Нет, даже и Россию умом *можно* понять!..

Из современного разговора

Россия — это страна, в которой более, чем где-либо, — и с большей страстностью — задаются вопросом о том, что такое Россия. А русская интеллигенция была (и в какой-то мере еще остается) той частью России, в которой более, чем в какой-либо другой, — и с большей страстностью — ставится не только вопрос о том, чем является Россия, но и о том (и главным образом о том), какой она *должна* бы быть. А также о том, что должна делать интеллигенция для того, чтобы Россия стала тем, чем она должна быть. Таким образом, возникает целый клубок проблем познавательного (что такое Россия) и практического порядка (чем она должна быть и что требуется для того, чтобы она была тем, чем

Витторио СТРАДА

— родился в 1929 году в Милане, где получил фило-софское образование. В 1958–1961 годах — аспирант филологического факультета Московского университета, с 1970 года — профессор истории русской литературы Венецианского университета. Автор книг *Tradizione e rivoluzione nella letteratura russa* (“Традиция и революция в русской литературе”), *URSS–Russia* (“СССР–Россия”), *Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a Pasternak* (“Бессонница разума. Мифы и образы русской литературы от Достоевского до Пастернака”), *Simbolo e storia* (“Символ и история”), *La questione russa. Identità e destino* (“Русский вопрос. Идентичность и судьба”). Основатель и редактор международного журнала “Россия/Russia”. По его инициативе осуществляется, в сотрудничестве с Е.Эткинцом, Ж.Нива и И.Серманом, “История русской литературы” в семи томах, которая выходит во Франции и Италии, а в ближайшем времени будет издаваться и в России. Организатор нескольких международных симпозиумов, посвященных русской культуре. Сотрудничает с разными итальянскими и зарубежными журналами.

должна быть), составляющий суть того, что мы могли бы назвать русской загадкой. Внутри этой загадки создается порочный круг: интеллигенция пытается понять Россию, определить природу ее прошлого и, главное, будущего, а с другой стороны — только Россия, с ее прошлым и настоящим, может объяснить и самую интеллигенцию, пролить свет на ее специфические особенности и на самые ее попытки определить Россию, ее “идею” и ее судьбу.

Если оставаться в плену этого порочного круга, то можно без конца ходить по его окружности, чем в основном и занималась интеллигенция, пленница собственных мифов, своего вечного “что делать?” и не менее вечного “кто виноват?”, в то время как Россия и та ее часть, что составляет интеллигенцию, остаются загадкой, самоуслаждающейся в своего рода мазохизме — смеси горделивости своей особостью и непостижимостью (“умом Россию не понять”) и подавленности от непохожести на всех (постоянное “догнать и перегнать” Запад, аршин которого будто бы не пригоден для измерения той мистической сути, каковая является сутью России). В этом нескончаемом кружении по порочному кругу самовлюбленного сладостно-мучительного самопостижения заключалась историческая трагедия интеллигенции и России, которых обеих грубо вернула к действительности революция, прервавшая в октябре 1917 года процесс национального развития и даже в известном смысле его завершившая. Только сейчас, по окончании семидесятилетней фазы, вытолкнувшей Россию из самой себя в сюрреально-искусственную зону тотального идеологического наркоза, пробуждается интеллектуальная энергия и возобновляется прерванный самоанализ (который, впрочем, никогда не прекращался в той части России, что оказалась за пределами новой революционной метанациональной державы, возникшей на обломках России и ее империи).¹ Но в этом пробуждении и возобновлении слишком часто возвращаются к старому прерванному разговору, как если бы последние семьдесят лет истории были или простым (хотя и печальным) недоразумением, или злосчастным отклонением от первоначальной столбовой дороги, или, что гораздо хуже, извращением, к которому Россию насильственно принудили объединившиеся в коварном заговоре чуждые ей силы.

Так происходит повторение дореволюционного порочного круга, на этот раз в ухудшенном варианте, потому что круг этот был драматическим образом разорван революцией 1917 года и его восстановление становится вдвойне искусственным и опасно самоутешительным, создавая иллюзию, что достаточно снова протянуть нити к дореволюционному русскому прошлому, чтобы покончить с недоразумением, или вернуться на правильный путь, или избавиться от извращения.

Так же мало пользы от коллективных покаяний: они очистительны, только когда сопровождаются безжалостным внутренним анализом исторических грехов кающегося. Именно такой самоанализ, проникнутый истинно критическим и историческим духом, может

помешать вновь впасть в порочный круг интеллигенции, объясняющий Россию, и России, объясняющей интеллигенцию, с сохранением мифа русской загадки и ее псевдоразрешения — “русской идеи”, которая к тому же в свое время, до 1917 года, могла обладать сомнительным очарованием возвышенного самообольщения, но сегодня предстает в нагом убожестве зловещего в своем обмане повторения.

Если Октябрьская революция 1917 года и последующее трагическое семидесятилетие по крайней мере поставили перед лицом реальности Россию и ее интеллигенцию, прервав ее мечтания о том, что они такое и чем могли бы и должны бы быть, то конец этого революционного семидесятилетия (слова “революция” и “революционный” я употребляю в нейтральном смысле, без каких-либо положительных или отрицательных коннотаций, просто как обозначения резкого прерывания исторического процесса и радикального изменения исторической ситуации) должен был бы стать новым и подлинным призывом к реальности — без всякого идеологического дурмана, но в последовательно критическом и самокритическом духе. Первейшее условие освобождения России от мифа, как несравненной загадки в загадке, и интеллигенции, столь же несравненной загадки в загадке, — в преодолении их заколдованного круга и в открытости Европе и миру. Можно возразить, что интеллигенция и Россия всегда были открыты миру и в особенности европейскому Западу, сравнение с которым всегда, по крайней мере с петровских времен, было для той и другой организующим моментом. С другой стороны, любому историку известно, что без вклада Запада и без взаимного обмена с ним понять культурную и политическую историю России нового времени невозможно. Это относится и к тем, кто видел принципиальную однородность России и Европы, несмотря на несовпадение темпов и форм их исторического развития, и к тем, кто, наоборот, настаивал на самостоятельности, а вернее, самобытности России по сравнению с Европой. Но когда выше говорилось об уместности преодоления круга “Россия—интеллигенция” и открытости миру, имелось в виду иное, чем продолжение вечного спора о противопоставлении “Россия—Европа”, чаще всего носившего, а главное — все еще носящего чисто идеологический характер и поэтому только укрепляющего порочный круг, который как раз требуется разорвать. Выйти из этого круга — значит прежде всего критически переосмыслить, начиная с эпохи Просвещения, новую историю как России, так и Европы, трезво взглянуть как на Россию, так и на Европу, развеяв мифы и не впадая в идеализацию одной за счет другой. Требуется понять, что, с точки зрения России, Западная Европа — не столько иное культурное пространство, сколько иное историческое время: для России, как и для народов других континентов, Запад (не только Европа, но и Северная Америка) представляет модернность — место, где человечество впервые порвало с традиционным вековым укладом и вступило в принципиально новую фазу истории, заставив весь остальной мир

равняться на себя, сообразуясь со сложным процессом, получившим название модернизации. А во-вторых, это значит выйти за рамки традиционной двучленной оппозиции Россия—Европа (пусть и рассматриваемые уже не как метафизические сущности, а как исторические динамические образования) и осмысливать мир современности во всей его сложности и, насколько это поддается наблюдению или предвидению, мир будущего, в создание которого Россия и Запад внесли решающий вклад. Эпоха национализмов, локальных и континентальных, подошла к своему концу, несмотря на кажимость обратного, и наступила эпоха нового космополитизма и глобальности, что вовсе не отрицает привязанность к малым отечествам, но не позволяет ей перерождаться в грубый и самодовольный провинциализм. Единство человеческого рода (единство не биологическое — культурное) не есть данность, как утверждала философия истории, объединявшая в едином однонаправленном процессе самый разнообразный исторический опыт. Но это и не фикция, как утверждала другая философия истории, рисовавшая циклическую картину цивилизаций, не имевших ничего общего и даже вообще не сообщавшихся друг с другом.

Дело в том, что универсалии человеческой культуры и на самом деле есть нечто универсализируемое — это потенции, развертывающиеся в момент, когда история глобализируется, когда самое пространство истории становится конечным, исчерпываясь земным шаром, который уже весь разведен и покрыт сетью взаимосвязей между каждой его точкой. Если при этом иметь в виду, что глобализация человечества носит не только пространственный, но и временной характер (поскольку в связи с экологическим кризисом или ядерной угрозой конечность самого существования человечества — уже не просто абстрактная возможность), то выдвигать проблему России и интеллигенции в ее традиционных терминах, с традиционным набором мессианства и “русских идей” — по меньшей мере анахронизм, если оставаться на уровне академических разговоров. Или же — чревато опасностью, если из этого пытаться извлечь политические выводы.

Всказав эти предварительные соображения, к которым мы вернемся в ходе дальнейших рассуждений, рассмотрим теперь понятие “интеллигенция” и зададимся вопросом, действительно ли это специфически русское явление.

Простое сопоставление России и Западной Европы позволяет заключить, что в обоих этих культурных ареалах социальная прослойка и социальная функция, получившие впоследствии в России название *интеллигенции*, возникли почти в одно и то же время, хотя на Западе этот процесс принял иную форму и те, кого в России называли “интеллигентами”, получили название “интеллектуалов”.

Действительно: можно ли сказать, что интеллигенция и интеллектуалы — явления общего порядка? И в чем отличие этих понятий друг от друга?

Прежде чем подойти к этой проблеме, следует отметить, что когда говорят о России, то имеется в виду некая довольно четкая и определенная, хотя и исторически изменчивая реальность, в то время как, говоря о Западной Европе, а тем более о Западе, сталкиваешься с реальностью, куда более сложной, поскольку она связана с разными национальными ареалами. Уже поэтому может показаться произвольным недифференцированное противопоставление России и Европы, поскольку Европа представляет собою пеструю мозаику отличных друг от друга европейских наций, несходство которых между собой часто не меньшее, чем России с каждой из них.

Однако есть глубокая общность между разными частями европейского Запада, поскольку Европа не просто пространственное, но исторически-временное образование, в основе которого — особый тип и особые темпы научно-технического, социально-экономического и религиозно-культурного развития. Что же касается того, в каком отношении находятся русская интеллигенция и западные интеллектуалы, то здесь было бы уместно установить, что было центром Европы в момент появления категории интеллектуалов, то есть какая страна занимала авангардное, с точки зрения культуры, место.

Поскольку момент зарождения современного европейского *интеллектуала* относится к эпохе Просвещения, то очевидно, что он появился во Франции к середине XVIII столетия, накануне французской революции, при энциклопедистах. Сказать, что интеллектуалы существовали и раньше, не только в эпоху Возрождения и Гуманизма и в средневековье, но и в Древней Греции, конечно, справедливо, но это ничего не объясняет: ведь истоки каждого исторического явления можно все время отодвигать в глубь времен, и тогда в нашем случае первыми интеллектуалами можно считать волхва и шамана! Но это значило бы только растворить изучаемое явление в сплошном историческом потоке и утратить его современную специфику. Действительно, европейский интеллектуал столь же древен, как европейская цивилизация, но европейский интеллектуал нового времени формируется в указанном выше времени и месте.

Тем не менее мало назвать дату и место рождения, если не названы отличительные признаки того, что родилось, и чем оно, это родившееся, отличается от того, что ему предшествовало. В случае современного интеллектуала, родившегося во Франции около середины XVIII века (причем вовсе не значит, что этот интеллектуал был только французом и не имел ничего родственного в такой стране, как Англия), основную его отличительную черту можно определить в понятиях *обмирщения* и *секуляризации*. Интеллектуал нового времени определяет себя в противопоставлении *церковнику*, который в течение веков был хранителем культурных ценностей, даже когда (как в эпоху Возрождения) он был окружен людьми нецерковной (но не антирелигиозной) культуры, но сохранял

главенствующее положение. В случае французских энциклопедистов противопоставление церковникам было весьма откровенным и зачастую резким, но его не следует истолковывать упрощенно, игнорируя сохранившиеся в дальнейшем сложные отношения интеллектуалов с религией. Более того, именно в отношении, возникшем между процессом обмирщения и секуляризации, с одной стороны, и верой и религией, с другой, — корень интеллектуала нового времени, который в лице энциклопедистов явился и как критик христианства (усвоивший, однако, из него определенные фундаментальные ценности), и как критик общества (которого он являлся, однако, составной частью). Мы недаром напомнили, что интеллектуал нового времени возник во Франции накануне революции, и его критическая деятельность явилась подготовкой к революции — разумеется, не организационно-политически, а на почве культуры и свободомыслия.

Теперь оставим на время Францию, родину современного интеллектуала, накануне революции, и перейдем к России, где энциклопедисты, вместе с европейскими интеллектуалами других направлений, будут пользоваться необычайным успехом, на первых порах даже при дворе. Французская революция, имевшая огромный отклик и в Петербурге, приходится на конец XVIII столетия. Но Россия была одной из двух крупнейших европейских стран, уже раньше переживших своеобразную революцию. Я имею в виду не Англию, где произошла демократическая революция, которая при всех своих отличиях типологически близка более поздней французской, а религиозную лютеранскую XVI и национальную петровскую начала XVIII века. Две в корне отличные друг от друга революции, потрясшие и обновившие две страны, из которых Германия была еще лишена того государственного и национального единства, каким уже давно обладала русская земля. Из двух революций первая, лютеранская, естественно, получила европейский резонанс, повлияв на весь континент, тогда как вторая, петровская, имела чисто национальное значение и сказалась на Европе лишь впоследствии, в результате складывания современной России и ее культуры, включая интеллигенцию. Сближение двух таких разных революционных преобразований может показаться парадоксальным, если не экстравагантным. Но тем не менее оно имеет свое значение как потому, что Россия и Германия, каждая по-своему, представляют собой исторические аномалии по сравнению с французо-английским ядром европейского Запада, так и потому, что из лютеранской революции возник тип интеллектуала, совершенно отличный от французского, и в России (в том, что касается его отношения с религией) влияние этого типа, наряду с французским, будет значительным.

Итак, Россия в начале XVIII столетия, завершившегося 1789 и 1793 годами в Париже, пережила национальную революцию, которая небезосновательно квалифицируется как европеизация, или западнизация, или модернизация.

Да, этой европеизации, начало которой было положено Петром I (это был длительный исторический процесс), предшествовал и в известном смысле ее подготовил в XVII веке поворот русских к Западу, отвечавший все более растущим антиизоляционистским настроениям. Но европеизация, начатая сверху, не порывая с прошлым России, в то же самое время придавала ей новую и усложненную самоидентичность. Петровская революция секуляризовала общество, и результатом ее успеха было рождение новой русско-европейской светской культуры, принципиально отличной от внутренней религиозной культуры предшествующих столетий. Религия в новой русской культуре, конечно, не исчезла, но перестала быть “естественной”, само собой разумеющейся, и стала проблемой, предметом рефлексии, отрицания или защиты на фоне того критического подхода, которому религия подверглась во всей западноевропейской культуре, начиная с Просвещения. Таким образом, возникло напряжение между новой европеизированной “высокой” русской культурой и старой религиозной культурой не только народных масс, но и религиозно и традиционно настроенных слоев этой новой “высокой” культуры. Такого рода напряжение, хотя и в других формах, существовало и в Западной Европе, где религиозность сопротивлялась секуляризации и оказала глубокое воздействие на нее. Если культуру петровской европейской России можно назвать барочной, то культура возникшего как побочный, но неизбежный продукт поначалу слабого, а затем все более многочисленного слоя — *интеллигенции* — была просветительской и пиетической (а также масонской), близкой двум типам западноевропейского интеллектуализма нового времени: антирелигиозного французского и неорелигиозного немецкого. Национальная революция, совершенная Петром Великим, породила, таким образом, русскую интеллигенцию, которая на первых порах будет оставаться в сфере государственной власти, давшей ей жизнь, позднее же решающая ее часть начнет отрываться от власти и противопоставит себя последней как носительница интеллектуальной контрвласти и предвосхитительница нового общественного порядка. В этой части интеллигенции, которая решительно утвердится в 60-х годах XIX века (кульминация процесса ее формирования, начавшегося к концу XVIII века и захватившего первую половину следующего), секуляризация переживет метаморфозу, подобную той, которой подверглась часть европейской культуры, когда религиозная энергия, отклонившись от своего выражения в трансцендентности, оказалась направленной в псевдорелигию имманентности, в “религию” справедливости и счастья человечества, в утопию, которая в отличие от утопий старого времени, приобрела чисто политический характер, то есть перестала быть интеллектуальной гипотезой или игрой и стала конкретной программой действия. Впоследствии именно на этой почве, в последней фазе интеллигенции, привьется марксистская “научная утопия”. Поворотной точкой этой долгой траектории интеллигенции, которая от петровской европейской и

национальной (русской) революции придет к антиевропейской и метанациональной ленинской революции, была французская революция.

Прежде чем продолжить наши размышления о параллельном, но дифференцированном развитии русской интеллигенции и западноевропейских интеллектуалов, спросим, какие социальные типы охватывались этими двумя категориями: интеллигенцией и интеллектуалами.

Можно разграничить три основных значения этих слов: первое — обладатель и производитель специализированного знания, специалист из области естественных и гуманитарных наук; второе — человек, критически воспринимающий общество своего времени в перспективе прошлого и будущего; в третьем значении — это так называемый “образованный слой”, являющийся необходимой для создания и передачи культурных ценностей средой. Это не три независимые категории, а три типа интеллектуальной деятельности, которые могут взаимно накладываться и совпадать в одном и том же субъекте, образуя почву для возникновения великих творческих личностей. Термин “интеллигенция” имеет таким образом две сферы значений: одна включает все три вышеназванные формы культурной деятельности, другая, более узкая, относится только ко второй форме, точнее, к ее более специфической разновидности, широко и четко выявившейся в России к середине прошлого века, но имеющей и западный эквивалент, что особенно характерно для нашего времени. Имеется в виду “левая”, или “радикальная”, или “прогрессивная”, или даже, в крайнем случае, “революционная” интеллигенция. Она представляет собой своего рода корпорацию внутри более широкого интеллектуального мира, которому противопоставляет себя, поскольку считает себя носительницей этико-политических ценностей, отрицающих существующий социально-политический порядок, и создательницей нового порядка. Она видит в “других” интеллектуалах консерваторов, умеренных, реакционеров, изменивших назначению настоящего интеллектуала, которое, по ее мнению, состоит в утверждении в общественной реальности абсолютных и чистых ценностей справедливости, равенства, братства, счастья во имя человечества, народа, а также класса или нации, которым может быть заранее отведена исключительная роль в преобразовании и усовершенствовании большей части человеческого рода. По сравнению с “другими” (консерваторами и т.д.), обвиняемыми в том, что они — носители частных и эгоистических интересов и ценностей, интеллигенция, понимаемая в вышеназванном узкоспецифическом смысле (то есть интеллигенция *прогрессивная*), считает себя чем-то вроде “партии человечества”, средоточием универсальных и альтруистических ценностей. Это особая форма интеллигенции, возникшая, как уже говорилось, полтора столетия назад в России, а на Западе появившаяся в новом варианте полвека спустя, во время дела Дрейфуса (*Я обвиняю*

Эмиля Золя 1898 года), но ее исходная точка — во французском Просвещении и энциклопедистах XVIII века.

Столетие, лежащее между этими последними и русскими шестидесятниками, богато решающими историческими событиями. Это не только французская революция с ее последствиями, это эпоха исключительно важного для формирования интеллигенции и интеллектуалов явления. Мы имеем в виду явление *романтизма* — новой, самобытной фазы сакрализации фигуры интеллектуала, главным образом интеллектуала-художника, который превращается одновременно в мирского и мифического пророка, так как при романтизме процесс секуляризации культуры меняет свои формы: просветительская антирелигиозность вытесняется псевдорелигиозностью, когда религиозность, подавленная рационализмом энциклопедистов, направляется к метафизической мечте, пронизанной иррациональностью. В России мы тоже находим эквивалент этого западноевропейского явления в ситуации исключительного оживления рационализма просветительского толка в радикальной интеллигенции шестидесятых годов и глубоко самобытного развития метафизического романтизма в духовной культуре, явившегося почвой великой “реалистической” литературы, в частности у Достоевского. Конечно, речь идет не о повторении, а о переработке идей. Поэтому рационализм радикальной интеллигенции шестидесятых годов лишен аристократического свободомыслия энциклопедистов и отягощен материалистическим позитивизмом и революционным социализмом в сочетании с национал-популизмом. В то же время другая тенденция, которую условно можно назвать романтической, приобретает специфический религиозно-православный мистический и визионерный характер и, с одной стороны, обрушивается на всю европейскую цивилизацию, а с другой, создает миф России, которая избежала рационалистического разложения и, более того, способна спасти весь мир от его тлетворного торжества.

Развитие русской интеллигенции, во всех трех упомянутых выше значениях этого слова (обладатели специального знания; носители глобального критического воззрения, в частности, замкнутая корпорация, носительница абсолютных радикальных или революционных ценностей; образованный слой), идет сложным путем, на чем мы здесь даже мимолетно не можем останавливаться, и захватывает чуть более чем столетний период, начало и конец которого обозначены двумя революциями: французской конца XVIII и русской начала XX столетия, с имевшим место историческим прецедентом упоминавшейся выше национальной петровской революции. После революции 1917 года завершается “классический” цикл интеллигенции и открывается новая фаза диаспоры, трансформации, перерождения, сопротивления и возрождения интеллигенции, — фаза, завершающаяся только сейчас, на исходе XX столетия, со смертью не только революции, но самой риторики и

возможности революции после исторической трагедии, начавшейся в октябре 1917 года. Стоит подчеркнуть, что говоря о “классическом” цикле интеллигенции, приходящемся на период от французской революции 1789—1793 годов до русской революции 1917 года, мы говорим о двух революциях, разных не только в пространственно-временном плане, но и качественно и типологически полярных, в противоположность тому, что утверждает прогрессистская мифология, сближающая обе революции в одном непрерывном процессе и в едином восхвалении.²

Вернемся к моменту рождения русской интеллигенции, причем, как и для любого исторического явления, момент рождения носит условный и символический характер, поскольку в таком выборе опираются на определенную генеалогию. Может вызвать удивление, что это рождение у нас связывается с Николаем Карамзиным, а не с Александром Радищевым, признанным родоначальником корпорации интеллигентов. В самом деле, интеллигенция в широком смысле этого слова, рождается с этими столь непохожими писателями, которые на исходе завершившегося революцией во Франции века Просвещения подвели итог вызванным этой эпохой ожиданиям, надеждам, иллюзиям, которые они каждый по-своему разделяли. Оба — сыны века “осмнадцатого”, воспитанные на его понятиях и идеалах, они каждый имели собственный взгляд на Россию и человечество и основывались на собственном этико-интеллектуальном и, в более узком смысле, политическом кодексе поведения. Радищев недалеко оторвался от своего века и умер в начале следующего, самоубийством положив конец героически безнадежному существованию, не найдя утешения своей непримиримой протестующей душе; Карамзин же, наоборот, далеко шагнул через рубеж двух столетий и пережил эволюцию в соприкосновении с новой исторической реальностью, приобретя печальную мудрость тех, кто многое видел и многое передумал, причем виденное оказалось слишком драматичным, чтобы сохранить ясную веру юношеских лет. Поэтому Карамзин, личность многогранная рядом с прямолинейным Радищевым, может считаться идеальным родоначальником русской интеллигенции в самом широком смысле.

В конце 1793-го — начале 1794 года Карамзин сочинил краткую переписку двух вымышленных персонажей, Мелодора и Филалета, которые представляли звучащие в его душе голоса в момент кризиса его мировоззрения, когда приходившие из Парижа известия заставляли его отчаиваться в разумности развития революции. Конечно, была возможна и такая перспектива, в которой “разумным” становился как раз якобинский террор — как подлинное выражение революционного духа и законное обоснование нового исторического порядка. Именно это и станет перспективой русского якобинства, но только значительно позднее, в рамках радикальной интеллигенции, резко оппозиционной существующему обществу и самодержавной империи. Но для такого умеренного и уравновешенного ума, как Карамзин, развитие, которое французская революция

получила в 1793 году, было настолько ошеломительно, что подорвало его представление о разумном (развитое также под влиянием энциклопедистов) и заставило его искать другое, способное выдержать бремя этого неожиданного и жестокого исторического опыта. Письма, которыми обменялись Мелодор, “даритель песен”, то есть поэт, и Филалет, “любитель истины”, то есть мудрец, — свидетельство перехода от одной формы разумности к другой: от эйфорического и уверенного в себе Разума к Разуму осмотрительному и неуверенному.

Письмо Мелодора написано в тоне ностальгии и воспоминания, скорбной памяти блаженного отрочества не только индивидуальной, но и коллективной души, когда казалось (как снова и в который уже раз произойдет с русским и европейским духом), что открывается новая эра для “миллионов” человеческих существ, к которым в 1791 году Карамзин в *Песни мира* обращается с призывом “ликовать” и “обняться” в светлом мире братства и согласия. Это стихотворение перекликается с идеей “вечного мира”, широко проповедовавшей европейской мыслью того времени от аббата Сен-Пьера до Руссо. Главное же — очевидна его связь с одой Шиллера *К радости*. В *Письмах русского путешественника* показательно, что автор, покидая революционный Париж в июле 1790 года, вспоминает о Шиллере. В представлениях Мелодора о “золотом веке”, каким представлял век Просвещения для человечества, предназначенного к восхождению “нравственного усовершенствования”, есть что-то “шиллеровское”, и в них как будто можно бы видеть истоки той веры во всеобщее земное счастье, которая найдет себе выражение в прямой форме в русских утопиях, а в драматизированной — в романах Достоевского.

Приведем отрывок из письма Мелодора, ту его часть, где в сентиментальных тонах, но очень насыщенно изложена суть просветительно-шиллеровского идеала Карамзина и, пожалуй, всего русского рационалистического оптимизма XVIII века, возросшего на масонской закваске (в дальнейшем переведенного на языки других культурных феноменов, от популистского — народнического — до марксистского): “Кто более нашего славил преимущества осьмогонадесять века: свет философии, смягчение нравов, тонкость ума и чувства, размножение жизненных удовольствий, всеместное распространение духа общности, теснейшую и дружелюбнейшую связь народов, кротость правлений, и проч. и проч.? Хотя и являлись еще некоторые черные облака на горизонте человечества, но светлый луч надежды златил уже края оных (...). Конец нашего века почитали мы концом главнейших бедствий человечества и думали, что в нем последует важное соединение теории с практикою, умозрения с деятельностью, что люди, уверясь нравственным образом в изящности законов чистого разума, начнут исполнять их во всей точности и под сению мира, в крове тишины и спокойствия, наслаждаться благами жизни”.

Если так мечталось, то насколько же невыносимо было пробуждение под напором прямо противоположной мечтам действительности, когда “фурии с грозными пламенниками” заменили восхитительные лучезарные образы утопии, порукой которой, казалось, был Разум. Несчастный Мелодор в отчаянии: “Век просвещения! Я не узнаю тебя — в крови и пламени не узнаю тебя — среди убийств и разрушения не узнаю тебя!...”. Перед таким гибельным зрелищем Мелодор приходит к новому видению истории, уже представляющей ему не как постепенное восхождение к сияющей выси, но как циклическая смена цивилизаций, причем наша — только одна из многих, и поэтому ничто не гарантирует от возврата темных веков и нового скатывания в варварство. История и природа сливаются в “вечном движении в одном кругу”, в “вечном повторении”, в вечной смене дня и ночи, и никогда свет разума не в состоянии торжествовать окончательную победу.

Если письмо Мелодора — живое свидетельство отчаяния чересчур сентиментальной рациональной души, оскорбленной и приведенной в смятение непостижимой и жестокой логикой истории, то ответ Филалета — патетическая попытка восстановить другую “утешительную систему”, после того как рухнула просветительская. На самом деле эта новая система отнюдь не нова, так как возникла задолго до рационалистической, явившейся ее секуляризованным вариантом: имеется в виду система, усматривающая в превратностях истории высший промысел и тайные божественные предначертания и объясняющая или оправдывающая в наивной теодицее любое бедствие или катастрофу. Только так можно спасти себя от внутреннего хаоса, подобно тому как “мореплаватель, который в гибельный час кораблекрушения, — в час, когда все стихии угрожают ему смерти, — не теряет надежды, сражается с волнами и хватается рукою за плывущую доску”. На исполненных высокой риторики страницах Филалет страстно защищает свою новую старую “утешительную систему”, только нам не дано знать, убедит ли она безутешного Мелодора. В Карамзине оба ведущие диалог голоса не затихают и не заглушают друг друга, так что в итоге мы оказываемся перед своего рода фатализмом, в котором просветительский идеал не исчезает, но остается в качестве нормы рациональности, ограниченной непостижимой неизмеримостью истории. В нравственном плане для Карамзина это переводится в идеал достоинства и независимости, утверждающейся наперекор произволу власти, а в плане политическом принимает форму просвещенного консерватизма, в духе которого автор *Писем русского путешественника* осмысливает историческое развитие своей родины, став автором *Истории государства Российского*.³

Ситуация кризиса, по-своему пережитая Карамзиным и воспроизведенная им через двух его персонажей, типична и периодически повторяется в течение позднейшей двухвековой русской интеллектуальной истории. Недаром Александр Герцен во вступлении к книге *С того берега*, выражающей разочарование европейской

революцией 1848 года, приводит обширные выдержки из письма Мелодора, следующим комментарием подчеркивая его актуальность: “Эти выстраданные строки, огненные и полные слез, были писаны в конце 90-х годов — Н.М.Карамзиным”. Ответ Филалета не цитируется, но дальнейшая эволюция взглядов Герцена идет в направлении построения альтернативной “утешительной системы”, выработки новой, чисто русской providенциальной утопии — “русского социализма”, которому будто бы суждено избежать ограничений и пороков западноевропейской мещанской цивилизации.

Однако по-настоящему ситуация пережитого Карамзиным в конце девяностых годов кризиса повторяется не в той, что отражена в герценовской книге, тема которой — неокончательное разочарование, оставляющее хоть какую-то надежду. Настоящий кризис наступит для Герцена тогда, когда речь будет идти не о европейской, но о русской революции, показавшей, что она чревата чудовищными разрушительными потенциями, которые в Европе на короткое время бурно проявились в якобинский период французской революции, а в России давали себя знать с дикой стихийной и вместе с тем рационально организованной силой, заставлявшей опасаться за будущее. Дело было в нигилизме, портрет которого Тургенев, внимательный аналитик всех новых веяний в среде интеллигенции, благосклонно представил в образе Базарова, а Достоевский, исследуя вглубь и дойдя до метафизических корней, обрисует в апокалипсической картине *Бесов*.

Для Герцена критика нигилизма означала критику части самого себя и части таких сподвижников, как Бакунин и сам Огарев, когда на общем фоне возникает многообещающее порождение революционно-радикальной интеллигенции — грозная фигура Нечаева. Герценовские письма *К старому товарищу*, написанные три четверти века спустя после писем Мелодора и Филалета, отражают новую ситуацию, когда от французской революции произошел переход к революции русской, правда, пока еще потенциальной. Тогда та русская интеллигенция, в лаборатории которой была замыслена эта революция, была поставлена под вопрос другой частью радикальной же интеллигенции, в данном случае Герценом, а также интеллигенцией в широком смысле, что сделал Достоевский.⁴ В дальнейшем эта ситуация критики интеллигенцией самой себя повторится еще в двух ситуациях драматического кризиса: в 1909—1918 годах, *Вехами* и *Из глубины*, а в последние десятилетия диссидентами и, в частности, Солженицыным — в переломные моменты двухвековой истории русской интеллигенции: накануне и сразу после совершения русской революции, с одной стороны, и после ее крушения и катастрофического финала — с другой. Схема обоих писем Мелодора и Филалета повторяется, но, конечно, в весьма непохожих культурных контекстах и в формах, бесконечно более драматических, потому что речь идет не о революционном событии, переживаемом на расстоянии, как в случае Франции

конца XVIII века, но о революционной трагедии, выстраданной целым народом, как это было в случае русской революции нашего столетия, революции, разрушительные потенциалы которой Герцен провидел в последнем письме *К старому товарищу*: “Дико необузданный взрыв, вынужденный упорством, ничего не пощадит; он за личные лишения отомстит самому безличному состоянию. С капиталом, собранным ростовщиками, погибнет другой капитал, идущий от поколения в поколение и от народа к народу. Капитал, в котором оседала личность и творчество разных времен, в котором сама собой наслонилась летопись людской жизни и скристаллизовалась история... Разгулявшаяся сила истребления уничтожит вместе с межевыми знаками и те пределы сил человеческих, до которых люди достигали во всех направлениях... с начала цивилизации”.

Карамзин, Герцен, веховцы, Солженицын (последний как символ лучшей части диссидентства) представляют линию русской интеллигенции, которая преодолела радикализм второй линии интеллигенции в направлении либерально-демократическом, хотя с широким спектром оттенков, вызванных также слишком очевидной разницей в культурно-исторических ситуациях ее двухвековой истории. Промежуток истории не только русской, но и европейской и мировой, идущий от французской демократической революции, наложившей отпечаток на всё XIX столетие, до русской тоталитарной, катастрофически повлиявшей на всё XX столетие, — это период как будто завершающийся тем, что и идеология, и сама возможность революции исчерпали себя. Пришел конец мифу революции, и мифу русской революции, как любому другому национальному мифу, тоже суждено зачахнуть, хотя и предпринимаются попытки искусственно продлить его жизнь в вакууме, оставшемся после краха революционного мифа. Поэтому исторически пришел конец и русской радикальной интеллигенции, которая в идейной (левой) западноевропейской интеллигенции обрела своего двойника, как, по существу, пришел конец и интеллигенции славянофильской (в общем смысле этого термина, без каких-либо прямых связей с классическим славянофильством первой половины XIX века), носительнице мессианской, популистской или фундаменталистской идеологии.

Никакая чисто национальная “идея” не в состоянии “спасти” не говоря о человечестве, но даже и нацию, выражать которую намерена. Это не отказ от укорененности в родной земле, а выработка нового типа патриотизма не чисто локального характера, патриотизма концентрического, первый круг которого составляет локальная родина и ее культура, второй — историческая цивилизация, к которой принадлежит эта “первая” родина (в нашем случае это христианская и светская Европа), третий — сфера отношений нашей цивилизации с другими (например, с Азией) и, наконец, последний круг — человеческий космополис — не в смысле отвлеченного понятия, а как реальность глобальной взаимозависимости современного мира. В этой перспективе “концентриче-

ского патриотизма” меняется также и отношение к традиции, уже не как вынужденное и “естественное” (как в домодерном прошлом), но выборочное и свободное. Это неизбежно в условиях множественности пересекающихся культурных традиций, среди которых необходимо ориентироваться на основе, конечно же, собственной национальной традиции, но главным образом исходя из критического отношения и к этой традиции, чтобы не оказаться пленниками бесплодного и агрессивного консервативного провинциализма.

Старая русская интеллигенция, в своем самом широком смысле *образованного слоя*, создающего и передающего культурные ценности, составляет традицию и для новой интеллигенции, возрождающейся после семи десятилетий антиинтеллектуального тоталитарного господства, которое не только разрушило произведения, деятелей и ценности культуры, но и избавило от иллюзий насчет революции, породившей это господство. Но для того, чтобы избежать возврата к прошлому или ностальгического поклонения ему и преодолеть внутри себя тенденции, прямо ответственные за катастрофу, в которую была вовлечена не только интеллигенция, но и вся Россия, эта традиция требует критического и самокритического отношения. С другой стороны, если традиция русской интеллигенции сама по себе не может служить “моделью” мысли в мире третьего тысячелетия, то и Европа не предлагает моделей, подобных тем, которые представлялись русской интеллигенции, начиная с эпохи Просвещения до начала XX столетия: поздняя эпоха модерности или постмодерность не предлагает успокоительных культурных решений, какими были Просвещение, Романтизм, марксизм, авангард, и открывает дорогу взвешенному размышлению — творческому и вместе с тем критическому в отношении своего культурного прошлого, из которого извлекает синкретические ценности, чтобы противостоять опасности и неуверенности, присущим современной технологической цивилизации, которая в то же самое время обеспечивает максимум индивидуального и социального благосостояния, какого когда-либо достигало человечество. Старая проблема “Россия—Европа” уже не встает в терминах, в течение двух столетий составлявших лейтмотив русских интеллектуальных исканий. Ведь “закат Запада” происходит не по предложенным Шпенглером схемам, предвосхищенным славянофилами, которые считали, что одна цивилизация, а именно европейская, прошла через стадию молодости, зрелости и старости и, исчерпав жизненную энергию, завершила свой цикл, чтобы уступить место другой, в данном случае русской. Не имевшая прецедентов особенность Запада в том, что он наложил отпечаток на весь мир, то есть модернизировал его, потому что Запад — это модерность; если происходит закат Запада, то только потому, что он всё больше будет “растворяться” в вызванной модерностью всемирной глобализации, а вовсе не потому, что на смену ему идет другая цивилизация. Вместо того, чтобы быть альтернативой Западу, о чем грезились славянофилам, Россия может просто внести весомый вклад в эту

модерно-западную глобализацию, которая в настоящее время находится в стадии перехода к новой форме, то есть она может способствовать новому универсализму, возникшему на Западе с модерностью, которую марксизм думал преодолеть посредством коммунизма, но которая неодолима и без конца преодолевается единственно сама собой.

Россия на свой лад входит в Европу, как и Европа на свой лад является составной частью мира. Каждая европейская нация — европейская по-своему, и Россия то же самое — с той лишь разницей, что ее вхождение в Европу более своеобразно, особенно сейчас, после семидесяти лет коммунистического господства, когда Россия одновременно деевропеизировалась и денационализировалась. Перед русской интеллигенцией стоит задача ренационализироваться, а также и реевропеизироваться, а это два взаимодополняющие друг друга процесса. Правда, процессы эти протекают и будут протекать в исключительно тяжелых условиях из-за катастрофического наследства, оставшегося после семидесяти четырех лет коммунизма, на исходе которых Россия, три столетия бывшая империей, становится нацией, с трудом заново обретая собственное лицо. В этих условиях бремя ответственности интеллигенции возрастает как никогда в прошлом. Но это не значит, что она должна пожертвовать собой, собственной автономией, собственным многообразием во имя нового общественного “служения”, что было бы столь же обманчивым, сколь и вредным. Это значит, что, защищая собственную автономию и собственное право на свободные поиски, интеллигенция не может обособиться от окружающей действительности. Не политизация культуры, но ее ответственность, причем и политическая, как и моральная, перед лицом проблем всех ее “отечеств” — от локального до универсального. Для русской интеллигенции одна из первейших задач — критическое переосмысление самой себя, своей собственной истории в рамках общей российской, европейской и мировой истории, что составляет предпосылку для осознания факта великой трансформации человечества — глобальной технологической и антропологической трансформации, вовлекшей не только человека, но и всю экосистему — среду его деятельности.

Требуется высочайшее напряжение сознания и совести для того, чтобы понять мир и действовать в нем — и когда речь идет о коллективном выборе, и когда выбор касается повседневности, так как в обоих случаях, как никогда раньше, наш выбор подразумевает не только настоящее, но и самое будущее: и ближайшее и отдаленное. Любое событие (политическое, экономическое, культурное и т.д.) становится событием экзистенциальным, в которое мы вовлекаем себя или вовлекаемы. Великой русской культуре, во всех ее тенденциях, включая тенденции радикальной интеллигенции, приведшие к таким трагическим последствиям, была присуща, больше, чем другим европейским культурам, способность “переживать” историю, не ограничиваясь восприятием внешних событий и

стараясь заглянуть в тайны ее глубин. История интеллигенции, начало которой мы условно отнесли к первому ее кризису в конце XVIII века, завершается сейчас кризисом неизмеримо огромных масштабов, вдобавок без провиденциальных или национал-мессианских надежд, только затемнявших пути выхода из предыдущих кризисов. Русская интеллигенция должна освободиться от отжившей русскоцентристской и интеллигентскоцентристской идеологии и смотреть на себя и на Россию прагматически в горизонте ацентрического мира. Наступило время отрезвления, не отменяющее ни веры, ни воображения, — время, в котором и для того, и для другого есть новое место рядом с критическим и историческим разумом, согласно принципу разделения и равновесия духовных властей, позволяющему избегать фидеистических или рационалистических диктатур. Сумеет ли русская интеллигенция обновить самоё себя и способствовать возрождению своей страны в контексте мирового сотрудничества, чтобы, преодолев старые дихотомии, стать подлинно русской и глубоко европейской?

¹ Читатель, заинтересованный моей трактовкой тем, затронутых в этой статье, может обратиться к моим книгам: *La questione russa. Identità e destino*, Venezia 1991; *Simbolo e storia. Aspetti e problemi del Novecento russo*, Venezia 1988; *URSS-Russia*, Milano 1985; *Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a Pasternak*, Torino 1986; *Tradizione e rivoluzione nella letteratura russa*, Torino 1980.

² Об отношении между французской и большевистской революцией см. мою работу *Francia e Russia: analogie rivoluzionarie* в книге под редакцией François Furet *L'eredità della rivoluzione francese*, Bari 1988 и во французском переводе *L'héritage de la Révolution française*, Paris 1989.

³ См. В. Страда. К теории русского романа в "Россия/Russia", 4, 1980.

⁴ См. мою вступительную статью к составленной мною книге Aleksandr Herzen, *A un vecchio compagno*, Torino 1977. В книге содержатся также отрывки из работ и выступлений М.А.Бакунина, Н.А.Герцен, Ф.М.Достоевского, Г.А.Лопатина, К.Маркса и Ф.Энгельса, С.Г.Нечаева, Н.П.Огарева, П.Н.Ткачева.

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

И.К р а м о в

ИЗ РАССКАЗОВ ЗИСКИНДА

Текст, предлагаемый ниже вниманию читателя, принадлежит перу человека, имя которого было широко известно в литературных и читательских кругах в 60 — 70-х годах. Автор нескольких книг и многочисленных статей, посвященных творчеству А.Платонова и А.Мальшикина, Э.Капиева и Л.Рейснер, проблемам рассказа и творческим поискам молодых, постоянный автор критического отдела "Нового мира" времен Твардовского, составитель ряда известных антологий советского рассказа, Исаак Наумович Крамов (1919 — 1979) умер в самом расцвете своих творческих сил, когда ему едва исполнилось шестьдесят, и в его письменном столе осталось много не только начатых, но порою и уже завершенных или почти завершенных работ. Среди них — целый цикл очерков, зарисовок и эссе, предназначавшихся И.Крамовым для книги, которую он готовил в последние годы своей жизни и которую надеялся опубликовать разве лишь в каком-то неопределенно далеком будущем. Часть этих материалов уже получила возможность выхода к читателю, как только в стране началась так называемая "перестройка"; часть (из которой и взята новелла "Из рассказов Зискинда") еще ждет опубликования.

Знакомя наших читателей с предлагаемым текстом, мы надеемся, что они вполне сумеют понять и то, почему мы помещаем его под рубрикой "Факты, свидетельства, документы", и то, почему считаем возможным назвать его вместе с тем новеллой. Перед вами — запись подлинных рассказов одного из тех, кто принадлежал в свое время к высшему эшелону власти в СССР и просто чудом, в числе редчайших исключений среди лиц такого ранга, подвергшихся сталинским репрессиям, уцелел в гугаговском аду, — запись, обладающая всеми достоинствами и правами документального свидетельства. И вместе с тем это подлинно художественный текст, мастерски выполненный, и читатель сам, надеемся, сумеет оценить это скрытое, внешне незаметное мастерство, уловив, как без всяких как будто бы

усилий со стороны автора, всего лишь "записывающего" за Зискиндом его рассказ и добросовестно воспроизводящего эту запись, со страниц этой записи встает постепенно психологически емкий и сложный, рельефно выразительный и яркий образ самого рассказчика — человека, много увидевшего и много понявшего во время своих гулаговских университетов, но вместе с тем оставшегося все-таки человеком своего времени и своей закалки, так и не избавившегося до конца от иных иллюзий, верований и миражей своей коммунистической религии. Тем весомее и убедительнее его показания.

1

— Все началось с убийства Кирова. Я был в тот день в Сочи, отдыхал в санатории. Сидели мы вечером, болтали. Вошел Ян Стэн, редактор "Комсомольской правды", сказал: убили Кирова. Все замолчали, потрясенные. Я подошел к Яну, спросил:

— Кто убил? Как такое могло случиться?

Стэн был странно спокоен. Пожал плечами:

— Убил какой-то Николаев. Но дело не в нем. Началось в Кремле, а кончилось там...

Я тогда этих слов не понял. Но Ян больше говорить не хотел — отошел. В тот же вечер я выехал в Москву, сорвался из санатория.

Киров был ближайшим другом Орджоникидзе, всегда останавливался у него, когда приезжал в Москву. Я знал, что смерть его будет тяжелым ударом для Серго. С вокзала, предчувствуя беду, отправился прямо в Кремль. И предчувствие не обмануло. Орджоникидзе был тяжело, смертельно болен. Сердечный приступ свалил его с ног, когда он узнал, что стреляли в Кирова. С тех пор он не поднимался. Когда я вошел в его квартиру в Кремле, его осматривал Плетнев, лечивший Серго, тот самый Плетнев, о котором потом писали — "убийца" и "врач-садист". Это был тихий, спокойный человек и хороший врач. От Серго он вышел хмурый, сказал:

— Плохо, может сердце не выдержать... Как бы не пришлось хоронить.

Десять дней Орджоникидзе был между жизнью и смертью. Я не выходил из его квартиры. И вот однажды Серго неожиданно появился из своей комнаты, попросил: "Позовите Зину". Прибежала Зина, жена. Серго потребовал, чтобы ему принесли сводку работы доменных печей. Я попробовал вмешаться.

— Серго, вам нельзя сейчас.

Он даже не посмотрел на меня, и — жене:

— Скажи, чтобы ему убирался сейчас же вон.

Серго, когда волновался, говорил не совсем грамотно. Возражать ему в такие минуты не стоило, это только раздражало его, а

поступал он все равно по-своему. Сводку ему принесли. С того дня он постепенно стал поправляться, начал работать. Но это был уже другой человек. Мрачный — ни шуток, которые он так любил, ни улыбки. Посадили его братьев. Одного из них — начальника Закавказской железной дороги — я хорошо знал. Серго очень любил братьев, но нам, кто постоянно был рядом с ним, ни слова о них не сказал, будто и не заметил или не знал, что они посажены.

2

В начале 37-го года Сталин поручил Орджоникидзе подготовить материалы о вредительстве в тяжелой промышленности и сделать доклад на Политбюро. Материал для доклада готовил аппарат Серго и я в том числе — в ту пору я был заместителем начальника Научно-технического управления, редактировал газету "Техника", ну и лично был близок с Серго, он доверял мне. Одиннадцать своих заместителей Серго разослал на заводы, чтобы проверили положение на местах. Материал, подготовленный нами, делился на две группы: показания подсудимых на процессах, говоривших о вредительстве в тяжелой промышленности, и — отчеты заместителей Наркома, проверявших их показания на местах, а также отчеты о совещаниях у Серго руководителей разных групп заводов — металлургических, химических, авиационных. Все эти материалы докладывали, что подсудимые на процессах лгали.

Выводов мы, подготавливая доклад для Политбюро, не делали. У Серго это не было принято. Наше дело было собрать факты. Выводы и предложения Серго формулировал сам. Перед тем как ему идти на Политбюро, мы спросили его, готов ли он к докладу. Он ответил:

— Убирайтесь к черту.

Это было в 4 часа дня 16 февраля, в субботу. Обычно Политбюро бывало по четвергам. На этот раз было созвано внеочередное чрезвычайное заседание. Назначено оно было на 7 вечера.

Серго ушел из своего кабинета в 4 часа, забрав папку с приготовленными для него материалами. Что он делал до 7 часов, где был — не знаю. Домой он вернулся в половине одиннадцатого вечера. Я пришел к нему утром следующего дня, в воскресенье, ничего не зная о случившемся. Зина сидела, закрыв лицо руками. Серго лежал мертвый в соседней комнате.

Потом я узнал — на Политбюро Орджоникидзе сказал, что никакого вредительства в тяжелой промышленности нет. Сталин оборвал его:

— Ты ничего не понимаешь или делаешь вид, что не понимаешь. Иди отсюда.

Орджоникидзе, не закончив доклада, ушел. Это было около восьми вечера. Два часа он ходил по Кремлю, по набережной. Пришел домой и выстрелил в себя.

Надо было знать этого человека. Он был вспыльчив, иногда груб, но те, кто работал с ним, любили его. Он зажигал. Рядом с ним жизнь приобретала размах.

Однажды на прием к нему пришли Чаплыгин с группой академиков. Я устроил это свидание. Академики пришли просить валюту на покупку иностранных журналов и книг. Тогда очень трудно было получить золото для книг. На станки — другое дело. Ко мне с этим обратились, я бы и рад помочь, да не могу. Пошли к Серго. Он выслушал Чаплыгина и спрашивает:

— Сколько?

— Сколько нужно?

— Ну да, — говорит, — сколько просите?

Чаплыгин замаялся и говорит нерешительно:

— Думаю, для начала десять тысяч золотом хватит.

Серго говорит:

— Получите сто тысяч. А потом немного еще десять попросить можно.

Там, где нужно было проявить широту, он не мелочился. И людей подбирал на свою мерку — крупного характера, не тупиц, не трусов, а с огоньком, с мыслью. Был у него начальник главка Альперович. Послали его в Америку покупать технику. Предлагали станки. Разбирают качества станков, рисуют на доске чертежи. Альперович встал, снял пиджак, подошел к доске, взял в руки мел. А почему бы, говорит, этот узел не сделать так — и набрасывает мелом чертежик, — и лучше будет, и экономичней. Американцы не сдержались, заплодировали. Вот таким людям с Серго жилось хорошо.

Кабинет мой был рядом с кабинетом Серго. Вернее так — кабинет Серго, потом маленькая комнатка, куда он уходил передохнуть, когда уставал, — сердце уже сдавало, — потом мой кабинет. Однажды Серго приоткрывает дверь, заглядывает, видит — у меня люди, не заходит, а зовет:

— Иди сюда!

Я, извинившись, прерываю разговор, захожу к Серго в маленькую комнатку. Он спрашивает:

— Там кто у тебя?

Я говорю: академики, называю фамилии. Серго очень уважал ученых. А, говорит, академики. Посмотрел на них в щелку, потом зашел познакомиться. Протягивает руку, представляется:

— Орджоникидзе.

Академики немного смутились от неожиданности. И Серго тоже немного смутился. Перед учеными он даже, случалось иногда, робел. Как-то пришел к нему на прием Рождественский, директор института оптики. Это был старого закала ученый и строптивый, знал себе цену. Орджоникидзе ему: — Здравствуйте, товарищ

академик. Рождественский: — Здравствуйте, господин министр. Серго как ни в чем не бывало: — Что-нибудь интересное хотите рассказать из жизни оптики? — Нет, оптикой больше заниматься не хочу. — Почему? — спрашивает Серго. — Потому что назначили ко мне в институт комиссара из института красной профессуры, пусть теперь красный профессор и руководит, а меня увольте. Я под комиссарской палкой ходить не буду.

Видно, Рождественский ждал, что его тут же за дерзость эту и прогонят, но Серго начал урезонивать, только старик стоит на своем. А посланного к нему в институт человека снять Серго не решался — это было дело ЦК. Послал его ЦК. Институт был в ведении Наркомтяжпрома, но кадрами целиком распоряжаться мы не могли, тут нужно было считаться с ЦК. Очень тогда Орджоникидзе был огорчен, что не может удержать Рождественского, пришлось расстаться. Вместо него назначен был Сергей Вавилов.

Так вот, возвращаясь к прерванному. В тот день, когда Орджоникидзе прервал мой разговор с академиками, он был очень взволнован. Академики вскоре ушли, и Серго сказал мне:

— Нужен человек, понимаешь.

— Какой человек?

— Человек с головой нужен. С головой. Достань мне такого человека.

Вижу, что он не в себе, и осторожно стараюсь дознаться, в чем дело. Оказалось, Серго в этот день получил решение Политбюро за подписью Сталина. Согласно этому решению Наркомтяжпром должен был изготовить в ближайший год 80 тысяч товарных вагонов. Цифра фантастическая. Изготавливали мы 20 тысяч вагонов в год, и на большее не было ни мощностей, ни рабочих мест. Но раз решение уже вынесено, не спросясь нас, да Сталин подписал, значит, все. Деваться некуда, хоть умри, да сделай. Как быть? Серго говорит одно: ищите человека. Стали думать, кто тут может сгодиться для такого чрезвычайного трудного случая, и вдруг кто-то говорит:

— Фушман!

Помню, сразу от сердца отлегло. Да, это был именно тот человек, который был нужен Серго. Он тогда заведовал лесозаготовками для нашего наркомата, Серго знал его. Когда мы его называли, Серго схватился:

— Да как я сам о нем не вспомнил.

Вызывает Фушмана. Мы оставляем их, выходим в приемную, но дверь оставляем чуть приоткрытой. Орджоникидзе ходит по кабинету, останавливается против него:

— Слушай, Фушман, — говорит он, — тебе нужны вагоны, чтобы вывозить лес с лесозаготовок.

Фушман обрадованно:

— Еще как нужны.

— Сколько тебе нужно?

Фушман называет какую-то цифру, точно не помню, но очень большую.

— А что, если эти вагоны нам самим делать, — говорит Серго. — Никто их нам не даст.

Фушман опять обрадованно:

— Хорошо бы, конечно, не будем ни от кого зависеть.

— Вот ты и будешь делать эти вагоны.

Фушман изумился:

— Как — я?

— А как — это уже ты сам скажи. Подумай и скажи.

— Сколько мы даем вагонов сейчас? — спрашивает Фушман.

Орджоникидзе, улыбаясь:

— Вот это разговор. Даем двадцать тысяч.

— А сколько нужно?

— Ну, 80 — 100 тысяч.

— Но это же невозможно!

— Почему? Вот какой смелый — невозможно. А ты сделай так, чтобы было возможно.

Фушман отказывается, но Серго нажимает, потом говорит:

— Садись, пиши. Своей рукой пиши.

И диктует приказ, назначает Фушмана начальником нового главка — Вагонспецстроя.

Поехал новый начальник главка на заводы, где раньше выпускали вагоны, а теперь перешли на другую продукцию, стал говорить с инженерами и рабочими: стране, мол, нужно, надо переходить на изготовление вагонов, да побыстрее. А тогда агитировать долго не приходилось. Народ был отзывчивый. Надо — сделаем. Взялись с огоньком. Фушман попросил отдать ему, что было на таможене реквизировано — всякое барахло, штучки-мучки, и все это на заводы, чтобы поддержать людей. Смотрим, дело закипело, работа пошла. На заводах работали сверхурочно, сил не жалели. На следующий год к 7 ноября рапорт товарищу Сталину: "Ваше задание выполнено досрочно". Газеты печатают рапорт, а под ним список награжденных — ордена давали всем, кто отличился. И Фушману — орден Ленина.

4

Конечно, случалось, что Серго и накричит, нашумит, и на меня, бывало, шумел. Вспылит и сразу отойдет.

— Прости, дорогой. Я как татарский портной. Когда его спрашивают, какие штаны будут, клеш или дудочкой, он отвечает — не спрашивай, не знаю, как поверну. Может клеш — если пойдет книзу, а может, и дудочкой, если наоборот. Так и я не знаю, как поверну. Не сердись.

Заболел я как-то — плохая болезнь, может быть, слышали, называется в народе "сучье вымя". Это нарывы под мышкой. Лежу в больнице, лечат меня, но никак не вылечат. Тоска. Вдруг слышу в коридоре голос Серго:

— Какой еще халат, не нужен халат. Я сам доктор. Я — ветеринар.

Входит в палату, говорит:

— Довольно притворяться. Вставай, одевайся, поедешь со мною.

Я рад и счастлив, но заведующий клиникой профессор Герцен вмешивается:

— Извините, товарищ нарком, но командую здесь я. Рано его выписывать.

— Да, да, дорогой, — говорит ему Серго, — извини, но, понимаешь, я его все же заберу. Есть у меня один доктор знакомый, в Сочи живет, он его быстро вылечит. А то здесь он лежит и лежит, работать уже не хочет. Лежать, конечно, лучше. Не сердись, дорогой.

Уехали мы тогда в Краматорск, Серго ехал принимать завод. Это было летом 34-го года. Завод краматорский — красавец, таких еще у нас не было. Глаз не оторвешь. Насмотрелись мы на все чудеса техники и в хорошем настроении едем дальше. Серго нужно было в Кисловодск — он ехал отдыхать, но по дороге хотел повидать Сталина — тот отдыхал в Сочи на своей даче.

Ехала с Серго и Зина — она никому не доверяла забот о больном Серго и старалась всюду, где могла, быть с ним. В Сочи ее почему-то к Сталину не пригласили, оставили в поезде. Серго это обидело, но не будешь же из-за жены отказываться от встречи со Сталиным. На дачу он поехал, но поехал хмурый.

Ехали мы мимо дорожных рабочих, якобы ремонтировавших дорогу. Нам сказали, что все это — охрана Сталина. Самого мы на даче не застали, он был у моря. Вернулся вместе со Ждановым, который гостил у него. Сели обедать. Обед был простой, без спиртного. Рядом с обеденным столом стоял небольшой стол, на нем миски с супами, сам наливаешь себе, что хочешь. На второе — курица. Сталин разрывал курицу, и каждый получал кусок из его рук. Я не мог свой кусок есть — одолела брезгливость. Видел, как Сталин мял эту курицу своими маленькими руками, с пальцев у него текло, после этого не хотелось есть. Серго толкнул меня под столом ногою, тихо сказал:

— Ешь!

Я, конечно, съел.

Вечером нам показали французский фильм о Наполеоне, и ранним утром мы уехали. Серго завез меня в Сочи, сдал на руки Голубничему — это был старый врач, давний знакомый Серго.

Прощаясь, Серго сказал:

— Зискинд, когда поправишься, позвони мне.

Поправился я довольно скоро, Голубничий действительно вылечил меня быстро. И решил ехать на неделю в Кисловодск. Когда меня арестовали, среди многочисленных обвинений было и такое: ездил к Орджоникидзе в Кисловодск, чтобы отравить его.

Со Сталиным я сталкивался еще несколько раз. Были даже две фотографии, на которых я был снят с ним. Обе обошли газеты. Первая — он приезжает на прием, который устраивали наркомтяж-промовцы в честь челюскинцев. Вернее, мы осуществляли общее руководство, а банкет, стол, вся еда — все это делало НКВД. Приехал Сталин. Серго, стоящий у входа, говорит мне:

— Пойди, помоги выйти.

Я пошел к машине. В это время Сталин открыл дверцу, вышел. И нас сфотографировали в этот момент. Потом, уже в банкетном зале, я подошел к нему, чтобы спросить, нравится ли ему банкет, — тоже щелкнули. Эти фотографии были у меня дома. Во время обыска майор, руководивший обыском, малый — кровь с молоком, еще не заезженный, видно, ночной службой в органах, сказал:

— Фотографии оставим жене. Пригодятся.

Не злой был человек.

Но самая памятная встреча со Сталиным была вот такая. Собрал у себя Серго стахановцев. Только началось движение, только появились их имена, но писали уже о них все газеты. Собрались у Серго одни знаменитости — Стаханов, Кривонос, Дуся Виноградова и другие. Серго сияет — а когда он радовался и улыбался, то, можно сказать, всем существом — глаза светятся, щеки раздвинуты, усы — пикой. Он снимает трубку, звонит Сталину. Говорит, кто у него сейчас в кабинете. Сталин, как я понимаю по ответам Серго, говорит ему — привези, мол, их ко мне. Как же привезти, отвечает Серго, пропуска ведь нужно оформить. Сталин ему: жди, сейчас за вами приедут.

Приезжают три автобуса с чекистами. Усаживают наших гостей и нас тоже — и везут в Кремль.

У Сталина стахановцы опять стали выступать и рассказывать о себе, кто им мешал, кто помогал. Сталин слушал и время от времени писал что-то на листе бумаги зеленым карандашом — он любил писать зеленым карандашом. Я видел, как в разных местах листа он пишет одно-два слова. Когда стахановцы кончили, он встал, прошелся по комнате задумчиво. Все, конечно, молчат — ни звука, ни шороха, ждут, — и вот он начинает говорить. Стенографистки не было, и я записывал за ним слово в слово, говорил он медленно, поглядывал иногда в бумажку, по которой были разбросаны так странно слова — она лежала на столе, и Сталин, проходя мимо, заглядывал в нее.

Когда он кончил, Серго подошел ко мне, спросил:

— Ты все записал?

— Все.

— Дай мне.

Забрал у меня записанное и пошел к Сталину — тот уже удалился в другую комнату. Вышел скоро от Сталина, протягивает

мне запись — внизу зеленым карандашом две буквы — И.С. Подпись. Ни одного слова Сталин не поправил.

— Отвези в ТАСС, — говорит Серго.

Я уже был опытным в таких делах бюрократом и знал, что подлинные документы с подписями в ТАСС не везут. Отнес запись к Поскребышеву. А он переслал в ТАСС уже копию. На следующий день во всех газетах появилась речь Сталина на совещании стахановцев. Эта была знаменитая его речь, где он сказал: “Жить стало лучше, жить стало веселее”.

6

Когда начались аресты, я не думал, что это и меня может коснуться. Ну, а если по ошибке — то стоит мне из кабинета следователя позвонить Сталину или Ежову, — и все разъяснится и меня немедленно, извинившись, выпустят.

Однажды — это было уже после смерти Серго — позвонил мне поздно вечером Тевосян — тогда он был начальником главка в Наркомтяжпроме. Жили мы тогда соседями в Доме правительства около кино “Ударник”. Подо мною жил Кольцов, за стеною — Межлаук, Тевосян этажом выше надо мной.

Звонит, спрашивает:

— Ты что делаешь?

— Читаю Анри де Ренье, — отвечаю ему нарочно. Он посмеивался над моей любовью к поэзии, а я при случае давал ему понять, какой он профан в литературе.

— Кого-кого? — спрашивает.

— Да был, — говорю, — такой французский поэт. Не слышал?

— Ладно, — говорит, — бросай эту чепуху, зайди лучше ко мне, надо поговорить.

Встречает меня взволнованный Иван Федорович. Между прочим, это Сталин самолично сделал его Федоровичем, отчество его настоящее было Теодросович или что-то в этом роде, Сталин зачеркнул его подлинное отчество на документе и сверху написал — Федорович. Так Тевосян стал Иваном Федоровичем.

Ведет меня Тевосян к себе в кабинет, я чувствую, что-то стряслось. Говорит мне спокойно — будто один из арестованных сотрудников Наркомтяжпрома дает показания, что завербовал его в террористическую организацию Тевосян, и Молотов вызывал сегодня его и говорил с ним уже через губу, не глядя.

— Арестуют меня, — сказал мне Тевосян. — Помоги, если что, семье, на тебя я надеюсь, знаю, что не продашь.

Я возмутился:

— Тебя арестуют? За что? Да ты в своем уме? Невинного человека. Да если и арестуют, неужели Сталин не вмешается?

Тевосян слушал, усмехался, но ничего не возражал.

В те годы у меня иногда собирались товарищи по Первой Конной. Я служил там по связи в гражданскую, остались со многими хорошие отношения. Приходил иногда Буденный. Но чаще бывали Апанасенко, Тимошенко, Книга. Посидят, выпьют, потом поют. Сдвинуты головы над столом, и тихо начнут, поведет кто-нибудь один, все подхватят. Хорошо пели, особенно старые казачьи песни, да не всегда нравилось соседям, что поздно засиживаются с песнями. Межлаук в стену постучит, или Тевосян сверху тоже дает о себе знать. Один Кольцов терпел и даже говорил, что пусть погромче поют, а то слов не разобрать.

Когда начались аресты, эти мои товарищи по Первой Конной отмахивались — штатских берут, штафинок, и поделом, наверное. Потом и до военных дошло, а они тоже все головой кивали, — так, мол, зря не возьмут, — за дело, значит. А как взяли Книгу — тут уже песни кончились...

Долгое время я тоже думал так же, как и они. Хотя сомнения уже начинали точить. Но когда Тевосян вызвал, я накричал на него и посмеялся над его страхами вполне искренне. Его-то я знал как честного человека.

Вскоре после этого разговора я уехал в командировку, в Америку, и вернулся осенью 1937 года.

Случилось это в ноябре. Был солнечный сухой день поздней осени. Утром я играл в теннис на Петровке — я, между прочим, увлекался спортом, и теннисные корты на Петровке, в центре, да, это была моя идея, и я же помогал строить через наш наркомат. В тот день на Петровке было особенно хорошо — тихо, сухо, людей мало, напарник хороший. Ах, это утро... Не забуду никогда.

А ночью я вернулся домой поздно, только успел поужинать — звонок в дверь. Дом наш уже заметно опустел к тому времени, и что-то нахлынуло на меня вроде страха, пока шел открывать. Открываю — в дверях майор НКВД, еще какие-то люди, военные, штатские. Майор протягивает мне длинную узкую бумажку — ордер на обыск. По диагонали через весь ордер — красная полоса. Это означало, как потом я узнал, — после обыска забрать.

Обыскивали двое суток. У меня была библиотека — несколько тысяч томов, и я собирал карты. Из поездок — объездил я всю Европу, кроме Балкан, был в Америке, — отовсюду привозил карты тех мест, где побывал. Было у меня около тысячи карт. Все их пересмотрели, книги перетряхнули одну за другой. Майор, обыскивающий, об одной книге сказал: припушкинское издание. Все-таки что-то до него донеслось, видно, что-то читал.

С собой забрали, когда увозили меня, только одну книгу — “Экономика переходного периода” Бухарина, факсимильное издание с замечаниями Ленина. Бухарин был еще на свободе, но следовательно на первом же допросе потряс передо мною книгой.

— Правых читаете...

— Нет, не правых, — говорю ему, — а Ленина читаю. Посмотрите, тут замечания Ленина на Бухарина. Их и читаю.

Следователь полистал книгу и злобно отшвырнул.

— А, твою мать...

Бухарина я хорошо знал. Мы часто презванивались по всяким вопросам, связанным с наукой и научной работой в стране. Это был очень живой человек с чертами какой-то странной инфантильности в характере, поражавшей на первых порах при его репутации в партии. Встречаясь, он мог вдруг обнять и начать щекотать. А по телефону, не называясь, иногда начинал разговор так:

— Абраша? Это ты? Поцелуй меня в задницу.

Трудно было на него обидеться за эти выходки. Он был обаятелен, умен, талантлив. Когда книга его полетела в угол, я понял, что пришел и его час.

7

Привезли меня, арестовав, в Лефортово, я оказался в небольшой комнате, в "собачнике" — так называлось помещение, где держали свежеприбывших до распределения по камерам. Тут стояли впри-тирку человек сто, а может, и больше. Несколько человек лежало у стены — эти уже не могли стоять. Я оказался среди знакомых, а частью и близко знакомых — это все были мои товарищи по партии.

Я стоял среди них и повторял про себя все время одно — только бы скорее попасть в кабинет следователя, добраться до телефона. Сейчас же позвоню Сталину, Ежову. Эта мысль до того сверлила, что я ничего не видел, не слышал из того, что происходило вокруг.

К утру, простояв так всю ночь, я оказался у стены. У ног моих лежал секретарь Новосибирского горкома партии. Я с трудом узнал его. Когда-то это был здоровый, веселый человек с круглым крестьянским лицом. Все похотывал, от избытка сил, наверное. Сейчас у стены лежал старик, обросший черной щетиной. Он кивнул, показал: нагнись. Нагнулся я нехотя. Сознаюсь, проскользнуло тогда: тут, наверное, есть и настоящие враги, не все же как я... Новосибирец уже сидел в лагере, его привезли на переследствие. У него были отбиты внутренности, он умирал и умер в то же утро на моих глазах. На меня новосибирец, когда я пригнулся к нему, посмотрел хмуро. Он понял, что мне не хочется говорить с ним, и все же сказал: пойми, уничтожают всех, кто против Сталина, кто может воспротивиться его тирании, уничтожают по плану, погибнешь и ты. Я отшатнулся от него, подумал: нет, врешь.

И вот я у следователя. Был один из первых допросов. Я сидел спиной к двери. Слышу, за спиной открывается дверь. Следователь вскакивает, рапортует:

— Товарищ народный комиссар, веду допрос подсудимого Зискинда.

Я обернулся. В комнате был Ежов.

Мы были хорошо знакомы. Ежов по поручению Политбюро следил за состоянием здоровья Орджоникидзе. Самому Орджоникидзе он не звонил, а звонил в секретариат или кому-нибудь из тех, кто всегда был рядом с Серго, спрашивал, что и как.

Выслушав рапорт, Ежов хмуро спросил:

— Дает показания?

— Нет, — ответил следователь. — Продолжает свою контрреволюционную деятельность.

— Вы знаете, что нужно делать в таких случаях?

Следователь ответил с подъемом:

— Знаю, товарищ народный комиссар.

— Ну, так действуйте.

В эту минуту я вспомнил новосибирца и не раз вспоминал его, когда начались допросы с применением “особых средств”. Били страшно.

Через много лет, уже попав вторично в Лефортово и получив второй срок — каторжные работы, — я перед отправлением в лагерь оказался в “рабочей комнате”. Так называлась камера, из которой отправляли на этап. Это была камера без “железного намордника” на окне, — свет беспрепятственно проходил через стекло. У двери камеры стоял какой-то маленький человек и повторял все время одно и то же: “Это ужас, это ужас”.

— Что ужас? — спросил я.

— Я получил пять лет. Меня отправляют в лагерь. Я вернусь из лагеря стариком.

— Можете не волноваться, — сказал я ему, — вы никогда не вернетесь из лагеря.

— Как это не вернусь?

— Очень просто. Кончатся ваши пять лет, накинута еще пять или десять. Если, конечно, доживете до тех пор.

Он вспыхнул.

— Откуда вы знаете?

— Знаю. Я сам оттуда.

В этой камере сидел еще старик — крестьянин. Во время войны у него ушла лошадь — через фронт к немцам. Он ухитрился пройти через фронт за нею, нашел, привел. Потом, уже после войны, его судили за шпионаж.

Сидел еще секретарь немецкого посольства в Болгарии — этот все беспокоился, целы ли его коферы. Он не успел бежать, и наши захватили его с упакованными и приготовленными к отправке вещами. Я его успокаивал: коферы будут целы, не сомневайтесь. Вот окажетесь ли вы целы — это, как говорится, большой вопрос. Он все слушал и ужасался, чужак.

Из библиотеки моей при обыске взяли только Бухарина, а вот бумаг увезли мешок, и среди них была одна, за которую я принял-таки муку. От меня требовали и добивались, чтобы я “откровенно” разъяснил ее содержание. Это была “обезьянья грамота”, полученная в Берлине от Ремизова. Но расскажу по порядку.

В 1923 году, не закончив еще институт связи, в котором я учился после гражданской войны, я получил назначение на крупный пост в Наркомпочтель. Только начал я там работать, вызывают меня в Совнарком, говорят — поедешь в Германию. За автоматической телефонной станцией для Кремля.

— Когда ехать? — спрашиваю.

Отвечают:

— Завтра.

Ну что ж, завтра так завтра. Собрался быстро. Да и какие тогда сборы были. Наскоро попрощался с друзьями, две-три рубашки в чемодан кинул, и готов. Легко жили.

Теперь можно сказать, что поехал я совсем не для того, чтобы покупать станцию. Вернее, это тоже поручили, но как дело сугубо второстепенное. А главное было в том, что в Германии ожидали революции, и поручение мое связано было с этим... Подробнее не могу, извините — партийный секрет.

В Берлине тогда находился Радек — в помощь от Коминтерна немецким товарищам. Его разыскивала полиция. У самого входа в советское посольство висело объявление от полиции о розыске с портретом Радека. А он был тут же: ходил в той же кепке и с той же трубкой в зубах, как был изображен на портрете. Жил в посольстве. Но о Радеке тут к слову пришлось. А рассказать хочу о другом.

Я сидел уже в вагоне на Белорусском вокзале в Москве, поезд вот-вот должен отойти. Ехал я в салоне-вагоне, который посылали за каким-то важным лицом в Берлин. Сопровождали вагон два проводника, оба чекисты. Заходит один из них в вагон, говорит, обращаясь ко мне:

— Вас спрашивают.

Меня никто не провожал, я удивился:

— Кто спрашивает?

— Какая-то мадам.

Мадам? Среди моих знакомых никаких мадам не было и быть не могло. Это было слово из какой-то другой, совсем не моей жизни. Я прямо-таки крикнул:

— Какая мадам?

Вышел. Вижу, стоит женщина в шляпке, высокая, стройная, — действительно мадам. Шляпка тоже меня поразила. Это все равно, как на мужчине галстук. Лучше повеситься, чем надеть галстук.

Посмотрел я на шляпку, думаю: что ей от меня нужно? Подхожу, спрашиваю:

— Вы меня ищете?

— Вы — Зискинд? — спрашивает она меня спокойно.

— Да, я.

— А я — Ахматова, — и протягивает мне руку.

Я опешил, у меня вырвалось невольно:

— Анна?

Она посмотрела на меня пристально и говорит:

— Вы меня знаете?

Знаю ли я ее! Наизусть, можно сказать, знаю. Я очень любил ее стихи. Хватаю ее за руку, но тут же опомнился, остановился. В общем, познакомились. Она узнала от одного из моих товарищей, что я еду в Берлин, и пришла спросить, не возьмусь ли я передать Эренбургу книги — посылала ему две свои книги — “Подорожник” и “Белую стаю” и свой портрет — портрет-сепия, как сейчас помню.

В Берлине, обосновавшись в гостинице, пошел разыскивать Эренбурга. Дома его не застал, а жена сказала: если он вам очень нужен, ищите в кафе. Он там обычно работает в это время. И назвала кафе.

Название я уже позабыл, но вот утро, когда впервые увидел Эренбурга, помню ясно.

В кафе было по-утреннему пустовато, тихо, сумрачно. В дальнем углу на столике горела лампа. Там сидел Эренбург, писал, согнувшись над листом. По правую руку лежали исписанные листы, слева — стопка чистой бумаги.

Я подошел, представился. Эренбург встретил меня хмуровато, но очень оживился, узнав, что я из Москвы. Мы разговорились, и я рассказал, как впервые увидел его — в Киеве, на вечере, где он читал стихи, в основном религиозного содержания, чуть ли не католические.

— Кажется, я вас тоже знаю, — сказал Эренбург. — Вы сидели в тот вечер в первом ряду и все время шикали, мешали мне.

— Нет, — говорю, — я сидел не в первом ряду, а сзади, и видеть вы меня не могли. Но что правда — шикал. Не нравились мне ваши стихи.

Мы оба посмеялись.

Подошел хозяин кафе, и Эренбург познакомил нас. Узнав, что я из Москвы, хозяин произнес с уважением: “О, Роте Армее”. Французы тогда захватили Рур, и в Германии многие надеялись, что им поможет Россия, если они попытаются пойти дальше. Всякий приехавший из России был тогда в глазах немца обязательно из “Роте Армее”.

Отдал я Эренбургу пакет от Ахматовой, и он пригласил меня на свой день рождения. Книги, переданные ему, были подарком ко дню рождения. У Эренбурга я увидел литературную эмиграцию, обосновавшуюся в Берлине, — Георгия Иванова, Шкловского, Ремизова.

Все приходили с какими-нибудь пустяковыми подарками — жили скудно. Познакомился я в тот вечер и с Натаном Альтманом — молодым, стройным, с густой художнической шевелюрой, в лице что-то диковатое, индейское. Чувствовался в нем талант, независимость. Очень он мне понравился.

Да, тогда я много интересного повидал в Германии. Особенно запомнился такой эпизод.

Это было в Галле. Собралась там конференция немецких социал-демократов, тысячи две человек, в основном рабочие. Большой зал битком набит. И мы, несколько человек из Москвы, тут же, в давке. Надо было узнать настроение немецких рабочих, понять, чем дышат, готовы ли к выступлению. Для этого мы и поехали в Галле. Сидим, слушаем ораторов. Зал довольно спокоен. Вдруг погас свет, и зажигается через несколько минут. И на трибуне — представляете — Радек. Я даже глаза протер. Он. А ведь его разыскивает полиция. Кое-кто, видно, узнал его, захлопали. По-немецки он говорил свободно, умел увлечь. Ну, известно, остер был и ядовит даже.

Вообще внешность этого человека восторга не вызывала. Маленький, неопрятный, вечно с трубкой в зубах. Не Карл, как называли его, а воистину Карла. Но когда он начинал говорить — это был лев по уму и блеску.

Тогда я часто видел его в обществе Ларисы Рейснер. Она приехала в Берлин от “Известий” с заданием написать очерки и очень интересовалась обстановкой в Германии. Лучшего информатора и вообще знатока Германии, чем Радек, она найти не могла бы и слушала его часами, и видно было, как он увлекает ее своим красноречием, прямо завораживает. Признаюсь, мне всегда было тяжело смотреть на них, когда они были вместе. Трудно передать очарование Рейснер. Красота ее была немного холодная, но в натуре чувствовался огонь, какая-то бесшабашность, совсем не немецкая — в ней была немецкая кровь, — а из русских русская. Рядом с ней Радек казался гномом. Но вот же — умел заговорить. Заметно было, что ей доставляет наслаждение общество этого человека. Когда он ораторствовал, у него, случалось, текла изо рта на подбородок тонкой струйкой слюна. Я всегда содрогался от брезгливости, глядя на это, а ей — ничего, вроде даже нравится. Да, признаться, хотелось ее разбудить, сказать — видите ли вы, как мало подходит вам этот человек, очнитесь. Но нет, — ничего бы мои слова не изменили, конечно: слава богу, кипели они внутри, так и не вышли наружу.

Радек выступал всегда без бумажки — да и кто тогда выходил на трибуну с бумажкой? Это был бы верный провал, никто такого оратора, во всяком случае у нас, в России, и слушать бы не стал. Это теперь все принято по бумажке, даже “да здравствует Первое мая” и то без бумажки не выговорят. А тогда на два-три часа речь, и все изнутри, мысли, знаете, так и клубятся. И Радек говорил долго, дал анализ ситуации как предреволюционной, пришла, мол,

пора от слов переходить к делу. Потом опять погас свет, и когда зажегся, Радека в зале уже не было. Исчез, как и появился, в темноте. Собрание на этом закончилось, резолюций никаких не принимали, рабочие стали расходиться. И я тогда увидел, как расходятся немецкие социал-демократы после митинга. Картина, скажу вам. Спокойно, как после спектакля в театре. Как это разозлило тогда! Выслушать такую речь — и пойти пиво пить... Я видел, как у нас после таких речей в семнадцатом году бушевали. А тут расходились со скучными лицами — дескать, послушали, и ладно, а теперь пойдем домой пиво пить и сосиски есть. Нет, с такими настроениями тут революции, черт побери, не сделаешь, это я понял тогда ясно.

Но мы отвлеклись. Я хотел рассказать вам об “Обезьяньей грамоте” и как пытали меня за нее на допросах в Лефортове.

В Берлине я иногда навещал Эренбурга в кафе, где он работал. И однажды получил от него приглашение пойти вместе к Ремизову.

— Только купите ему что-нибудь, он любит подарки. Купите коробку сигар, — сказал Эренбург.

Сигары я выбрал получше, за ценой не постоял. Пошли в гости. И попали в русский дом — с иконами, с самоваром и просвирками, освященными в церкви. Жена Ремизова делала тогда из материи занятных фантастических зверюшек, и у них на чайнике сидел такой зверь. Ремизов обрадовался сигарам и сразу же задымил, держа сигару, как самокрутку, большим и указательным пальцами. Не шла она его скуластому лицу русского интеллигента в очках, со вздернутым носом, но дымил он усердно и весь вечер.

Мы пили чай, а хозяин тем временем стал изготавливать грамоту — в благодарность за подарок. На бумаге с водяными знаками, елизаветинским вычурным почерком написал: “Обезьяньей вольной палаты грамота”. И потом что-то о сигарах, о щедрости, и подписал: “Обезьяньей вольной палаты забеглый комиссар Алексей Ремизов”. Вот эту бумажку взяли при обыске, и следовательно несколько ночей мучил, — изошрялся, мерзавец, в пытках, в камеру меня относили. Скажи ему, что значит “забеглый комиссар”. А я и сейчас не могу понять, что это значит, и тогда не понимал.

9

Обвинили меня в заговоре на жизнь Орджоникидзе. Была организация, пытались убить Орджоникидзе, сбросить на него бомбу — я и летчик Семушкин. В начале двадцатых годов я учился в летной школе и иногда летал потом на самолетах аэроклуба, чтобы не потерять навыков. Вот для того, оказывается, и летал, чтобы в нужный момент сбросить бомбу. Еще — пытался отравить Орджоникидзе нарзаном. Еду Серго привозили в специальной машине — ведали этим органы. С общего стола он ничего не ел, как и другие

члены Политбюро. Питание, охрана — это было делом органов. Серго ел обычно курицу — он был болен, с одной почкой, да и та блуждающая, сидел на диете. Пил только нарзан. Этот нарзан привозили ежедневно чекисты — из других рук он нарзана не получал. А мы подсунули ему отравленный, и он чуть не умер. Это когда он погибал после убийства Кирова. Мы, оказывается, чуть не отравили его.

Но и это еще не все.

На время следствия меня сначала перевели на Лубянку, а потом вернули в Лефортово. В странную камеру я попал. Пол паркетный, окно под железным “намордником”, под потолком лампа в 500 ватт, горит ночь и день, духота адская, а в камере всего шесть человек.

На кровати, когда меня ввели, лежал старик. Я присмотрелся к нему — это был Эффендиев, секретарь ЦИК Азербайджана. Мы поздоровались, и он спросил, давно ли я тут и за что меня посадили. Я сказал:

— Требуют, чтобы я признался в заговоре на жизнь Серго.

Выслушав от меня такое, спрашивающий обычно замолкал: вопросов, как говорится, больше нет. Но Эффендиев сказал:

— Надо признаться.

— Как? — спросил я, не поняв. — Признаться? В чем?

— Что хотел убить Серго.

— Но ведь не было этого. Это ложь.

— Э, ложь, что значит — ложь? — У Эффендиева глаза загорелись, а я вскипел.

— Хорошенькие советы вы мне даете.

Эффендиев тоже поднял голос:

— Партии нужно, понимаешь? Раз партия требует — должен признаться.

Не знаю, чем закончился бы этот спор, мы оба сразу же накалились, и я уже забыл, что передо мною старик, и готов был отчитать его как следует. Но тут вошел Туполев, Андрей Николаевич. В руке он держал апельсин. Вид у него, как мне показалось, был чуть ли не довольный, и это страшно поразило меня. Он поздоровался громко:

— А, здравствуйте, Абрам Владимирович! Меня предупредил следователь, что ты должен прибыть и украсить наше общество. Вот и гостинец тебе передал. — И он протянул мне апельсин.

Потом, как бы между прочим, сказал:

— Пойдешь к следователю, расскажи, как мы продали за границу чертежи “Максима Горького”.

Я опешил.

— Какие чертежи, кому продали?

— Чего притворяешься, прекрасно знаешь кому. Министру авиации Франции. Когда тот приезжал в Москву.

— Да на что ему чертежи этого корыта? Они же сами строят самолеты куда лучше.

Туполев внимательно посмотрел на меня сквозь очки. Этот взгляд я потом долго не мог забыть.

— На что — не скажу, у него спроси. А вот что продали — ты и я, это факт. И нечего упираться. Признаешь — поедешь со мною, мне дают конструкторское бюро, будешь инженерить, вместе будем работать, еще что-нибудь, того и гляди, сочиним. Лучше, чем здесь гнить. Понял? Не советую упираться.

Он говорил почти весело, и как я ни доказывал ему, что это глупость, что никому чертежи разбившегося дрянного самолета не нужны, — он только отмахивался и приговаривал:

— Ну и дурак. Пойдешь — признавайся. Надо говорить правду. Тебя партия чему учит?

Ночью меня вызвали к следователю. Он встретил меня улыбкой.

— Ну что — будешь говорить?

— Что говорить?

Он сразу взвился.

— Ах, ты не знаешь, что говорить? Гад ползучий. Проститутка. Сейчас узнаешь.

Пока я сидел в этой камере, каждую ночь меня вызывали к следователю и били. Уставал следователь — били подручные, наодеколоненные молодые хлюсты с подбритыми бровями. Откуда только взялись они, семя палаческое, кто их вырастил, наемных убийц?..

Утром, в камере, очнувшись после побоев, я замечал прежде всего лицо Туполева. Он молча, с сожалением, смотрел на меня сквозь очки.

Эффендиев умер на моих глазах — ему сломали позвоночник на ночных допросах. Туполев уехал в свое конструкторское бюро строить самолеты. А я получил десятку, и отправили меня в лагерь под Магадан.

Везли долго, а я дорогой все думал о Туполеве, вспоминал наш спор. И теперь, когда вижу его ТУ, — вспоминаю о том же. Кто же из нас двоих был прав тогда? Неужели он?..

10

В лагере работали сначала на лесоповале. Уходили мы в лес на рассвете, возвращались поздним вечером, еле дотягивали до зоны. Нужно было еще принести дрова для вертухаев, на отопление караулок. Придешь без дров — погонят обратно в лес. Хоть сдохни, а неси. Это было, как ни странно, особенно тяжело. Сам еле ползешь, а еще сволочам неси на себе лес. Стал я быстро доходить. И помер бы там в первую же зиму, если б не вытащил меня с лесоповала один бывший наркомтяжпромовец. Он строил электростанцию в инвалидном лагере и меня потянул за собой. Лагерь назывался “23-й километр”. Он расположен был в 23 километрах от Магадана. Потом его называли иначе — “Промкомбинат № 2”.

В этом лагере было много художников и артистов. Отбывал тут срок Махрин, главный художник кинокартины “Чапаев”; Шухаев, знаменитость, мирискусник. После революции Шухаев эмигрировал в Париж, выставлялся. Бродский, художник, когда приезжал в Париж, уговаривал его вернуться в Россию, и он стал добиваться, чтобы дали вернуться, и добился-таки. Сидел он как французский шпион. Сидел тут и знаменитый виолончелист Новогрудский. Во время гастролей в Италии его пригласили к Муссолини, и он играл для гостей дуче на каком-то дипломатическом приеме, а вернувшись, получил десятку как итальянский шпион. На лесоповале Новогрудский сразу же отморозил пальцы и все убивался, что никогда больше не сможет играть.

Художник Вегенер, переводчик Шлейман, режиссер Варпаховский — сейчас он ставит спектакли в Москве, режиссер Гоф, маленький человек с трясучкой — голова, руки у него тряслись, — замечательно был умен и талантлив; Милонов, директор института философии... Никогда в жизни, ни до, ни после этого лагеря, мне не приходилось бывать в таком избранном обществе. Какие таланты, золотые головы, боже мой, какие разговоры, какие речи!..

Однажды пришел ко мне в барак профессор Московского университета. Его так и называли — “профессор”. Фамилии его не помню. Он постоянно о ком-то хлопотал — и всегда тоном приказа. “Нужно сделать для того-то то-то и то-то”. И его, случалось, слушали, делали, через два раза на третий у него получалось.

И мне он наказал сурово: нужно забрать с лесоповала одного хорошего человека, он там погибает и загнется. Я был в то время мастером на строительстве и мог помочь. Давайте, говорю, попробуем.

Хорошо помню, каким увидел его впервые — явился невысокий, с жидкой, козлиной бородкой, в черном изодранном пальто и измятой шапке. Посмотрел я на него и понял — этот не жилец. Это сразу можно было увидеть. И тут не в том был секрет, что человек, скажем, отошал до костей. А хуже: когда увидишь в глазах пустоту, безразличие, ничего внутри нет, ничего не надо, ничего не хочется. Это — смерть.

Он назвался, знакомясь:

— Мирский.

Я не удержался, спросил:

— Князь Святополк-Мирский?

— Нет, — ответил он. — Просто Мирский.

Фамилию эту я знал по печати. Это был знаменитый критик, сын царского министра внутренних дел Святополка-Мирского.

От “профессора” я узнал некоторые подробности его биографии. Да, скажу вам, судьба. Был он офицером на империалистической, участвовал в гражданской, бежал с Врангелем. Когда, уже вернувшись из эмиграции, Мирский оказывался среди литераторов, хваставшихся своими заслугами перед советской властью, он говорил:

— Ну, что ваши заслуги... Вот мои... Я сдавал красным Орел.

Ну, может, и не сдавал, не в больших чинах был, а все же воевал, бежал, оказался в Англии. И тут стал писать и быстро приобрел известность как критик и знаток русской литературы.

И вот "Британская энциклопедия" заказывает ему статью о Ленине. Будучи человеком добросовестным, Мирский стал читать Ленина, знакомиться с его личностью и трудами, и чем больше читал, тем больше проникался его идеями и в конце концов написал книгу о Ленине — в духе его учения, порвал со своей средой и публично отрекся от своих прежних взглядов, опубликовал статью "Почему я стал марксистом".

Потянуло его обратно на родину. Ездил к Горькому в Сорренто, знакомиться и просить похлопотать за него — чтобы разрешили вернуться. Горький выхлопотал — разрешили. Вернулся и сразу стал печататься, стал знаменит. Писал он хорошо, увлеченно, это я помню. Жил в Москве на европейский манер. Семьи у него не было, был одинок и стал завсегдатаем кафе "Националь", тут и работал, и кто хотел повидать его, поговорить с ним, — приходили в кафе. Отсюда его и увез "воронок" в 37-м.

Я постарался ему помочь. С лесоповала его вытянул и поставил на строительство носить опилки от строящегося для локомотивей помещения. Потом, когда помещение было уже построено, — стал он кочегаром у локомотивей. Идеальное, скажу вам, место. Во-первых, можно всегда иметь чай, то есть кипяток, и хлеб подсушить на огне. Во-вторых — в тепле. А это что-нибудь значит под Магаданом.

Правда, была лучшая должность — самая желанная профессия в лагере — ассенизатор. Чтобы получить эту должность, отдавали хлеб за месяц вперед. Что ценили тут — работаешь ночью, днем дают отоспаться. Каждый день — баня, и белье чистое. Получаешь робу — для работы, и еще одежду, чтобы сменить после работы. Белье, одежда, баня — ради этого можно было и в дерьме покопаться.

Мирский тоже был хорошо устроен, но незаметно было, чтобы это его радовало. Говорил он мало. С ним мы как-то разговорились о постановке "Отелло" во МХАТе с Леонидовым в главной роли — Леонидов меня потряс, я на всю жизнь запомнил его. И только тогда я понял, сколько знаний и какое тонкое чувство кроется под оболочкой затруханного ээка.

Мирский хорошо знал Шекспира и вообще всю английскую литературу, знал театр — мне хотелось немного растормошить его, разговорить, чтобы он ожил. Но он молчал. Спросишь — ответит вежливо и замолчит. Все никак не мог примириться с тем, что произошло, что с ним сделали. Это я чувствовал. Страдал молча — хуже всего.

Почему-то все больше помню его летом. А умер он зимою. Выбежал из помещения на мороз — в помещении плюс тридцать пять, за дверьми минус пятьдесят. Прохватило его, слег —

воспаление легких. А это верная смерть. Лекарств современных тогда не было, кто заболел — на третий день обязательно умирал. Это как закон. И Мирский на третий день. Положили его до весны в штабель. Зимой могилу отыскать в задубевшей земле трудно, трупы складывали в штабеля до весны. Бирку на ногу с номером, чтобы в отчетности порядок, и — как дрова. Еще снимали с мертвецов отпечатки пальцев — для акта. Активировали строго. Держали документы в порядке.

Идешь мимо такого штабеля с мертвяками, снегом припорошит его, и не видишь, мимо чего идешь...

11

Боялось лагерное начальство побегов — до смертного ужаса, а чего боялось? Убежать из лагеря невозможно. Кто пройдет сквозь тайгу? Пропадешь еще скорее, чем за проволокой. Я знал за свои двадцать лагерных лет только один случай удавшегося побега.

Бежали из нашего лагеря десять человек. Все десять — местное магаданское начальство: прокурор, предисполкома, начальник ГПУ, корреспондент “Известий” по краю — всех замели в 39-м.

Как бежали — сказка. Первого сентября, как обычно, выпал снег. В этот день барак, где жили магаданцы, повели в баню, за зону. Командовал баней хороший человек, бывший директор Воронежского госбанка. Иногда я получал от него кусочек мыла — со спичечный коробок, это был царский подарок. Возможно, он был в сговоре с бежавшими, во всяком случае, его после побега тут же и увезли. Повели барак в баню вечером, и вдруг погас свет. Вертухаи переполошились и быстро погнали эков обратно в зону, не посчитав как следует в темноте. А утром выяснилось, что десяти человек нет — бежали. Ограбили ночью в поселке за зоной ларек, взяли консервы, сгущенное молоко, захватили лошадь и ушли в тайгу. Тут же вызвали самолеты, войска, но так и не нашли никого. Шел снег — запорошил следы. Был среди бежавших камчадал, хорошо знавший тайгу, — видно, он и увел от погони. Что стало потом с этими людьми, куда делись — никто толком не знал. Говорили даже, что ушли они в Аляску, через Берингов пролив, и прислали оттуда телеграмму лагерному начальству — дескать, помним и никогда не забудем. Но это скорее всего была одна из лагерных легенд.

12

После побега арестовали начальника лагеря, а он был далеко не из худших. При нем даже самодеятельность в лагере была. Гоф поставил “Маленькие трагедии” Пушкина, я играл Дон Жуана. Мирский, еще жив был, разобрал наш спектакль и похвалил, а уж как принимали эки — господа, только что на руках не носили.

При том же начальнике в лагере организовали артель художников. Это была моя идея. Чем работать на лесоповале и бревна таскать на стройке — пусть лучше картины рисуют. Начальник лагеря поддержал и запросил Дальстрой. Тогда Дальстрой, по существу, управлял всем Магаданским краем и Колымой — огромной территорией, на которой стояли лагеря и работали зэки. Дальстрой разрешил. Взяли в цех тридцать художников. Прислали из Москвы альбомы для копирования. Каждый выбирал какой-нибудь сюжет и набивал на нем руку.

Особенно хорошо шла «Пастораль» Буше. Эту прямо рвали. Брало больше лагерное начальство и вертухаи, кто жил с семьями. Помните сюжет — пастух и пастушка. Представляете эту идиллию в квартире какого-нибудь лагерного опера?

Пустили мы по краю уполномоченных торговать картинами. Школы заказывали что-нибудь из Третьяковки. Ничего мрачного, конечно, рисовать не давали. Однажды Вегенер изобразил для школы Гоголя — копию памятника в Москве работы Андреева — задумчивый и печальный Гоголь. Сразу забраковали. Вегенер стал копировать импрессионистов, те пошли хорошо. «Март» Левитана — тоже брали охотно. Или портрет Толстого работы Ге. Словом, прославилась наша мастерская на всю Сибирь. Так ведь какие мастера работали — мировой класс!

И вот приезжает однажды в лагерь генерал Никишов — начальник Дальстроя, бог Колымы и Магадана. В руках его все — и жизнь, и смерть. И меня вызывают к начальнику лагеря. Я был тогда назначен руководить цехом художников и сразу подумал, что тут что-нибудь с художниками не так, какой-нибудь прокол, и будут с меня сейчас шкуру спускать.

Захожу. Сидит Никишов и вся свита его. Никишов с прищуром взглянул на меня и спрашивает:

— У тебя как — художники с головой?

Отвечаю твердо:

— С головой.

— Так вот что, — говорит, — будешь рисовать Политбюро. Понял?

Ничего не понял, в голове каша, но чтобы оттянуть время и прийти в себя, говорю:

— Извините, гражданин начальник, но у меня в цехе все пятьдесят восьмая статья, контрреволюция. Удобно ли, чтобы такие люди рисовали Политбюро?

— А это не твое собачье дело, — отвечает мне Никишов. — Хорошо у тебя рисуют?

— Хорошо, — говорю. — Мало сказать — хорошо.

— Ну и все. Пусть рисуют. И чтоб было отлично. Головой отвечаешь. Понял?

— Понял.

— Ну и катись, — говорит Никишов.

Я выкатился мигом. Бегу в цех и не могу мысли собрать. Чувствую — тут ловушка. Что-нибудь не так нарисуеть — не то выражение лица или, допустим, ухо не получится — ведь сгноят. Рассказал художникам — у них тоже не праздник. А тут еще узнаем, что Никишов собирается эту картину, как поедет в Москву, преподнести Берия. Для зала заседаний коллегии НКВД. И рисовать нам надо полотно два с половиной метра на полтора. Срок исполнения — два месяца. Представляете?

У нас паника. Но делать нечего — стали рисовать. Постепенно даже увлеклись. Каждого члена Политбюро рисовал кто-нибудь один. Я стал рассказывать все, что я знал об этих людях, а некоторых знал хорошо. Сталина изобразили в такой позе: нога на стуле, в руках трубка. И — мыслит. Характерная для него поза. Хотелось мне сказать художникам — нарисуйте, как он кладет ноги на стол, в такой хамской позе он больше будет похож на себя. Промолчал, конечно.

Через два месяца полотно было готово. Получилось неплохо, даже жаль было отдавать Никишову. Дошло ли оно до Москвы или осталось в Магадане — не знаю. Вскоре после того, как его забрали у нас, началась война.

13

После войны один из моих знакомых по Наркомтяжпрому, оказавшийся братом жены Абакумова, написал ему обо мне, что вот, мол, человек пострадал невинно и до сих пор сидит в лагере. Абакумов наложил на письмо резолюцию: “Доложить”.

Это значило — подготовить материал обо мне.

Привезли меня из лагеря в Москву. Я снова попал в руки следователя. Началось переследствие — допросы. Заинтересовался мною Рюмин. Тогда он уже входил в силу. Только потом я понял, что не случаен был его интерес ко мне. Вероятно, он уже начинал подкоп под Абакумова — ведь он же его и съел на “деле врачей”. На мне он тоже, наверное, надеялся поживиться, собрать кой-какой материал для своих интриг.

Во время одного из допросов у следователя Рюмин вошел, постоял у стола, послушал. Манера у него была тихая, ходил на мягких лапках. Рассказывали, что в прошлом он был бухгалтером. И сейчас у него вид был не грозный, а какой-то задумчивый. Постоял сбоку у стола, повертел карандаш в пальцах и спрашивает:

— Кто вел твое дело в тридцать седьмом?

Я назвал фамилию следователя.

— Слышал, — говорит Рюмин. — Хороший работник был.

Тут я не сдержался — сорвалось с языка, обманулся, клюнул на приманку, на тихость его, на бухгалтерский вид.

— Могу вам передать привет от него, — говорю. — Я видел его на Колыме, он отбывал там свой срок.

Рюмин вынул золотой портсигар, достал из него папиросу, закурил — все это неторопливо, молча. Потом подошел ко мне и со всей силы стукнул ребром портсигара по голове.

— Это чтоб не был таким умным.

Потом следователю, показывая большим пальцем вниз:

— Дайте ему!

Ну и дали... Били тогда в Лефортове тоже искусники, как и в тридцать седьмом. Сколько лет прошло, войну выиграли, а с тем же палачеством и остались.

Однажды меня постригли, побрили, одели во все чистое и повезли на Лубянку. Меня пожелал видеть Абакумов.

Ввели в его кабинет. Он сидит за столом, не поднимая головы, — вижу, здоровенный мужик, вот кому бревна в лесу таскать, что плечи, что руки — в самый раз. Сидит в кресле, у ног его собака, тоже откормленная. Такое меня зло разобрало, что я даже испугался, как бы не заметили. Абакумов поднял голову, посмотрел на меня, заглянул в какую-то бумажку на столе и приказывает:

— Увести.

После реабилитации мне показали в прокуратуре эту бумажку — справку обо мне, подготовленную для Абакумова. Там биография моя начиналась издавека. Сначала про деда — он был музыкант, играл в Павловске в оркестре. В молодости крестился, почему-то в лютеранскую веру. Наверное, потому, что род его из Германии. Так вот в справке было написано, что я — из выкрестов, и это сразу должно было бросить тень — дескать, из приспособленцев. Потом об отце. Отец был революционером-боевиком, возил оружие через границу. По образованию он инженер, но с юности был связан с революционным подпольем, а потом стал профессиональным революционером. В 1907 году его расстреляли. О нем в справке сказано было, что он служил в охранке, был провокатором. Потом уже обо мне. Что я вступил в партию до Октября с целью разлагать ее изнутри. А после революции работал в Нижегородской радиолaborатории (в этой знаменитой радиолaborатории я был заместителем Бонч-Бруевича, ее организатора и руководителя). Так вот, я работал там и в Наркомпочтеле, чтобы переправлять за границу шпионские сведения. Насаждал врагов в науке — в Харьковском институте физики, который я организовал, работая в Наркомтяжпроме, и в Институте физики в Ленинграде, тоже входившем в мое ведомство. Эти институты были прославлены двумя выдающимися учеными — Ландау и Иоффе, и я всегда очень гордился, что в каком-то смысле тоже причастен к их успехам, поскольку всегда и в чем мог помогал им. Так вот — помогал врагам. Ну еще — пытался убить Орджоникидзе, близкое знакомство с Троцким, Бухариным, Каменевым. И где-то уже в конце и такое. В свое время я подписал приказ по всем подчиненным Наркомтяжпрому институтам об организации специальных групп по изучению теории относительности. Меня тогда обвинили, что я

навязываю — вместо того, чтобы запретить — изучение идеалистической теории Эйнштейна. Это было делом рук Кольмана, работавшего тогда в аппарате ЦК. Сейчас этот Кольман написал книгу об Эйнштейне и пишет статьи о кибернетике. А тогда он прижал меня крепко. Об этом тоже было в справке, — что я насаждал вредные, антимарксистские учения. По такой справке самое меньшее, что мне полагалось, — это расстрел. Судило меня ОСО — Особое Собрание, и получил я 25 лет каторжных работ.

Так обернулось для меня заступничество моего товарища по Наркомтяжпрому, понадеявшегося, что сможет облегчить мою участь.

14

Вообще-то я наполовину русский. Мать у меня русская, музыкантша по образованию и профессии. Но я, как видите, похож на еврея и после революции в паспорте записал — еврей.

Дед мой прожил 104 года, женат был на трех сестрах — умирала одна, женился на другой. И прижил с ними девятнадцать детей. Отец мой родился уже от четвертой жены деда — было ему тогда за семьдесят, а его жене, матери отца, за сорок. Крепкие были люди. Что-то и мне от них перепало, наверное. Мне вот сейчас семьдесят семь, а я еще работаю, не хочу на пенсию.

Ну, мы отвлеклись. Как-нибудь расскажу о своем втором каторжном лагере. А сейчас хочется что-нибудь и светлое вспомнить.

В 1957 году я вернулся в Москву. Был реабилитирован во всех преступлениях. И в тот же день мне позвонил Тевосян. Он был единственным оставшимся на свободе и выжившим из всех начальников главков при Орджоникидзе. В Наркомтяжпроме было 72 главка.

Да, жизнь — роман. Боялся Тевосян, что арестуют его, и мне поверял свои страхи в одну из московских ночей. И меня просил помочь, если что случится с ним, его семье. А его я убеждал: чего тебе, честному человеку, бояться? И вот прошло двадцать лет. Мы сидели летней московской ночью, как и в тот раз. И Тевосян слушал меня, расспрашивал обо всем — тогда еще все было внове, мы, лагерники, открывали людям глаза на то, что мало кто знал. Тевосян сидел хмурый, тоже постаревший, не отпускал меня до рассвета. Потом отвез на квартиру, где я остановился.

Через день я получил персональную пенсию союзного значения. Был восстановлен в партии без перерыва стажа — с семнадцатого года. Все сделал Тевосян.

С каким чувством я ходил по Москве в те дни... Мне всегда казалось самой большой бедой лишиться возможности и права вернуться сюда. Вы знаете, я могу понять Путну. Был такой революционер, видный военачальник, комкор, мое поколение

знало его. Встретился я с ним за границей в тридцать шестом. Он возвращался на родину из Лондона, где был военным атташе, и сказал мне, что его арестуют, как только он вернется, ему это точно известно. И все-таки ехал... Настоящий был коммунист.

— Палачу в лапы ехал, — не удержался я.

— Да, в лапы палачу. В лапы этому людоеду, сволочи низкой, все испакостившей. О, если б вы видели его, эти глаза зверя, это уродство, руки маленькие, дамские, но мучить умели, лоб неандертальца. Базарный грязный кинто на троне...

Зискинд устало замолкает.

— Знаете, — говорит он, помолчав, — нет ни одной ночи без лагеря. С тех пор, как вернулся — каждую ночь снится лагерь. И просыпаюсь всегда в пять часов — побудка лагерная. Проснусь, поверочаюсь и, если удастся, засыпаю опять.

15

Абрама Владимировича Зискинда я видел три раза.

Познакомились мы в мае 1975 года, у Анны Иосифовны Наумовой, собравшей у себя дома несколько человек, чтобы отметить восьмидесятилетие Ларисы Рейснер. Мы сидели за небольшим столом, уставленным бутербродами и цветами. На стене висела фотогазета "Наша Лариса", изготовленная руками двух юных почитательниц Рейснер, сидевших тут же. Множество фотографий, от которых слегка рябило в глазах. Была еще приехавшая из Ленинграда родственница Рейснер, с фамильным альбомом, тоже с фотографиями.

Анна Иосифовна, составитель однотомников Рейснер, исподволь пыталась направить разговор так, чтобы он не уклонялся слишком далеко от Рейснер. Но разговор именно уклонялся. И уводил его в сторону Зискинд, рассказавший сначала о том, как он ходил по улицам Гамбурга, а затем ускакавший со своими воспоминаниями в Москву, к другим людям.

Через несколько дней я побывал у него дома. Он жил с сестрой в новом доме. Жена его, вероятно, бывшая, как можно было догадаться, и сын, родившийся в ссылке в 1945 году, — фотографии его он показал мне — жили в Ленинграде.

В маленькой комнатке заметнее всего были книги — хорошая библиотека русской и зарубежной поэзии. На видном месте — "Коммунистический манифест" в красном с золотом переплете. Приглашая меня, Абрам Владимирович предупредил, что в половине одиннадцатого ложится в постель. Но уйти, когда я поднялся в одиннадцатом часу, он не дал. В этот вечер мы говорили долго. Под конец разговора он достал с полки над письменным столом записную книжку в потрепанном кожаном переплете и протянул мне, сказав:

— Лагерная.

Книжка составлена была из листиков разного формата, кое-где разорванных и тщательно подклеенных по шву. Записи, сделанные карандашом, почти совсем выцвели, да и то, что написано было чернилами, читалось с трудом.

Тут собраны были в основном изречения и стихи. Мелькали имена Шекспира, Горького, Ленина, Толстого, Гёте и множество других.

Кое-что из того, что я прочитал, я запомнил. На первом листке написано было сравнительно ясно:

“Трус много раз до смерти умирает, храбрец вкушает лишь однажды смерть”. Шекспир.

Из Горького, из “Сказок об Италии”:

“Заниматься невеселую работой Пенелопы — плести мечты о жизни и не жить”.

И рядом:

“Нам, солдатам Ленина, умирать не велено”...

Через несколько дней Абрам Владимирович присхал ко мне и, как и в тот вечер, когда мы сидели у него, говорил, говорил, рассеянно отхлебывая чай. Он был очень импозантен и даже красив в этот раз. Седые, еще густые волосы, потемневшие, как старинный пергамент, лицо, живые, светящиеся глаза. На нем была черная рубаша с ярким галстуком, серая куртка, светлые брюки, и все это шло к его старости, еще не покончившей своих счетов с жизнью.

Посмотрев, войдя в комнату, на книги, он сразу же вынул одну с полки и отложил. Это был “Мой Пушкин” Цветаевой. Уходя, сказал:

— Я знаю, что уносить из дома книги — варварство, но поверьте — верну. Вот эту я давно хочу прочитать.

Он ушел с Цветаевой, бережно завернув книгу в газету. Я проводил его до троллейбусной остановки — от такси он отказался. По дороге он вынул из кармана стеклянную колбочку, вытряс на ладонь крупинку нитроглицерина и, продолжая разговаривать, проглотил ее.

Утром следующего дня мы поговорили по телефону — как оказалось, в последний раз. Я узнал, как он доехал, и он отвечал нарочито бодро: “Прекрасно доехал”. И приглашал в гости: “Чай будет обеспечен”.

Я не сразу воспользовался приглашением — дней двадцать прошло, прежде чем я смог снова позвонить ему. И когда позвонил, чтобы условиться о свидании, мне ответил незнакомый глуховатый голос: “Слушаю”. Я попросил к телефону Абрама Владимировича и после паузы услышал негромкое:

— А вы разве не знаете? У нас большое горе.

— Что случилось?

— Вчера мы похоронили отца.

— Вы сын Абрама Владимировича, верно? — спросил я.

— Да, сын.

— Я с вами немного знаком. Заочно. О вас мне рассказывал отец.

— Да...

— Послушайте, у вашего отца есть бесценный документ — лагерная записная книжка... Не знаю, смогу ли я когда-нибудь в другой раз спросить вас об этом. Вы видели ее?

— Нет.

— Она лежит на полке слева над письменным столом. В потертом кожаном переплете. Отец показывал ее мне. Постарайтесь, пожалуйста, сохранить.

— Да, сейчас поищу...

.

Он умер, не приходя в сознание, после операции, на которую пошел внезапно — должны были удалить полип — какой-то пустяк, собиравшийся вскоре поехать в Ленинград, а оказался — рак, запущенный, все опутавший.

Теперь мне кажется, что его жадное желание выговориться в эти три вечера, когда я слушал его, и было предчувствием конца.

Август. 1975 г., Дорохово.

Публикация Е. Ржевской.

ПИСЬМА ФЕДОРА СОЛОГУБА В СОВНАРКОМ, В.И.ЛЕНИНУ И А.В.ЛУНАЧАРСКОМУ

“Я ВСЕ ЕЩЕ ВЕРЮ...”

“Не завидуйте, Анастасия Николаевна, — говорил Федор Сологуб жене, придя в гости к Мережковским, на столе у которых лежал кусок изгистого от соломы хлеба. — Не надо завидовать. И у нас вчера был хлеб”. Сын кухарки и портного, за четверть века напряженного учительского и писательского труда достигший некоторого материального благополучия, в 1917 году он лишился всего. Российского писателя с мировым именем выгнали из квартиры, отобрав все, даже книги. Вместе с женой, писательницей Анастасией Николаевной Чеботаревской, Сологуб ютился в каком-то “павильоне” на Васильевском острове, где зимой за ночь пол покрывался ледяной коркой. Но не нужда и голод заставили его обратиться к сильным мира сего. “Умертвили Россию мою, схоронили в могиле Немой!” — писал он в 1918 году. Сологуб задыхался в стране, где, по его словам, торжествовали “вчеловеченные Звери”.

История с разрешением на выезд подробно описана Владиславом Ходасевичем в очерке “Сологуб”, вошедшем в книгу “Некрополь”, и нет необходимости подробно останавливаться на ней. В 1921 году Сологубы радостно писали друзьям в Париж, что их выпускают. Но в последний момент им отказали. Затем новые обещания — и вновь разочарование. И все же разрешение было получено, но по роковому стечению обстоятельств, ставшему в эти годы закономерностью, — слишком поздно. Измученная бесконечным ожиданием и неопределенностью, Анастасия Николаевна Чеботаревская покончила с собой, бросившись с Тучкова моста в черную, замерзающую воду Невы.

После смерти жены Сологуб уже не мог и не хотел уезжать из страны. Его почти не печатали, а с 1923 года перестали печатать вовсе, но он вопреки всему по-прежнему много и напряженно работал, преодолевая поэзией и смерть, и жизнь. Федор Кузьмич Сологуб умер в России 5 декабря 1927 года.

Публикация подготовлена по подлинникам писем Федора Сологуба, хранящимся в фондах Совнаркома и Госиздата в Центральном государственном архиве Октябрьской революции.

Федор Федоров

Доведенный условиями переживаемого момента и невыносимую современностью до последней степени болезненности и бедственности, убедительно прошу Совет Народных Комиссаров дать мне и жене моей, писательнице Анастасии Николаевне Чеботаревской (Сологуб), разрешение при первой же возможности выехать за границу для лечения. Два года мы выжидали той или иной возможности работать в родной стране, которой я послужил работою народным учителем в течение 25 лет и написанием свыше 30 томов сочинений, где самый яркий противник мой не найдет ни одной строки против свободы или народа. В течение последних лет я подвергся ряду грубых, незаслуженных и оскорбительных притеснений, как например: выселение как из городской квартиры, так и с дачи, арендуемой мною под Костромой, где я и лето проводил за работою; лишение меня 65-рублевой учительской пенсии; конфискование моих трудовых взносов по страховке на дожитие и т.п., хотя мой возраст и положение дают мне право, даже в условиях необычайных, на работу в моей области и на человеческое существование. Мне 56 лет, я совершенно болен, от истощения (последние два года, кроме четверти фунта хлеба и советского супа, мы ничего не получали) у меня по всему телу экзема, работать я не могу от слабости и холода. Все это, в связи с общеполитическими и специфическими монопольными условиями, в которых очутились русская литература и искусство, условиями, в высшей степени тягостными для независимого и самостоятельного творчества,¹ заставляет меня просить Совет Народных Комиссаров войти в рассмотрение моей просьбы и разрешить мне с женой выезд для лечения за границу, тем более, что там есть издатели, желающие печатать мои сочинения. Если тяжело чувствовать себя лишним в чужой стороне, то во много раз тягостнее человеку, для которого жизнь была и остается одним сплошным трудовым днем, чувствовать себя лишним у себя дома, в стране, милее которой для него нет ничего в целом мире. И это горькое сознание своей ненужности на родине подвинуло меня после долгих и мучительных размышлений на решение временно оставить Россию, решение, еще полгода тому назад казавшееся мне невозможным.

Позволю себе напомнить, что подобные разрешения на выезд за границу были уже выданы профессору Ф.Ф.Зелинскому,² Ф.Ф.Комиссаржевскому³ и другим.

Прошу верить серьезности мотивов этой просьбы, приносимой мною только после долгих колебаний.

10 декабря 1919 года.

Федор Сологуб.

Адрес:

Петроград, В/асильевский/ о/стров/, 10 линия, 5, кв.1.

Фонд 130 — СНК. Оп.3. Д.382. Л.226 — 227.

¹ Фраза подчеркнута чиновником Совнаркома.

² Зелинский Фаддей Францевич (1859 — 1944) — филолог, исследователь и популяризатор античной культуры, профессор Петербургского университета. Эмигрировал в Польшу.

³ Комиссаржевский Федор Федорович (1882 — 1954) — режиссер и теоретик театра. В эмиграции с 1918 года.

Петроград, В.О., 10 линия, 5, кв.1.

26 февраля 1920 г.

Многоуважаемый Владимир Ильич,

Решаюсь обратиться к Вам, не будучи знаком с Вами лично, так как на обращения мои к тов. Луначарскому и Троцкому, беседовавшим со мною без всякой неохоты при других обстоятельствах, не последовало никакого ответа. Между тем я добиваюсь очень простого — разрешения мне и моей жене, Ан.Н.Чеботаревской, выехать из пределов Советской России для лечения и устройства моих литературных дел. В письме на имя Совета Народных Комиссаров, посланном в декабре, я подробно изложил мотивы, заставляющие меня временно покинуть страну, к которой я бесконечно привязан, но пребывание в которой в настоящее время для меня крайне мучительно. Здоровье мое, вследствие невероятного питания и отсутствия возможности лечиться (даже некоторые лекарства выдаются только коммунистам), пришло в полный упадок, а длительное истощение лишило меня обычной трудоспособности. У меня отнята учительская пенсия за 25 лет службы, страховка на дожитие, которую я

должен был получить в этом году, словом, уничтожены все условия для существования, достойного моего возраста и положения. Сейчас я живу переводами и распродажей вещей, но согласитесь, что перевести два печатных листа за один фунт масла или сахара (по нормам вольного рынка) человеку в 57 лет довольно трудно. С другой стороны, я не хочу как вор бежать из моей родины, не хочу эмигрировать и порывать связи со страной, дороже которой нет для меня ничего на свете, — я все еще верю, что при несколько иных условиях я могу быть полезен ей и снова работать для нее. Я хочу лишь уехать временно, на несколько месяцев, исключительно для лечения и для продажи заграничным издателям права на переводы моих романов, а также и для того, чтобы пожить некоторое время в человеческих условиях, — ведь здесь два года мы не видим ни мяса, ни белого хлеба, и я за все это время не мог купить себе калаш. Поэтому в последний раз обращаюсь к Вам с горячею просьбою, — окажите содействие мне в получении разрешения выехать за границу, хотя бы в Эстляндию.

С истинным уважением
Федор Сологуб¹

Ф.130. Оп.4. Д.244. Л.482.

¹ Так же, как и прошение в Совнарком, письмо В.И.Ленину написано на машинке. Слова: "...хотя бы в Эстляндию" и подпись дописаны Федором Сологубом от руки.

Не сохранилось никаких свидетельств о реакции В.И.Ленина на это письмо. Одно из бесчисленного множества, это прошение, очевидно, не было даже прочитано председателем Совнаркома..

Кострома, "Старый двор"
8 июля 1920 г.

Многоуважаемый Анатолий Васильевич,

Во время последнего разговора с Вами была речь и о моих книгах; в продаже их нет; Вы были любезны сказать, что поговорите с Государственным издательством о ближайших возможностях. Позвольте высказать несколько пожеланий:

1. У меня есть стихи, которые при царском режиме нельзя было издать книгою, хотя некоторые из них печатались в газетах и журналах 1905—7 гг., некоторые напечатаны уже во дни революции, как напр. стихотворение “Парижские песни”, написанное в Париже весной 1914 г.; оно Вам тогда понравилось, и я посвятил его Вам. Из этих стихов наберется книга, желательно ее напечатать.

2. Желательно напечатать новое издание романа “Творимая легенда” (18, 19 и 20 т. моих сочинений в изд. Сирина), восстановив места, которые политическая цензура того времени принудила выбросить.

3. Книга рассказов: “Старый дом” и др., впечатления 1905—7 гг. Вот, что я предложил бы на первый раз.

С приветом
Федор Сологуб

Ф.395 — Госиздат. Оп.1. Д.78. Л.11—12

Публикация Ф.Федорова

Александр Кырлежев

БОГ В ЭПОХУ “СМЕРТИ БОГА”

1

“Где Бог? Я хочу сказать вам это! *Мы Его убили* — вы и я! Мы все Его убийцы! Но как мы сделали это? Как удалось нам выпить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть краску со всего горизонта? Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? Куда теперь движется она? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы непрерывно? Назад, в сторону, вперед, во всех направлениях? Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы словно в бесконечном Ничто? Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли все сильнее и больше ночь? Не приходится ли средь бела дня зажигать фонарь? Разве мы не слышим еще шума могильщиков, погребаящих Бога?”

“Мы, философы и “свободные умы”, — продолжает Ницше в другом месте, — чувствуем себя при вести о том, что “старый Бог умер”, как бы осиянными новой утренней зарею; наше сердце преисполняется при этом благодарности, удивления, предчувствия, ожидания, — наконец, нам снова открыт горизонт, даже если он и затуманен”.

Пророческое открытие Ницше почти совпало во времени с пророческим же прозрением Достоевского, который устами Кирилла в “Бесах” говорил о “победе над Богом”: “Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет Богом. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, все новое... Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения Бога и от уничтожения Бога до перемены земли и человека...”

**Александр
КЫРЛЕЖЕВ**

— родился в 1957 году в Москве. Закончил библиотечный факультет Московского государственного института культуры, затем Московскую духовную семинарию. Четыре года работал в “Журнале московской патриархии”. В настоящее время — сотрудник Центра по изучению религий.

Так говорили безумцы. Однако “безумцы” Достоевского и Ницше не имеют ничего общего с безумцем пророка Давида, сказавшим в сердце своем: “Нет Бога” (Пс.52). Тот уклоняется от поиска Бога, чтобы совершать “гнусные дела”. Эти ищут Бога с фонарем в светлый полдень, но Его нет. Его нет, потому что Он убит, а они — соучастники этого убийства.

Столетие прошло под знаком этой “смерти”. Несколько поколений “новых людей”, граждан постхристианского мира, свершили свой путь, оставляя после себя триумфальные арки и “братские могилы”. Открывшаяся “страшная свобода” (Кириллов) позволила осуществить переоценку всех ценностей — не только в теории, но и на практике. Положение, в котором оказался человек нашего века, можно описать тремя утверждениями Сартра: а) нет никакого Бога, никаких вечных истин и ценностей; б) человек приговорен к своей свободе; г) ад — это *другой*.

Человек остался в пустом, *безосновном* мире, где он сам является последней инстанцией, “Богом”, обладающим абсолютной свободой. Помимо безличного мира объектов, ему предстоят только другие, такие же, как и он, “богоравные” лица. Бездна свободы, открывшаяся внутри человека, заставляет его искать опоры — в *другом*, с которым он делит свою экзистенциальную судьбу. Но *другой* — такой же “ничтожный Бог”, витающий над бездной небытия. Безличное Бытие — враждебно; личностное Ничто — *безосновно*. Основной экзистенциальной задачей становится *коммуникация* — “общение богов”. Поражение на этом пути означает бесконечное одиночество, реальная альтернатива которому — квазиобщение на уровне социального существования. Так появляются национал- и интернационал-социализмы. Но эти новейшие формы “одиночества в толпе” порождают в конечном счете протест и отрицание, утверждающие лишь другую форму “неподлинного” бытия человека: пафос “прав и свобод”. Подлинная, искомая коммуникация кажется безнадежным делом. Теперь вообще ничто не связывает “экзистенциальных субъектов”. Мир в целом остается принципиально бесчеловечным — миром объективированным и безличным.

Вечности больше нет, есть только время, исторический процесс — время порождения и созидания, но и время тления. Старые ценности тлеют и умирают одна за другой. Приказали долго жить “идеализм” и “материализм”, национальное государство и колониальные империи, “материя” физики и “душа” психологии; смертельно заболели рационализм и прогрессизм; доживают последние дни красота и гармония. После неудачных попыток создать — по родовому или социальному признаку — “коммунальную” жизнь для одинокого человека осталась только одна возможность: использовать безличный мир и питаться им, то есть потреблять. Высшей заботой стали технология социальной жизни и технология производства, то есть *политика*, направляемая страхом и интересом. Но вот пришло

время агонии и этих — последних — “ценностей жизни”. Призрак “экологической катастрофы” убивает вкус к еде, дыханию, осязанию; наконец, сама человеколюбивая демократия на грани самоотрицания и отнюдь не “тоталитарного”: богатый, свободный и “универсальный” Северо-Запад вынуждается к жесткой самозащите от бедного, политически недоразвитого и “провинциального” Юго-Востока.

Горизонт по-прежнему затуманен, как и сто лет назад. Смерть нависла над самим “миром без Бога” — миром, несущим в себе Его отсутствие, Его “нетость”. Под угрозой полного исчезновения теперь уже все “человеческое, слишком человеческое”.

Для тех, кто не может забыть в “совершении гнусных дел”, приходит время поиска Бога. Тот, кто прошел весь путь — от дня Его “погребения” к настоящему, — вступает в пору “ожидания Бога” (Хайдеггер). Но это ожидание тревожное, а может быть, скорее тоскливое, уже содержащее в себе чувство обреченности на неудачу. Тот, кто вместе с Ницше поставил восклицательный знак после слов: “Бог не воскреснет!”; тот, кто вместе с ним готов повторить: “Каждая церковь — камень на могиле Богочеловека: ей непременно хочется, чтобы Он не воскрес снова”, — тот скорее всего не сможет переступить за порог ожидания и не откроет двери, если Бог постучит к нему. Нельзя надеяться на успех поиска Бога, не отправляясь на поиски.

Однако, нельзя сказать, что эти ожидательные поиски оказались совсем безрезультатными. Мышление, исходившее из “предпосылки Бога”, обрело Его в *философской вере*. Философская вера есть то, что “не может стать исповеданием”, она “существует только в мышлении отдельного человека” (Ясперс). В этом смысле приверженцы философской веры похожи на тех, кто наполняет ницшеанскую “церковь на могиле Богочеловека”: их вера обращена к необретаемому Богу. “Бог философов” — это Бог, которому философы не дают стать Богом.

Вместе с тем философская вера указывает на существеннейшее следствие “смерти Бога”. Это “величайшее из новых событий” означает, что вера в постхристианском мире возможна только в индивидуальном пространстве — в отдельном человеке. Сам этот новый мир родился из пафоса свободы совести, и его последняя из оставшихся в живых ценностей — “права человека” — утверждает это право каждого воскресить Бога для себя. Бог — мое неотчуждаемое право, и реализовать его могу только я сам, ибо нет никаких всеобщих институтов, которые обеспечили бы мне Его. Все, что касается веры в Бога, есть частное дело, “частная собственность”. В этом социальный итог убийства Бога. Бог уже не может быть Пантократором, Вседержителем; Он — свергнут восставшими народами во имя торжества демократии.

Но Бог умер *не совсем*. Не являясь общезначимой ценностью ни в качестве *идеи*, ни в качестве “метафизического Существа”, ни тем более в качестве *власти* над миром и человеком, то есть, умерев “в

целом", Он остался жить "в частном". Ему оставлено место в пространстве индивидуальной веры, а Церковь возможна как ассоциация индивидуумов, частных лиц, которая существует в маргиналиях социальной жизни.

Церковь осталась как реликт старой эпохи, сама в себе — со своим Богом. Что это за Бог? Как мог Он не умереть? Выжить? Разве Бог Церкви — это не тот Бог, который потерял власть над вселенной? Разве ее Бог может быть тем Богом, которого "позволила" демократия, то есть производным от моего выбора, следствием моей "свободы совести"?

Новая эпоха ставит под вопрос идентичность Бога церковной традиции, и прежде всего потому, что "религиозные люди", или люди, заявляющие себя членами Церкви, — плоть от плоти нового мира, суть "современные люди". Как члены общества они принадлежат миру, где нет Бога, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Их Бог — не более чем аспект индивидуального существования, только частность их "личной жизни". Это вызывает подозрение, что их вера — лишь бессознательная религиозная потребность, только "религиозность". Не прав ли был Ницше, когда утверждал: "Религиозный человек думает только о себе", — то есть его религиозная озабоченность касается только "происходящего в душе"?

Смерть "старого Бога" — Бога Церкви и традиции — породила "нового Бога" — Бога-проблему, которая как призрак следует за Его убийцами и их потомками из поколения в поколение. Никакая попытка разрешить эту проблему через допущение "потустороннего наличия" Бога не снимает ее, ибо ставит христианина перед еще более сложной задачей: связать, соединить Бога и мир, обрести доступ к Богу, пребывая в недрах современности, озаменованной Его "нетостью". Вырваться из временного потока, из мира, отождествленного с процессом — будь то экзистенциальная судьба человека, социальный прогресс или космическая эволюция, — к немислимому постоянству Божественной вечности оказывается не под силу современнику эпохи "развития" и "скоростей".

Остается обратиться к самой неумирающей "религиозной традиции". Но прежде чем отправиться на поиски Бога в Церковь, посмотрим, имеет ли Бог еще какое-либо значение для людей, живущих в нашем времени.

2

Российская ситуация сегодня такова, что эпоха, когда наше общение с прочим миром происходило "поверх барьеров", ушла в прошлое. Мы снова вынуждаемся осмыслять Европу через призму нашего опыта — как европейскую составляющую российской жизни. Открытое пространство, притягивающее Запад к нам и нас — к Западу, ставит нас перед необходимостью

самоидентификации. В этом деле не обойтись без религиозной традиции.

“Бесов” Достоевский писал в Германии. Здесь родился Кириллов — провозвестник “уничтожения Бога”. Сам Достоевский позднее писал уже по поводу Великого инквизитора: “И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было”. Но речь идет здесь, конечно, не об атеизме в обычном смысле слова, не о неверии и богоотрицании. Речь идет о новоевропейской судьбе Бога, о Его казни, которую совершило Новое время. Именно эта казнь и была тем “горнилом”, через которое прошла “осанна” Достоевского. История не может убить индивидуальную религиозность, но она уничтожила того Бога, который “устарел”, потому что был Богом исторического прошлого. Она уничтожила Бога — Великого инквизитора, и это был конец, ибо к тому времени другого Бога традиция уже не знала. Инквизиторский план по “осчастливливанию человечества”, не удавшийся в Европе, осуществился в социалистической псевдоморфозе на Востоке, в России, то есть именно там, где Достоевский предполагал противоядие против страшной мысли об “убийстве Бога”. Так Россия доказала свою принадлежность к Европе.

В России наступил социализм, сохранивший нам лишь Церковь молчания. И странное слово “Бог”, смысл которого теперь уже трудно понять.

Однако недавние (1991 г.) социологические исследования позволяют нам хотя бы в общих чертах увидеть, как решается “проблема Бога” нашими соотечественниками сегодня. Для сравнения приведем данные по Западной Европе в целом.

Цифровые данные указывают на долю в % от общего числа опрошенных	Россия	Западная Европа
1. Считают себя верующими	40	75
2. Считают себя верующими в личного Бога, т.е. в Бога-Личность, а не в некую “высшую силу”	30	32
3. Считают себя христианами	33	85
4. Не участвуют в богослужениях никогда	65	30

Таким образом, только треть всех россиян считают себя христианами по сравнению с подавляющим большинством европейцев. В два раза больше россиян никогда не бывает в церкви. Однако вера в личного Бога — Бога традиции — является, кажется, постоянной величиной: ее сохраняет почти треть “европейского человечества” — в эпоху “смерти Бога”.

Более важным для нас, однако, является то, что происходит с людьми в России, которые заявляют себя православными христианами (вспомним замечание Достоевского: нельзя быть русским, не будучи православным).

Опрос дает две цифры по каждому пункту — соответственно для считающих себя православными людей с высшим образованием и без оно:

Из православных в % от общего числа опрошенных	Люди с высшим образованием	Люди без высшего образования
1. Веруют в личного Бога	70	72
2. Бывают на богослужении раз в месяц или чаще	12	13
3. Никогда не бывают в церкви	37	35
4. Причащаются раз в месяц и чаще	2	4
5. Никогда не молятся Богу	44	34
6. Никогда не причащаются	77	61
7. Считают Библию не Словом Божиим, а одной из древних книг, содержащих притчи, легенды, хроники и моральные поучения	41	37
8. Полностью или в основном доверяют Русской Православной Церкви	85	84

(Мы привели здесь только те данные, которые являются наиболее важными и показательными для нашей темы.)

Итак, при очень высоком доверии к существующей “молчащей” Церкви и довольно высоком проценте верующих в личного Бога церковной традиции, на которого можно возложить свою надежду как на соучастника в человеческой жизни (две трети), церковными в строгом — собственно церковном — смысле можно считать только 3 процента (в среднем) православных христиан (имеются в виду те, кто регулярно участвует в церковном богослужении и причащается). Число тех, кто совсем не обращается к Богу в молитве — ни наедине с собой, ни в храме во время богослуже-

ния, — приближается к половине всех опрошенных. Почти для такого же количества верующих Священное Писание уже не является Откровением живого Бога. Характерно и то, что есть люди, которые надеются на Бога, никак не выражая Ему своей надежды. И наконец, две трети (!) христиан, причисляющих себя к Православной Церкви, никогда не участвуют в центральном таинстве Церкви — Евхаристии, Трапезе Господней.

Есть, правда, один пункт, показывающий большую традиционность веры православных России по сравнению с христианами Европы: исповедали свою веру в личного Бога только 39 процентов европейцев, заявивших себя католиками, и 26 процентов западноевропейских протестантов — против 70 процентов Российских православных.

Представленная картина позволяет сделать хотя бы один бесспорный вывод: конфессиональная самоидентификация не совпадает с верой в ее традиционном понимании, а вера не совпадает с церковностью. Бог “умер” не совсем, Он живет в “душах” многих, но живет такой Бог, какой “душе угоден”, выбранный согласно собственному разумению человека. Закон свободы выбора срабатывает автоматически. Сама же Церковь не отстаивает свою веру ни перед обществом, ни даже перед своими, часто номинальными, членами; Церковь не обозначает своих границ, не определяет критериев церковности, так что каждый может пребывать в уверенности, что он — православный христианин, не будучи им по существу, то есть не разделяя вполне веры Церкви и не участвуя в ее жизни согласно традиционному церковному самопониманию. Церковь говорит и выступает в обществе по разным поводам, но остается молчащей в том, что касается самого главного — веры, которую она призвана сообщать своим современникам. Можно предположить, что где-то в глубине, в сокровенности своей Церковь сохраняет и содержит свою извечную веру, но с этой верой она не выходит в мир, живущий под знаком “нетости” Бога.

Мы убеждаемся также в том, что возможна “безбожная религия” — верования во “что-то” или даже в “кого-то”, которые не имеют ничего общего с верой в живого Бога Иисуса Христа, апостолов и святых. *Верование* — это то, что не умирает, даже когда “умирает” Сам Бог. Поэтому возможна “церковность” — как на Западе, так и на Востоке, — которая не являет собой Воскресения Богочеловека в этом мире. Не являются ли действительно храмы только надгробиями на Его могиле?

3

По нашему глубокому убеждению, проблема Бога не является проблемой Бога “современного”, “научного” или “культурного”. Говоря языком нашего века, это проблема Бога *экзистенциального*, то есть Бога, которому есть дело до меня и который поэтому имеет

человеческий смысл, существенное жизненное значение для человека, оставаясь Богом, не отождествленным ни с моим собственным существованием, ни с миром, в котором я живу. Это Бог неуничтожимый и неубиваемый, однако не в силу бессмертности человеческой “религиозности”, неумираемости верований во “что-то” или в “кого-то” (и желания *поклониться*, как у Достоевского), но потому, что Он существует по ту сторону культуры и некультурности, науки и ненауки, рационального и иррационального, современного и несовременного. Личный Бог, которого только и имеет смысл искать, это тот Бог, который *остается* после того, как “старого Бога” казнили; для которого казнь, совершенная Новым временем, есть освобождение, потому что наконец-то умер Великий Пан, сокрушен Некто, которого нарекали Богом. Личный Бог обрел небывалую свободу в мире — свободу своей “нетости”, то есть свободу ненасилия. Люди, прогнавшие Бога в небытие, думали тем самым освободиться от Него, но самым главным в этом деле оказалось другое: они потеряли власть над Богом. Манипуляции Богом стали невозможны, ибо они уже не имеют решающего значения для мира. Открылось пространство подлинной свободы между Богом и миром, Богом и человеком. Бог снова стал “неведомым Богом”, который не вмещается ни в какие “верования”, столь привычные и необходимые людям, чтобы жить без Бога и помимо Бога.

Поэтому, если, за неимением других мест, я обращаюсь к Церкви — сегодня, в конце XX столетия, во время “агонии всех ценностей”, — я ожидаю встретить там не “старого Бога”, который умер, но Бога воистину нового, то есть Бога изначального, который по ту сторону “нового” и “старого”. Я ищу путь к Богу Авраама, Иисуса Христа, апостолов и святых, иначе — к Богу живому, с которым я могу вступить в личные отношения, изменяющие мою жизнь и дающие мне действительную надежду на спасение в безосновном мире. Я ищу Бога, с которым я смогу жить в этом мире — таком, каким я его знаю по опыту своего века.

Поэтому я отправляюсь на поиски — в отечественную традицию, в Православную Церковь.

Вхождение в традицию раскрывает несколько сфер религиозной действительности, связанных между собой, но различающихся по акцентам, которые делаются на тех или иных сторонах церковной жизни. Прежде всего это — *Церковь как культовая институция*, составляющими которой являются: иерархическая администрация, церковные приходы, существующие при храмах, и собственно богослужение, совершаемое особо поставленными для этого священнослужителями. Приход — это “открытая система”, если речь идет о храме, в котором регулярно совершаются богослужения в соответствии с литургическим календарем. В храм как в особое место, где “присутствует Бог”, может прийти любой и практически без всякой проверки на “церковность” и специальной подготовки участвовать в общей молитве и таинствах: принять крещение, обвенчаться,

исповедаться и причаститься, совершить отпевание усопшего (правда, для участия в “таинстве причащения” необходимо исполнение некоторых правил: поста, исповедания грехов, совершения молитвословий). При этом никакого постоянного, фиксированного членства в приходской общине с вытекающими из этого правами и обязанностями не существует. Церковный культ ориентирован на посетителя, а точнее — на потребителя. Для постоянных участников богослужбной жизни он предлагает определенный ритм и характер участия, согласно сложившимся к настоящему времени обычаям. По содержанию культ — это общественная молитва, совершаемая в определенные “времена и сроки”, и индивидуальное принятие таинств, то есть освящающей *благодати*, которая сообщается верующим посредством священнодействия. Рассчитанный на массовую, то есть самовоспроизводящуюся, религиозность, культ предстает как достаточная и исчерпывающая форма “церковности”. Он обеспечивает своего рода “полноту” религиозной жизни для православного христианина: от рождения и наречения имени — до последнего напутствия и погребения. Другими словами, культ тяготеет к самодостаточности и может являться таковым для “религиозного человека”, не ищущего в Церкви ничего другого.

Более глубокое вхождение в традицию можно обозначить широко распространенным понятием “*духовная жизнь*”. (Это понятие коренным образом отличается от того, как понимает это словосочетание философская вера: “Духовная жизнь — это жизнь идей”, — говорит, например, Ясперс.) Духовная жизнь в церковном понимании есть *внутреннее делание*, то есть систематическая работа над собой в соответствии со сложившейся в традиции аскетической антропологией: пониманием того, как в человеке происходит борьба воли, стремящейся исполнять заповеди и правила церковной жизни, и греха, постоянно возникающего в недрах человеческого существа и проявляющегося в мысли, слове и поступке. “Духовная жизнь” стремится к своему предельному напряжению — в монашеской аскезе. Поэтому внутреннее делание, по существу, есть путь отрешений в соответствии с аскетической парадигмой. Несмотря на то, что участие в богослужении и таинствах остается в данном случае обязательным и необходимым — ибо духовной энергией, питающей и укрепляющей “делателя”, является благодать священнодействий, — акцент делается не на культе как таковом, но на внутренней активности, на невидимой “духовной брани”. Место действия христианина — пространство индивидуального существования, “душа и тело”. Церковь же создает возможность восприятия благодати индивидуумом, а также духовного руководства со стороны более опытных “духовных делателей” — духовных отцов (как правило, в священном сане).

“Духовная жизнь” предполагает также освоение определенного теоретического материала — древней и новой аскетической литературы, описывающей драматический путь души через испытания и искушения — к Богу, к аскетической святости. Именно образ

святых подвижников, победивших, с Божией помощью, присущие каждому человеку греховные *страсти*, является маяком на этом пути. Средства для достижения заветной цели: молитва, борьба с греховными помыслами, воздержание и пост, послушание духовному отцу.

Описанные типы церковности, таким образом, укладываются в рамки религиозного индивидуализма. Это может быть более или менее поверхностное отношение к Церкви — только участие в культе или углубленная и напряженная религиозная жизнь с акцентом на “внутреннем человеке”. Но при этом жизнь веры — охватывает ли она меня всецело, без остатка, или я посвящаю ей только часть времени души — есть “*моя жизнь*”, то, что происходит *со мной* и *внутри меня*. Моя потребность в духовнике-руководителе или в богослужении — это только *моя* нужда, удовлетворение которой лишь частично соотносено с происходящим в окружающем мире, с моей неизбежной включенностью в общечеловеческую судьбу.

Если культ и “духовная жизнь” не упраздняют моего стремления к христианскому мировоззрению, которое позволило бы упорядочить представления о своем месте в этом мире в соответствии с верой Церкви и моей личной верой, для меня остается возможность углубиться в церковное вероучение и церковную историю. Проповедующий в храме священник или духовный наставник в этом случае отсылают меня к святоотеческому наследию, то есть прежде всего к творениям богословов “золотого века” церковной письменности, когда в спорах и борьбе с ересями складывалось догматическое учение Церкви, закрепленное в определениях соборов и освященное авторитетом святых учителей Церкви. Речь идет о так называемом “христианском эллинизме” IV — VIII веков. Так я погружаюсь в историю полемики православных авторов с арианами, евномианами, несторианами, монофизитами, иконоборцами и т.д., знакоюсь с древними катехизическими поучениями и с толкованиями на Священное Писание. На худой конец, я могу взяться за изучение систематических изложений догматического богословия, составленных в прошлом столетии, или обратиться к редким новейшим (как правило, заграничным или переводным) книгам по этой тематике. У меня, в результате, складывается некоторое представление об истории догматов и об основных истинах православного учения. Предполагается, что такое знакомство должно заполнить то место в моем сознании, которое отведено для теоретического осмысления христианской веры. Однако само углубление в богословскую теорию считается не совсем безопасным, ибо не обеспечивает мне адекватного понимания “таинственных предметов”, в которые были вполне посвящены только духовно просвещенные люди, то есть *святые*. А с другой стороны, богословский интерес не является необходимым для прохождения “духовной жизни”, скорее он может отвлекать от нее. Во всяком случае, подлинное богословие есть созерцание “вещей духовных”, и такое

созерцание открывается только преуспевшим в духовной брани и, конечно, не новоначальным и неофитам.

Есть еще одна сфера религиозной активности, традиционно связанная с Церковью: дела милосердия. В современном российском православии эта сфера только начинает возрождаться. Ее традиционные формы частью забыты, частью уже не соответствуют реалиям социальной жизни. Поэтому можно сказать, что все, что касается милосердного служения ближним, пока остается в основном делом совести и усердия каждого отдельного христианина. Христианский активизм в общественном пространстве, долгое время находившийся под запретом, только может стать делом Церкви, но пока не является существенной и необходимой составляющей церковной практики и, соответственно, церковного сознания.

Как видим, вера в типичных своих проявлениях, задаваемых ныне существующей церковной жизнью, есть дело сугубо частное. Я могу выбрать разную степень вхождения в традицию, но в любом случае это будет моим выбором, произвольным решением. Если я обращаюсь к Церкви, чтобы найти Бога в мире безбожия и утери жизненных смыслов, я не обретаю ясного понимания места и пути Церкви в целом — в этом времени, в предлагаемых обстоятельствах истории. Я встречаю формы религиозности, столь же далекие от нашего общего “сегодня”, столь же вневременные, как слова литургической молитвы или генеалогия греховных страстей, присущих человеку со дня его первого и окончательного падения. Несомненно, Церковь сохраняет память о живом Боге и содержит в себе возможности опыта общения с Ним. Но Церковь отсутствует в этом мире, так же как в нем отсутствует Бог. Она являет миру только край своей ризы, только религиозные символы, уже ничего не говорящие миру и лишь напоминающие ему о его прошлом. Она обращена к нам поразительными ликами святых с древних икон, являющих ушедшую эпоху Богоприсутствия в мире. Она покоряет нас соразмерностью и величием, всем *строим* своей литургии, звучанием небесных песен, сложенных людьми явно “другого рода”. Она, несомненно, содержит в себе тайну, но эта тайна заставляет многих скорее остановиться перед ней, чем бесстрашно войти в нее, не оглядываясь назад. Потому что перед лицом безбожной жизни Церковь молчит, а если говорит, то на своем особом и странном языке — на языке, который уже давно не имеет хождения в этом мире. Каждое слово — иероглиф; чтобы понять его, нужно сначала погрузиться с головой в иератический мир, отделенный от нашей повседневности, от современных проблем, обычаев и мыслей священной завесой. Между человеком, который пришел к Церкви с “проблемой Бога”, и Богом, которого знает Церковь по своему внутреннему опыту, лежит сакральная “зона”, пространство “религиозного”, то есть несообщимого секулярному миру. Разумеется, думать, что Бог так же доступен, как и любой “предмет потребления” в обществе потребления, по меньшей мере

несерьезно: к Нему не может не быть трудного пути. Но тождественна ли эта неизбежная трудность — трудности *сакрального* мира Церкви для секулярного человека? Обречен ли Бог Церкви на то, чтобы Его так глухо скрывали священные одежды, скроенные к тому же совсем в другую эпоху? И не является ли культ, который для большинства людей есть Церковь *par excellence*, чем-то слишком похожим на предмет “духовного потребления”, вполне вписывающийся в современное общество потребления?

Во всяком случае, когда человек встает перед проблемой Бога, он встает перед вопросом о жизни и смерти. Как мне жить в этом мире, не уходя от мира, но разрешая задачи, которые он мне задает, находя ответы на мои вопросы, снимая противоречия, раздирающие меня? Как мне найти Бога так, чтобы вера стала *телеологией* жизни — в этом обществе, с другими людьми?

Мне нужна такая вера, которая, будучи радикальной, всеопределяющей для моего временного существования, не означала бы превращения всей жизни в “религиозное существование”, то есть в форму “нетости” в мире. Мне нужны не объяснения, как уйти из мира — к Богу, но ответ на вопрос, как встретить Бога в этом мире, в котором Его нет, в мире, Его казнившем, в мире смерти и смертности...

Ходи в церковь, подражай монахам, помни об истинных догматах, подавай милостыню — эти советы не решают моей проблемы, проблемы “смерти Бога”. Бог не воскресает. Безбожие не побеждается. Не открывается сила и свет Преображения (что, однако, не означает, что этого света нет в кельях святых, что он не скрыт в Святых Дарах Евхаристии и что не он вдохновлял учителей Церкви). Я не постигаю, хотя бы в педагогическом приближении к своему несовершенству, *последний смысл* Евангелия Христа и Бога, к полноте опытного постижения которого я должен был бы стремиться потом всю оставшуюся жизнь. Чтобы понять, в чем заключаются “хорошие новости”, которые две тысячи лет назад возвещали ученики странствующего рабби из Галилеи, я должен услышать что-то внятное и действительно *новое* (в новозаветном смысле) от Церкви. В Евангелии я не нахожу призыва к уходу, но призыв быть светом миру; там нет призыва к исполнению правил и предписаний — есть призыв к поиску Царства, которое приблизилось к нам; нет призыва к “внутреннему” или “внешнему” деланию — есть призыв к полноте жизни.

Но “религиозное существование” означает экзистенциальную шизофрению, раскол сознания: обычная жизнь идет сама по себе, следуя положенным ей “современностью” законам, а участие в “религиозном”, то есть исторически несообразном, является данью священной — жертвой, а точнее, поминанием “умершему Богу”. Но такое существование — не что иное, как продолжение богоубийства: оно будет продолжаться, пока моя и наша вера — не свет миру, но только тень от памятника на могиле Богочеловека.

Мы ищем сегодня не того Бога, который “улучшит нравы”, или “утешит в нищете и голоде”, или “дарует победу на сопротивляемых” — в гражданской войне... Или спасет одинокую, вполне отрешенную, монашествующую душу... Или не даст умереть без покаяния... Мы ищем Бога, который спасет нас от безбожия в этом мире. И поэтому, обращаясь к Церкви Бога живого, мы ждем от нее целостный, радикальный и понятный нам, то есть *тотальный*, ответ на столь же тотальный современный вопрос о Боге — никакой другой ответ, частичный, уклончивый, произнесенный по-старославянски или по-древнегречески, не поможет Его Воскресению и поэтому — никому из нас, вопрошающих. Если такого ответа мы, люди конца нашего века, не услышим от Церкви, мы сможем с уверенностью засвидетельствовать и ее смерть. Ее “нетость” станет очевидной, то есть она навсегда уже будет только подробностью, частностью, существующей в подполье современного сознания, в маргиналиях социальной жизни.

Но мы должны при этом ясно сказать, каким должен быть этот ответ, чтобы быть ответом.

4

Ответ на вопрос “о Боге” должен содержать в себе ответ о последнем смысле существования человека и мира. Он должен открывать нам путь к встрече с неумершим, живым Богом, возможность общения с Ним — “несообщаемый” Бог не нужен никому, кроме философов. Этот ответ должен быть ответом о Церкви как реальности общения: каждого — со всеми; моего общения — с *другим*, который давно стал для меня адом. Причем речь идет об общении ином, нежели то, что мы практикуем обычно, чтобы выжить в мире распада и предельного одиночества.

Однако событие общения — с другим человеком и с Другим — Богом — может быть подлинной “коммуникацией” только в одном случае: если оно не упраздняет той страшной свободы, которую мы несем в себе, которую мы открыли в себе как источник всего доброго и худого, что только можно помыслить, и от которой мы уже не можем отказаться, не проявив малодушия. Поэтому ответ “о Боге” должен быть и ответом о свободе.

Но свобода пуста сама по себе (и поэтому ее так часто меняют на миску горячего супа и заботливый взгляд надсмотрщика). Чтобы жить, нам нужна еще и сила жизни, истоки которой глубже тех жизненных потенций, о которых знает естествознание. Мы ищем духовной энергии, действующей не *помимо* естества и тем более не *против* естества, но внутри естественной данности, чтобы она могла схватить наше существование в целом и во всех его частных аспектах.

И тогда могут быть осмыслены все сферы человеческой активности: от биологической и хозяйственной до абстрактного мышле-

ния и поэтического творчества, — а значит, выяснено отношение веры к “закатной” европейской цивилизации в целом, к “культуре” в самом широком и современном смысле слова.

В свою очередь, это позволит нам осмыслить нашу человеческую *историю*, пути и беспутья ее поисков, восстаний, утрат, страстей и страданий, светлых и страшных прозрений. Мы сможем попытаться понять, что такое горизонт — то ясный, то затуманенный — и какова цена человеческой надежды.

Если мы не услышим этих ответов от Церкви, не найдем их в традиции веры, осмысляя наше сегодняшнее существование в повисшем над бездной мире, настанет окончательный конец веры. Всякое ожидание станет вполне бессмысленным. Не останется ничего, кроме “естественной религиозности”, которая сродни всем временам и всем человеческим религиям.

Печальная возможность такого исхода заставляет нас задать вопрос и самим себе: не можем ли мы кое-что предугадать и уже сейчас сказать в ответ на наши собственные вопрошания “о Боге”, напрягая свою интуицию и всматриваясь в традицию веры?

Можно только наметить некоторые черты такого ответа.

Истинный Бог свободен от мира, в котором мы живем, и *поэтому* совершается *человеческая история*. Наш сегодняшний “естественный” религиозный опыт — это опыт отсутствия Бога, которого нет в мире данности и которого приходится искать. Бог — такой же “другой”, над которым у меня нет власти. А тот Бог, которого я пытаюсь подчинить себе, всегда оказывается только “ручным богом”, то есть просто “материальным” или “духовным” идолом.

Свободный Бог — по ту сторону наличного бытия, но Он необходимо связан с человеческим миром; однако необходимость эта особого рода: это не “физическая” и не “метафизическая” связанность и не бремя Божественной власти над миром, но исключительно необходимость любви. Это странное слово — “любовь” — столь же неопределено, как и само слово “Бог”. Использование этого слова в приложении к Богу есть, конечно, тавтология, но, будучи соединенным со словом “свобода”, оно дает все же некоторое представление о том, о чем идет речь. Любовь, которая есть свобода, — единственная причина “привязанности” Бога к миру, которая позволяет нам говорить о Нем: “наш Бог”.

Творя “бытийствующих”, Бог творит их соответствующими Себе по *образу бытия*. То, что мы называем “свободой Бога”, творит только свободу. И поэтому возможно установление отношения с Богом и общение с Ним, которое есть равным образом общение “в свободе” и “в любви”. Другого общения с Богом в подлинном и полном смысле этого слова быть не может.

История же есть актуализация свободы, которая нетождественна любви. В своем историческом действии, целеполагании и осмыслении своего исторического существования человек остается автономным, свободным от Бога, ибо нет никаких наложенных на него

“свыше” законов, подчиняющих его какой-либо внеположной самому человеку воле. Бог Сам, свободно, входит в человеческую историю, как в свободу, и действует в ней — словом, делом, призывом и ответом, обращенным к тем, кто откликается на Его слово. Он может присутствовать среди нас, но только в том случае, если мы отвечаем на Его вхождение в нашу историю готовностью допустить Его присутствие в мире. Только мы сами можем “создать условия” для присутствия Бога — мы сами как граждане мира, собранные вместе, откликнувшиеся на Его призыв призвать Его. Такое “мы” — это и есть *ecclesia orans*, “церковь молящаяся”, литургическая община. Собрание это становится Церковью, если оно не только обращается, взывает к отсутствующему в мире Богу, но и получает ответ и оказывается соединенным с Богом и в Боге в тайне реального общения. И тогда сама Церковь — есть опыт общения, общей жизни ее участников, а не случайная сходка случайных друг для друга людей, которые, зная по опыту, что “другой — это ад”, хотят спастись от него “у Бога”, в пространстве “религиозного существования”.

Событие Церкви столь же непостижимо обыденным образом и необходимо таинственно, как и Сам Бог: оно есть при-общение к жизни Бога, отсутствующего в наличном существовании, в мире тел и объектов, акций и реакций, проектов и прогнозов. Жизнь Бога, которая становится “энергией общения” в событии Церкви, есть та самая “свобода и любовь”, разделяющая и соединяющая нас с Богом в одно и то же время. Такое понимание Церкви, конечно, невозможно, если мы ищем в ней не того, чем она призвана быть по существу, и не собираемся вставать на путь преобразования нашего существования в “свободу и любовь”. Если же мы обретаем в Церкви опыт Церкви — хотя бы “предварительный”, “бледный”, только еще предощушаемый, — тогда для нас открывается возможность для осмысления всей жизни в свете этого опыта “любви и свободы”. Этот свет пронизывает всю толщу существования и проникает до последних глубин нашего обычного человеческого опыта. Но чтобы этот свет стал для нас светом, нужно упражнять зрение и учиться различать освещаемые им предметы. Здесь нельзя обойтись без мышления, без рефлексии, как над опытом “естественного”, автономного существования в космосе и истории, где “нет Бога”, так и над опытом встречи с Богом, то есть веры как общения в тайне Церкви. Это ставит перед нами задачу реабилитации мышления в Церкви, то есть мыслей и слов о Боге и человеке, описания и осмысления их встречи и обнаружения в этом событии внутренней логики. А это, в свою очередь, означает, что мы не можем пройти мимо истории человеческой мысли о Боге и человеке, мимо поставленных прежде и теперь вопросов, которые требуют ответов *из опыта Церкви*.

И наконец, относительно смысла человеческого существования в мире можно сказать, что смысл этот как раз и заключается в *со-бытии*, то есть общении, которое достигается при переходе от

“свободы без любви” к “свободе и любви”, со всеми вытекающими отсюда последствиями. “Знать Бога” — значит существовать именно в пространстве общения, в котором может присутствовать Бог, и более того: которое только и может быть создано присутствием живого Бога, то есть Бога, через общение сообщающего жизнь. Это не “трансцендентный” и не “имманентный” Бог, но Бог, присутствующий среди нас в Церкви как общении, несмотря на Его очевидное отсутствие в современном мире, где “коммуникация” тождественна одиночеству. Присутствие Бога не упраздняет человеческую свободу. Но именно поэтому и только поэтому встреча с Богом и общение с Ним есть реальная возможность и последняя истина человеческого существования. Нам недостаточно только ожидания — потому что мы свободны. Мы можем выйти навстречу готовому явиться и являющемуся в мире Богу. “Приготовить путь Господу” — значит вспомнить об опыте общения с Ним и попытаться понять, как это может произойти с нами; но также и собраться вместе, чтобы услышать Слово Бога, явившегося в истории, и обратиться к Нему со словом молитвы, по примеру Его учеников и их последователей.

А для этого нам нужна Церковь. И вся беда в том, что Церковь, нами видимая, не являет того опыта общения и со-бытия в пространстве со-присутствия с Богом, возможность и необходимость которого она, несмотря ни на что, содержит в себе. Бытующие в ней “религиозные смыслы” не указывают пути к такому опыту, не сообщают его нам, погибающим в безбожии эпохи, и часто свидетельствуют о “религиозности” совсем другого рода. Чтобы воскресить Бога, нам надо прежде воскресить Церковь — Церковь осмысленной свободы. Иначе мы никогда не сможем понять, о какой “любви” столько веков говорит нам Бог, который умер, чтобы воскреснуть.

ПОЧЕМУ Я ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРИСТИАНИН

В прошлом году по приглашению Центра по изучению религий в Москву приезжал профессор Парижского православного богословского института имени преподобного Сергия Радонежского Оливье Клеман.

Работе в Парижском богословском институте Оливье Клеман, историк по профессии, отдал всю свою жизнь после принятия — в возрасте тридцати лет — Православия. Ученик известных русских богословов Владимира Лосского и Павла Евдокимова, он тоже является автором многих богословских книг; некоторые выдержали по несколько изданий. Наиболее значительные среди них: "Преобразить время" (1959), "Византизм и христианство" (1964), "Диалоги с патриархом Афинагором" (1959), "Вопросы о человеке" (1977), "Православная Церковь" (1983), "Истоки: великие свидетельства неразделенной Церкви" (1982). Некоторые из книг Клемана, несмотря на их, казалось бы, специальный характер (в частности, "Истоки" — богословский комментарий к свидетельствам святых отцов), вызвали большой читательский интерес, чему в немалой степени способствовал живой, поэтический язык изложения. Широкой известностью пользуются и книги Оливье Клемана о творчестве А.Солженицына, о В.Лосском и П.Евдокимове, о проблемах христианско-мусульманского диалога.

Оливье Клеман — один из вдохновителей и создателей Православного Братства Западной Европы, главный редактор французского богословского журнала "Контакты".

В Москве Оливье Клеман выступал с лекциями перед слушателями Центра по изучению религий, отвечал на многочисленные вопросы. Перед отъездом из Москвы господин Клеман по нашей просьбе рассказал о своем духовном пути и проблемах, которые стоят сегодня перед Православием. Ниже следует в некотором сокращении текст этой беседы.

— Господин Клеман, как Вы, человек, родившийся на Западе, пришли к Православию — конфессии, традиционно считающейся восточной?

— Я протестую против слова "восточная". Бердяев, к примеру, писал о России, что она — и Восток, и Запад. Или святые греческие отцы: они не восточные люди. Можно сказать, что они — представители и Востока и Запада. Но это просто уточнение к тому, как я нашел Православие или как оно нашло меня.

Я родился в 1921 году на юге Франции. К этому времени уже два поколения в моем роду не были христианскими. Мои предки с одной стороны были католики, с другой — протестанты. Когда я был маленький, меня и мою сестру не крестили. В деревне, где я жил, говорили, что есть три религии: католики, протестанты и социалисты. Социалисты не ходили в церковь и не крестили детей. Я рос в их среде, где никогда не говорили о Боге. Когда я еще ребенком спрашивал: что такое смерть? — мне отвечали: смерть — это небытие, уничтожение. Мой дед по отцу и отец были атеистами. Но они были справедливыми и щедрыми людьми, хотя я и не мог достаточно хорошо понять их слова, что “после смерти ничего нет” и что такое быть “добрым и справедливым”. И очень рано я стал задавать себе вопросы. Я спрашивал себя: если все материально, откуда происходит тот свет, который я видел во взглядах некоторых людей? И это был самый трудный вопрос. Я жил между тревогой и очарованием тайной красоты мира. Поскольку я родился в южной Франции, которая очень красива, я чувствовал одновременно и тревогу, когда думал, что все это должно уйти в небытие, исчезнуть.

Когда я повзрослел, я пытался понять свой атеизм и пробовал осуществить его в жизни. Какое-то время я даже занимался марксизмом. Но однажды, сидя в университетской библиотеке за чтением Маркса, я вдруг понял, что написанное им меня совершенно не интересует, что я ищу другое — смысл жизни. И в течение десяти лет я искал, занимаясь историей культур и религий. Я читал много книг, встречался с людьми, был очень увлечен индийской философией: она соответствовала моему восхищению перед тайной того, что все божественно. Но довольно быстро я ощутил какое-то смятение, раздвоенность. С одной стороны была Индия — священная и божественная. Через духовный опыт, как говорилось в индийской философии, я достигаю самого себя, и это мое “я” тождественно “я” всех других людей. Это мысль, при которой нельзя думать о *другом*. Меня поразили многие из текстов Упанишад, которые говорят, что если мать любит своего ребенка, то это не из-за ребенка, а из-за себя самой. Если мужчина любит женщину, то не из-за нее, а из-за себя. Получалось, что есть только *божественное* и им все поглощено. С другой стороны, в это же время я открыл для себя очень важный аспект европейской культуры — портрет, на котором всегда изображен кто-то *другой* — кто открывается мне и идет ко мне, но остается все-таки отличным от меня.

Я оказался между двумя этими проблемами. Первое: *все* — божественно, все — *Божество*. Второе: существует *другой*, но проблема в том, могу ли я действительно встретить его?

Эти размышления накладывались на довольно печальные события в моей жизни. В конце концов я пережил внутренний кризис и был на грани самоубийства. Но вот однажды я купил книгу неизвестного мне тогда Владимира Лосского “Мистическое богосло-

вие Восточной Церкви". И больше всего я был поражен главой о Троице и человеке как образе Троицы. В Троице открывалось и глубокое единство, которым пронизана мысль Индии, и одновременно то различие, о котором говорили европейские портреты. Для меня это было открытием. Тогда же я прочитал книгу Бердяева "Философия свободного духа". Я понял только четверть того, что в этих книгах было написано, но сказал себе: да, можно быть христианином. Те христиане, кого я встречал раньше, не убедили меня в этом. К тому времени я уже прочел Достоевского, и он тоже многое открыл мне.

И вот однажды Христос вошел в мое сердце. Нужно сказать, что я давно читал Евангелие. Оно меня и привлекало, и отталкивало. Я спрашивал себя: как Христос мог говорить о Себе, что Он одновременно и путь, и истина, и жизнь? А как же все другие религии, Будда, мистики Индии? Но в какой-то момент я почувствовал очевидность того, *кто* есть Христос, и отбросил все, что знал из истории религий. Я понял, что Христос *хочет, чтобы я был, существовал*. Можно сказать, что в существовании Бога я никогда не сомневался, но сомневался в своем собственном существовании (чему "помогал" опыт индуистских упражнений, которые я одно время практиковал). Но Бог сделался человеком и этим сказал мне, что *я существую*, и я доверился Ему.

Оставалась одна проблема, как жить с тем, что сказано в Евангелии от Иоанна: если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, не будете иметь жизни вечной? Я понимал, что речь шла о Евхаристии. Но возникал вопрос о Церкви. Католическая Церковь всегда была чужда мне. Мой дед рассказывал, что в виноградниках иногда находили кости людей, которые были протестантами, — католики были против захоронения их на кладбище. А рядом с моей деревней был замок с огромной башней: в ней заточали женщин-протестанток. Одна из них провела в тюрьме 16 лет только потому, что ее брат был протестантским пастором. В 60 лет она вышла оттуда и написала на камне — "сопротивляться". Для меня это стало символом неуничтожимой свободы человеческого духа, сопротивления королю и папе.

Я пробовал читать Фому Аквината, но это было скучное чтение. Что касается протестантизма, то у меня было ощущение, что Бог в нем — враг жизни и что через это учение нет возможности постичь и отобразить всю красоту мира. Хотя, впрочем, я читал великих авторов — католиков и протестантов. Читал, поскольку находил там сведения об отцах Церкви. Это были книги Анри де Любака, Жана Даниэлю и других, изданные в 40—50-е годы, когда эти авторы сами открывали для себя святых отцов.

Но особенно важны были для меня работы Владимира Лосского. Я чувствовал, что дверь приоткрывается.

В Православии меня привлекало многое: важность воскресения, идея обожения человека через воплощение Бога, идея Троицы, богословие божественных энергий, исходящих от преобразившегося

Христа и проникающих во все создания. Последнее придавало христианству в моих глазах космический характер. Здесь же я нашел традицию, жившую во всех великих христианских писателях, русских в том числе, — учение о значении молитвы для спасения человека и всего мира. Я совершенно не понимаю догмата об аде в том смысле, что Бог создал вечный концлагерь для своих врагов. Я не сомневаюсь в существовании ада, но в великой традиции Православия мы находим мысль, что человек не спасается в одиночку: все спасаются вместе — в молитве друг за друга и общении друг с другом. Я видел также, что в Православии я могу ощутить смысл тайны и свободы и понять, что любовь — это и есть смысл свободы.

Поскольку у меня не было выраженной привязанности к какой-либо западной конфессии, я решил: я — православный. В справочнике я нашел адреса православных священников и пошел к одному из них. И он меня крестил. Там, уже после крещения, я встретил Владимира Лосского, Павла Евдокимова, Льва Зандера и многих других замечательных людей. Тогда я познакомился и с великим русским монахом отцом Софронием (Сахаровым), учеником преподобного Силуана Афонского, и он тоже очень многому научил меня, особенно молитве.

Так я становился православным, что пытаешься делать, конечно, всю жизнь. В мой мозг, в мою жизнь вошло желание понять Православие и постараться прочесть в его свете духовную историю Запада. Это не отделило меня от инославных христиан. Мне кажется, что в Православии есть реальность единой Церкви — кафоличность, полнота. Мне захотелось научить людей Православию, показать полноту Церкви, которая в нем жива.

Со временем меня все больше начала интересовать связь христианства и современности и проблема встречи его с другими религиями. Не стоит забывать, что во Франции 60 миллионов жителей, из них — 3 миллиона мусульман и один миллион евреев, исповедующих иудаизм, — и среди всех есть замечательные, высокообразованные люди. Во Франции, как и в России, очень интересуются всякими эзотерическими учениями: оккультизмом, теософией и тому подобным. И потому важно, чтобы Православие давало свои ответы по этому поводу. Нельзя изолироваться, превращаться в гетто. Нужно, чтобы из Православия исходила потрясающая мощь, мощь свободы и света. К сожалению, чаще все гложет в обрядности, обрядоверии. Французский духовный писатель XVIII века Франсуа де Саль писал, что наступит момент, когда произойдет разрыв цепей и освобождение святых. И мне кажется, в этом вся проблема Православия: нужно, чтобы оно разорвало свои цепи.

— *Встречали ли Вы людей, которые ярко и полно воплощали в себе Евангелие, были явлением его духа? Не как богословы, учителя, а именно как люди, в лице, облике которых отражался его свет?*

— Я помню одну женщину, смиренную прихожанку, которая была необыкновенно добрым и очень мягким человеком. Когда я ее видел и смотрел на ее старое лицо, у меня возникало ощущение, что оно сделано из такого материала, который вот-вот исчезнет, растворится, и в этот момент появится яркая, прекрасная бабочка, потому что нечто такое возникало в ее взгляде. Образом Евангелия была для меня и жена Лосского — Мадлен, очень сердечная и добрая женщина. Еще я помню одного старого монаха, что жил вместе с отцом Софронием. Он часто говорил мне: “О, как я люблю кататься на велосипеде! Я заметил, что когда катаешься, легко молиться Иисусовой молитвой”. Он был очень простой, верный и преданный человек, всегда готовый помогать, делать что-то для других. Можно привести много подобных примеров. Был один необычный случай много лет назад, в пасхальную ночь, в нашем приходе на Сент-Женевьев. После службы мы собрались в небольшом помещении, куда нас пустили протестанты. И был там один пьяница с перевязанным, как у старого пирата, глазом. В какой-то момент он вдруг подошел к пианино и стал играть. Играл он необыкновенно. И через него изливался свет.

Еще один случай связан с русским священником — отцом Леонидом Кролем. Я встречал его на юге Франции. В свое время он написал богословскую книгу в духе отца Сергия Булгакова — по софиологии. В ней все было перепутано; он был плохой богослов. Но во время войны с ним произошла следующая история. Когда война кончалась, город, где он тогда жил, был оккупирован войсками, которых местные жители называли “монголами”. Это были люди из северокавказских и азиатских земель; немцы набрали их в свою армию. Они были очень жестоки. И когда германские войска начали отступать, эти “монголы” решили сжечь город. Отец Леонид надел священнические одежды и пошел к ним. Он говорил с ними по-русски — они ведь тоже знали русский — и сказал: братья, не нужно разрушать город, лучше всего вам просто уйти. И они ушли. Отец Леонид думал, что после этого городские власти дадут ему дом — у него не было своего — и назовут улицу его именем. Когда я его видел, мне казалось, что он немного безумный во Христе, юродивый. Во время литургии он молился за всех православных патриархов, за московских и зарубежных епископов, за папу, за руководителей протестантских конфессий. Кроме того, он был гениальный музыкант, восхитительно играл на пианино. Все в этом городе приходили посмотреть на него, спрашивали у него совета. И ему действительно дали дом, и улицу в том городе назвали его именем.

И еще один пример. У меня был знакомый грек, который долгое время жил в Алжире. Он был такой справедливый человек, что и арабы, и французы, когда между ними возникали конфликты, приходили к нему, чтобы он их разрешил. После того, как Алжир перестал быть колонией, грек вернулся во Францию и открыл свое кафе, где сам прислуживал и подавал посетителям. А когда

клиентов не было, он читал книгу, что лежала под телефонным справочником. Это было Добротолюбие. И он его читал. Он говорил: о, я ничего не понимаю в нем, оно такое сложное! Но читал. И люди приходили смотреть на него. В этом совершенно народном квартале его присутствие было очень важно.

— *В связи с тем, что Вы сейчас говорили, позвольте задать более богословский вопрос: что такое святость?*

— Я думаю, что святость — это способность любить, истинно любить. Слово “любить”, во всяком случае по-французски, имеет очень изменчивые очертания, ему можно придать совершенно разные смыслы. Есть такие виды любви, которые очень примитивны, “прожорливы” — когда что-то хищно поедают. Есть люди, говорящие, что они любят ближнего, но при этом даже уважать его не умеют. Святой — это тот, кто освобождается от себя самого, от собственной роли. О ком можно сказать и словами Евангелия: верую, Господи, помоги моему неверию! — и словами апостола Павла: уже не я живу, но живет во мне Христос. В этом смысле святой — это тот, кто неотделим от Христа, но при этом становится совершенно уникальной личностью. Грех очень однообразен, он всегда повторяется, он монотонен. В то время как святой — это личность, которая всегда неожиданна, непредсказуема. В нем чувствуется новизна Святого Духа, может быть, даже фантазия Святого Духа. Так я определяю для себя святого. Он действительно создан по образу Бога, распят и преображен по образу Христа. Но он знает, что крест неотделим от воскресения. Это ему ведомо. В нем очень глубока радость. Но живущая в нем радость делает его еще более чувствительным к боли другого, и он способен взять на себя эту боль и, может быть, смягчить ее, утешить и научить других вкусу к жизни.

Я не знаю, так ли в России, но во Франции, как мне кажется, самый распространенный грех — это то, что у людей нет силы жить, мужества жить. Они очень часто впадают в уныние, они грустны. И святой это тот, кто открывает человеку, насколько он любим Богом, и возвращает ему смелость жить.

Когда я говорю о святости, я много думаю об Иоанне Крестителе, друге Жениха. Он говорил людям: вы думаете, что пришли ко мне, но вы пришли ко Христу. Это очень характерно для святых мужского пола. Женская святость больше связана с Богородицей. Но я думаю, что любая святая душа несет в себе образ Богородицы. Душа святого больше любой другой понимает, что Бог — самый гонимый, Он — изгой, и Ему нужно открыть дверь, дать возможность Его свету проникать в душу. И святой дает этому свету проникать в себя. И в этом свете все обретает подлинный смысл. Но об этом можно говорить очень много. Святость — единственная интересная вещь в мире.

— *Нет ли в том, что Вы говорили о святости, некоторой максимализации этого понятия, — ведь наверняка у Бога окажется больше святых, чем тех, кто подходит под данное Вами*

описание? И как соотносить такой важный элемент западной культуры, как традиция рыцарства, которая отсутствовала у нас, с темой мужской святости?

— То, что я сказал, конечно, касается предельной ситуации, и я сам очень часто повторяю: в мире гораздо больше святости, чем мы можем себе представить. Она способна приобретать неизвестные нам формы, может быть, даже странные. И поймем мы их только при втором пришествии Христа. Нельзя забывать, что для первых христиан каждый из них должен был, призван был быть святым. Все они были отделены от остального человечества, чтобы молиться о спасении мира. Это хорошо отражено в Литургии, когда перед причастием священник возглашает: “Святая святым!” То есть все, приступающие к Евхаристии, воспринимались в первые века как святые. Каждый, кто крещен, имеет печать Святого Духа и несет в себе образ Божий, что очень проявляется, когда люди по-доброму, легко и просто общаются друг с другом. Я часто использую такой образ: как женщины терпеливо чинят одежду, сшивая разорванные края, так ткань бытия, разрываемая грехом, соединяется множеством неизвестных людей, которые медленно, нить за нитью, соединяют своей добротой и любовью ткань мира. Можно сказать, что в каждом христианине есть некоторая гениальность, возможная, потенциальная гениальность. Очень часто она может выражаться в неожиданных и непривычных словах, жестах и поступках. В житиях отдельных подвижников мы читаем, что нередко их одолевала гордость, будто они — единственные истинные христиане, а все остальные, особенно живущие в миру, — погибшие души. Но с каждым из них случались истории, когда Бог показывал им людей, живших по-христиански в самых, казалось бы, суетных и греховных местах, что повергало подвижников в прах и смиряло.

Что касается рыцарства, то в русской традиции есть тип святости, напоминающий рыцарскую, — это святые князья, отдающие жизнь “за други своя”. Владимир Мономах, когда дает наставление своим детям, рисует перед ними настоящий образ рыцаря. Рыцарь — это тот, кто призван бороться. Я думаю, что сегодня должно быть создано рыцарство жизни. Должны появиться люди, у которых была бы глубокая духовная жизнь и которые были бы вовлечены в историю, в общественную жизнь, чтобы служить людям в свете творческой, созидательной любви.

— *Вы много раз встречались с мусульманами. Встречали ли Вы среди них людей, близких к святости?*

— Нет. Если быть точным, то нет. Я встречал среди них замечательных людей, очень справедливых, праведных. Но в них всегда было немного какой-то грусти. Думаю, что среди мусульман трудно найти радость, которая есть у святого христианина. Может быть, только у великих мистиков она была. Я вспоминаю об одной женщине-мусульманке, которая жила в VIII веке в Басре. Ее звали Раба. Она ходила по улицам, держа в одной руке горящий факел,

а в другой — ведро с водой. Когда ее спрашивали, зачем она это делает, она говорила: вода для того, чтобы залить пламя ада, а огонь — чтобы сжечь рай, потому что Бога надо любить ради Него самого. Эта история вошла в христианскую традицию Запада. У мыслителей VIII века можно тоже найти учение о такой чистой любви.

Когда я был в Ливане, в богословском университете в Баламане я познакомился с двумя преподавателями: мужем и женой. Он — социолог и православный, она — мусульманка и учитель французского. Она часто спрашивала меня: как вы думаете, для великих мистиков, будь они христиане или мусульмане, существует одна и та же духовная реальность? В ее вопросе я всегда чувствовал какое-то волнение, и мы говорили об этом.

В исламе, конкретном, жизненном исламе, существует большое почитание Иисуса Христа и Его Матери Марии. У меня был друг, румынский православный священник, который 14 лет провел в тюрьмах и лагерях. Как-то он сидел в камере с мусульманином. И однажды ночью этому священнику было видение Христа во свете. Утром он рассказал об этом своему соседу, и с этого дня тот стал относиться к нему с удивительной добротой и преданностью, потому что сам очень почитал Иисуса.

— *В чем, по Вашему мнению, причина постоянного конфликта христианства с исламом? Первая ассоциация при разговоре об исламе — это резня. Такая опасность, видимо, существует, и ее можно понять. Но как ее преодолеть?*

— У меня всегда было ощущение, что мусульмане с самого начала считали христиан идолопоклонниками, а себя воспринимали как призванных утверждать повсюду учение о трансцендентности и единстве Бога. В исламе есть очень большая упрощенность, и из-за нее мусульмане считают, что христианство сложно. Я думаю, что нам с ними нужно говорить на их языке, что делают например, некоторые богословы Антиохийского патриархата, в частности митрополит Георгий Ходр. Я говорил однажды с одним алжирцем, который преподает ислам во Франции, и он сказал, что часто читает работы Ходра и полностью с ним согласен, хотя сам не крещен и потому не участвует в таинствах. И таких людей немало. Страха перед исламом не должно быть. И нужно устраивать совместные встречи и обсуждать самые глубокие вопросы. Однажды у меня была встреча с мусульманскими интеллектуалами в Триполи, в Ливане. И нам всем было очевидно, что самая главная проблема, затрудняющая общение, — проблема справедливости в масштабе всей планеты, поскольку западные люди много говорят о правах человека, но далеки от того, чтобы применять их ко всем. Я думаю, нужно идти по этому пути.

— *Вы затронули очень важный вопрос — о простоте и сложности христианства. Мы сталкиваемся с той же проблемой у себя, потому что в наших храмах или интеллектуалы, или люди слишком простые. А большинство народа не вмещает*

христианство. Оно не удовлетворяется детской верой, но не может вместить и сложности христианства, особенно Православия, и, не принимая его, люди уходят в другие конфессии или религии, потому что там проще. А непонимание того, что это не внешняя, а внутренняя для Православия проблема, вылилось во многовековое невнимание к протестантизму и исламу, к тому, как организована там духовная практика. В апостольское время существовали явно разные формы устройства церковной жизни. И иногда задаешься вопросом: не является ли трагедией православия то, что выбрана, сохранена была лишь одна из тех форм, причем самая сложная? В то время как протестанты и мусульмане вернулись к синагогальному типу богослужения, в основу которого положены чтение Писания и проповедь на его тему.

— Это очень важная проблема. Поскольку православная традиция напрямую зависела от византийской, Литургия, в частности, оказалась настоящим археологическим памятником той эпохи. Мне кажется, наступило время, когда мы можем критиковать византийскую традицию. Существует живой организм, который всегда отбрасывает мертвую ткань и впитывает в себя из окружающего мира все подлинно живое. Я думаю, утверждение протестантов, что Церковь должна быть постоянно обновляема, реформируема, есть правильная формула. Потому что живая традиция Церкви — это жизнь Святого Духа. И Святой Дух — это постоянное обновление. Одновременно и постоянство, и творчество. Иначе получается, как с одним моим знакомым студентом из Парижского богословского института, который каждый день начинает с чтения бесконечных канонов святым данного дня и так устает, что потом с трудом понимает все то, ради чего он и пришел в институт.

Меня поразили один случай, который произошел три года назад, когда я сопровождал группу французских католиков в Румынию. Было среди нас и несколько православных. Однажды вечером, когда мы были в монастыре, там совершалась всенощная по всем правилам. И в одном из песнопений говорилось о ком-то, кто сокрушил зубы дракона. Я не мог понять, о ком это? И только через час я понял, что речь шла о Максиме Исповеднике, который “сокрушал зубы” еретикам своего времени.

Среди нас был один румын, преподаватель французского, очень образованный человек, который интересовался христианством. Так вот он *ничего* не понимал в богослужении *своей* Церкви. И потому, присутствуя на службе, был *далеко* от нее.

Чуть позже мы были в Карпатах и заехали в деревню, где был католический храм. Местный кюре совершал мессу. Служба была очень проста: он читал небольшой отрывок из Писания, а затем совершал евхаристический канон. И тот самый румын, несмотря на все канонические запрещения, причастился у католического священника — так привлекла его простота и ясность мессы. Тогда я сказал себе: смотри, вот так византийский обряд становится

проблемой. Еще отец Сергей Булгаков говорил, что византийский обряд — это большая губка, и если ее сжать, можно извлечь ценную живую влагу. Но нужно иметь смелость, чтобы взять эту губку и начать ее сжимать.

Нечто подобное я попытался сделать, когда переводил канон святого Андрея Критского. Я подробно изучал его, в нем есть библейская и евангельская глубина, но многое невозможно передать современным людям из-за сложного построения. И перевод стал своего рода толкованием: я многое упростил, желая сохранить главное, основу.

Я думаю, что сегодня мы призваны к тому, чтобы отделить в византийском обряде то, что отмечено Святым Духом, от вещей временных и второстепенных. И народ должен принимать участие в богослужении, Литургия должна быть творчеством всех людей в храме, а не спектаклем. Тем более, что в византийской Литургии кое-что осталось от культа императоров, и иногда возникает впечатление, что Крест — это не Крест, а императорский жезл, символ царской власти.

Мы должны упростить и прояснить богослужение, выявить самое главное, выделить основное место чтению Священного Писания — Слова Божьего — и его объяснению. Ведь современные люди часто не в состоянии понять Писание. Как правило, тексты из Писания объясняются текстами литургическими, которым подчас более тысячи лет. Но ведь первоначально шло постоянное обновление, изменение богослужебных текстов, которое, однако, остановилось в начале второго тысячелетия. Мы сегодня имеем свой собственный духовный опыт и должны вносить его в понимание Писания. Это возможно. И в XX веке были такие произведения. Но пока они остались за границей богослужения. Например, между двумя войнами в Почаеве (тогда в Польше) жил русский епископ, написавший акафист за умерших. Это великолепный текст, в который вошел опыт революции, гражданской войны, террора. Это великое литургическое произведение. А в Румынии после второй мировой войны, когда началось возрождение монашества, жил один великий поэт-монах. Он написал акафист иконе Божией Матери "Неопалимая Купина". Это текст совершенно традиционный, но в то же время чрезвычайно современный. Он тоже не вошел в богослужение.

Нужно находить возможности творить Литургию. Не нужно бояться иногда быть похожими на протестантов; протестанты — это как бы предупреждение, предостережение Церкви в том, что нельзя останавливаться. В православной традиции рядом с имперским, пышным направлением была и монашеская традиция. Нужно извлечь из обеих самое ценное и соединить в одно. Кроме того, в Православии есть и пророческое измерение Святого Духа, то, что я называю профетизмом таинств. Профетизм, не укорененный в таинствах, превращается в болтовню. А таинства, не вызывающие пророческого служения, вырождаются в обряд. Нужно вернуться к

сакраментальному профетизму, к питаемому таинствами и всем строем богослужения слову “увещания, назидания и утешения”. Именно так определял суть пророческого служения апостол Павел.

В Церкви можно практиковать разные формы богослужебной жизни, пробовать, искать. Только это дает жизнь. Если этого не делать, мы рискуем стать свидетелями превращения православных в протестантов и даже мусульман. Во Франции уже есть случаи обращения католиков в ислам. Причины — те же.

Человек приходит в мир, в котором нет вкуса к истине. И он чувствует себя потерянным и начинает искать какие-то рамки, границы, в которых легче, яснее жить. И когда он обращается в какую-то веру, он ищет руководства, учительства, как укрепиться в ней. И, наконец, усвоив начальные представления и правила жизни, начинает защищать и утверждать их как общеобязательные нормы. На языке аскетики это означает, что люди становятся законниками после крещения, забывая, что закон — только педагог, детоводитель к любви и свободе. Человек выходит из хаоса, и ему хочется какой-то строгости, закрытости, но постепенно он ведь должен возрастать и идти к свободе. И задача Церкви показывать, что настоящая свобода ответственна и созидательна, что насилие — это не путь духа.

— *Значит, движение к фундаментализму, для которого характерно буквалистское, антиисторичное утверждение определенных положений веры как общеобязательных и “вечных”, — это движение нужно понимать как внутреннюю ситуацию, через которую обязательно проходит верующий человек? Или это не так? У Вас, например, было искушение подобного рода?*

— У меня действительно был период закрытости, хотя сам фундаментализм никогда не был для меня искушением. Люди, которые меня учили — Владимир Лосский, отец Софроний и другие, — не были фундаменталистами, равно как и отцы Церкви. Понимать все, что написано и сказано, в буквальном смысле — огромная глупость. И это происходит, когда забывают, что “буква убивает, а дух животворит”, если вспомнить слова апостола Павла. А отцы Церкви против фарисеев и законников уже христианского времени говорили: разбей букву, чтобы извлечь, обрести дух. И в конце концов — к закрытости ведет страх. Люди, в которых живет глубинный страх, становятся фундаменталистами. И страх порождает определенный вид магии: идею того, что люди спасаются с помощью правильного жеста, правильной буквы фразы, как с помощью механизма.

Здесь действует еще и желание быть *отделенным*. При этом вспоминают слова Христа о малом стаде и относят их к себе. Такого рода люди обязательно хотят иметь козла отпущения. Это направление всегда — *против*: против католиков, протестантов, мусульман, иудеев. И против *других православных*, если они иначе живут, хотя различия могут касаться вещей очень второстепенных. Ведь

при таком подходе границы Православия совпадают с твоими. В основе такого поведения лежит страх, тревога. Когда мы живем Воскресением, нет больше ни смерти, ни страха. Но когда в нас живет смерть и страх смерти, обязательно надо иметь врага, на которого можно указать пальцем и сказать: он виноват в нашем страхе и тревоге. Важно не превращать Православие в “Православие ненависти”, а наполнять его любовью. Истина не есть система, идеология. Истина — не что, а Кто — это Христос. И в конечном счете, это наш ближний.

— *Сегодня у нас есть два отношения к западным конфессиям. Одно реализуется в экуменическом контакте, в поисках единства; другое направлено на обращение инославных в Православие. Что ближе Вам: обращать в Православие или вести диалог?*

— У меня нет простого ответа. Конечно, главная задача — призывать другого найти его собственный корень в неразделенной Церкви. Когда, например, хотят вырыть новый колодец, зовут человека, умеющего с помощью эхолота определять, в каком месте есть вода и на какой глубине. Православные должны быть именно такими людьми, умеющими определять, где и на какой глубине в данном случае можно обрести неразделенную Церковь. Отношение католицизма, например, к Православию — не чисто внешнее: отцы Церкви, литургическое наследство у нас общие, принадлежат всему христианству. Когда я встречаю католика, который интересуется Православием, я призываю его стать католиком той неразделенной Церкви, жить в той реальности, которая общая для нас. Но бывают ситуации, когда видно, что человек должен стать православным, он этого горячо желает, готовится к этому. Тогда ему нужно дать испытательный срок и затем с радостью принять в Православную Церковь. Но с одним условием: не презирать свое бывшее католичество или протестантизм. Я вспоминаю об одной женщине русского происхождения, которая сначала стала во Франции католичкой. Затем она нашла себе православных друзей и решила вернуться в Православие. Ее принимал в Православную Церковь отец Василий Зеньковский, и он сказал ей: прошу вас лишь о том, чтобы у вас не было плохих чувств по отношению к Католической Церкви и чтобы вы ничего плохого о ней не говорили. Эта женщина в прошлом была служанкой католического священника, многое видела изнутри и описала свой довольно тяжелый опыт в книге. И отец Василий отсоветовал публиковать эту книгу. Я думаю, это правильная позиция.

— *Сегодня многие возбужденно обсуждают тему конца света, вспоминают пророчества разных святых о последних временах. Чем Вы это объясняете?*

— Я думаю, что существует внутриисторический апокалипсис, который не является концом всей истории, но завершением какого-то определенного этапа, эпохи, в некотором смысле целого мира. О конце света думали и при разрушении Иерусалима в I веке, и когда кончалось первое тысячелетие от Рождества Христова, и когда

турки захватывали Константинополь в 1453 году. Об этом думали и во время Реформации, и при вторжении турок в Европу в XVI веке. Нужно понимать, что конец какого-то мира — еще не конец всего. Когда больше не понимают истории, не могут ощутить себя и своего места в истории, начинают говорить: все пропало, все плохо, это — конец всего. Можно сказать, что такое поведение — рефлекс старости, старческого ожидания конца. В то время как апокалипсис — это откровение, вот главный смысл слова. Книга “Апокалипсис” может быть понята только как определенный жанр: в любом случае очевидно, что это не исторический рассказ. Это как бы тайнопись, зашифрованное послание, направленное тем, у кого есть ключ к пониманию. Апокалипсис позволяет без конца расшифровывать историю. А “последние времена” наступили уже сразу после откровения Святой Троицы, после Пятидесятницы... Мы всегда живем в последние времена, потому что Царствие Божие приближается, готовится. Сегодня происходит не больше, но и не меньше, чем тысячу лет назад. И мы не должны быть пассивными, потому что пришествие Царства зависит от нас, мы предчувствуем и предвараем его пришествие в Литургии. Мы все время подготавливаем какие-то этапы пути. Но иногда нужны остановки, когда наступает период покоя, справедливости, красоты. Так меняются эпохи. Все это вместе — путь борьбы и творчества. Бердяев очень хорошо говорил о том, что каждый раз, когда мы совершаем творческий акт, свет творения врывается во тьму мира. Это может быть утверждение истины, откровения красоты, подвиг монаха, любовь и забота матери о детях — все что угодно. Василий Розанов говорил, что иногда нет ничего более апокалипсичного, чем улыбка матери своему ребенку.

— *Церковная ситуация долгое время была такова, что люди в качестве собственно церковного пути выбирали монашески-аскетическую или приходскую жизнь. Человеческая активность вне стен храма оставалась в стороне, без внимания. Если даже сегодня спрашивать священников, что нужно делать, чтобы спастись, большинство ответит: постись и молись. И все, что мешает посту и молитве, должно быть отсечено. Что в таком случае можно сказать человеку, который пытается найти христианское осмысление всего того, что остается за пределами богослужения, вне храма?*

— Я думаю, что в основе того, о чем вы сказали, лежит ложное противопоставление. Настоящие пост и молитва меняют отношение к вещам и миру и должны укреплять творческое отношение ко всей жизни. Правильный пост не может оставлять человека равнодушным, скажем, к проблемам экологии или к голоду миллионов людей в мире. Пост, воздержание должны объять отношение человека ко всей цивилизации. В богатых странах, например, необходим добровольный отказ от того, чем можно и нужно поделиться с бедными странами. Что касается молитвы: если я молюсь, это значит, что я должен понять, пережить другого изнутри — как личность с ее

свободным самоопределением. А это создает гражданское отношение к обществу и движет на борьбу за правовое государство, за политику, осуществляющую уважительное отношение к каждой личности. Если подобного не происходит, то пост и молитва ничего не значат. Приобщаться вместе с другими Тела и Крови Христа означает разделять с ними всю их жизнь. Потому нам необходима творческая духовность. И чем больше мы проникаем в тайну Господа, тем очевиднее Он направляет нас на любовь к ближнему, к нашей ответственности за культуру, политику, общество. Я думаю, что самое гениальное, что было у русских философов первой половины нашего века, это то, что они взяли из монашеской практики тему преобразования человека и приложили ее к сферам культуры, общества, истории, чтобы показать, как реализуется в христианстве возможность преобразования культуры и истории, что нет между ними противопоставления, противоречия. Люди сегодня пытаются открыть, обрести духовный смысл эроса, духовный смысл космоса. Все это можно найти в христианстве. В духовной практике монахов, занимающихся Иисусовой молитвой, есть этап, связанный с созерцанием природы. Человек учится удивляться, восхищаться красотой мира, заново обретает вкус к жизни. И это путь к Богу. Когда я был молод, я познакомился с Мартином Бубером.* Он сказал как-то: поститься — это очень хорошо, но есть — нечто святое. Если вкушать пищу с благодарением Богу — это настоящее богослужение.

— *Мартин Бубер прошел очень сложный путь: от увлечения сионизмом и участия в национально-политическом движении до хасидизма, защиты арабов и углубления в библейскую традицию, что заставило его обратиться к сравнительному анализу христианства и иудаизма. Как Вы думаете, если такой вопрос вообще возможен, почему Бубер не встретил Христа?*

— Прежде всего нужно попытаться понять Бубера. Весь его путь — это поиск любви, которая для нас обрела лицо. Это лицо нашего Господа. У Бубера было очень глубокое чувство принадлежности к еврейскому народу. Слишком часто евреи видели в христианах своих гонителей, что действительно, к сожалению, бывало в истории. Бубер наивно полагал, что немцы, создавшие лагеря смерти для евреев, были христиане. Во всяком случае, они были крещены. Трагедия в том, что в сознании Бубера христиане в истории как бы встали между Христом и еврейским народом. Сейчас некоторые еврейские интеллектуалы вновь открывают для себя Христа, и даже в Израиле появляются евреи, принимающие Иисуса как Мессию. Но они не знают традиции Церкви, что создает много проблем.

* Мартин Бубер (1878-1965) — еврейский религиозный философ и писатель. Главная идея философии Бубера — бытие как экзистенциальный диалог между Богом и человеком.

— В завершении разговора вопрос несколько личного характера. Назовите, если возможно, людей, чье творчество в области музыки, литературы, живописи, философии и богословия оказалось для Вас наиболее важным и значимым?

— Из композиторов — Верди, хотя я очень люблю народную музыку. Поэт — Рильке. Писатель — наверное, Достоевский. Среди иконописцев — Феофан Грек, художников — Ван Гог. Из богословов и философов — Максим Исповедник и Плотин.

— Как Вы относитесь к тому, что происходит в России?

— В XX веке Россия дала миру множество мучеников и исповедников, которые всегда воспринимались в Церкви как семя христианства. Но плода пока еще нет. Сейчас в России большие перемены и колебания, но я жду возрождения силы христианства в вашей стране. Можно сказать, что Евангелие в России ушло в подсознание людей, а осуществить его в общественной жизни — задача будущего.

Перевод З.Световой.

Подготовил к публикации К.Троицкий.

СОБЕСЕДОВАНИЕ О ЦЕРКВИ И СВЯЩЕННИКАХ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Митрополит Сурожский АНТОНИЙ (Андрей Борисович Блум) — родился в 1914 году в Лозанне в семье русского дипломата.

В годы первой мировой войны семья жила в Персии, где отец занимал пост консула России. После 1917 года Блумы переезжают в Париж.

В 1939 Андрей Блум заканчивает Сорбонну — биологический и медицинский факультеты. И в этом же году тайно принимает монашеские обеты. Во время второй мировой войны он участвует в движении Сопротивления.

В 1948 году был рукоположен в иеромонаха и направлен на служение в Лондон. С 1957 года — епископ Русской Православной Церкви. В настоящее время митрополит Антоний — правящий архиерей Московского Патриарха на островах Великобритании.

Автор множества книг, переведенных на все европейские (и не только европейские) языки, выдающийся пастырь и авторитетный богослов современного Православия — митрополит Антоний в своей проповеднической работе часто обращается к форме беседы, серьезного и откровенного диалога.

Мы публикуем одну из таких бесед владыки Антония.

— *В какой мере верующему человеку нужна конкретная организация для того, чтобы удовлетворить свою потребность общения с Богом?*

— *Если бы дело было только в общении с Богом, не нужна была бы никакая организация, потому что Бог ближе человеку, чем даже его собственное сознание. Человек коренится в Боге, поэтому для общения с Ним нужна живая душа, способная предстоять Живому Богу и с Ним общаться — будь то в молитве, будь то в созерцании. Но есть другая сторона: Бог не есть только мой Бог, Он — Бог всех. Это одно из самых потрясающих открытий, которые я сделал, когда впервые прочел Евангелие. В тот момент люди мне казались враждебными, чуждыми. И вдруг из Евангелия я обнаружил, что всех их создал, призвал к бытию Бог, что все они для Него — дети, свои, родные, — даже те, которые казались мне самыми чудовищными и неприемлемыми. Вдруг оказалось, что я не живу в одиночку, даже в одиночку с Богом, Которого только-только открыл. Оказа-*

лось: *потому что* я открыл Бога — открывается передо мной и целый мир людей. И тут, не говоря сразу об организации, начинается нечто особое. Жизнь с Богом, общение с Ним предполагают и определенное отношение к людям вокруг нас. Один западный проповедник XVII-XVIII веков говорит: христианин — это человек, которому Бог поручил других людей... Обнаруживаешь, что другие люди существуют не только как неприятная необходимость или предмет страха или отвращения, а существуют как объект любви, живого интереса. Сами они оказываются в таком же положении, и общение с Богом неминуемо выливается во встречу с людьми.

Это открытие может произойти индивидуально, но может оказаться и собирательным, то есть люди, верующие в одного Бога, могут молиться вместе, выражая свою общую любовь к Богу, а также и какое-то взаимное отношение перед Богом, вместе с Ним. И здесь почти неминуемо начинается какая-то организованность, какой-то строй, молитвенный строй, какая-то гармония в отличие от просто беспорядка. Какие-то люди выделяются своим знанием Бога, своим чутьем (чуткостью) по отношению к другим, и начинается зачаточное то, что потом вылилось в церковную жизнь. Но когда я говорю о церковной жизни, я не обязательно говорю о той форме, в какой мы ее имеем теперь и которая в значительной мере является окаменелостью, сужением этой жизни: я говорю именно о просторной, полноводной жизни, где есть и строй, структура, где есть люди говорящие и есть люди слушающие — не обязательно пассивно, а отдавая говорящему целый мир своего богатства.

— *Но очень часто фактически получается, что есть группа верующих, молящихся и есть какой-то человек, “профессионал” религии. Получается так: не мы выдвигаем из рядов группы верующих кого-то, кто действительно ближе нас к Богу и больше знаком с духовной жизнью, а просто кто-то становится священником, выбирает такую “профессию”?*

— Это правда и, я бы сказал, это несчастье наше. Как это случилось — понятно; но думаю, всем очевидно, что это несчастье, даже для тех, кого мы зовем профессионалами, чиновниками церковными, потому что мы, “церковные чиновники”, представители Церкви как организации, тоже имеем душу и тоже что-то переживаем. И вот здесь, мне кажется, нам надо найти (и это очень нелегко) какой-то путь.

В самом начале было так, как теперь в некоторых странах, например в Греции: приходы маленькие, разделенные горами, хребтами, и приходилось иметь очень большое количество священников на относительно небольшое количество верующих, потому что через горный хребет невозможно пройти человеку, который слишком молод или слишком стар. Тогда выбирали из среды этих же людей человека чистой жизни, умного, верующего, благоговейного; от него не ожидали ничего сверхъестественного, кроме того, чтобы он чистотой жизни, мудростью, которую он приобрел через опыт

той же самой жизни, совершением таинств питал бы народ; и от него не ожидали никакой особенной проповеди. Из центра, из епархиального архиерейского дома каждое воскресенье высылали проповедника. Причем делалось это очень интересно. В начале недели местный епископ собирал людей, которые способны говорить о Боге — из опыта и с проверенным знанием. Это мог быть глава местной власти, доктор, аптекарь, просто какой-нибудь образованный человек; им давалось задание: продумать евангельское чтение наступающей недели и написать проповедь. Эта проповедь представлялась епископу, который, если усматривал какие-то недочеты, давал свои указания. А в воскресенье все уходило по приходам и читали свою проповедь. Для более углубленного духовного руководства опять-таки из центра посылались люди, духовно опытные. Они обходили эти приходы и деревни, останавливаясь на некоторое время, встречались с людьми, у которых есть вопросы, проблемы. И в этом было что-то очень органическое.

У нас другая проблема. В целом мы от священника, кроме чистоты жизни, благоговения и т.д., ожидаем образованности в области богословия и не только в ней. Потому что в больших городах Западной Европы и во всем восточноевропейском мире верующий должен встречаться с людьми инакомыслящими и обладать достаточным образованием, достаточным пониманием вещей, достаточной духовностью, но вместе с этим и достаточным богословским образованием, чтобы быть в состоянии о своей вере говорить разумно, понятно, с глубиной и убедительно.

В результате у нас все вылилось в систему, при которой молодой человек, стремящийся к священству, получает образование и потом посылается туда, где он нужен. Но там он может оказаться чужим человеком: он *не* родился в этой среде, он *не* оттуда вышел. И мне кажется, что нам надо добиваться чего-то иного. В Англии за последние двадцать с небольшим лет, что я нахожусь здесь, я старался осуществить именно какое-то равновесие между образованностью и укорененностью в почву. Скажем: все молодые священники, которые у нас есть, и почти все священники из нашего прихода или из провинции прошли университет, затем начали чувствовать в себе призвание заботиться во имя Божие о людях, призвание, которое можно выразить уже приведенными словами, что христианин — это человек, которому Бог других людей поручил. Ради этого они под моим руководством и под руководством других людей начали изучать православную веру, Священное Писание, творения святых отцов, вообще все то, что относится к вере. И я до сих пор не рукоположил *никого*, кроме тех, кого сами люди сначала захотели иметь священником. Я себе положил правилом ждать момента, когда кто-нибудь мне скажет: почему вы Сережу — или Мишу, или другого кого — не делаете священником? У нас всех к нему такое доверие, что мы хотели бы у него исповедоваться... В момент, когда я слышу, что у того или другого

хотят исповедоваться, я знаю, что он *готов* и что люди готовы; из него можно сделать священника, то есть человека, который на себя берет других людей. Но это можно делать, к сожалению, только в исключительных обстоятельствах нашей жизни: у нас здесь относительно немногочисленная русская эмиграция, у нас довольно высокий культурный уровень, у нас *есть* молодые люди, желающие стать священниками, и у нас здесь такая обстановка, что *невозможно* стать пленником каких-то церковных структур, организационной жизни, потому что каждый священник живет в очень непохожей на другие города среде, и каждый должен по-своему отвечать на встающие перед ним вопросы.

Но что делать с теми, кто прошел через богословскую школу? Их не всегда можно послать в приход, где они выросли и откуда появились, потому что некоторые приходы дали много кандидатов, другие не могли этого сделать... Тут начинается проблема священника, который в какой-то мере — чужой человек, пока не привьется.

— *С одной стороны, священник — духовный руководитель, с другой стороны — все-таки представитель организации. Как ни огорчайся тем, что Церковь в организационном смысле как бы окаменела, как ни радуйся, что есть такие случаи, как в Греции или в Англии, все-таки священник в большинстве случаев и в большинстве стран является только что не чиновником своей церковной организации. А ведь кроме того, что он исповедует и причащает людей, окормляет их церковными таинствами, у него есть и другие задачи. В чем заключаются задачи священника?*

— Мне кажется, что тут два вопроса. Пока мы будем воображать, что церковная организация, структура играет ту большую роль, которую мы ей придаем, священнику в этой структуре будет тесно и трудно. Надо ставить вопрос об этой структуре. Я сейчас *вовсе* не говорю, что не должно быть епископов, священников или диаконов, что не должно быть церковного строя; но есть канцелярский строй и есть церковный строй, и это разные вещи. И мне кажется, что жизнь — *Слава Богу!* — разбивает канцелярский строй для того, чтобы выпустить на свободу подлинно церковный строй. Это — первое.

Затем: в промежуточной стадии церковного обновления, в которой мы находимся (не в смысле обновленческой Церкви, а в смысле *новой* жизни, то есть притока древней, исконной жизни в современность), нам надо считаться с тем, что структуры эти есть; что хотя и миряне, и священники, и епископы все больше и больше сознают их относительность, их *служебное*, а не основное значение, надо как-то постепенно в их рамках расти, если можно так выразиться, как цыпленок растет в яйце, пока не вылупится. Но слишком рано разбивать яйцо — тоже бессмысленно. Мне кажется, священнику должна быть дана большая свобода при *очень* глубоком общении его с другими священниками и с его епископом. Должно быть такое равновесие, при котором священник не является только

чиновником, выполняющим какие-то задания, а было бы общение, где люди могут делиться опытом, где старший может просто свой опыт предоставить другим, не заставляя их принять его, не навязывая его, не делая из него какое-то административно-канцелярское обязательство, а, наоборот, вызывая к жизни — не “самодетельность” (потому что это слово несколько легкомысленное), а творческую, вдумчивую деятельность.

В чем я вижу *свою* задачу, сначала как священника и затем как епископа? Во-первых, я нашел веру не через Церковь, не через организацию церковную, а непосредственно от Бога и от Евангелия. И поэтому я глубоко верю, что первое, о чем священник должен заботиться, это о своей вкорененности в молитву, в общение с Богом. Священник должен постепенно углубляться в понимание евангельского слова, евангельского свидетельства, евангельской проповеди, и это живое слово Самого Бога проповедовать: то есть, во-первых, знакомить людей с этим словом, а во-вторых, доводить до их сознания его жизненность, его глубину, его творческую силу. Начинается все с того, чтобы услышать слово Божие и произнести это слово. Как говорил апостол Павел: *Горе мне, если я не проповедую* (I Кор.9,16) и еще: *Я послан проповедовать, а не крестить* (I Кор.1,17). В каком-то отношении я мог бы сказать тоже: “Горе мне, если я не проповедую!..” Я не могу не говорить о Боге просто потому, что для меня встреча с Богом была такой значительной, это было для меня началом жизни после целого периода внутренней смерти в отчаянии, в бессмыслице. В какой-то мере я чувствую, что моя задача — именно живое слово, что другие формы церковной деятельности для меня менее значительны.

Второе (это, может быть, несколько противоречит тому, что я сейчас сказал): я чувствую, что правду Божию нельзя ни передать, ни привить одним *словом*, только речью. Порой, когда говоришь слова Христовы, они с такой силой бьют в душу, так глубоко пронизывают ее, что, почти *не смотря на вас*, они действенны, ибо эти слова действительно *жизнь*. Но кроме этого, жизнь Божия может быть дана, внедрена в человека, который ее хочет, который ее ищет, который ей открывается через церковные таинства. Потому что таинства — это не какие-то магические или просто образные действия. Таинства — это действия Самого Бога, через которые Он (правда, при соучастии людей, употребляя тварное вещество этого мира) доносит до нас Свою Божественную жизнь, вкладывает ее в нас, так что мы ее имеем в себе в большей полноте, чем сознаем это; мы уже пронизаны этой жизнью до того, как мы ее осознаем. И центральный момент христианской педагогики, мне кажется, в том, чтобы ребенку, юноше, взрослому человеку, все равно, дать самую Божественную жизнь через животворное слово и животворные таинства. А потом ему помочь осознать то, что он получил, то, чем он уже обладает, и раскрыть всю глубину и весь объем этого опыта Божественной жизни.

И тут третья задача священника: духовное руководство, просвещение всех, кто ему Богом поручен, причем духовное руководство вовсе не означает, что он выше других, умнее других и “куда-то” их ведет. Путь один — это Христос, и нет такого пути, по которому священник может вывести человека за руку, стадия за стадией, “куда-то”. Все, что он может сделать, это помочь человеку войти внутрь себя самого и там научиться смотреть, видеть, открывать те глубины Божии, которые в нем есть. Руководство не заключается в том, чтобы навязывать взгляды или что бы то ни было, а научить человека самостоятельно и творчески осмысливать и осуществлять жизнь, которая в нем есть.

Наряду с этим священник, конечно, встречается с трагедиями жизни, с проблемами жизни, он может в этом помочь настолько, насколько у него есть опыта. Но, может быть, больше, чем из своего опыта, он должен научиться помогать своей благоговейной, скромной любовью: благоговейной по отношению к человеку, скромной в том смысле, что он *не должен* вторгаться в чужую жизнь, а стоять как слуга — доверчиво, с почтением, готовый услужить, не навязывая себя. И любовь должна быть, то есть такое чувство, которое позволяет священнику забыть себя, потому что другой человек для него гораздо важнее и значительнее. Вот что мне кажется основным в священнике.

Если вы спросите меня, как я себе представляю свою роль как епископа, отвечу: я старше тех священников, которые у меня служат, — возрастом, рукоположением, временем, с какого вступил на этот путь. До того, как я стал священником, у меня была довольно длинная жизнь. Я жил в миру, был врачом, участвовал в войне, у меня есть какой-то кругозор, которого у них, возможно, не хватает — по молодости, по обстоятельствам, из-за того, что все мы разные. И вот пришли ко мне однажды мои молодые священники и сказали: ты нас подготовил к священству, ты нам дал священство, а теперь поделись с нами твоим опытом... Мы собираемся раз в месяц и делимся всем опытом жизни, какой у нас есть, по поводу конкретных проблем, встающих то у одного, то у другого. И моя роль, мне кажется, — роль человека более опытного, более, может быть, успокоенного (хотя у меня огонь не погас еще), который видел и слышал больше, который может собрать этих молодых людей и их научить вместе думать, вместе жить, вместе творчески углубляться в пути Божии и в пути человеческие. Но ни в каком случае не навязывать им каких-то своих, суживающих их сознание путей.

Вы можете сказать, что административно жизнь от этого, вероятно, страдает. Нет, не страдает, потому что административная жизнь заключается в том, чтобы создать строй, стройность, гармонию, единодушие и творческую силу высвободить, а вовсе не вгонять в какие-то рамки.

Вот и все, что я могу сказать об этом. Что касается до внешней, структурной администрации, мне кажется, что при взаимном понимании, при творческом сотрудничестве она сама собой заме-

няется чем-то гораздо более значительным: силой, действием, веянием Святого Духа и следованием по пути, который есть Сам Христос, а не по какой-то дорожке, которая ведет куда-то, большей частью в лес...

— *Вы говорите как бы об идеале священника, о том, каким бы Вам хотелось видеть священника, о том, как Вы сами работаете, как работают люди, сотрудничающие с Вами, — но идеальных священников не так много, как хотелось бы. И даже если хороших священников — большинство, то все-таки есть и плохие. В какой мере должны мы доверяться людям, которые носят священнический сан, даже в тех случаях, когда их поведение — моральное, нравственное, политическое — нам кажется несоответствующим этому сану, когда оно смущает приход?*

— Это очень трудный вопрос, на который нельзя ответить одной фразой. Во-первых, есть люди, которые умеют разграничить в себе разные области. Есть, например, люди, к кому можно обратиться с вопросом, и хотя у них есть личные убеждения, но они способны сказать: вот мои убеждения, однако я думаю, что вы должны поступить иначе. Они способны на это, иногда создавая опасность для себя, направляя человека по пути, который только усложнит им самим жизнь. Есть люди достаточно великодушные, достаточно справедливые, достаточно смелые для этого. Такому человеку, если даже у нас есть глубокие расхождения с ним в его путях, можно доверяться.

Есть другой тип: человек, у которого есть нравственные слабости, ставящие под вопрос его священническую личность... Это несчастье, которого не должно бы быть, в древней Церкви люди относились друг к другу с большей любовью и с гораздо большей строгостью, чем теперь. У нас сейчас любви меньше, чем было в века гонений, а строгости тоже меньше — как будто притупилось какое-то чутье. В древности были поступки, установки, которые просто сами по себе лишали человека права продолжать быть священником или становиться священником. И мне кажется, что нам надо было бы вернуться к более строгой оценке. Трудность возникает такая: для того чтобы произвести строгий суд, церковное общество должно само очень строго к себе относиться. Человеку стыдно бросить камень в другого, потому что он знает, что этот камень попадет в его собственную совесть. И вот здесь христианское общество должно переродиться, вырасти само в меру Евангелия, и тогда начать производить гораздо более разборчивый суд над своими служителями — потому что церковный чиновник, или, просто говоря, священник, есть *служитель* и Церкви, и Бога, а не служитель “культа” как такового.

Дальше, что касается до нашего теперешнего положения: есть установки людей, которые поступают нехорошо, жизнь которых является позором для Церкви, которые кладут хулу на Самого Бога и на Христа своей жизнью, своим поведением. Такие должны были бы *исключаться* судом церковным и судом своей совести. Я знаю

людей, которые *один раз* совершили преступление против того или другого основного церковного закона и никогда больше не служили, отказавшись от своего священства, потому что *знали*, что перед Богом они *не могут* больше предстоять в священном сане.

Есть, однако, еще один тип человека, к которому, по-моему, русский верующий относится с гораздо большим пониманием. Это человек, который, правда, по слабости, по сломенности, живет не в уровень своего призвания или, скажем просто: недостойно своего призвания, но который несет в себе такое чувство покаяния, такое совмещение ужаса перед собой и трепета перед Богом, что *можно* к нему пойти. Это встретилось в моем опыте. Какое-то время я ходил на исповедь к священнику, который отчаянно пил. Я тогда не знал, почему это с ним случилось, но у меня выбора не было. Позже я узнал, почему он начал пить, и стал относиться к нему с еще большим уважением, несмотря на его поведение. У этого человека на глазах погибли его жена и дети, он ничего не мог сделать, чтобы их спасти. И запил. Конечно, можно сказать, что если бы он был достоин своего призвания, он никогда бы этого не сделал и, как Иов, сказал бы: Господь их дал, Господь и взял обратно... Но этого нельзя требовать так легко от каждого... И я испытал при встрече с ним, что этот человек, *потому что* он перед Богом предстоял *в ужасе* о себе и с изумительным благоговением перед Богом, мог слушать мою исповедь, плакать надо мной — не пьяными слезами, а слезами истинного сострадания — и мог мне сказать: ты знаешь, какой я человек, ты же понимаешь, что я не имею права тебе давать совет, и, однако, слово Божие остается истинным даже в моих устах, и вот что говорит Христос, вот что говорит церковное предание... Это сочетание падения человека с изумительным смирением, из которого у него вырастало никогда — ни до, ни после — не встреченное мною сострадание, мне дало возможность у него исповедоваться и с благоговением целовать благословляющую руку. Это другого рода проблема.

Но, конечно, основная, центральная проблема в наше время — это священники, которые, забывая, что их призвание — строить Царство Божие, то есть строить внутреннюю жизнь людей, открывать им Бога, развешать перед ними новое, *Божие* видение мира, углубляются в современный нам мир и вместо того, чтобы вносить в него Божию правду и провозглашать в нем Божий суд, с ним так переплетаются, что уже принадлежат миру, а не Царству. Есть люди, которые в своей общественной деятельности заняли такое одностороннее положение, что их стояние в том, что, по их мнению, является правдой, делает невозможным для многих подойти к ним, потому что их суждение *не* из Евангелия, *не* от Бога, а от предвзятых, уже земных предпосылок.

Еще хуже, когда духовенство оказывается в плену политической деятельности, когда человек *не* уверен, что, подойдя к священнику, найдет в нем понимание, потому что они стоят на двух полюсах какого-то политического мировоззрения или исторического видения

вещей. Вот тут, мне кажется, мы должны относиться с большой зоркостью и *не* давать человеку, призвание которого — нас вести от земли на Небо, в глубины бытия, стать на нашем пути и нам закрыть этот путь. Христос в 23-й главе Евангелия от Матфея говорил, когда Ему поставили этот вопрос: на седалище Моисееве сели книжники и фарисеи; по делам их не творите; потому что они запирают путь в Царство Божие. Тем не менее Христос призывал Своих современников прислушиваться к их словам, когда они говорят от Бога. Но личное доверие, конечно, подрывается, и иногда чувствуешь, что *нельзя* с открытой душой пойти к тому или другому, потому что он закрыл верующему путь к Богу — и это преступление перед Богом.

— *А если другого священника нет, если не к кому пойти?*

— Тогда, я думаю, надо, обращаясь к священнику, обращаться к той его стороне, которую *никаким образом* земля не может запятнать. Священник, совершающий Литургию, совершает ее не своей силой, не своей личностью: *единственный* совершитель таинств — Сам Христос, единственная сила, сотворяющая таинство, — Святой Дух. Священник стоит от имени Церкви, от имени всей земли и подносит Богу хлеб, вино и говорит: возьми, освяти и верни их нам, — и *эти* руки, *этот* голос и *этот* человек играют такую второстепенную роль, что *можно* пройти мимо его личности. Труднее с исповедью, где могут возникать вопросы нравственные и где может встать вопрос доверия к человеку: честен ли он? Могу ли я открыться ему без страха — скажем прямо: предательства?.. Несколько раз мне пришлось встречаться с этим вопросом, и мой ответ был тогда: исповедуйся, но пожалей и его, и твою совесть, не ставь его перед проблемой, которую он бессилен понести, говори о том, что не может его вовлечь в грех. В остальном — стань перед Богом и скажи: Господи! Я не мог иначе поступить... И верь, что Бог, который слушает исповедь, прощает, разрешает, исцеляет не только то, что ты сказал, а все то, что ты Ему в душе принес, и не только то, что ты сам сумел осознать, но и то, что ты осознать сам не можешь.

— *Чем должна стать Церковь для рядового верующего, — не для священника, а для простого мирянина?*

— Мне кажется, что Церковь — это место, где люди могут выразить свою связь с Богом вместе — в порядке общей веры, общей молитвы, сознания, что они едины, что они составляют один живой организм, как бы одну личность во множестве лиц. Это первое. Осознание, что мы можем говорить с Богом не “Ты и я”, а вместе сказать: “Отче *наш*”, охватив и других людей чувством любви, чувством уважения и еще, может быть, очень сильным и важным чувством взаимной ответственности. Ведь если бы мы все были людьми замечательными, выдающимися, не представляющими никогда проблемы друг для друга, такая совместность была бы просто гармонией, радостью, чем-то вроде музыкальной симфонии. Но в нашей совместности есть трагический момент, потому что мы

все друг для друга трудны. Трудны, потому что мы не одного уровня духовного, трудны, потому что мы в состоянии борения и борьбы, которую несем ради того, чтобы вырасти в полную меру своей личности, то есть стать самими собой до предела, какими Бог нас задумал и какими мы хотим стать. В этом процессе мы переходим не только от победы к победе, но часто от поражения к поражению. У нас бывают взлеты, бывают и провалы, у нас бывают моменты, когда мы себе и другим делаемся невыносимы.

В этой церковной совместности есть очень ценный для меня момент — это принятие другого не тогда, когда все хорошо, а когда все плохо. Апостол Павел это определял: *Друг друга тяготы носите*, и прибавлял: *И так вы исполните закон Христов* (Гал.6,2). Вот эта готовность не только дорогого, любимого, знакомого, но *всякого*, кто вдруг тут окажется, воспринять, принять как своего брата, готовность понести всю тяжесть его личности, всю неустойчивость его, всю трагедию его становления, все его житейские и духовные трудности, мне кажется, представляет сердцевину церковной жизни.

Церковная жизнь — не праздник в этом смысле. Она является праздником, только если понять, что два человека, или сто, или тысяча человек, которые берут на свои плечи взаимные тяжести, взаимные трагедии, действительно вступают в пир любви, в чудо любви, в такое взаимное отношение, что самое мучительное вдруг оказывается осмысленным, значительным, таким, что *можно* это нести, потому что оно делается вместе и с вдохновением. В этом отношении Церковь для каждого из нас может иметь двоякое значение. С одной стороны, она меня несет, как поток несет щепку, с другой стороны, я сознаю, что я не только щепка, которую уносит поток, но что я тоже кого-то несу на плечах, даже человека, о котором я мало что знаю или ничего не знаю. Всем нам знакомо, какое значение имеет, например, взгляд, который на нас как будто случайно бросил другой человек: он меня увидел, он в моих глазах прочел горе или смятение и улыбнулся, — это уже много.

И вот в этом чуде, которое, конечно, не является только специфически церковным, но которое в Церкви совершается не стихийно, а сознательно, в силу целостного мировоззрения, мне кажется, и есть значение Церкви для всякого человека.

Кроме того, конечно, есть и другое. Во-первых, Церковь меня *учит*, и Церковь *должна* учить, причем когда я говорю “Церковь”, я не говорю о духовенстве, я говорю о *совокупности верующих*. И если говорить об учительстве и об учителях, то в меру их собственного опыта и знания Бога, а *не* в меру их продвижения в каких-то церковных чинах. В этом смысле мирянин может оказаться духовным руководителем священника, простой монах может оказаться вождем и наставником епископа. Можно вспомнить, например, отношения Сергия Радонежского и святителя Алексия Московского. Московский митрополит обращался к Сергию за советом, хотя иерархически был *над* ним, но он признавал, видел

в Сергии глубины духовные. В этом смысле Церковь должна учить, причем повторяю: тот должен учить, — примером, иногда молчанием, сиянием своей личности, словом, часто скупым, точным, — кто знает, о чем речь идет. Знает, конечно, не только из своего личного опыта, но и из церковной сокровищницы, то есть из опыта тысячелетий церковной жизни, из писаний тех, кто познал Бога и чей опыт можно другим рассказывать. Так что Церковь должна учить *истине*, то есть тому, что на самом деле *есть*: о Боге, о человеке, о человеческом обществе, о жизни, о мире, обо всем Церковь должна иметь свое благоговейное, опытное слово.

Во-вторых, и в связи, конечно, с первым, Церковь должна нас учить ответственности, то есть именно тому, что христианин — это человек, которому Бог поручил заботу о мире, о материальном мире, общественном мире, о каждом отдельном человеке, верующем, неверующем — без разбора. С ним Бог поделился, в какой-то мере, Своим отношением к миру и Своим видением вещей. И в этом смысле христианин должен ответственно стоять в жизни: жизненной правдой прежде всего, просто своим поведением, тем, какой он *есть* и что он делает. А затем, когда нужно, и словом; причем зная, что и слово, и поступок, и стояние в истине и в правде могут дорого ему обойтись.

И третье, чему Церковь должна нас учить: такой заботливости о другом, такому сознанию своей ответственности, которое выражалось бы в самозабвенном, самоотверженном служении. Самоотверженность в этом отношении, конечно, не значит самоуничтожение. Но это значит, что у человека есть какая-то шкала ценностей, что есть ценности, которые для него дороже свободы, дороже жизни, дороже добрых отношений с окружающими — просто дороже всего. И вот человек — потому что *другой* в глазах Бога и, следовательно, в его собственных глазах имеет абсолютную ценность — может стать его *служителем*, не рабом, не слугой, а тем, который способен так полюбить, так уважать другого, такое значение придавать его временной и вечной судьбе, что он оказывается готовым жизнь свою положить за него, умереть, если нужно, а порой бывает труднее жить, чем умирать... минутами, в мгновения предельного напряжения кажется легче фейерверком сгореть — *только бы кончилось!* А жить, продолжать жить, продолжать служить, продолжать стоять порой бывает труднее. И вот христианин должен научиться *этому*.

Здесь можно было бы много сказать о связи, которая есть между любовью и смертью. Любовь и смерть *страшно* друг на друга похожи. Мы употребляем слово "любовь" очень легкомысленно, но в конечном итоге полюбить кого-нибудь — значит ему придать такое абсолютное, всеконечное значение, что ты готов и жить, и умереть ради него. И это очень много! Этому Церковь учит из тысячелетия в тысячелетие, мы это видим и в лице мучеников, и в лице всех подвижников, самых скромных и незаметных. Церковь нас учит

этому на всем нашем пути, не требуя от нас вот сейчас чего-то несоразмерного с нашими силами, учит из дня в день.

Возьмите для примера молитву. Когда Церковь нам предлагает молитвы, написанные святыми, она нам говорит: читай их утром, читай их вечером, молись ими в разные моменты своей жизни. О чем нас просит Церковь? О том, чтобы мы встали на молитву и были готовы забыть о себе, готовы были себя перерасти и соединиться с опытом других людей, которые больше нас, глубже нас, чище нас, готовы были приобщиться их опыту, сделав своими их слова, а через слова — их взгляды, их чувства.

И особенно ярко это сказывается в богослужении, когда мы не поодиночке, как лишь частица организма, а как целостный организм, который собрался, присутствует, когда мы вместе молимся, приходим в храм. Ведь часто люди приходят со своими заботами. Да, *каждой* заботе есть место, если имеет вообще какой-то смысл то, что я вначале сказал: что мы друг друга берем на руки, что мы друг для друга делаемся предельно значительными. Но когда ходишь в церковь, речь идет вовсе не о том, чтобы, воспользовавшись собранностью всех, общей молитвой, свои заботы, свои тревоги представить Богу, а о том, чтобы влиться в этот поток любви к Богу и к людям, поток поклонения Живому Богу, Который тут, живет и действует — и ради Него забыть себя, ради других забыть себя и влиться в те скупые, строгие молитвы, которые нам дают возможность в нескольких словах выразить всю свою нужду и всю свою заботу о всех, обо всех нуждах и обо всех людях.

И опять-таки, Церковь нам дает еще и другое. Я сказал, что Живой Бог тут. Недавно один взрослый человек крестился у нас в храме. Я его спросил: “Почему вы выбираете нашу Церковь? Почему вы, англичанин, хотите стать членом Русской Православной Церкви?” И он мне ответил: “Я пришел сюда неверующим, я стоял, приглядывался, прислушивался. И я *почувствовал*, что в этом храме — Бог, Живой и действенный, Бог, Который присутствует и творит, Который *претворяет* людей. И к этой Церкви я хочу присоединиться”.

Вот в этом смысле мы не только собраны во имя какого-то отсутствующего Бога, — мы собраны во имя Бога Живого, Который и среди нас, и внутри нас. Эта жизнь Церкви нам прививается, дается не только животворным словом. Христос говорит, что Его слово — жизнь и истина. Оно — *жизнь* не потому, что Он, будучи Богом, мог требовать, чтобы мы Его слова воспринимали без колебаний, а потому, что в Его словах такая Божественная и человеческая правда, что они убедительны сами по себе. Таково слово Христа, слово Священного Писания. И кроме того, жизнь нам дает таинства, то есть те непостижимые, необъяснимые непосредственные действия Самого Бога, которые в нас внедряют, прививают нам самую Божественную жизнь так, что нам уже не нужно спрашивать других: “А что это за жизнь?”, а достаточно обратиться внутрь себя и почувствовать, что в нас ликующе, торжествующе

пробивается жизнь Самого Живого Бога, сродняющая нас с Ним и со всяким человеком, раскрывающая перед нами новое понимание, новое представление, новый опыт жизни.

В этом отношении Церковь имеет, что дать — если только мы готовы это принять, потому что для того, чтобы это принять, есть еще одно необходимое, неизбежное условие — это открытость и готовность самоотверженно войти в область веры, готовность дерзновенно и смело любить, даже если подлинная, истинная любовь в конечном итоге значит, что что-то в нас должно умереть для того, чтобы родилось что-то большее, вечное, Божественное, подлинно человеческое.

— *Вы говорили о роли Церкви и дали как бы идеальную картину того, чего верующий может ожидать от Церкви. Но по опыту участия в церковной жизни мне, слушая Вас, было, откровенно говоря, больно, потому что такой любви в Боге, такого душевного внимания к другим, да и готовности других откликнуться на душевное внимание, почти не встречаешь...*

— К сожалению, вы правы. Я действительно сделал попытку дать картину того, что верующий должен ожидать от Церкви, на что он имеет право, что он должен требовать от Церкви, — но я прибавлю и еще одно: картину того, что он должен созидать сам, своими руками. У нас отчасти пропало сознание того, что Церковь — это не духовенство, что Церковь — не какие-то люди, представляющие церковную организацию. Церковь — это все те, кто верует во Христа, кто вместе молится, люди, которые через это связались одной общей, как временной, так и вечной, судьбой.

И в этом отношении, конечно, мы имеем право требовать от цельной организации, чтобы были созданы условия, при которых идеал, о котором я говорил, мог бы быть осуществлен. Мы имеем право требовать, чтобы священник был на высоте своего призвания, чтобы его проповедь была чиста, чтобы его жизнь была достойна, чтобы его облик, слово, действия были доказательством того, что он искренне и серьезно верит в то, о чем он говорит и во что верует — причем иногда жертвенно, вплоть до готовности быть гонимым за веру...

Но, с другой стороны, мы имеем право требовать этого и от самих себя, и от окружающих нас людей, которые вместе с нами — подобно вам, подобно мне — горюют и плачут над действительностью. Это очень важно, мне кажется. В православном сознании Церковь — это *весь народ*, это все. И нельзя, будучи членом Церкви, говорить, что Церковь плоха, как бы подразумевая, что она — это одно, а я — другое. Мы только можем сказать, что мы удивительно плохи, что мы очень неудачливы в попытках жить согласно своему призванию и тем убеждениям, которые мы высказываем.

И тут, я думаю, можно кое-что сделать. Когда едешь по Англии, видишь на каждой церкви плакаты, где говорится: “Бог тебе предлагает то-то и то-то”: любовь, радость, жизнь... *Нигде* я не встречал до сих пор плаката, который ставил бы нас перед

вопросом и говорил бы: “Бог от тебя ожидает того-то”... что ты можешь дать Богу и непосредственно, и через твоего ближнего, через человека — косвенно?

Итак, когда человек приходит в церковь, он должен ставить себе вопрос: что он сам в церковь приносит? Он должен был бы остановиться у дверей и подумать: с чем я пришел?.. С опустошенной душой, которая жаждет помощи, *можно* войти. А с мелкой мерзостью в душе, с непрощенной обидой, унизив кого-то на пути, оставив дома оскорбленного человека, проведя всю неделю как тиран своей семьи или угнетатель сотрудников на работе — войти нельзя. Евангелие нам совершенно ясно говорит: Если ты придешь в церковь и вспомнишь, что кто-то на тебя имеет обиду, оставь свой дар и иди мириться (Мф. 5,23-24).

Потому что с этого все начинается, и начало нашего богослужения: “Миром Господу помолимся” не значит: умирным сердцем, с таким сознанием, будто все, что вне церкви — неважно, я пришел и хочу все забыть... Нет! Это значит: приди, приобретя мир, примирившись с Богом, с твоей собственной совестью, с окружающими тебя людьми, с обстоятельствами твоей жизни, и тогда начни молиться. И это требование неумолимое, потому именно так часто молитва бывает пустая и души — опустошенные, что эти условия не соблюдены.

А кроме того, можно сделать еще две вещи, которые, мне кажется, имеют колоссальную важность. Если принять определение Хомякова о том, что Церковь — это организм любви, то каждый из нас является маленькой клеточкой, по меньшей мере. И вопрос ставится о том, что большей любви мы не можем ни достичь, ни выразить, если не начнем с малой. Мы все время говорим: “Ах, любить бы так, чтобы жизнь отдать!” или “Я бы умер за вас!”... Помню, я однажды это сказал кому-то, тот посмотрел и сказал: “Вы не спешите умереть, а поживите немножко так, чтобы мне лучше стало...” Это меня прямо в жар бросило. Я вдруг сообразил, что я был готов на смерть, которая никому не нужна, а вот жить — нет, это трудно, потому что это реально, это сейчас надо, а не когда-то.

И вот первая задача христианина, который хочет что-то внести в церковную общину, — это научиться любить лучше, любить по-Христову, а до этого — любить просто по-человечески, немного более достойно, чем мы это делаем. Мы часто употребляем слово “любовь” очень неопределенно; мы *любим* вареники, и мы *любим* своих детей, и мы *любим* природу; одно слово выражает слишком много вещей. И, к сожалению, мы своего ближнего, своих родных любим так же, как мы любим вареники: мы их поездом едим во имя нашей “любви”. Мы *знаем*, что для них хорошо, мы *знаем*, где их счастье, — и, хотя бы они того или нет, мы в это счастье будем вгонять их всеми способами и всеми силами. Это мы знаем из опыта многих семей.

С этого все начинается: ты жалуешься, что Церковь не есть организм любви, а *ты сам* — какая клеточка: раковая или живая? Раковая, то есть такая, которая поедает другие, или живая — которую можно уничтожить, но которая может также дать жизнь? Вот первый вопрос: вокруг меня есть какие-то люди, как я их люблю? Кто в центре: я, любовь или они? Какую роль они играют?

Моя любовь является ли живым, творческим чувством, которое направлено на то, чтобы они могли быть самими собой, достичь предельной свободы, самобытности, или же моя любовь совсем другого качества?..

Начать надо с того, чтобы наша любовь была вдохновением, радостью, крепостью других людей, чтобы она была основана на моей вере в человека, на моей ликующей надежде, на убеждении, что *все* возможно этому человеку (разумеется, в пределах физических, естественных возможностей), и так расширять свою любовь. Я бы сказал: начни с тех, кого ты естественно любишь, не задавайся вопросом: “Как любить тех людей, которых я еще не люблю?” Полюбив их немножко лучше, менее себялюбиво, не ставя себя постоянно в центр всего, научившись любить немножко лучше, оказывается, я могу еще кого-нибудь полюбить, потому что я стал менее эгоистичен, у меня глаза открылись, сердце стало более чуткое, понимание расширилось, доброй воли стало больше. И вот так, — расширяя круг людей, которых я люблю, научаясь каждого любить по-новому, более совершенно, немного более похоже на то, как Христос нас любит, как Бог нас любит во Христе, — можно что-то внести в церковное общение.

А второе: в каждой церковной общине есть несколько человек, которые думают и чувствуют одно и то же. “Один в поле не воин” — а два или три уже сила. Христос сказал, что если двое или трое согласятся просить о всякой вещи, то их молитвы исполнятся (см.: Мф. 18,19). Речь совершенно не идет о том, чтобы люди согласились бороться за что-то одно, оставаясь друг другу чуждыми в другом, — нет! Речь идет о том, чтобы они достигли такого единства, такой сплоченности, при которой могли бы обо всем заботиться вместе, даже если не во всем будут согласны друг с другом.

Вот соберете двух, трех, пятерых — и пусть это станет общиной любви. Эта община может еще одного человека охватить. Потом разбейте эту общину надвое, чтобы обе частицы собрали вокруг себя еще нескольких, — и так, от одного к другому, можно увеличивать это сознание, укрепить эту планомерную борьбу за человечность, за любовь, за все то, о чем мы мечтаем и чего мы *не* находим в Церкви, — потому что сами за это не боремся, а ожидаем, что это сделает или Бог, или священник, или кто-то другой.

— *Но откуда взять силы? Не только для того, чтобы утвердиться именно в созидающей, высвобождающей другого человека любви, но и для того, чтобы распознать, где кончается*

творческая любовь и где начинается та "любовь", где вы чужими руками делаете свое дело?

— Я думаю, что все начинается с момента, когда вы изверились в насилие, когда вы перестали верить, будто бы достойное имени человека может быть достигнуто насилием над человеком. Я не говорю, что человек должен быть просто предоставлен своим настроениям, — есть какие-то границы, должна существовать некая направленность. Насилие всегда определяется тем, что угнетатель считает *делом*, задание, которое он перед собой поставил, более важным, чем отдельный человек. "Лес рубят — щепки летят": человек — только щепка, а задача — лес рубить...

Конечно, есть какое-то равновесие между совершением дела и уважением к человеку, но нельзя просто игнорировать человека ради дела. В конечном итоге бывает, что человек *сам себя* игнорирует, он убивает в себе человечность, убивает в себе мотивы, достойные человека, но никакое материальное дело, достигнутое путем разрушения человеческих личностей, включая и человечность того, кто повелевает и угнетает, не стоит того.

Вот где все начинается. В каком-то отношении это отрицательный момент: извериться в одном еще не значит поверить в другое. Но очень многое на земле, в нашем человеческом опыте, делается на этом основании: человек пытается добиться своей цели и так, и сяк, и этак, приходит к заключению, что эти различные попытки никуда не ведут... И ставит перед собой вопрос: какой же путь куда-то ведет?... Тут выбор между абсолютным приматом дела над человеком или абсолютным приматом человека над делом невозможен. Должно существовать, как я уже сказал, равновесие, которое делало бы человека живым сотрудником, открывало бы ему творческие пути.

Это иногда замедляет дело на первых порах, но это всегда дает гораздо более богатый результат, потому что дело в конечном итоге будет сделано, причем так, что все участники будут спаяны между собой взаимным уважением, а не страхом, который разделяет, а не соединяет. В каждом из них разовьется сознание и чувство ответственности — причем не перед законом, не перед наказанием, а перед товариществом, разовьется способность думать самостоятельно и делать свой вклад в общее дело, смотреть критически на себя и других, творчески подходить к задуманному делу.

Конечно, каждый будет это делать в меру своих нравственных, умственных и волевых способностей — но если человек, который вначале поставил вопрос себе, будет наблюдателем, он обнаружит очень скоро, что этот путь действительно может быть путем вдохновения. Когда видишь, как из рабов — разрозненных особей — постепенно складывается артель товарищества, группа людей, связанных между собой идеалом, ради которого они готовы собой жертвовать (но не только жертвовать!), людей, которые достаточно друг друга любят и уважают, чтобы собой жертвовать *для других*, — тогда начинают появляться и вдохновение, и силы

терпеть, может быть, некоторую замедленность в достижении целей, терпеть те трудности, которые рождаются от сложного, устанавливающегося равновесия между людьми, терпеть друг друга, терпеть *себя*. И тогда силы можно найти, потому что их дает вдохновение.

Но начать, думаю, надо с того, чтобы посмотреть серьезно и поставить перед собой вопрос: вот, я старался достигнуть тех или иных целей насилем — и что? Каков результат? Цель редко достигнута в совершенстве — потому что из-под палки никто не работает идеально, а человеческие отношения стали уродливые, страшные. И от такого пути человек, коллектив, человечество постепенно отказываются; всякий культурный, сколько-то тонкий душой человек и сколько-то ответственный за своих членов коллектив должен от этого отказаться. Иначе это просто отсталый коллектив, который живет еще временами египетских пирамид.

— *Отвечая на вопрос об участии мирян в жизни Церкви, Вы говорили, в частности, о работе созидания любви. Что делать, если человек не согласен с действиями церковного руководства или отдельного священнослужителя?*

— Тут, я думаю, можно вкратце указать две вещи. Во-первых, за целый ряд столетий возникла трагическая разобщенность между иерархией и церковным народом. Культурная разобщенность, разобщенность, которая коренится в том, что в Православной Церкви иерархии берутся из монашества, поэтому установка очень многих иерархов чисто монашеская и монастырская, подвижническая установка ухода, а не участия. И когда эта иерархия решает участвовать в чем-нибудь, за ней нет опыта столетий, имеющегося часто у мирян, которые никогда не отрывались от земных проблем. И я думаю, что одна из задач нашего времени состоит в том, чтобы трудом, взаимным усилием просто восстановить общение между иерархией и церковным народом — хотя бы в лице тех его представителей, которые могут вступить в диалог со своей иерархией так, чтобы и иерархия их поняла, и они поняли ее.

А второе (и это, мне кажется, тоже очень важно): иерархия *не имеет права* определять нормы действия для верующих во всех областях жизни. Иерархия поставлена для того, чтобы строить церковное тело — проповедью евангельской истины и евангельской правды, строительством таинств, строительством того организма любви, о котором я говорил. Но в области жизни, где человеческая и Божественная правда должна руководить поступками людей, иерархия может только говорить о правде и давать основные принципы этой правды, а то, *как* эта правда найдет себе выражение в отдельных, конкретных ситуациях, должно быть оставлено на совесть верующего. *Не может быть* трафаретного указания о том, что такая-то политическая система, такой-то общественный строй, такие-то поступки в профессиональной области являются правильными или неправильными. Конечно, в пределах разума: убийство, даже совершенное профессионально врачом, который по законода-

тельству данной страны имеет право лишить жизни безнадежного пациента, с христианской точки зрения недопустимо. Но я говорю об общих принципах.

Итак, есть область священная, которая принадлежит церковной иерархии, и другая область, где иерархия *должна* дать верующему свободно, творчески, с пониманием своего христианского призвания искать пути, потому что Евангелие *не* является учебником политики, социологии и справочником о том, как поступить в каждом отдельном случае. Поэтому священник или епископ, который поступает иначе, делая хотя бы и допустимые выводы, выходит за пределы своих прав.

— *Должна ли иерархия прислушиваться к голосу мирян-специалистов в какой-либо области, даже, например, нравственной?*

— Я думаю, что иерархия должна прислушиваться к голосу всех, не только специалистов. Сейчас есть области, которые действительно настолько сложны, что *надо* обращаться к мнению специалистов. И можно (а часто и надо) прислушиваться также к голосу простого, честного, доброго человека и найти какое-то равновесие между тем, что говорят специалисты, тем, как реагирует нормальный, простой, здоровый духом человек, и тем, что ты чувствуешь и как сам понимаешь Священное Писание. Высказаться можно, потому что священник или епископ в каком-то смысле является тоже и человеком-христианином, и гражданином мира, в котором мы находимся, и членом того более узкого общества, в котором он рожден и живет. Но, высказываясь, он должен знать, где границы Евангелия и где границы его собственного мнения или убеждения. Он может иметь пламенные убеждения, но *не имеет права* их выдавать за голос Церкви. Иначе было бы совершенно невозможным, скажем, наше положение как Экзархата Московского Патриарха в Западной Европе, где большинство людей — или русские эмигранты, или иностранцы, ничем не связанные с современной Россией. Наше существование основано на том, что мы принимаем от церковной иерархии каждое слово церковной истины, но оставляем каждому члену нашей иерархии и нашего народа церковного, как в России, так и за границей, право себя определять политически, научно, общественно. Мы вправе иметь друг о друге мнение, мы можем, в каком-то отношении, отрицать то положение, какое тот или другой занимает, и одновременно оставаться в пределах одной, единой, неразделенной и *неразделимой* Церкви, поскольку Церковь говорит о церковном, то есть о Боге, о человеке, о человеческих отношениях, не определяя ни политически, ни социально каких-то правил, единственно допустимых для ее членов. При этом я глубоко убежден, что и мы, и Патриархия должны друг ко другу очень внимательно прислушиваться. — вдумчиво, творчески. И помнить, что, с одной стороны, мы составляем сложное тело, что именно эта сложность дает нам возможность одновременно принадлежать жизни и не быть поработоченными временностью, а с другой стороны, что наша церковность

нам дана из недр Московской Патриархии. От нее мы получаем таинства, через нее мы общаемся с церковным русским народом. Этот русский народ, к которому мы принадлежим, является продолжателем жизни Православия на нашей русской земле и одновременно через наше участие присутствует в Православии всемирном. В этом отношении мы должны найти равновесие между творчеством и традицией, между уважением друг к другу и свободой друг от друга. И мне кажется, это процесс исторический, порой мучительный, но далеко не заверченный, он сейчас развивается и завершится тем, что Церковь приобретет новую глубину, новую значительность, найдет новые пути для того, чтобы все человеческое было ей близко к сердцу, но чтобы в это человеческое она могла внести действительно подлинно Божественное начало.

— *Мы видим, что Церковь как организованное объединение и отдельные иерархи Церкви занимаются деятельностью чисто мирской, сотрудничают с правительством своей страны, даже богоборческим, в конкретных мероприятиях, не только общественных, но и политических. Возникает вопрос: должна ли Церковь активно сотрудничать с государством? С другой стороны, Церковь часто активно сотрудничает с некоторыми неправительственными группировками. Оправданны ли такие действия?*

— Я должен сказать прежде всего, что у меня *нет* определенного ответа на наши вопросы. И не столько потому, что я недостаточно над ними задумывался — эта тема настолько жгуча в наше время, что всякий мыслящий человек *должен* себе эти вопросы ставить, сколько потому, что мне кажется: христианин, вернее, Церковь *может* отвечать на вопросы с совершенной уверенностью только тогда, когда ее ответы укоренены в Евангелии, в учении Христа или Его примере. По отношению к политическим, даже к общественным темам, мне кажется, в Евангелии нет ясного общественно-политического учения, нет Евангелия общественно-политической правды, которая определяла бы только одну возможную линию. И в этом отношении — *изнутри* Евангелия, от имени Христа, действием Святого Духа — Церковь не в состоянии выразить *одно* только мнение, которое было бы мнением Церкви или волей Самого Бога.

И поэтому Церковь, я думаю, не в состоянии, просто *не имеет права* себя до конца отождествлять *ни с одной* политической линией, *ни с одной* партией, *ни с одной* организацией, *ни с одним* движением. Евангелие нас учит любви, самопожертвованию, учит, что у человека есть право на то, чтобы на него обратили внимание и ради него даже жизнь свою положили. Но о том, в каких формах это выразится, — ничего не сказано. “Отдай свою жизнь” — понятие очень широкое, и формы этой отдачи могут быть очень различными.

Поэтому я глубоко убежден, что *изнутри* Евангелия невозможно дать ответ на ваш вопрос. Можно только (и это относится к каждому

человеку в отдельности и к группам людей, которые вместе думают, вместе действуют, могут вслух делиться своими соображениями) единственное — нечто попробовать сделать. Вы ставите вопрос так, что Церковь учит нас, призывает нас, ведет нас к тому, чтобы строить свою внутреннюю жизнь. И действительно, это основная задача Церкви: начало и развитие внутренней жизни. Христос нам говорит, что Царство Божие внутри нас. Но вместе с этим внутренняя жизнь непременно выразится вовне, Царство Божие, водворившееся *внутри* человека, непременно найдет себе выражение в его словах, в его действиях, в его целостном отношении к миру, к событиям, к людям. И вот в момент, когда эта внутренняя основа проявляется вовне, человек делается общественным лицом. Причем всякий человек — во все времена, но в наши времена *крайней* сложности политической и общественной обстановки особенно — принадлежит к целому ряду миров одновременно. У него есть свой, глубокий, потаенный мир молитвы, дум глубоких, у него есть отношения со своим ближайшим окружением, он — член Церкви. И одновременно, и как частное лицо, и как член Церкви, он является членом того очень сложного общества, в котором живет, которое состоит из верующих и неверующих, из людей агрессивно неверующих или безразлично, теплохладно неверующих, из людей тех или других общественных или политических установок. И он не может избежать того, чтобы постоянно занимать какую-то позицию по отношению к встающим вопросам. Это может быть семейный вопрос — но и семейные вопросы оттеняются на фоне общества и определяются в значительной мере обществом. Он — гражданин своей страны: что это значит? Это значит, что он чувствует, что народ, которому он принадлежит, — *его* народ, что судьбы этого народа ему дороги, что физически жизнь его сограждан, их культурное развитие, их убеждения, то, как они действуют в мире, — все это не может быть ему безразлично. Это значит, что в целом он не только интересуется, но глубоко переживает историческую судьбу своего клочка земли, своего народа. Где же начинается политическая тема? Если речь идет о том, чтобы организовывать здравоохранение — это относительно просто. Но есть целый ряд тем, которые в одном месте являются политическими, а в другом — нет. Я могу дать несколько примеров.

В определенной обстановке человек, который борется против правительства, называется революционером. В другой стране, где революция является законом жизни, он называется контрреволюционером. В том и в другом случае он преследуется. И определяется его незаконность тем, что он сталкивается с существующим строем — и только. В стране, которая вся увлечена или одержима какой-либо идеей, поддерживать эту идею является чисто гражданским долгом. В другой стране, где эта идея ставится под вопрос, поддерживать ее — политика. Можно дать примером этому — отношение к борьбе за человеческие права. В одной стране это является наступлением на линию той или другой партии, наступ-

лением на линию государства, тогда как в другой стране это является насущным хлебом, деятельностью всех граждан данной страны, которые стараются осуществить ту или другую линию действий. В одной стране это преступление, в другой это естественная деятельность всякого гражданина.

В различной обстановке так же ставится вопрос о насилии или его отсутствии. Вы указали, что Церковь сейчас активно сотрудничает с некоторыми неправительственными группировками. Может ли Церковь как целое это делать? Тут встает вопрос немножко иначе. Отдельный человек стоит перед судом совести и Божиим. Может ли Церковь в целом это делать? Она же проповедует *любовь*, она проповедует, что мы должны друг за друга жизнь положить, она проповедует словами Христа: кто возьмет меч, тот погибнет от меча... Может ли она как таковая проповедовать и поддерживать насилие? Я думаю — нет, как таковая не может. Но вместе с тем отдельные ее члены, по сугубому суду своей совести, иногда могут быть вовлечены и в борьбу, потому что сердце не выдерживает неправды, несправедливости, а правда и справедливость — тоже закон Евангелия, форма любви. Бороться за свои права — может быть, и неблагородно. Это может выражать и жадность, и желание власти. Но бороться за права *других* — долг человека. И вот здесь наше представление постоянно двоится.

Кроме того, христианин, как член *человеческого* общества, не может считать, что какая бы то ни было человеческая тема для него безразлична, не имеет значения. Но вместе с тем у него оглядка в двух направлениях, которая делает его непонятным вне Церкви. Во-первых, христианин *не может* считать себя гражданином своей страны, не считая себя одновременно гражданином мира, то есть он должен рассматривать свою страну с такой позиции, при которой другие страны, другие люди не перестают иметь для него такое же значение. Для него всякий человек — *человек*, всякое общество — *общество*. Все люди сотворены и любимы Богом одинаково, Бог не различает — не имеет права различать *и он*. И вот тут первый источник конфликта с собственной страной: *как* быть гражданином страны с односторонне направленной политикой, зная, что эта политика может быть агрессивной, хищнической?

А во-вторых, у него оглядка на Царство Божие вот в каком смысле (этот вопрос поднимался еще в древности, с этого начались гонения на Церковь в Римской империи) — христианин хочет самым убежденным образом быть лояльным, зрелым, сознательным гражданином своей страны и всего мира, *и наряду* с этим ясно утверждает, что его гражданство — на небесах. Он — законопослушный член своего общества, но *над* законом этого общества есть закон Божий, и там, где закон Божий столкнется с законом человеческим, должен прахом лететь человеческий закон и *правда Божия* должна быть утверждаема. Из-за этого упрекали христиан еще в древности — и теперь упрекают — в нелояльности. Это неправда! Христианин лоялен историческому видению, которое

больше того общества, где он живет. Так же его могут упрекнуть в нелояльности узкому, хищническому обществу, потому что он — всечеловек, а не только один из хищников малой разбойничьей шайки. И вот почему эта тема так трудна: Русская Церковь, все Церкви мира вообще так или иначе сотрудничают с государствами, с обществами, в которых живут. И они *должны* заниматься строительством земли. Но они должны вносить в это строительство корректив: провозглашать евангельскую правду, утверждать Божий закон, предупреждать людей о том, что они идут ложным путем.

Иногда мы оказываемся в невозможном положении, потому что *выбора нет*. Есть страны единственной идеологии, где *только один* путь указан: можно либо быть вместе, либо оказаться изменником. Тут встает вопрос личной совести, который иногда может до распинаящей остроты дойти: *должен* ли я участвовать в тех или других мероприятиях?.. Тут очень многое будет зависеть от информированности человека, от его ума, от его понимания — чего, по его мнению, *можно* достичь участием или неучастием в политической и общественной жизни. Но мне кажется, что христианин в наше время *не может* отвернуться от этой темы, хотя бы просто потому, что наш Бог не есть Бог на небе, что наш Бог — Бого-человек, что это Бог, Который вошел в историю и осмыслил ее. Он — Господь истории, Он вошел в наш мир с тем, чтобы *никогда* из него не выйти, не покинуть его. И, строя человеческое общество, хотя мы и знаем, что *никогда* человеческое общество не станет Царствием Божиим, мы *должны* приближаться сколько возможно к Божиему Царству. Но мы всецело принадлежим этой сложной обстановке, и поэтому Церковь, я думаю, *не может* принимать решений за всех, не имеет права действовать от имени Христа, хотя отдельные ее члены не могут уклоняться *ни от чего*, что определяет судьбу временную и вечную людей их времени.

— *Вы ответили, что делать отдельному члену Церкви, но не сказали, в какой мере Церковь как общество, организованное иерархически, как часть если не государственного, то, во всяком случае, общественного строя, имеет право говорить и действовать организованно в недуховной, нерелигиозной области. Слишком часто организованные церковные объединения высказываются с позиций организованной силы в обществе по злободневным вопросам, имеющим отношение либо к жизни общества, либо к жизни государства в целом...*

— Я думаю, что Церковь как целое, Церковь как организованная единица не имеет на это права или большей частью делает ошибку, когда так поступает. Опыт прошлого нам это показал. В Византии, например, императором Юстинианом была сделана попытка превратить Евангелие в кодекс законов. В результате получился интересный кодекс законов, а от Евангелия ничего не осталось, потому что в тот момент, когда Евангелие было превращено в закон, из него были изъяты свобода и личное отношение. Католический Рим сделал попытку стать государством и иметь

возможность, таким образом, действовать со всей силой государственности в области государственной, но вместе с этим и со всем авторитетом церковности, который связан с идеей Рима, папства и т.д., — и что получилось? Компромисс и двусмысленность, потому что (я глубоко в этом убежден) у Церкви *нет* ответов на все вопросы, и Церковь не имеет права делать вид, будто у нее на все есть ответ, и эти ответы провозглашать. Есть в истории мира большая таинственность, есть искание, есть становление, и общим трудом верующие и неверующие (потому что у неверующих могут быть прозрения в таких областях, в которых верующий *ничего* еще не заметил и не почувствовал) вместе должны искать, ставить вопросы, подходить к ним с различных точек зрения и давать пробные, неокончательные ответы, нащупывать ответ, искать его. Церкви не смеют говорить: мы не знаем ответа, но вот что мы говорим... — это нонсенс, это абсурд, лучше бы молчали.

— *Значит, Церковь должна не столько действовать и высказываться "с кафедры", сколько воспитывать в своих членах достаточную гражданственность, достаточное мужество и ответственность?*

— Вот именно. Я думаю, что задача Церкви именно воспитывать людей, которые могли бы со всей ответственностью и перед Богом и перед людьми взять в свои руки вместе с другими людьми судьбы мира. Но у Церкви не может быть конкретного ответа, прописи: "Поступай так!"

Публикация Е.Л.Майданович

Дмитрий Хмельницкий

ПОД ЗВОНКИЙ ГОЛОС КРОВИ, ИЛИ С САМОСОЗНАНИЕМ НАПЕРЕВЕС

Переписка Эйдельмана и Астафьева разразилась в те времена, когда главными политическими событиями страны были шахматные матчи. Все порядочные люди болели за Каспарова, потому что за Карпова болел ЦК. Будущие “памятники” занимались антиалкогольной пропагандой в кулуарах Новосибирской Академии наук, писатели-деревенщики служили в авангарде русской литературы, а евреев еще не брали на работу. В эти вегетарианские времена один любимый публикой писатель упрекнул другого, не менее любимого, в бестактности по отношению к инородцам и националистических предрассудках. Вполне корректно упрекнул, хотя и болезненно. А тот ответил еще более болезненно и сразу перестал быть уважаемым и любимым, потому что первый писатель пустил переписку по рукам. Это вызвало бурю эмоций. Все-таки первое, так сказать, публичное столкновение неформальных движений между собой. Впрочем, по существу переписки никаких споров, кажется, не было. Сейчас переписка эта — уже история.

Но вот недавно в статье Михаила Хейфеца “Цареубийство 18 года: преступление и фальсификация” (“22”, 74, 1991) я наталкиваюсь на следующий пассаж: “...читая их переписку, я парадоксальным образом ощутил сочувствие скорее к русскому писателю Астафьеву, а не к еврейскому историку Эйдельману. Что с того, что Эйдельман вполне искренне считал себя таким же русским интеллигентом, как Астафьев, — тот его таковым не считал и, более того, имел право не считать. Ибо в самом деле: каждый из нас является

**Дмитрий
ХМЕЛЬНИЦКИЙ**

— родился в 1953 году в Ленинграде. Архитектор по образованию. С 1987 года живет в Германии. Автор ряда публицистических и культурологических статей, печатался в “Континенте”.

завершающим звеном в бесконечной цепи поколений, и эти поколения запечатлеваются в нас специфическим набором генов, порождающим нашу специфическую национальную ментальность. Именно несовпадением национальных ментальностей я и объясняю себе взаимную глухоту участников этой примечательной переписки, в частности — в том вопросе, о котором здесь идет речь: о гибели царской семьи. Эйдельман нисколько не сомневается в том, что “большая часть исполнителей были екатеринбургские рабочие”, для Астафьева же очевидно, что “расстрелом руководил сионист (читай: еврей. — М.Х.) — Юровский”.

На мой взгляд, все вышеизложенное — расовая теория в чистом виде. Эйдельман — **ЕВРЕЙСКИЙ ИСТОРИК**, потому что таковым его справедливо считает Астафьев, ибо он унаследовал свою национальную ментальность — сиречь национальную принадлежность — сиречь голос крови — генетически от еврейских предков. А Астафьев свою — соответственно от славянских. Поэтому договориться они не могут органически, то есть генетически. Даже по такому простому вроде вопросу, кто царя убил — рабочие-большевики или сионисты.

Попробуем разобраться. Национальная ментальность, то есть специфический характер осмысления действительности, зависит только от среды обитания, воспитывается атмосферой популяции. Это свойство благоприобретенное, а значит, по наследству не передается. (Лысенко, правда, так не считал.) В школе это изучают, кажется, в классе восьмом, по биологии. А что передается, так это тип высшей нервной деятельности, то есть темперамент. Он никакого отношения к этнической принадлежности человека не имеет. Какой-нибудь традиционно флегматичный скандинав может переехать в темпераментную Италию, нарожать детей, и при соответствующих обстоятельствах они вырастут итальянцами, только спокойными. Что тоже никого не удивит — бывает и такое. Так что миф о голосе крови — скверная выдумка мистиков или расистов.

К сожалению, он лег одним из краеугольных камней в фундамент ренессанса еврейского национального самосознания, то бишь вспышки еврейского национализма. В Советском Союзе процесс этот, начавшись в конце 60-х, вовсю за бурлил в начале 70-х годов и поразил в основном молодежь — тех, кому сейчас под сорок. Недавние добропорядочные комсомольцы с фамилиями на -штейн и -берг, насмотревшись на пятый пункт в собственном паспорте и намаявшись с поступлением в институты, вдруг осознали себя представителями древнего, великого и вечно живого народа. Мне пришлось участвовать во множестве дискуссий, посвященных борьбе с ассимиляцией и нежеланию смешивать свою древнюю кровь и великую культуру с какой-либо еще. Дискуссии проходили на кухне, на единственно родном для всех участников русском языке. Пикантность ситуации состояла в том, что борцы с ассимиляцией никак не могли поверить, что все уже, поздно,

проехали. Что ассимиляция потомства местечковых ремесленников и торговцев с русско-советскими горожанами произошла уже вполне необратимо два-три поколения тому назад. И не ясно, на что жаловаться. Потому что хедер и талмудическое богословие как альтернатива европейским университетам — не слишком мощный духовный багаж для цивилизованного человека. А другого дано не было. Так что борьба с ассимиляцией сейчас — это шаманизм, попытка выскочить из собственной шкуры неизвестно куда. Занятие вполне бесперспективное. Этнически мы — русские, и дело с концом, обрезай его — не обрезай. А что до религии, то вполне можно выбрать себе иудаизм, буддизм или лютеранство, оставаясь самим собой, не меняя нацпринадлежности. Только это-то и можно. По-другому не получится. Может, где в провинции и сохранились еще цельноеврейские, идишеговорящие этносы — не знаю, не видел. Но даже если это и так, то к древней иудейской культуре они имеют очень приблизительное отношение. Когда я спрашивал у своих собеседников, какая, с точки зрения культуры, разница между нами — меня за чистоту крови держали за своего — и нашими друзьями-славянами, то в результате всегда оказывалось только одно — самосознание. Мы — говорили они — осознаем себя евреями. И другие (в основном антисемиты) нас тоже евреями осознают и от себя отталкивают.

Меня, кстати, всегда ставил в тупик вопрос: кем ты себя осознаешь? Кто я есть, я знаю, а кем себя осознаю... Вот я, условно говоря, брюнет. Что такое осознавать себя брюнетом? Я — брюнет, и все. Но если задуматься над тем, какой смысл в том, что ты брюнет, чем брюнеты отличаются от прочих, то, наверное, можно ощутить себя членом некоего сообщества брюнетов, обрести брюнетное самосознание. Но это уже — идеология. Отпадет она — и станет ясно, что нет никакого сообщества брюнетов. А бывает еще смешнее. Я — брюнет, а дедушка с бабушкой были блондинами. И самосознание проклевывается блондинное. Тут, чтобы даже не других, а себя убедить в генетической и культурной чистоте собственного блондинства, только и остается, что углубленно изучать роль блондинов в современном мире и отличительные черты их национального характера.

Самосознание — в огромной степени вопрос самовнушения. Человек может осознавать себя евреем, арийцем, пролетарием, в клинических случаях — Наполеоном или хрустальным бокалом. Как и всякая иная идеология, эта реальна только для тех, кто ее исповедует и к действительному положению вещей прямого отношения не имеет. Так большевики-ленинцы считали, что все пролетарии брата и объединены классовым самосознанием. И напряженно ждали, когда же случится мировая революция и все пролетарии всех буржуев зарежут. Известно, чего дождались. Гитлер тоже искренне считал англичан и скандинавов генетическими единомышленниками, братьями по расе. Только они так не считали. Это все примеры мнимых сообществ, построенных на идеологии.

Большинство известных мне советских евреев — евреи идеологические. Идеологический еврей, как и идеологический пролетарий, может быть на самом деле кем угодно. Эта идеология не зависит от реальности, но может очень сильно зависеть от встречной идеологии. Отсюда слышанный мной тысячи раз аргумент: они (русские) нас (евреев) своими считать не хотят, отталкивают, значит, мы действительно другие. У них один путь, у нас другой.

Действительно, таких русских — антисемитов — за своих считать нельзя. Упаси Бог дружить с шовинистом любой национальности. Это вопрос не национальности, а этики. Кроме того, назови меня посторонний человек марсианином или петухом, я от этого ни петухом, ни марсианином не стану, если, конечно, психика к тому должным образом не подготовлена. А если подготовлена — графой в паспорте, преследованиями из-за нее, комплексами, — тогда национальное самосознание в себе разработать — без проблем.

Из советских городских генетических евреев — тем, что их преследовали, не принимали на работу, сначала разрешили, а потом запретили выезжать, — образовали локальную группу, но не этническую, конечно, а идеологическую. Потому что идеология с самосознанием преходящи, а этнос, этническая принадлежность — вещь сугубо объективная, научно определяемая. Археологи древние культуры даже без всякого языка — по одним материальным остаткам определяют и классифицируют. Та публика еврейского происхождения, которую я наблюдал в Москве и Ленинграде (и к которой принадлежу сам), по языку, быту, мировосприятию великолепно укладывается в рамки русско-советского городского этноса, несмотря на локальные отличия вроде акцента бабушек и их же местечковых воспоминаний. Отличия эти могут быть гораздо менее выражены, чем, например, разница между россиянами сибирского и, скажем, южнорусского происхождения. Если, конечно, самосознание в расчет не принимать. Я пытался выяснить у своих оппонентов, как должен вести себя еврей с самосознанием, чтобы его не перепутали с неевреем, если очевидных этнографических отличий нет, да к тому же он неверующий. А таких среди моих собеседников — процентов девяносто. Отвечают: соблюдать еврейские традиции. — Какие? Ответы всегда бывали туманными, но в общем сводились к стандартному набору: свинину не есть, праздники соблюдать, субботу, только на своих жениться. Но ведь это все религиозные ритуалы, теряющие всякий смысл за пределами конфессии. Идеологизированное национальное самосознание вдыхает в них новую, я бы сказал, потустороннюю жизнь. Превращает в идеологические символы. Соблюдение их всеми желающими в народ их, конечно, превратить не может, но может превратить в партию. Религиозный ритуал, отрываясь от религии и не становясь народным, становится партийным.

Такой подход, правда, противоречит еще одному очень популярному мифу — мифу о едином и неделимом еврейском народе. На

самом деле сейчас в мире под условным названием “евреи” существует множество самостоятельных этносов и этнических групп со своими языками и этнографией. Объединяет их только религия. А если ее нет, то, по сути, ничего не объединяет. Но может объединить идеология. Бухарские евреи по языку и культуре гораздо ближе к таджикам, чем к польским или немецким евреям. Но если они близки с ними идеологически, то, собравшись в одну кучу в одном месте, создают, естественно, через несколько поколений более или менее однородный, но **АБСОЛЮТНО** новый этнос. С иголки новый, что бы там ни говорилось при этом о возрождении традиций единой (великой) еврейской культуры.

Это, кстати, еще один основополагающий для национальной идеологии миф — миф о существовании единой для всех евреев древней, но живой культуры. То есть две тысячи лет назад, до рассеяния, — такая культура, безусловно, была. Не знаю правда, насколько великая — вроде бы заметного влияния на тогдашнюю цивилизацию древняя Иудея не оказывала. Так, одна из довольно глухих римских провинций. Главная заслуга культуры древних иудеев перед всемирной историей — толчок к появлению христианства, которое со временем и создало действительно великую (в смысле — мировую), единственно способную к непрерывной поступательной эволюции цивилизацию. К этой-то европейской цивилизации, стремящейся оторваться от собственной религиозной основы, принадлежим мы все, хотим того или нет. Сами же племена древних иудеев, оказавшись в диаспоре, стали перенимать материальную культуру аборигенов (христиан и мусульман), а духовную жизнь ограничили талмудическим богословием. По вполне понятным и естественным причинам не возникло ни специфически еврейской живописи, ни литературы, кроме религиозной, ни архитектуры. Это, кстати, очень хорошо видно по синагогам, во множестве строившимся в XIX — начале XX века во всех крупных европейских городах. Попытки нащупать национальное своеобразие “еврейской архитектуры” повсеместно привели к безумной, я бы сказал, разнузданной эклектике с преобладанием мавританских мотивов. Одной религии мало, чтобы считать множество исповедующих ее ныне этносов единым народом. С тем же успехом можно считать соплеменниками католика-немца и католика-японца.

Предвижу возражение: пример неудачный — у немца и японца кровь разная. Это еще один крайне распространенный миф из той же серии — миф об уникальной чистоте еврейской крови. Предполагается, что только евреи соблюли генетическое целомудрие и тем самым сохранились как народ. Ну, если отрешиться от того, что дискуссия о расовой чистоте — вещь после второй мировой войны непристойная, это еще и по существу не так. Чистота крови — нечто научно неопределимое. Все люди принадлежат к одному виду. Антропологи еще расовые типы определяют, но уж еврея от араба с помощью анализов отличить — никак не получится. Все это чистой воды метафизика, мягко говоря. С тем же успехом англичане

и немцы могут считать себя одним чистопородным народом — вместе произошли от одних и тех же германских племен. Гитлер, кстати, так и считал. Да и вообще, уйма народов может гордиться чистотой крови, если захотят. Алеуты, например, или папуасы. Антропологически древние иудеи представляли собой арменоидный тип восточносредиземноморской европейской расы. А современные демонстрируют всю гамму расовых типов планеты от негроидов-фалашей до китайских иудеев-монголоидов.

Иудеоцентризм в подходе к историческим и культурным проблемам приводит иногда к парадоксальным ситуациям. Сидим мы однажды с одной знакомой, интеллигентной и высокообразованной, на площади Святого Петра в Риме и спорим, естественно, об евреях. И она говорит: “Вот были древние римляне и куда делись? Где они? Ни народа не сохранилось, ни культуры. А евреи самоотверженными усилиями и то и другое сохранили”.

Я чуть с древнего цоколя не упал. Оглянись — говорю — это все они, только уже не древние. Они жили, развивались, эволюционировали, превратились в итальянцев и создали то, что создали — даже перечислять неудобно. Да и долго. Единственно, чего не делали, к счастью, — национальных традиций не соблюдали. Потому что в истории третьего не дано — либо сознательно культивировать соблюдение традиций, либо развиваться. И — если есть выбор — стоит ли соблюдать традиции ценой стагнации?

Да традиции, по существу, и соблюдать невозможно. Реальные народные (да и любые) традиции всегда бессознательны — они разрушаются в тот момент, когда ставится вопрос, надо или не надо их соблюдать. Антитрадиционна сама постановка вопроса. Осознанная нерелигиозная традиция — уже не традиция, а ритуал, либо веселый, вроде медвежьих шапок английских гвардейцев, либо глупый, вроде соблюдения неверующими субботы.

Хочу еще раз уточнить, я описываю происходящее только в одном, хорошо знакомом мне социуме — городском советском. Советский Союз со своим изуродованным психически населением, руинами марксистско-ленинской идеологии и политико-экономической катастрофой стал питательной средой для вспышек национальных фобий и национал-патриотических движений в таких масштабах и формах, о которых в цивилизованном мире уже забыли. И еврейский национализм не исключение. Я бы сказал, что он зеркальным образом отражает встречную идеологию — русское национал-патриотическое движение.

Все националистические движения и организации Советского Союза сейчас трудно даже перечислить. Армяне, азербайджане, грузины, абхазы, осетины, казахи, литовцы... Все они представляют собой конкретные народы и этносы и борются друг с другом, иногда на уничтожение, за вполне конкретные цели — территорию, права, власть. В отличие от них и сионисты советского образца, и “памятники” борются не за корысть, а за идею — “национальную идею”. Причем почвенническая “русская идея” с ее образом

идеального русского народа — носителя великих ценностей славянской культуры, неповторимой и загадочной, противостоящей западной цивилизации и развивающейся своим особым путем, — эта идея имеет так же мало отношения к реальному положению реальных русских, как идея “общееврейского единства” к живым евреям. Я бы так и определил разницу между двумя основными типами националистов — одни воюют за свой реально существующий народ, другие за свой же, но идеальный, воображаемый, уже (или еще) не существующий.

В пропаганде “памятников” присутствуют все те же мифы, о которых здесь говорилось — голос крови, национальное самосознание, уникальность и древность славянской культуры, расовая чистота как залог истинно национальной ментальности и пр., и пр., и пр. До смешного — объявив православие единственной и естественной национальной религией русских, национал-патриоты лишили его христианства (ибо христианство — сверхнационально) и приблизили к иудаизму — религии одного племени по определению.

Мне говорят, что еврейский национализм никому не угрожает. Не уверен. Я лично знаю молодых людей, которые рвались в Израиль, чтобы очищать родную землю от арабов. И говорили мне, что если в них или их близких будут кидать камнями, они будут стрелять не задумываясь. Таких, конечно, не много, но и “памятников”-экстремистов тоже кот наплакал. Среди моих знакомых в СССР антисемитов — так уж вышло — не было, зато еврейских националистов хватало. Не стеснялись признаваться — я ведь свой по крови. И что особенно грустно — все интеллигенты... Правда, советские.

Я ни в коем случае не пытаюсь дискутировать в этой связи с сионистской идеей. Созданная в свое время по-европейски интеллигентными людьми, не шовинистами и не фанатиками, она не может отвечать за издержки реализации и побочное действие восприятия ее таким специфическим обществом, как советское. Она хороша в той степени, в какой облегчает жизнь своим последователям и не осложняет ее остальным. Сторонником ее я не являюсь — не вижу смысла. С тем же успехом энтузиасты из итальянцев могли бы возродить в себе самосознание древних римлян, собраться в кучку где-нибудь в Этрурии и заговорить на латыни. И получилась бы, рано или поздно, новая языковая культура, не лучше и не хуже других. Правда, надолго провинциальнее. На решение организационных проблем создания новой культуры ушли бы творческие усилия двух-трех поколений. Те усилия, которые в привычной естественной среде могли бы реализоваться напрямую. Толстых и Булгаковых среди первопроходцев не бывает.

Среди сотен тысяч советских евреев, хлынувших сейчас в Израиль, шовинистов достаточно много. И если жизнь в цивилизованной стране не смягчит их убеждения, Израиль ждут тяжелые

времена. Нечто подобное происходит сейчас в Германии. Вместе с пятью новыми землями Федеративная Республика получила в подарок не только разрушенную экономику, но и население, отягощенное всеми прелестями советского воспитания. Среди них и шовинизм, и нетерпимость, и склонность к экстремизму в количествах значительно выше среднего. К счастью, в европейских странах общественное мнение настроено против национализма очень резко. Особенно в Германии. Так что десоветизация сознания новых граждан ФРГ — вопрос времени и воспитания. Под шоком Нюрнбергского процесса выросло уже несколько послевоенных западных поколений. Любые разговоры о чистоте крови, национальном немецком государстве и прочих чисто национальных ценностях оцениваются однозначно — расизм. Публично заявивший нечто подобное человек, особенно известный, должен быть готов к общественному ostracismу.

В этом смысле евреям не повезло дважды. Сначала их чуть не уничтожили нацисты, а потом сам факт Холокоста послужил нравственным оправданием для еврейского шовинизма. Уроки второй мировой войны были усвоены ровно наоборот. Для большинства цивилизованных народов чудовищные потери второй мировой войны оказались платой за иммунитет против расизма и национализма. В то же время и на этой же почве вырос и укрепился идейно еврейский национализм. И это ужасно обидно. Чувство вины и сочувствия по отношению к народу-жертве превратилось у окружающих в индугенцию, снимающую грех, непросительный для всех прочих. Отсюда нравственная допустимость публичных призывов не смешивать свою древнюю кровь с чужой, жить еврейской жизнью (кто бы объяснил — что это такое?). Попробовал бы кто сейчас в Германии призвать немцев жить немецкой жизнью!

Во всем цивилизованном мире шовинисты вербуют себе основную массу сторонников среди мещан, недоучек. Так было и так есть. Те “памятники”, которых я лично наблюдал в Ленинграде, были как на подбор людьми простодушными и невежественными, хотя и злобными. А еврейские националисты — в основном высоколбые интеллигенты. Еврейская (точнее, осознавшая себя еврейской) интеллигенция в принципе не гнушается идейным национализмом — для цивилизованного общества сегодня это достаточно редкое явление. Цитата из Михаила Хейфеца, с которой началась эта статья, — грустный тому пример. А недавно мне попала в руки статья в журнале “Панорама Израиля” на русском языке, посвященная ужасной демографической катастрофе. Речь шла о том, что во всем мире растет количество смешанных полуеврейских браков, дети от которых евреями считаться не могут и еврейской жизнью (!) не живут. Автор был в ужасе и призывал родителей препятствовать смешанным бракам своих детей. И такие призывы как варварство не осознаются.

Сейчас в Израиль из Советского Союза хлынула масса людей, которые три-четыре года назад и представить себе этого не могли.

От ужасов советского быта едут добропорядочные совслужащие. Чтобы убедить себя в правильности сделанного шага, им нужна идеология — обидно же признаваться, что едешь за жратвой. И если на официальный шовинизм — вроде статьи в “Панораме Израиля” — наложится энтузиазм советских неофитов — последствия непредсказуемы.

В заключение решусь заявить: полагаю, что попытки конкретизировать в наше время понятие “национальная культура” вообще, в принципе, бесплодны. Термин этот потерял смысл настолько, что в научных дискуссиях неприменим. Только в идеологических. Так же, как термин “народ”, “нация” и пр. Сегодня можно изучать культуру конкретного социума — и то только в плане исследования сходства и различий с иными близлежащими социумами. Генетическая (расовая) характеристика давным-давно, иногда и тысячу лет назад, перестала совпадать с культурной и так же не имеет смысла как аргумент в подобных дискуссиях. Культура — это процесс со многими составляющими — географической, языковой, социальной, временной... Нет в научном смысле “единой русской культуры”. Есть множество региональных сельских культурных этносов, есть множество городских этносов, да еще расчлененных социально — может сказаться, что английский и русский интеллигенты этнически ближе друг к другу, чем к крестьянам-соплеменникам. Русская литература XIX века — один культурный срез; матерные сказки, записанные Афанасьевым, — совсем другой, а одесский фольклор, породивший Бабеля, — третий. Это системный подход, то есть научный. А есть прямо противоположный ему — идеологический. И когда находятся любители классифицировать события мировой культуры по принципу соответствия “истинно национальным ценностям”, сама терминология сигнализирует, как лакмусовая бумажка: внимание, идеология! Значит — ложь.

Марина Кудимова

УЧЕНИК ОТСТУПНИКА

За эту статью мне долго мешало взяться явление, которое В.Высоцкий обозначил в шутливой песенке: "Танцевали на гробах, богохульники". В последние годы сей род хореографии развивался форсированно — вплоть до требования эксгумировать прах Сергея Есенина, чтобы доказать версию убийства и опровергнуть самоубийство, вплоть до знаменитого обвинения в некрофилии, адресованного тем, кто, возможно, впервые понял, что у Бога несть мертвых, и, пытаясь покаянно отдать последний долг писателям, вычеркнутым из литературы (а часто и из жизни), напечатал их произведения, не пожалел журнальной площади. Автор обвинения, П.Проскурин, высмеял взывающих к покаянию за якобы посягательство на Церковное таинство. Однако, например, Николай Огарев считал, что "покаяние не только христианская мысль, но необходимая для всего, человечески искреннего"...

Из неторопливого изложения известного писателя узнаем, что в анкете одного литературоведческого журнала ему встретился вопрос: "Судьба кого из русских поэтов представляется вам наиболее трагической?"

Хорош конкурс! Софокл — председатель жюри, победителя ожидают памятные призы, разнарядка на бессмертие, внеочередное издание...

Но неподражаема и пионерская серьезность, с какой писатель (В.Солоухин) согласился принять участие в голосовании: "Я бы назвал Есенина..."

Не слабы и аргументы: "Есенину на долю досталось увидеть, как Россия гибнет".

**Марина
КУДИМОВА**

— родилась в 1953 году в Тамбове. Поэт, автор четырех поэтических сборников, изданных в России. Один сборник издан в Дании. В 1988 году Кудимова переехала из Тамбова в Подмоскowie и в настоящее время живет неподалеку от города Сергиев Посад.

А Бунину не досталось? Блоку? А Горькому по возвращении с курорта Капри в санаторий Соловки — с острова на остров?

Но слушаем дальше: “С рубежа 25-го года он мог уже предвидеть и гибель деревни, и гибель народа, сыном которого он был”.

Как говорится, умри, лучше не скажешь! Даже если принять, что из-за рубежа — ни Г.Федотов, ни Н.Бердяев, ни Г.Флоровский, никто из выгнанных к 25-му году ничего не понял и ни строки не написал о гибели деревни и народа, как быть с Клюевым, наставником Есенина, и его письмами к Блоку? С Мандельштамом, даже если ни на миг не забывать, что он сын *не того* народа? Ведь он уже к 24-му году расслышал, как “взрвели реки времен обманных и глухих” и увидел “улыбку человека, который потерял себя”. Куда девать Орешина, Клычкова, Ширяевца — возможно, более близких В.Солоухину? Впрочем, Сталин знал, куда девать и “предвидевших”, и прозревших... Добро бы, посетило сие откровение В.Солоухина четвертью века ранее, когда его кумир был только-только августейше дозволен к употреблению. Но цитируемая порция “Камешков на ладони” опубликована в 1990 году, когда усилиями “некрофилов” история литературы XX века перестала зиять пустотами.

О чем, кроме пристрастности, говорит этот эпизод?

О том, что наше образование — сзду наперед, когда плавать — раньше, чем ходить, “Анти-Дюринг” — раньше Дюринга, Есенин — раньше Клюева, но и Бердяев — прежде Нила Сорского, — привело к ужасной деформации сознания. И — как следствие — к разгулу языческого кумиротворения, в котором редкий неопит не соблазнится поучаствовать. Я далека от мысли, что В.Солоухин не пошел в своем знании отечественной словесности текущего века далее Есенина — не по времени, а по порядку публикаций. Но в условиях деформации — напечатанный прежде остальных и внедренный в подпорку Есенин невольно предстает в ряду старых “отеческих богов”, которых язычник Пам из книги Г.Федотова “Святые Древней Руси” завещает “не оставлять, и жертв и треб их не забывать, давней веры не пометывать”. И подспудные опасения В.Солоухина не напрасны. Прозелиты новообретенной литературы с легкостью необыкновенной готовы отвергнуть всякого, кто вписан в синодик на день ранее, чем они усвоили имя очередного предмета поклонения. Тут своя конкурсная система, и Есенин, вполне вероятно, не прошел бы по ней и первого тура. Но задумаемся: нет ли здесь некой провиденциальной закономерности?

Вот размышления другого литератора (М.Чулаки) о трагедии этой личности — трагедии вне конкурса. Он пишет, что Есенин был искренен, когда “малевал похабные частушки на стенах Страстного монастыря: новая вера всегда утверждается путем поругания прежних святых”.

Но ведь можно свободно допустить, что и легионер, заушавший Христа, тоже действовал не вопреки себе. И он даже достоин оправдания, ибо не знал, что посягает на Спасителя человечества. А с точки зрения атеистической можно даже и действия Самого

Иисуса по изгнанию из храма торгующих квалифицировать как противоправные.

Но Христос выправлял деформацию, очищая дом отца своего, а Есенин писал хулы на доме Бога, Которому его предки молились без малого тысячу лет, вместе с Богом попирая тем самым и отцов своих. Такие действия — уже со всех точек зрения — следует признать и назвать страшным словом — **о т с т у п н и ч е с т в о**. И что, кроме сочувствия, можно испытывать к писателю, не видящему разницы между свержением языческих кумиров и надругательством над христианскими святынями?

В богоотступничество Есенин впал, конечно, не в одиночку и не обыден. Вместо того, чтобы оспаривать его первенство по части “трагичности” или добиваться, каким способом он был умерщвлен, по-моему, следует, внимательно прочитав потрясающий очерк о поэте в “Некрополе” В.Ходасевича, попытаться пойти дальше и на новом уровне постижения доискаться до истоков истинной трагедии, участником которой стал Есенин, — массового самоубийства души.

Можно не слишком доверять А.Мариенгофу и другим мемуаристам, описавшим кощунства у стен Страстного. Однако об отступничестве Есенина я знаю из его стихов. И мне представляется глубоко закономерным, когда известный эстрадный певец путается в тексте, распевая:

*Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот — и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист.*

*Ах! Какая смешная потеря!
Много в жизни смешных потерь.
Стыдно мне, что я в бога верил.
Горько мне, что не верю теперь.*

Мудрено понять и еще мудренее повторить, воспроизвести эти “верил” и “не верю”, мудрено разобраться, за что “стыдно” и отчего “горько” поэту. И только не увиденный самим поэтом, но явственный отблеск геенны очевиден в аргументации собственных бесчинств:

*И похабничал я, и скандалил
Для того, чтобы ярче гореть.**

XX век — на фоне подвигов новомучеников, расцвета христианской мысли, непрестанных знамений присутствия Божия — дал

* Разрядка М.К.

колоссальный рецидив язычества, если объединить этим понятием всякое отпадение и отступление от исповедания Единого Бога, Творца неба и земли. Не имея намерения вдаваться сейчас в причины духовного регресса, скажу, что основной категорией языческого сознания был и остается миф, как ни изменилась философская и филологическая трактовка этого понятия. И чтобы снова избежать ненужных подробностей, остановлюсь на определении, данном мифу М.Гаспаровым: “Одни сказки рассказывают и верят, что так оно и было: это — мифы”. Сегодня, когда главным творцом мифов стали средства массовой информации, афоризм М.Гаспарова точнее звучал бы так: “Одни сказки рассказывают, а другие верят, что так оно и было”.

Имена Есенина и Высоцкого встретились в пространстве нашей темы отнюдь не случайно. “Их часто сравнивают”, — справедливо замечает М.Рощин. “В сатире своей он шел прямо за Зощенко, в лирике — за Есениным”, — пишет о покойном друге В.Аксенов. Правила хорошего мемуарного тона побуждают искать аналогии. Мифотворчество работает на повышение места в иерархии культурных ценностей.

Ошибкой В.Инова, автора обстоятельной статьи о Высоцком в “Вестнике новой литературы”, на наш взгляд, является то, что он создание мифа целиком поручает народу. Но миф творит не народ. Полностью обладая средствами массового воздействия, миф творит жреческая каста культуры — интеллигенция, на этапе “выхода из народа” склонная к языческой эклектике. Так произошло с Есениным и его адептами. Так, вольно или невольно, и В.Солоухин способствует поддержанию пошатнувшегося мифа Есенина — народного певца, затравленного и убитого врагами России.

В нашей культурологии главенствуют два противоположных принципа: “не замай” и “налетай, подешевело”. Особо ярко они воплотились, пожалуй, в отношении к Маяковскому, но Есенин тоже фигура достаточно характерная. Под прикрытием первого “принципа” он был фактически законсервирован с тех самых пор, как была свергнута власть второго “принципа”, когда Есенина представляли “попутчиком” и “кулацким подголоском”. Табу “не замай”, слава Богу, снято публикацией статьи И.Бунина “Инония и Китеж”. Но именно эта статья, посвященная вовсе не Есенину, а А.К.Толстому, может послужить “командой” для новых упражнений в “налетай, подешевело”, тогда как наступило время прежде всего для серьезного разговора о духовном содержании поэзии Есенина.

Сергей Есенин, триумфально, под взрыды растроганной интеллигенции вошедший в литературу, начинал прежде всего как поэт Православного мировоззрения. Еще в 17-м году он писал в поэме “Певущий зов”: “Не губить пришли мы в мире, а любить и верить”.

Увы, разрушительный процесс слома сознания начинает развиваться с роковой стремительностью. В том же году, в поэме

“Пришествие”, опережающей “Двенадцать”, Христос предстает на фоне новой эры в гефсиманском одиночестве:

*Нет за ним апостолов,
Нет учеников.*

Это пророческие и полные скорби строки лишь гуще оттеняют последующие богохульные стихи. Пройдет совсем немного времени, и поэт начнет сражаться против преданного и покинутого людьми Христа, чье одиночество он только что оплакал.

Оправдательные описания “мужицкой” революции еще не вышли за рамки Евангелия, но уже содержат призыв:

*Из распятого терпенья
Вынуть выржавленный гвоздь.*

Однако Господь, снятый со Креста, к которому этими гвоздями прибит, остается без оплакивания и погребения, и, таким образом, нарушается сакральная последовательность событий, приведших к Воскресению из мертвых. Тот же год, будь он неладен, вырывает у Есенина признания, свидетельствующие об опасном для христианина заблуждении — отождествлении греха и грешника — его носителя. Он обращается к Родине со словами:

*Люблю твои пороки,
И пьянство, и разбой...*

Отсюда уже шаг до святотатств “Инонии” — извержения Святого Причастия: “Тело, Христово Тело изbleвываю изо рта!” Дальнейшее кощунство в какой-то мере спровоцировано Блоком:

*И всю тебя, как знаю,
Хочу измять и в з я т ь.**

Понятно, что желание адресовано также Родине. Но если Блок, во изменение традиционных родственных отношений, обращается к Руси как к ж е н е , то гораздо более традиционный Есенин неизменен в ощущении — внутри общеславянской фольклорной этики — Родины как матери. Поэтому его неожиданный инцест вызывает просто содрогание. Кроме того, для Есенина, выросшего в православной семье, существует еще мистическая Богородичная ипостась России, и я не думаю, что поэт, в изложении мифологов претендующий на полноту предстательства за народ, может не понимать, на что посягает. Через год будет написано:

* Разрядка М.К.

*Говорю вам — вы все погибнете,
Всех задушит вас веры мох.*

При нарастающей безответственности за слово его сбыччивость, однако, была внятна Есенину: не случайно так навязчив в его стихах мотив самоубийства. Фактически приведенными строками он произносит свой приговор мученикам за веру, которые, надеюсь, неустанно молятся за его душу, как просил сам поэт еще в 16-м году в стихотворении “За горами, за желтыми долами”.

Червивым плодом отступничества зрела авторская глухота. Есенин перестал слышать, как все его последующие обращения к Родине звучат ерничеством насильника, воспевающего изнасилованную. Тут-то и возникла нужда в мифе, которую удовлетворяют по сей день зараженные той же глухотой творцы кумира. Тут-то исподволь начался и автомиф, породивший впоследствии целую литературу, все приверженцы которой как один почитают Есенина своим пророком и нигде и никогда не усомнились в истинности учения. И неудивительно: “деревенская” литература — а речь идет именно о ней, — восприняв от Есенина самооправдательный миф, долгое время на фоне сатанинского государственного мифа выглядела носительницей правды.

Итак, Есенин юношей расстался с родной деревней, числился в пастушках при столичных салонах, пока это работало на “имидж” (позднейшая американизация “имажинизма”, которым Есенин увлекся после революции), затем, переодетый в “цивильное”, стал звездой московской богемы, которая его и убила. (Читаем у М.Рощина: “Есенин представляется в сравнении с Высоцким изысканным, почти рафинированным, сразу веришь в его цилиндр и перчатки”. Очевидно, “поверить” в “мерседес” Высоцкого уважаемому драматургу помешала естественная смена системы божественных ценностей.)

Сперва полулель-полухерувим, потом — записной хулиган, затем — искренняя попытка ощутить себя блудным сыном. Здесь автомиф сделался окончательно уязвимым, ибо первоисточник так или иначе помнят даже и те, кто знает Священное Писание в пересказе Емельяна Ярославского или Яна Парандовского.

Притчу о блудном сыне Христос рассказывает в Евангелии от Луки в ответ на упрек книжников и фарисеев, что Он принимает грешников. Эта притча — может быть, наиболее яркая в цикле притч о необходимости покаяния, рассыпанных по всем четырем Евангелиям. Я не сомневаюсь, что душу Есенина мучила вина, в чем он проговаривается в целом ряде трагически прекрасных стихов: “Я покинул родимый дом”, “Русь уходящая” и др. Но блудного сына спасает полнота раскаяния, которую при всем желании обнаружить в творчестве Есенина нельзя: “Отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим” (Лк, 15, 21). Напротив, Есенин, окончательно забыв о своих эротических притязаниях (“хочу измять и взять”), посто-

янно декларирует некую особую миссию по отношению к Родине, хотя ни словом прощания, ни намеком не выражает сострадания к “изгнанным правды ради” в 1922 году.*

Создание мифа предполагает наличие ложного следа на пути от причины к следствию. По ложному следу и шествует Есенин разоренной и разграбленной деревней: “в лайковых перчатках”, а не в рубище. Благотворительный блудный сын в английском костюме заменяет более ранний — и более драматичный — вариант блудного сына-самоубийцы (“Устал я жить в родном краю”). На этой-то подмене содержания притчи и возросла “деревенская” проза, блудные создатели которой возвратились в свои деревни тоже не в унижении, а как минимум лауреатами и депутатами, хотя и “с чувством вины”. Так сбывалось: “Нет за Ним апостолов”; возможные ученики Христа выбрали лжепророка.

* * *

Есенин совершил грех отступничества, когда Россия еще была страной Православия. Высоцкий застал процесс, в который Есенин внес, что называется, посильный вклад, на излете. Я имею в виду планомерную и непревзойденную по жестокости секуляризацию, обмирщение общественного сознания.

Обмирщение, расцерковление связано с необратимыми изменениями вековых циклов, воспетых Иваном Шмелевым в “Лете Господнем”. Нас же прежде всего занимает в связи с секуляризацией проблема самоволия, подменяющего свободное отдание личной воли сверхличному началу, совершаемое мистическим актом веры. Когда свобода воли вытеснена самоволием, человек теряет ориентиры и оказывается как бы в состоянии духовной невесомости, не зная, как управиться со своими импульсами и желаниями. Это не раз звучит уже в самых ранних песнях Высоцкого: “Мне вчера дали свободу, а что я с ней делать буду?” и т.п.

Официальный атеизм потерпел крах в начале 60-х, то есть именно тогда, когда молодой актер В.Высоцкий спел друзьям свои первые песенки. Однако общество пребывало в той стадии секуляризации, за которой непосредственно следует непроглядная тьма Богооставленности. Интеллигенция, должествующая служить концентрированной совестью народа, оказалась неспособна из эйфорической невесомости “оттепели” сразу покаянно встать в церковном притворе на месте оглашенных. Это было доступно единицам (В.Осипов, Зоя Крахмальникова), и они немедленно заплатились за свое покаяние. Большинство плутало в дебрях “свободного выбора”.

* Авторство неизвестного ранее и опубликованного совсем недавно письма к Д.Бедному, где говорится о новой генерации, “которой плевать на все, что в человеке свято”, принадлежит С.Есенину лишь гипотетически.

Своя воля предлагала широкий ассортимент подмен в виде духовных суррогатов, вкупе и образовавших беспрецедентный эклектизм воззрений и представлений 60-х. Советская интеллигенция никогда бы не согласилась с тем, что лучше всех ее "плюрализм" определил сектант-федосеевец из романа Домбровского "Факультет ненужных вещей": "...для меня и Бог есть, и ангелы есть, и власть есть, для меня все на свете есть".

Сталин говорил о мировоззрении интеллигента Ленина, что у него, как у Некрасовского дядюшки Якова, "много товара всякого". Таким "дядюшкой Яковом" по совокупности предстает в своем мировоззренческом измерении и В.Высоцкий — типичный московский "оттепельный" молодой человек, которому уже не надо озиаться, произнося слова. Это поколение как бы пробалтывало вакуум молчания, рожденного страхом.

Организованный интеллект подчиняет сумму знаний некой системе или сверхидее. Эклектизм не предполагает глубины и чаще довольствуется информацией из третьих рук по принципу: "Один мужик рассказывал". Здесь-то и надо искать объяснение сказовой форме многих песен Высоцкого. На раннем этапе идея песни издерживается в ее пределах. Автор просто не замечает содержательных противоречий, возникающих между песнями, написанными практически одновременно, или не придает им значения, воплощая в очередной песне очередной локальный замысел. Так, герой песни "На реке, на озере" обривает строчку: "Недоступны заповеди нам". А в песне "Сколько чудес за туманами кроется" рекомендуется повторять, как заклинанье: "Не потеряй веру в тумане, да и себя не потеряй". В песне же "Корабли" звучит: "Я не верю судьбе, а себе еще меньше".

Ни декларацию веры, ни демонстрацию неверия не следует принимать слишком всерьез — пока все это больше для рифмы. Автору еще не внушена творящими его миф сверхзадача роли. Но уже нельзя пройти мимо обилия в песнях нечистой силы — тоже пока мелкого калибра: вампиров, леших, ведьм.

Неоязыческое сознание похоже на слоеный пирог. Оно может быть достаточно высоко организовано и напоминать об античной цивилизации. Может быть примитивно фетишистским. А может запросто сочетать оба уровня. Одна из версий такого типа сознания — релятивизм, своего рода "протестантизм". Это наиболее распространенные "облегченные варианты веры для интеллигенции", как писал А.Солженицын. "Страшный суд в популярном изложении", — комментирует поэтику одной из песен Высоцкого В.Инов. Творчество этого сознания безблагодатно, отмечено пассивным томлением души, несоиздательно.

В.Инов пишет, что Высоцкому "дано было артикулировать народные стереотипы послевоенной поры...". Но Высоцкому дано было и зафиксировать "арзамасский ужас" своего поколения: "Задавлены все чувства — лишь для боли нет преград" ("Баллада о числе"). Он ощущал и честно выговорил, назвал драму нравственной раздвоенно-

сти: “И, горьким думам вопреки, мы ели сладкие куски” (песня “Мы все живем”). Ему вообще очень много было дано. Скорбно, что столь богато одаренный человек не предполагал, сколь серьезно с него будет спрошено. И мне заранее горько, если мои заметки могут быть восприняты как осуждение двух замечательных русских поэтов, оставивших нам немало великих стихов, — поэтов, которых я душевно люблю за подлинность и уникальность дара, но которым пора предъявить духовный счет. И вот выясняется, что по нему поэты заплатить не в состоянии. Во многом это и для меня трагическое открытие, но свою меру ответственности за историю страны я не могу ощущать иначе, как личную вину. И вина эта еще будет усугублена, если и сейчас не заняться выправлением деформаций, возникших от самовольного управления историей и культурой. Подобно тому, как места депортаций заселялись людьми, не сеявшими в этих местах хлеба и не строившими домов, так и оба моих героя заняли в культуре неподобающе большое пространство, часть которого принадлежит депортированным, а они, если выживут, наверняка захотят вернуться в родные пенаты.

В докладе “О Блоке” его предположительный автор о. Павел Флоренский пишет: “Но и “слов кощунственных творец” есть уже поэт значительный, ибо кощунственные слова — неправда, сказанная о Правде; “кощунство всерьез” обязывает быть причастным глубине, предполагает укорененность в глубинах сатанинских”. Постараемся не забывать этих слов, вынося суждения — и о работе, и об ее персоналиях.

* * *

Одним из богов нового язычества, безусловно, является спорт. Недаром чуткий Высоцкий отдал такую обильную дань спортивной теме. Вспомните, сколько места в эфире спортивные соревнования занимали еще недавно. Соревновательность, состязательность, стахановщина пронизали все слои советской жизни и, разумеется, культуру. Раздача мест, выяснение, кто первым пришел к финишу, и постоянное навязчивое оспаривание первенства давно подменили культурный процесс, и Бог весть сколько мы еще будем продолжать эту безумную гонку. Спортивная лексика долго представлялась Высоцкому максимально динамичной для его темперамента и этической установки:

“Лишь чуть-чуть осмотрелся в игре, и судья еще счет не открыл” (“Кто-то высмотрел плод”).

Спортивный пласт языческого сознания требовал первенства любой ценой. Тема перемещения по рядам, набора зачетных очков не оставляет Высоцкого годами: “В мире шахмат пешка может выйти, если требуется, в ферзи”.

“С последним рядом долго не тяни, а постепенно пробирайся в первый”.

Наконец, “Я прийти не первым не могу!” — вот только несколько примеров этой идеи фикс.

Со спортом непосредственно связана и модель супермена, которая является не чем иным, как вариантом автомифа Высоцкого. Культ мужественности он служил верно и преданно, видимо, не осознавая, что выбранный им эталон уже слишком сближает советское общество с империей, павшей от его руки. Я, разумеется, говорю о “третьем рейхе”.

Поскольку спорт признает примат личной воли, то на этой теме тяга Высоцкого к своевольному “человекобожескому” существованию, казалось бы, должна была удовлетвориться. Но смутное томление не покидало его, и, чем сильнее нарастал в песнях богоборческий мотив, тем очевиднее становилась тоска по идеалу не подменному, не паллиативному, а духовно полноценному. Однако как мог Высоцкий прийти к Богу? Духовная обстановка того времени в качестве пути наименьшего сопротивления предлагала “облегченный”, “протестантский” вариант. Кроме того, нельзя не отметить, что многие его богоборческие заявления происходят от элементарной неосведомленности в субъектно-объектных религиозных связях:

*И я попрошу Бога, Духа и Сына:
Пусть выполнит волю мою.**

Оговорка из разряда тех, на которых Фрейд выстроил свою теорию. С этой точки зрения творчество Высоцкого особенно показательно: что ни песня, то борьба за неприкосновенность своей воли:

*Я согласен бегать в табуне,
Но не под седлом и без узды.*

Видимая часть айсберга подставляется социальным боком, и поэт выглядит традиционным бунтарем и инсургентом в конформном обществе, по нашим отечественным меркам — почти диссидентом. В этом “почти” уличает его В.Инов. Но, я думаю, он просто поддался на авторскую уловку и прочел тексты буквально, тогда как подсознательно песни этого ряда построены на иносказаниях, на неупотреблении имени *Божия*, как язычник Дерсу Узала избегал слова “тигр”, как славянский язычник нашел эвфемизм “медведь” для своего тотема. Так и “отеческие боги” Высоцкого, или, по В.Инову, стереотипы его сознания, не позволяя смиренню проникнуть и в малую клетку языческого организма:

* Разрядка М.К.

*И если бы оковы нам сломать,
Тогда бы мы и горло перегрызли
Тому, кто догадался приковать
Нас узами цепей к хваленной жизни.
(“В дорогу живо”)*

Табу на имя Божие становится почти непреложным, а если это имя употребляется, то в ироническом контексте: “Ведь есть **какой-то Бог**”.

“Ирония по этому поводу, мягко говоря, неуместна”, — барственно замечает В.Инов. Мне неизвестны его религиозные пристрастия, но позволю напомнить В.Инову поговорку, которую любил повторять И.Д.Шухов: “Сытый голодного не разумеет”. И если бы речь шла не о конкретном человеке и я не боялась бы его обидеть, я воспроизвела бы протестантский вопрос самого Высоцкого: “На всем готовеньком ты счастлив ли...?”

Наездник, Невидимка, Альтер эго, Тот, Который не стрелял, — все это кодирование Бога в стихах Высоцкого, мне думается, может свидетельствовать о непрекращающейся вышней борьбе и за его душу, а не только о бесплодной борьбе с самим собой. Что мог поэт противопоставить Сущему? Супермена? Но Бог не напрасно дал ему щуплое тело и малый рост, ибо не в силе, а в немощи побеждает Распятый за нас, в жалости к Которому проговорился мирскими словами не знающий молитв Высоцкий: “Вот только жаль распятого Христа”. Спровоцированный Есениным и Маяковским — а кого еще мог знать недоучка 60-х? — он грзил Тому, Кого ощущал как помеху самоутверждению: “Я ему припомню эти шпоры!” (песня “Иноходец”). Он постоянно снижал пафос, и таинственный Невидимка, который готов был оказаться Ангелом-хранителем, оказывается Нинкой-анонимщицей, добивающейся женитьбы (песня “Альтер эго”). Микрофон страдает оттого, что вынужден усиливать ложь, тогда как обернись он в другую сторону — и получит возможность транслировать истину. Страх “прокола” выше страха Божия, жажда первенства сильнее потребности в самоотвержении. Бунт исполнителя — вот протестантское и актерское кредо Высоцкого. “Нет, и в Церкви все не так!” — в этом провокационном вскрике напряженное желание услышать оппонента. Спортивные достижения уже ничего не дают: “Вот вышли наверх мы, но выхода нет” (песня “Спасите наши души”).

Заложник отступничества хочет и не свергнуть прежних богов, и получить истинную свободу. При этом он едва ли отдает себе отчет в том, что, балансируя на грани, гораздо больше шансов соскользнуть, чем устоять. Падение Высоцкого — вполне закономерное следствие всех ухмылок и обиняков в сторону Духа Святого, сумма которых так или иначе дает кощунство. Окончательно Высоцкий “ломается” на традиционной заставке для секулярного ума — тайне непорочного зачатия.

Читаем в уже упоминавшемся докладе “О Блоке”: “Хула на Богоматерь — существенный признак блоковского демонизма. Литературно это — от “Гавриилиады”. Подоплека же этой хулы всегда — посягательство на девство Богоматери, и мы уже видели, как опосредованно это делал Есенин. Но, пожалуй, в песне “Про плотника Иосифа, деву Марию, Святого Духа” Высоцкий идет дальше предшественников, дерзая замахнуться на *жизнь* непорочной девы, которую по сюжету, хотя обстоятельство и не договорено до конца, *убивает* Иосиф. Страшно цитировать или пересказывать *это*, страшно представить себе и уровень опустошения души, привыкшей к наркотику иронии и не брезгующей способами его добытия.

“Я очень редко открываю душу” — кто из экспертов “лирического героя” обратил внимание на это признание? Высоцкий искал идеал, исходя из своих, проясняемых нами, “или — или”. Он прятался за отстраненностью и сказом, а когда выглядывал — черты были искажены мукой: “Лучше с чертом, чем с самим собой”. Где мог он найти обоснование “мужчинских” установок, которые почитал незыблемыми? Где мог реализовать романтическую направленность, роднящую его с Гайдаром?

В двух сферах. Первая из них — война.

Высоцкий был чище душой, чем соседи по эстраде — мастера карманных фигов. Он не мог не понимать, что военная тема — самая открытая из “дозволенных” и в то же время самая доступная и эмоциональная в любой аудитории. Однако он никогда не форсировал “выгодных сторон” темы. Война давала возможность освоения истин Ветхого Завета в пределах кодекса чести, по которому он хотел бы жить. Антиномии “друг — враг”, “наши — не наши” вполне его устраивали: он любил четкие формулировки, возможно, вопреки эклектике. Устраивала и исключительно военная прерогатива нарушения заповеди “не убий” без ущерба для совести. Завет “не убий”, наверное, казался Высоцкому самым трудноисполнимым: суперменство и ставка на своеволие требовали мгновенных реакций на зло и оглаваривали право личного возмездия. Человек в экстремальных обстоятельствах мыслился Высоцким как человек по преимуществу. Однако неготовность к восприятию иных истин сказывалась на нравственной программе, которой он старался обеспечить свою интерпретацию войны: “Что нужнее сейчас? Ненависть!” (песня “Аисты”). Христианка Анна Ахматова полагала, что — мужество: “Час мужества пробил на наших часах”. Певец мужества Высоцкий не потянул такой высоты. Но уже не раз подтверждалось, что благородной ненависти не бывает, есть только бесовская. Обмирщенное сознание выглядит особенно ущербным и недостаточным, когда подвергается вот таким испытаниям.

Другой сферой воплощения лермонтовски мятежной натуры Высоцкого стал уголовный мир.

“На чем проверяются люди, если войны больше нет?” — вопрос звучит совсем по-детски. Инфантилизм, болезнь 60-х, у Высоцкого

все же более обаятелен, чем у его сверстников. Мне легко, я знаю ответ: на исполнении Божьих заповедей. Высоцкого такой ответ не удовлетворил бы. Постоянное участие в бегах, гонках, ралли означало риск. Риск был формой самоутверждения, самоутверждение — нравственным законом, если верить Ф.Шлегелю, что нравственность состоит в совпадении человека с собою.

“Так давайте же оценивать ранние песни Высоцкого с точным пониманием, что жанр, что стилизация, что портрет, что озорство...” — взывает Д.Кастрель. Ох и нравятся мне эти “точные понимания”! Лучший способ смазать неугодные противоречия... Неожиданно вступает сам поэт, достаточно редко (исключая военные песни) вдающийся в самооценки: “Я не считаю, что это были блатные песни. Это были стилизации”. Конечно же, давайте быть объективными! Давайте признаем оба высказывания чисто демагогическими. А как доказать, что, например, “Мурка” — не стилизация? Имеются свидетели, что ее написал вор-рецидивист? А может, братья Покрасс развлекались на досуге? Или Лебедев-Кумач баловался? По этой логике “Медного всадника” обязан был сочинить Фальконе. А “Собачье сердце” — самолично Шариков. Откуда это рвение защиты, опережающей нападение? Чисто уголовный прием, между прочим: “Ударил первым я тогда — так было надо”. Так защищали “Гавриилиаду” и “Москву кабацкую”, — да все, что выпадало из стройного мифа. Видимо, друзья Высоцкого смутно чувствовали скользкость темы, раз так лезли из кожи доказать, что Володя, мол, мускулатуру разминал на этих поделках.

Но причина того, что первой песней Высоцкого была именно “Татуировка”, лежит глубже дворового окружения и желания потрафить “своим”. Секулярное сознание — привилегия интеллигенции в первом поколении — развивалось параллельно и сходилось в лобачевском пространстве советской жизни с сознанием общенародным — *криминальным*.

Феномен поголовной криминальности было бы наивно связывать исключительно с эпохой Сталина. Сталин был типичным восточным тираном, сажал и убивал, конечно, интенсивнее, чем его учитель Ленин, но в целом просто последовательно “проводил линию”, и не надо его демонизм преувеличивать. Элементы уголовного сознания можно найти в самых благостных внешне эпохах. Недаром Е.Трубецкой посвятил главу в работе “Иное царство” и его искатели в русской народной сказке” (1923г.) “воровскому идеалу” в фольклоре, никоим образом не замыкаясь на русском народном творчестве. Причем, что для нас немаловажно, Трубецкой специально оговаривает: “Воровство играет большую роль в языческой мифологии”. Следовательно, в языческом восприятии мира, а не в личности тирана-временщика надо искать корни криминального типа. Поэтизация разбоя в мировом фольклоре связана с утопическим характером мифологических представлений, с преобладанием в них бессознательного и иррационального. Первым, кто показал уголовщину в негативном контексте вполне осознанно, был, пожа-

луй, Р.Л.Стивенсон (“Остров сокровищ”). Но как особая знаковая система, “воровской разговор” (Вожатый и трактирщик) фигурирует, например, в “Капитанской дочке”. Уголовник вненационален, хотя может использовать или провоцировать в своих целях и национальный конфликт, как показали наши дни. Так называемая “феня”, в которой к XX столетию воплотился шифр уголовного общения, полилингвистична и состоит на три четверти из иноязычных слов. И было бы фальсификацией увязывать уголовное сознание с менталитетом конкретного народа. Другое дело, что не где-нибудь, а в России, как пишет Е.Трубецкой, “осуществилась утопия бездельника и вора и мечта о царстве беглого солдата”. Правда, Трубецкой выносит за скобки уникальную особенность русского фольклора, который, проникаясь христианским идеалом, дал образ кающегося разбойника. Ведь и Кудеяр, и Огта — личности исторические, и здесь налицо преодоление язычества в виде предпочтения мифу легенды. Одно из высших достижений поэзии такого рода — стихотворение Некрасова “Влас”.

Есенин еще в 15-м году предсказал свое отступничество (“В том краю, где желтая крапива”):

*Я одну мечту, скрывая, нежу,
Что я сердцем чист.
Но и я кого-нибудь зbreжу
Под осенний свист.*

Вероятно, русская пословица “От сумы да от тюрьмы не зарекайся” и слово Апостольское “Всякий, думая, что крепко стоит, да бережется, чтобы не упасть” тогда еще имели хождение на Рязанщине. То, что составляет в нашем понимании криминальную психологию, отнюдь не связано с предрасположением к преступлению. Спohватившийся Есенин потом оправдывался:

*Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам.*

Но уже было записано бестрепетной рукой мемуариста (В.Ходасевич) — или самой истории, нежный лирик приглашает барышню поглядеть, как тех несчастных расстреливает комиссар Блюмкин. Ситуация, в которой оказался Есенин вместе со всем народом и которую мы ранее определили как рецидив язычества, независимо от частных обстоятельств, была призвана развязать так называемые “темные инстинкты” и способствовать развитию особых отношений человека и государства и особого типа человеческих взаимоотношений. Уникальное состояние, которое я бы назвала пенитенциарным напряжением, стало обыденностью, как чувство недоедания, или нравственной деградацией для тех, кому были доступны столь сложные самоощущения. Довольно точно расшифровал уголовное сознание Л.Габышев, автор книги “Одлян,

или воздух свободы”: “Те, кто с гениальной подлостью сделал ставку на самое черное в человеке, оставили нам в наследство генератор ненависти. И мы сами не замечаем, как его мощное поле уродует наши души, держит нас в постоянном страхе, перемешивает в нашем сознании добро и зло”.

Самым последовательным обличителем уголовного сознания был и остается, пожалуй, В.Шаламов. Его проза не оценена по достоинству в первую очередь потому, что в каждом из нас сидит ненавидимый им блатарь. Именно Шаламову принадлежит знаменательное утверждение: “блатари не любят стихов”. Но именно Шаламов открыл имя поэта, для которого эта братия сделала исключение, канонизировав как своего персонального менестреля. Этот поэт — Сергей Есенин.

Чем же потрафил наш лирик убийцам и насильникам? Вероятно, сентиментальным раздрызгом, нервической экзальтацией, приятной расшатанной психике блатаря, всегда нуждающейся в допинге. Уголовники почуяли в Есенине слабость безответственности, которой они особо привержены в отношениях с “фраерами”: обмануть “фраера” и “мента” считается в этом обществе само собой разумеющимся. Кроме того, Есенин постепенно упал до блатного отношения к женщине — цинично-потребительского.

В фильме “Штаны” два “шнурка”, начинающих уголовного, захлебываясь, читают герою: “Молодая, с чувственным оскалом”, пребывая в полном убеждении, что это самые запретные из запретных стихов. Потрясение их, когда герой сообщает, что стихотворение напечатано во всех хрестоматиях, не имеет предела. Миф порожден невежеством, но и опекаем и штатными защитниками Есенина от “врагов России”. Им выгоден этот миф, потому что внутри его проще обходить опасные места в творчестве кумира или произвольно их толковать. В том, что Сталин со приспешники пропустили интеллигенцию через лагерную мясорубку, но не позволили ей ассимилироваться с уголовниками, надо искать ответ, почему именно Есенин был едва ли не первым из “запрещенных” легализован. Думаю, ключом к разгадке его фантастической популяризации служит понятие “социально близких”. Интеллигент, вышедший из лагеря, был инфицирован уголовным сознанием, но социально по-прежнему отторгнут. Угождая, чтобы выжить, блатарю в лагере, он продолжал угождать ему и на воле. “Социально близкий” Есенин позволял поддерживать контакт с блатными, ибо воля не давала интеллигенту наесться досыта, а блатной снова захватил пайку. Воздействие “социально близких” и “социально чуждых” на часть общества, не тронутую доселе грибок уголовщины, становилось необратимым. Психология зоны постепенно проникала в сознание всех социальных слоев общества, от люмпенов до политбюро. Уничтожению или изгнанию подверглись практически все, кто избежал уголовного влияния или имел против него духовный заслон. На пустом месте изгнанной культуры расцвел культ Есенина, освященный “паханом”. Этот культ мало-помалу начал

вытесняться магнитофонным культом Высоцкого. Я считала, что “подгитарность” — тоже из рода “облегченных вариантов”, пока не поняла, что (других “бардов” не трогаю, у каждого — свое) в его случае — это уступка уголовному сознанию.

Владимир Высоцкий, чье детство прошло в непрестижном московском дворе, воспринимал уголовную среду без малейшего отчуждения, тем паче осуждения, как воспринимаем мы все из своей деформации любое уродство нашего общества. Более того, рядом с превращенными в имбецилов работягами и парализованной страхом интеллигенцией блатари с их жестким кодексом, своеобразной и непреложной моралью и романтическим ореолом, которым они умеют себя окружать, представлялись подростку “людьми” (так воры себя и именуют, дифференцируясь даже в родной среде). Советский подросток, психологически закрытый для пропаганды и не получающий в то же время никакого религиозного восприимчивости, Высоцкий принял внешний ряд уголовного кодекса, этот “дешевый понт”, как некий ориентир и постепенно перевел высшие в идеальную сферу.

Я думаю, что если бы столь одаренному человеку — Высоцкому предоставили бы возможность выбирать, он выбрал бы поэзию Гумилева. Но выбора не было, и он, обретаясь в теме военной где-то между Киплингом и Симоновым, в уголовной пошел за Есениным.

“Женщины — как очень злые кони”, самоценность пьянства, эмоциональный надрыв — все это можно отнести к разряду эпигонства. Но Есенин “снял пробу”, а Высоцкий формировался внутри зрелых уголовных взаимоотношений, и, естественно, его поэзия пронизана ими насквозь.

В песне “Сидели, пили вразнобой” на шахте “держит масть” “бывший зэк, большого риска человек” — и это буквальный срез с “внутренней политики” государства, уголовного по природе своей и поголовно развратившего народ уголовщиной. Лейтмотив подобных отношений с миром можно найти в военной песне “О новом времени”: “Не забыть бы тогда, не простить бы (разрядка М.К.) и не потерять”. Потеря дара прощения и сегодня состоит главной преградой на нашем пути к покаянию. Здесь у Высоцкого чудовищные провалы, глубочайшие “колеи”, выбраться из которых до конца ему так и не удастся. И не надо обольщаться, когда Высоцкий поет:

*Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем,
Чтоб не стало по России лагерей.*

(“Эй, шофер!”)

Он снова поет от имени уголовника или человека, плодотворно “привитого” уголовным сознанием.

Высоцкий процветал тоже “в отсутствие”. Основная тема “задвинутого” в темный угол Галича осталась бесхозной — так родилась “Банька”, прекрасная песня о человеке, подвергнутом

насильственной криминализации. Однако ведущей темой Высоцких “стилизаций” остается чисто уголовная — самовольное воздаяние, самосуд, блатная расправа с обидчиком: “Ведь это я привел его тогда, и вы его отдайте мне, ребята!” (“В наш тесный круг”). Как и на войне, уголовная жизнь происходит в непрерывном поединке, но критерий “врага” размыт, и жестокость становится самодовлеющей. Самосудное наказание несоразмерно с преступлением, цена общая — смерть. В такой модификации Высоцким дается и трансцендентное возмездие (то, что Лермонтов определил как Божий суд), и Христос у Высоцкого говорит как уголовник: “Убьешь — везде найду, мол” (“О поэтах и кликушах”). Переход от Ветхозаветного военного пафоса к Новозаветному смирению не удался, столкнувшись со стеной уголовной жажды мести. В то же время неотвратимое наказание осознается уголовниками в изложении Высоцкого как слепая фатальная сила, никак не связанная с преступлением:

*Сколько я ни старался,
Сколько я ни стремился,
Я всегда попадался
И все время садился.*

Языческое нечувствие причинно-следственной связи усугубляется еще и “местным” феноменом п р и з о н и з а ц и и : проникновением “психологии” зоны в правоохранительную сферу, когда “сфера” действует теми же методами, что и ее противники. Сам Высоцкий показал это в роли Глеба Жеглова. Глобальное недоверие общества “ментам” отражает не только их коррумпированность, но и призонизированность самого общества.

Апофеозом криминального мировосприятия является одна из самых популярных песен — “Охота на волков”. Она у всех на слуху, и я не стану препарировать ее содержание. Я противопоставляю ей всего одну строку Мандельштама, которой, ввиду отсутствия, вынужденности этого поэта из культурного обихода, Высоцкий мог и не знать: “Но не волк я по крови своей”. Так звериное (уголовное) в стихах Высоцкого становится альтернативой абсолютного человеческого. Так “стилизация”, детские шалости подводят “социально близкого” Высоцкого к той грани, на которой раньше не удержался Есенин. Отступник-учитель отозвался в ученике невозможностью переступить незримую черту, отделяющую оглашенных от верных (“Если б ту черту да к черту отменить!”). Имя нечистого здесь более чем закономерно.

Ложный идеал рушился, истинный не обрелся. В.Шаламов блистательно показал, как Сталину удалось расколоть и уголовный монолит (“Очерки преступного мира”, “Сучья война”). Наиболее отчаянные и идеологически крепкие ушли в “беспредел”. “Этих никаким, даже Божиим словом не проймешь. Это уже продукт

новой эпохи”, — ставит на таких клеймо Хромой в повести Астафьева.

Трудно предположить, чтобы Высоцкий сочувствовал садизму нынешних преступников. Но не получалось призвать и “милость к падшим”, ибо христианином Высоцкий стать не смог, а иные основания недостаточны для любви к спившимся люмпенам, в которых на две трети превратился народ в брежневские годы: “У ребят широкий кругозор — От ларька до нашей бакалеи”. Сочувствие все чаще перемежается то глумливостью, то сердечной болью, акценты смещаются. В песне “Дом”:

*Что за дом притих, погружен во мрак?..
...Двери настезь у вас, а душа взаперти!
...А припадочный малый, придурок и вор,
Мне тайком из-под скатерти нож показал!*

На вопрос “Али жить у вас разучились?” обитатели тупо отвечают: “Мы всегда так живем!”

Стагнационная безнадега рождала еще и не такие ощущения, но в этой песне звучит столь не свойственная супермену растерянность и неуверенность в себе, извиняющая предвзятость: “Значит, спел про вас неумело я...”. Иначе как поражением такое резюме признать нельзя.

Высоцкий увидел новый ракурс пушкинского и цветаевского конфликта поэта и черни:

*Меня к себе зовут большие люди,
Чтоб я им пел “Охоту на волков”.*

Плен самообмана становится тягостным: нельзя одновременно быть обличителем и кормиться со стола обличаемых. В связи с этим интересно замечание Ю.Трифенова: “...все... персонажи его сатиры тоже его любили, как будто не понимали, что он над ними издевался”. Да ведь для героев Высоцкого, как и для “Больших людей” (то есть “Авторитетных урок”) — это было нормальное уголовное удовольствие, возможность “похавать культуры”! А не относить на свой счет — столь же нормальное свойство уголовного сознания, уповающего на сиюминутную безнаказанность.

Высоцкий, как справедливо пишет Марина Влади, “звучал из каждого окна”. Инерционность мышления людей, считавших себя его друзьями, состоит в том, что они примеряли на него тот же костюм страдальца, что и к “литературе отсутствия”. Но криминализованной аудитории Высоцкий оказался не по зубам, и она изменила певцу сначала с Розенбаумом, потом докатилась до неудобовнимаемых Асмолова и Шуфутинского, а им предпочла одноклеточного Токарева.

“Не напечатали ни строчки, издали две пластинки”, — мифотворческие причитания М.Рощина нашли мало сочувствующих.

“Баловень неслыханной прижизненной славы, предмет всеобщего восторга и поклонения... Ну, не издали при жизни — да так ли уж к этому стремился?” — трезвый голос Ю.Кима.

Высоцкий, мощнейший ретранслятор уголовного сознания, ушел, не заняв высшей ступени в этой иерархии. Он не стал вором “в законе”, не попал в элиту, потому что ни от чего не мог отказаться. А судьба русского поэта определяется не приобретенным, а именно тем, чего он не взял у этой судьбы. Высоцкий не отсидел своего духовного карцера, не выдержал искушения миром и ушел “битым фраером”, что, конечно, почетнее, чем просто фраер, но тягу поэта к первенству умерить не могло. “Слава — вещь посмертная”, — сказал Б.Окуджава. Высоцкий отлично понимал, что не прижизненной популярностью она проверяется. Но установку на прижизненность не сменил, хотя и попытался сделать это. В сиюминутности установки и заложено объяснение почти сплошной несостоятельности секулярного творчества. Тот же Окуджава написал в эпитафии Высоцкому: “Настоящий поэт приходит с мешком гвоздей”. Так и видишь Пушкина с этим мешком — то ли Рахметов, то ли йог-передвижник! Не те ли это “гвозди терпения”, что предлагал Есенин повыдергивать из распятия? Не их ли, бездействующих в мешке, так не хватает нашим поэтам?

“О, какая маета, какая неутоленность колобродила в человеке, водила, лепила, давила!..” — Юлий Ким.

“Стяжи мирный дух, и тысячи около тебя спасутся”, — преподобный Серафим Саровский. Мирный дух, то есть Дух Святой, — ипостась Бога в Троице славимого.

ПЛЕННИКИ БАБЫ ЯГИ

Была такая сказка. Пошли дети в лес — да там и заплутались. Вышли на поляну — посредине избушка на курьих ножках. Зашли — сидит старуха с костяной ногой. Кудесница, Баба Яга. “Фу-ты, — говорит. — Гости нагрянули!” И давай колдовать. Так они у нее и остались. Зачарованные, смотрят древние сны... Но это только присказка, а сказка — впереди.

Десятилетие и два назад этих писателей называли “деревенщиками”. То ли орден, то ли кличка: непременно в кавычках, которыми в культуре эпохи было принято метить переносное, метафорическое значение слова. На самом деле, став литераторами, “деревенщики” в деревне бывали обычно только наездами, по-дачному. А постоянно проживали в крупных провинциальных городах, а то и в столицах. В объединявшем их кургузом имени был оттенок невольной пренебрежительности. Созвучие с “деревенщиной” (С.И.Ожегов: “(прост. устар.). О грубом, простоватом человеке, жителе деревни”) бросалось в глаза.

Деревенской была их тема. В “деревенской прозе” речь шла о деревне, о сельских жителях.

Предмет порой казался второстепенным. Иные критики застенчиво оговаривались: на самом, мол, деле “деревенщики” пишут не просто о деревне, они касаются более глобальных вещей и ведут “философско-этические поиски”. Разменной монетой высоколобой критической мысли стало, например, сопоставление литераторов этого направления с Фолкнером, который вместил на клочке земли, в пределах разнообразно воспетого им округа Йокнапатофа, основные драмы человеческого бытия, насытил свою провинциальную прозу “метафизическими проблемами”. Трудно с ходу сказать,

**Евгений
ЕРМОЛИН**

— родился в 1959 году в Архангельской области. Окончил факультет журналистики Московского университета в 1981 году и аспирантуру Института искусствознания. Живет в Ярославле, работает в Ярославском пединституте. Автор ряда литературно-критических и культурологических статей, печатался в “Неве”, “Литературном обозрении”, “Севере” и др. журналах.

много ли дали такие сравнения читателю и прибавили ли они уверенности нашим литераторам. Но из песни слова не выкинешь. Да и то правда: все мы немного философы.

И в то же время: кто скажет, не сыграла ли локальность плацдарма, избранного этими писателями, удобную роль, без задержек доведя их прозу до читающей публики и дав этим именам ту славу, на которую им в другом случае трудно было бы рассчитывать?

Не о том речь, что цензура вовсе не свирепствовала вокруг этой прозы. Да и конвоиры-критики блюли чистоту соцреалистических риз, выговаривая “деревенщикам” за идейные перекосы. Но все же где-то высокие инстанции допустили слабину. Как-то вдруг показалось, что о деревне можно писать откровеннее, чем о чем-нибудь другом. Как колхоз считался незрелой, но допустимой формой организации труда в условиях развитого социализма, так и сельская тема получила странную льготу. В рамках этой темы дозволена была большая мера откровенности.

Спасибо за это неведомому гражданину начальнику. Я помню, и многие помнят, как волновало в те беспросветные годы честное, искреннее слово. Как радостно угадывалось оно в потоке полуправды, в насквозь профальшивленном мире идеологического официоза. Как навсегда принималось сердцем. Одни замолчали, других заставили молчать, ручеек литературы из-за бугра был слишком слаб — и вот на этом фоне человек с больным, воспаленным от партийных фанфар слухом вдруг различил чистую, ясную мелодию.

Именно с тех пор стали близкими для читателей имена Абрамова, Белова, Распутина, Астафьева, Залыгина, Носова и других авторов “деревенской прозы”. Подспудное влияние общественного мнения и порядочной критики обеспечило этим писателям место в первом ряду тогдашней литературы, сделало некоторые их произведения достоянием школьных хрестоматий.

Неизбежным тут, конечно, были искажения в пропорциях. Ведь о многих других писателях просто нельзя было ничего сказать. Они как бы вовсе не существовали. В лучшем случае мы могли прочесть в “Литературной газете” Чаковского о литературном власовце Солженицыне или о злодейских кознях диссидента Владимова. В ущерб всякому правдоподобию раздувались литературные репутации Маркова и Иванова, Проскурина и Бондарева.

В свои школьные годы, в занесенном снегами Архангельске, ваш покорный слуга прислушивался к почтительному шуму вокруг этих славных имен и шел в библиотеку — читать современных классиков. Но то, что удавалось прочесть, как-то не впечатляло... А вот “деревенская проза” именно с тех времен стала моей незабвенной любовью.

Да, я не стесняюсь в этом признаться: я проливал горячую слезу над сентиментальными страницами Валентина Распутина! Вся моя деревенская, переполненная детскими воспоминаниями душа чутко

резонировала на взволнованную речь писателя... Уже в Москве Распутин оказался чуть ли не первым писателем, на встречу с которым в "Ленинку" новоявленный студент отправился, как на богослужение. Было дело!

Очевидно, всему свое время. Мы становимся трезвей и новыми глазами смотрим на прежних любимцев. Для их сочинений наступила давность, позволяющая судить и рядить о них, избегая и восторженных придыханий, и догматического ожесточения. А с другой стороны, сегодня открылась возможность раскрыть кавычки и назвать некоторые вещи своими именами, о которых стыдливо умалчивалось или которых не допускала самоцензура. Литературный вкус, одобренный отечественной и зарубежной классикой, прошедший школу Солженицына и Горенштейна, Синявского и Набокова, не может уже отдавать "деревенщикам" то место, которое они некогда занимали в сознании неофита. И все же я не могу равнодушно думать о них и теперь. Вот и статья — плод неравнодушия. Оглянемся назад без принуждения и предубеждения, осмыслим духовный опыт и культурный урок этой литературы.

С чего она начиналась? Как всякое живое и новое слово в 50-х годах, с поиска правды. С честного свидетельства.

Официозные мифотворцы потеряли монополию на журнальные страницы и издательские мощности. Литературных чиновников потеснили новые писатели. Они попали в мир директивного слова, облеченного в образную ткань, встретились с литераторами, творившими по найму у государства, располагавшего к тому же внушительными внеэкономическими средствами управления чувствительной душой артиста. У новых людей их социальный опыт не совпадал с насаждавшимися в литературе представлениями о жизни. А главное — они хотели сказать о том, что знают сами. Писать не о празднике жизни, а о "районных буднях" (так назывались цикл очерков Валентина Овечкина). И вот неуместное, ненужное и невыгодное государству слово затопорщилось в прозе о деревне Ефима Дороша, Федора Абрамова, Александра Яшина...

В очерковой прозе новой волны читателю открылась иная Россия: страна скудно живущих деревень, мир крестьян, непохожих на тех социалистических пейзажей, каких изображал классик соцреализма Бабаевский в своих увенчанных лауреатскими звездами шедеврах. Предметом изображения стали хозяйственные неурядицы, бесправье крестьянина, живописались коллизии сельской жизни и социальные персонажи колхозного мира. Очерку не хватало глубины в исследовании корней того или иного явления. Но сами явления показаны такими, какими они были. Не хуже и не лучше.

Честность в изображении обстоятельств крестьянского житья-бытья сочеталась с тревогой и болью, с сочувствием к человеку, попавшему в трудный переплет, с горячим стремлением найти выход из тупиков. Литератор становился ходатаем по сельским

делах. Он защищал деревню от злого начальства и звал к реформам в ней.

...Начавшись очерком современной жизни, литература этого направления и заканчивается полуочерковой прозой; картинами современной жизни, историческими хрониками и мемуарами. Но место этих последних произведений в литературе уже совсем иное. Вот Василий Белов частями печатает свои "Кануны". Это бытовая панорамная хроника о деревне в конце 20-х годов, о коллективизации. Здесь есть новые яркие подробности, но нет по нынешним временам принципиальной новизны материала, тем более — какой-то концептуальной свежести. Честных свидетельств такого рода уже немало в нашей литературе. И резонанс у этого произведения обидно мал.

Само время изменилось, ничего не оставив от прежней диспозиции. Вместе со временем менялись и наши литераторы. Попробуем войти в этот поток — или хотя бы пройти по наезженной литературной колее, отмечая "версты полосаты" — вехи духовной эволюции писателей—"деревенщиков". Каждый из них, конечно, хорош или плох по-своему. Но есть и общие закономерности, есть доминанта литературной судьбы.

Те, кто входил в литературу и осваивался в ней на волне перемен 50-х годов, с первых шагов усвоили опыт неслыханной до той поры, потерянной и забытой их старшими коллегами свободы. Это не была свобода от социального задания, от общественного ангажмента. Но это была свобода от принудительности в творчестве, от навязанной идейности. Очеркист обретает чувство собственного достоинства и подчас даже воображает себя мудрым советником вождей. Он именно советчик, а не антисоветчик. Он показывает и объясняет, чтобы его выслушали и сделали поправки внутри системы. Ее главные ценности дрогнули, но не рухнули, идея социализма светит над миром путеводной звездой. Очерк живет надеждами на благоприятные перемены.

Однако постепенно вера слабеет, надежды оскудевают. Меркнут зарницы справедливого и великодушного коммунизма. Горизонт отчаянно мрачнеет. Кризис общепринятой, легальной веры ввергает в растерянность, заставляет по-новому самоопределяться по отношению к прежним и вечным ценностям, к потерявшему идейную санкцию государству, к народу, к ближнему. Из тупика нужно было выходить по бездорожью, а для этого требовался новый посох. Человеческое существование должно было быть оправдано связью с новым, нескомпрометированным абсолютом.

В литературе эта нужда сознавалась по-разному и в разные сроки. Но мало-помалу все, кроме откровенных приспособленцев и равнодушных ремесленников, включились в поиск новой почвы, новой веры. В этот поток попали и писатели сельской темы. Из их прозы уходит подспудное или откровенное упование на социальные реформы, на улучшения сверху. Мало того, обиды и беды деревни

часто записываются на счет власти. Ей вменяется в вину неудовлетворительное положение дел на селе. Ведь кто-то же должен был быть в этом виноват! Власть, присвоившая себе все права, теперь должна нести ответ за все на свете.

Но среди литераторов этого направления такого рода осознание крайне редко выливается в откровенное противостояние художника и власти. Гораздо чаще угадываются попытки на эту власть каким-нибудь образом воздействовать, как-то ее образумить, попытаться с нею сотрудничать. Вряд ли многими принимаются всерьез лозунги официальной пропаганды. Но это не мешает писателям использовать легальные возможности творчества, участвовать в делах Союза писателей СССР, занимать посты, получать подачки-премии, пользоваться скромными привилегиями — в общем, всячески употреблять должность бойца идеологического фронта — пропагандиста идей партии — инженера человеческих душ.

Какова природа такого конформизма? Слабость духа, нравственная неразборчивость?.. Возможно, в нашем случае главную причину нужно искать не в темпераменте и даже не в моральных качествах конкретной личности, а в особенностях того мирозерцания, которое постепенно дало о себе знать в среде “деревенщиков”. Чтобы в нем разобраться, нужно сразу оговориться, что мировоззрение это было довольно аморфным, диффузным, редко осознавалось до последних выводов и системно оформлялось. Не будем поэтому ждать от художников теоретической точности и строгости. Наша реконструкция создает некую модель, очищенную от ряда случайностей, от личной прихоти. Акцент будет сделан на общей логике, а индивидуальные особенности уйдут в тень.

Уронив костыль официальной идеологии, утратив чрезмерную надежду на социальные преобразования, писатель углубился в жизнь. Он оказался на распутье. И для многих вчерашний адрес командировки, позавчерашнее место рождения и край детских грез стали той родиной, где не просто легко и радостно жить — там, на этом клочке земли, они попытались найти незамутившиеся, родниковые истины.

Очеркисты все пристальнее всматривались в лица людей, своих героев, пытаясь угадать, каков их духовный мир, чем они живут, к чему стремятся. От обстоятельств жизни интерес писателя смещается к типам жизни. Причем литераторов занимает не столько сугубо социальная, профессиональная типажность (председатель, секретарь РК, механизатор и пр.), сколько тип нравственной ориентации. Здесь авторов “деревенской прозы” ждали новые открытия.

Перенос центра тяжести с хозяйственно-политических проблем на проблемы этические был закономерен. Он явился — еще раз заметим — следствием разочарования в легальной морали, санкционированной идеологическим аппаратом. И “Моральный кодекс строителя коммунизма” лишился доверия не потому, что был особенно безнравствен. Кодекс рухнул после того, как открылась

иллюзорность цели, ради достижения которой требовалось исполнять его заповеди. Оказались фиктивными социальные идеалы, во имя которых шли на лишения, жертвовали собой, составляли программы обновления социализма, писали стихи и прозу. Кризис официальной морали заставил обратиться к жизни, к собственному опыту в поиске альтернативных моральных идей, не подверженных всеобщему распаду. Возникает перспектива для создания разных моральных версий человеческого поведения в обстоятельствах, которым отныне отказано в праве считаться близкими к идеалу.

Обстоятельства тяжелы, превратны, фатальны. Человек может приспособиться, примениться к ним. И подобных героев нередко изображают теперь “деревенщики”. Одни гнутся легко, без боли. Другие сочетают в себе противоречивые начала, как, например, заглавная героиня повести Абрамова “Пелагея”, соединяющая трудолюбие с расчетливостью и прижимистостью. Писатель тщательно описывает этот казус, не торопясь с окончательной оценкой. Но сердце “деревенщика” по-настоящему отдано другим героям.

Иногда это бунтарь-правдолюбец. Таков Федор Кузькин из повести Бориса Можая “Живой”, вступающий в затяжную прю с властью. Таковы многие персонажи Василия Шукшина, хотя их бунт часто принимает трагикомическую окраску. Место бунтарю — в русской истории (Стенька Разин в “Я пришел дать вам волю”) или за решеткой (Егор Прокудин в “Калине красной”). А в более обычной жизни это — чужак, “шизя”. Человек не укладывается в норму, желает чего-то еще. Его иногда подозревают в придурковатости, иногда он нелеп и смешон — но стоит на своем, рвется к широкой и щедрой жизни, к празднику.

Герой Шукшина с его стихийными порывами — очень традиционный русский тип. Он оказался близок самому писателю и оттого изображается им с какой-то болезненной любовью. Странность героя и возвышает его над миром, и смущает нас безудержностью дешевого эпатажа. Его достоинства сплошь и рядом оборачиваются недостатками, а писатель то нащупывает дистанцию между собой и своим излюбленным персонажем, то теряет ее.

Другие литераторы отыскиали иного персонажа, с которым связали свои надежды и которого одарили безоглядной любовью. Правдивое бытописание дополнилось, обогатилось за счет появления обязательного, значительного героя, напомнившего нам, что одна из главных мыслей русской литературы — это мысль о праведности.

Поворот этот был предварен и, можно сказать, намечен Александром Солженицыным в рассказе “Матренин двор”. Обратившись к сельской теме, писатель сказал здесь о том, что после не раз будет на разный лад варьироваться в “деревенской прозе”. Нов был образ главной героини — Матрены. Это бескорыстная труженица, готовая поделиться с близкими всем, что у нее есть. По определению автора, Матрена — “тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша”.

С Матреной и вошел в “деревенскую литературу” герой-праведник, герой-труженик и страстотерпец. Целая череда подобных персонажей идеального склада возникла в произведениях “деревенщиков”. Это Василиса Милентьевна в “Деревянных конях” и Михаил Пряслин в “Братьях и сестрах” Абрамова, Катерина в “Привычном деле” Белова, Нюра Питерка из повести Личутина “Вдова Нюра”, бабушка Катерина Петровна в “Последнем поклоне” Астафьева...

Вся их жизнь — это терпение, лишения и труд. Так их воспитали, так повелось от века. И они верны этой древней традиции. Испытания и тяготы не могут их сломить: Они самозабвенно отдают свои силы общему делу, близким. Их редко до конца понимают соседи и даже родичи. Но им обычно некогда почувствовать себя одинокими, ведь они погружены в свои непрестанные заботы.

Таким героям отданы симпатии писателей-“деревенщиков”. Это для них — нравственный эталон человека. После встреч с Василисой Милентьевной рассказчик (едва ли не сам Федор Абрамов) признается: “Меня неудержимо потянуло в большой и шумный мир, мне захотелось работать, делать людям добро. Делать так, как делает его и будет делать до своего последнего часа Василиса Милентьевна, эта безвестная, но великая в своих деяниях старая крестьянка из северной лесной глухомани”.

Писатель открыл в жизни вдохновляющий образ человека. Убедился в возможности высоты и надежности, стойкости и сердечности. Оказалось, что тот идеал, коего искала душа, уже существует. За ним не нужно далеко ходить. И мало-помалу герой начинает оказывать на автора все более сильное воздействие. Найденный в жизни персонаж заражает писателя своей точкой зрения. Идет процесс сближения, и “деревенская проза” омывается лирической, исповедальной струей. Отныне писатель часто будет смотреть на мир глазами своего персонажа-праведника.

В критике давно уже замечены стиливые средства, которые обеспечивают подобный эффект (а точнее, являются результатом определенной духовной эволюции). Анализируя прозу Белова, Г.Белая пишет: “Авторская речь как бы окрашена речью героя, она будто приняла на себя его, героя, манеру мыслить и говорить”. Тенденция к духовному тождеству как раз и дает о себе знать там, где исследователь фиксирует “перенос центра тяжести в кругозор героя, доверие к “чужому сознанию”, иллюзию авторского невмешательства”...

Нам предстоит теперь выяснить, в чем своеобразие открытой писателями праведности.

Итак, сельские праведники — это добрые, задушевные, трудолюбивые люди. Это замечательные люди, достойные авторского тепла и сочувствия. В их опыте есть что-то стабильное, непреходящее. Этот человеческий тип формируется в русле какой-то древней традиции. В ее пределах всякая женщина — это хранительница

очага, мать рода. Всякий мужчина — защитник и добытчик средств жизни и культурных даров.

Нельзя не залюбоваться скульптурной, отчетливой красотой таких героев, за спиной у каждого из которых стоит теряющийся в бесконечности ряд предков, передающих из поколения в поколение, по наследству, самое главное: способ полноценной жизни. Героев-праведников, которых изобразили писатели-“деревенщики”, порождает органическая, стойкая бытовая среда. Они — высшее создание целостного житейского уклада.

Примерно такой ход мысли привел писателей к “материалистическому” выводу: бытие определяет сознание. Уклад первичен, праведник по отношению к общему строю жизни — вторичен. Акценты смещаются, и целостный образ жизни начинает иметь самодовлеющее значение. Сверхценностью становится сама логика жизни, всецело упорядоченной ритуалами и магическими формулами, организованной идеей Лада.

Именно так — “Лад” — будет названа книга Белова о сельской жизни, осознанной как непрерывное священнодействие, полное непреходящего смысла.

Трудно спорить с тем, что и в деревенском мире есть свой момент дисгармонии. Однако для писателя это только случайность, нечто маловажное, преходящее. Все, что выбивалось из ритуальной схемы, было отвергнуто Беловым и не попало в его книгу. Истребив изъяны бытия и отразив прорывы хаоса в счастливое и светлое царство лада, писатель воспел самоцельный, замкнутый мир покоя и радости, где время остановилось, история упразднена и человек заново очутился в раю земном.

Здесь не отменяется, конечно, труд. Но он всецело осмыслен и оправдан заботой о продолжении рода, о сохранении жизни. Общий труд — на пользу и в радость. И редко — в тягость: при болезни. Однако хворь и тоска — это не темы для “Лада”.

В царстве всеобщей правильности стираются различия между людьми и теряет свое значение их личный уникальный опыт человеческого существования, самостоятельное искание ими правды. Здесь уже неуместен герой-бунтовщик, неутоленный реальностью воитель и страдалец. Непорочная чистота дарится людям в этом раю, и детская невинность становится их уделом. Мировая гармония полна такой стихийной, бессознательной мощи, что не нужно даже ничего запрещать, ибо никто не в состоянии помыслить о том, чтобы отойти от общего дела. Где Адам, где Ева? Где Древо познания? Ничего этого не было в русской деревне. Все яблоки спокойно росли на ветках, и все змии-искусители ползали где-то вдалеке.

Правильное устройство мира описано однажды Беловым (в “Канунах”) на примере сосны. Это место сильно вдохновляло критиков: “Жила, созерцала, не мешая другим, наслаждаясь солнцем, и пила поднебесную синеву каждая пара иголок, ясно видимая по отдельности. Но в то же время она, каждая пара игл,

была частью, и все дружно облепляли тонкий сосновый прутик, и каждый прутик был на своем месте, в каждой сосновой лапке. В свою очередь, каждая сосновая лапа жила отдельно и вместе с другими; они, не враждуя друг с другом, переходили в более крупные ветки. Ветки незаметно перевоплощались в мощные бронзовые узлы, расчлененные по всей кроне и объединенные в ней, единой и неделимой”.

Человек тут пребывает в исходной гармонии с миром, природой, человеческое существование подобно росту травы, иголок, грибов и ягод. Любая драма тихо и ласково зарастает извечным эпическим покоем.

Бывает, конечно, суровой природа. Грозят стихии. Но с ними не спорят. Да проза “деревенщиков” и не знает затяжной непогоды, слишком яростных стихийных бедствий.

Бывают злы и люди. Особенно, когда они волей каких-то выходящих за пределы разума обстоятельств становятся агентами злой власти. Однако и притязания власти воспринимаются здесь как своего рода явления природы. С ними не поспоришь, их надо молчаливо и терпеливо принимать.

Характерен поворот сюжета в “Плотницких рассказах” Белова. Рассказчик становится свидетелем споров о жизни, которые ведут два старика. Один, Авинер Козонков, все время был при власти, при портфелишке и нагане. Приходилось ему чинить произвол, нести беду своим односельчанам. Другой, Олеша Смолин, только терпел невзгоды от этой власти. Акценты с самого начала расставлены недвусмысленно: один — негодяй и пакостник, другой — честный, совестливый труженик, тот самый праведник, который нередко приходил из жизни в прозу “деревенщиков”.

Рассказчику хочется окончательно прояснить ситуацию для себя и для стариков. Между Авинером и Олешей вспыхивает ссора, которая, кажется, все ставит на место. Но вот после всего, перед отъездом, рассказчик заходит к Смолину попрощаться — и: “Боже мой, что это? За столом сидели и мирно, как старые ветераны, беседовали Авинер и Олеша. Не было ни крику, ни шуму. Бутылка зеленела между чайных приборов, на столе остывал самовар... Потом они оба с Авинером, клоня сивые головы, тихо, стройно запели старинную протяжную песню”.

Есть что-то превышающее частную правду. Порядок вещей. Законосообразность бытия, пред которой любая личная правда — неполна, частична. На такой лад настраивает эта итоговая сцена. И после этого гораздо понятнее становится социальный конформизм некоторых авторов “деревенской литературы”, которые легко шли на соглашение с властью, а подчас и пели с нею одну протяжную песню, промежду выпивкой и закуской.

Власть — фатальна. Она — выражение универсальных законов бытия, как дождь осенью и снег зимой. С нею поэтому нужно мириться, надо к ней приспособливаться, шить зипун, чинить сапоги, пытаться ее задобрить, сделать своей, приручить, как

приручили когда-то диких зверей, превратив их в домашних животных, полезную тварь. Можно, наконец, ее присвоить, только по возможности чинно и благородно. Войти, например, в Президентский совет, как это сделает Валентин Распутин.

Иногда возникает ощущение, что в этой прозе поднят пласт глубокой патриархальной архаики. Восстает образ роевой, родоплеменной жизни, завязанной общим узлом, скрепленной едиными обрядами и магическими процедурами...

Впрочем, нужно ли этому удивляться? Ведь XX век тем и характерен, что, взбаламутив поток истории, вынес на поверхность такую древность, о существовании которой, пожалуй, и не подозревали иные цивилизованные, европеизированные литераторы XIX столетия. Что там Хорь, что там Калиныч! В прозе чуткого свидетеля эпохи Андрея Платонова такие простодушные антитезы немыслимы, оттуда веет на нас таинственной и жуткой первобытностью. Вся эпоха, с ее идеалами и формами культуры, покатилась вдруг в 20—30-х годах в неведомую, ассирийскую и египетскую древность. Общество соскользнуло не во вчерашний и не в позавчерашний день, оно, кажется, освободилось от духовного опыта двух с половиной тысячелетий, ушло в глухие доисторические дебри, где водились цари-боги, где козел отпущения брал на себя грех и вину племени, а исступление хоровых действий сменялось тяжелым общим сном...

Рискну предположить, что проза “деревенщиков”, круг их представлений могут рассматриваться как одно из проявлений глобального процесса реконструкции доосевой, магической культуры. Это может показаться парадоксом. Ведь еще совсем недавно мы отметили, что писатель не хочет слепо исполнять государственный приказ, ему потребна правда жизни. И вот — иное утверждение: о принципиальной общности архаических ориентаций советской власти сталинского образца — и многих писателей-“деревенщиков”. Нет ли тут противоречия?

Боюсь, что нет. Еще раз заметим: духовная основа творчества претерпела определенную эволюцию. По сути, это выразилось в потере дистанции между личностью художника — и неким идеально вообразенным деревенским, общинным коллективом. Писатель начинает говорить голосом традиционной патриархальной общности, он смыкает свое сознание с “коллективным бессознательным” архаического по своим ценностным ориентациям и жизненной практике коллектива. Здесь, в этой доразумной, безличной тьме и состоялась встреча художника и власти. Это не политическая сделка. Это — тайная тяга, основанная на духовном сходстве...

В обосновании гипотезы о том, куда двигалась “деревенская литература”, еще будет предложен ряд соображений. Сейчас же отметим другое. Реставрация древности, разумеется, везде и всюду сочеталась с усвоением новых технических достижений, с использованием отдельных матриц культуры недавнего, дооктябрьского прошлого. Скажем, стиль “деревенщиков” в значительной степени

вырос из стиля отечественной классики первого и второго ряда. Там же почерпнуты некоторые мысли. (Не может, в сущности, считаться открытием и тип праведника из народной среды, описанный у Лескова, Толстого, опиравшихся, в свою очередь, на житийную литературу.)

Но круг основных идей “деревенской прозы” в основе своей весьма далек от художественного мирозерцания крупнейших наших писателей XIX — начала XX века. Те отдавали дань патриархальному почвенничеству разве что в своей публицистике, редко прибегая с этой целью к средствам художественной прозы. “Деревенщики”, напротив, именно в своей прозе наиболее ярко и последовательно выразили владевшие ими патриархально-почвенные идеи. Их художественная философия неизменно тяготеет к идеалу архаичного, общинного коллективизма.

Итак, сельский мир — это идеальное ядро бытия, источник и резервуар общей праведности. В сущности, логично было бы ждать от писателей ухода в это “общее “мы” (И.Роднянская), которым не устают восхищаться и они, и многие критики. Однако по каким-то причинам полного растворения не произошло. Литераторы сохранили верность не слишком-то традиционной для деревни профессии. И трудно их за это укорять. Ведь отныне их главная творческая задача — обеспечить сохранность обретенного рая.

Вспомним, куда идет история в повести Белова “Привычное дело” (это едва ли не самый значительный памятник “деревенской прозы”). Поехал герой повести Иван Африканович из деревни в город, на заработки. В колхозе-то велики ли достатки? Поехать-то поехал, да вот только ничего не выездил. Растерялся, потерялся в новой, незнакомой жизни, совсем пропал — и чуть не бегом обратно, в родную обитель. Что с него взять — недотепа! А тут, пока он ездил, жена его, Катерина, надорвалась и померла...

Что ж, в жизни бывает и такое. Однако автор рассказывает эту историю уже отнюдь не для того, чтобы просто показать, как бывает в жизни. Его замысел идет дальше. Белов настаивает на определенном моральном выводе. Смерть Катерины осознана как расплата для Ивана Африкановича, как источник вины. Говорила же ему Катерина: не ездь. А он ослушался, покинул дом, бросил близких людей... Вот и плати теперь чувством вины и утраты.

Можно было бы, конечно, порассуждать о том, а чья тут, собственно, вина? Если виноват герой, то не меньше ли виновны и обстоятельства, которые заставляют его искать счастья и богатства на стороне? В колхозе, сколько ни ломи, много не заработаешь, семью не прокормишь. И отправляется Иван Африканович в свое странствие с лучшими намерениями. Он вовсе не собирается “живых баб на ночь покупать”, как принято это в городе, со слов тамошнего жителя и попутчика Митьки. Он будет там зарабатывать деньги, чтобы содержать свою семью. И кто ж знал, что все так получится?

Но писателя вина обстоятельств занимает в последнюю очередь. Социальный аспект драмы уходит на задний план. Акцентируется же наказание, даже возмездие, которое настигает героя-ослушника. Урок, очевидно, таков: живи, где родился. Не ищи удачу на стороне. Все счастье мира — здесь. Рядом.

Граница сколько-то удовлетворительного бытия — околица села. словно бы магическим кольцом замкнута эта надежная, обжитая ойкумена от остального мира. Здесь не бывает ничего непоправимого. Здесь все притерто друг к другу. Здесь человек, со всеми своими слабостями и недостатками, как-то ладит с другими людьми, а все люди вместе ладят с природой. Там, за чертой магического круга, никаких гарантий нет. Там хаос и смерть.

Странствие Ивана Африкановича невольно ассоциируется с древними мифологическими преданиями о путешествии в заколдованное царство, в мир смерти. Это жуткое и опасное место. За спасение, за вызволение оттуда нужно заплатить чем-то очень дорогим.

В шумерском мифе сошедшая в подземное царство богиня Инанна может покинуть тот мир, только оставив себе замену. И вот в “страну без возврата” вынужден отправиться божественный супруг Инанны — Думузи.

В беловском мифе возвращение Ивана Африкановича куплено ценой смерти Катерины.

Актуализируя архетипический мотив, Белов по-своему расставляет моральные акценты. Герой нарушает норму, как только соглашается с мыслью об отъезде. Тут в него чуть ли не бес вселяется: он вертится “волчком” и хватается за кочергу. Иван Африканович — ослушник по отношению к неписаному закону, к вековечному порядку бытия. Он попытался внести в предустановленное круговращенье мироздания элемент произвола, прихоти, своеволия — и платит за эту попытку потерей самого близкого человека.

Белов словно бы говорит: плохие люди пусть себе живут, как хотят. Их бестолковая жизнь — сама себе наказание. Но хороший человек должен жить, как положено. Как заведено от века.

Потом эти идеи будут на разный лад варьироваться и у этого писателя, и у других “деревенщиков”. Свободная самореализация разрешена только плохим, злым — и она осознается как произвол, как проявление гордыни. А хороших людей выход в пространство свободы приводит к катастрофе, к поражению. За свободу заплачено смертью. Свобода наказуема. Свобода — зло. Верность, традиция, извечному закону бытия — добро.

Отвергнув возможность свободного самоосуществления человеческой личности, “деревенщики” смыкаются с той тоталитарной властью, которая в XX веке попыталась всецело, неограниченно подчинить человеческое существование планомерному регулированию. Человек в этих координатах значим не сам по себе, а только как часть великого целого, “гайка великой спайки”. Человек

посвящен некой идеальной, самодовлеющей цельности. Его достоинство, на которое любят указывать критики, берущие “гайку” под защиту, есть чувство нужности. Человек знает свое место, но уместен, при деле, он полезен — и вот это называется достоинством.

Между ограниченным священными рубежами социалистическим отечеством и страной деревенского лада больше сходств, чем различий. Это два разных способа организации безличностного бытия. Одна общественная композиция более естественна, органична. Другая не обходится без ширококомасштабного насилия. Но и там, и тут свобода не предусмотрена, этот факт человеческого бытия исключен из сакрализованного пространства.

В повести “Прощание с Матерой” Распутин однажды заметил: то, что люди “считают мечтами, всего лишь воспоминания, даже в самых дальних и сладких рискованных мыслях — только воспоминания. Мечтать никому не дано”. Не самое внятное у писателя место. Но проще всего его можно понять так: зря люди смотрят на небо и на что-то надеются впереди; лучшее осталось сзади. Источник идеальных представлений — в прошлом, в некоем Золотом веке, когда реальность не отличалась от мечты. Это традиционное для архаических культур представление о ходе времени (об его деградации) не однажды даст о себе знать и на других страницах “деревенской прозы”.

Быть может, у Распутина здесь намек на воспоминаемый Эдем, откуда был однажды изгнан человек за грех непослушания, за нарушение доверия? Быть может. Но не очень похоже. Матера — сама по себе Эдем. Средоточие бытия, райская пристань среди бурных вод, где вздымается посреди мира древо жизни — царский лиственъ. И люди здесь жили светло и мирно, почти не знакомые с грехом. Они не несли на себе груза личной ответственности, поскольку были сращены с деревом рода, которое уходит корнями и ветвями в вечность. Человек — только “кольцо в нескончаемой цепи” поколений, как сказано у Распутина в другом месте. Он призван сохранить и продлить эту цепь. По словам одной из героинь повести, старухи Дарьи, “Господь жить дал, чтоб ты дело сделала, ребят оставила — и в землю... чтоб земля не убывала. Там теперь от тебя польза”.

Так решается здесь проблема смерти. Важно, “чтоб земля не убывала”. Впрочем, тема эта далеко не второстепенная и на ней стоит задержаться.

Проблема смерти — главная проблема человеческого бытия. По сути, вся культура человечества разными путями пыталась ответить на роковой вопрос об оправдании жизни перед фактом ее конечности. Смерть — основная загадка. Абсолютный конец обесмысливает, делает относительным и призрачным все, что ему предшествует. Смерть как абсолютный предел земного существования конкретного человека диктует необходимость и неизбежность поиска иных абсолютов, делающих конец неокончательным. Смерть должна быть отменена, изжита — чтобы можно было жить.

Белов влагает в сознание своего героя, все того же Ивана Африкановича, знаменательные мысли. Дело было в лесу, куда забрел герой под самый конец повести — и заблудился. Лес этот, конечно, непростой. В мифологической древности он считался бы аналогом царства смерти. И заблудился Иван Африканович не без писательского умысла. Ибо на самом деле блуждает он скорее в своем сознании, сломленный неимоверностью вопроса, которого не решается выговорить дома, на людях.

Только в лесу, в критической, пограничной ситуации, когда показалось, что пришло время отдавать концы, Иван формулирует этот свой вопрос к мирозданию.

Вот жила Катерина, трудилась, мучилась — и где она? И сам Иван так же трудно и нелепо живет, а потом умрет. Так чем же оправдана эта нелепая, смертная жизнь? Где искупление за страдание и зло бытия?

Душа жила текущими заботами, каждодневно принимала и дарила тепло. Но томление духа вдруг превысило всякую меру. И бессознательная душевная вера в целесообразность и справедливость сущего пресеклась. Теперь жизнь нужно заново наполнить смыслом. Уточним: индивидуальную человеческую жизнь, не сросшуюся с родовым стволом.

Зачем жить, если все равно умрем? Если впереди — только “одна чернота, одна пустота”? “Был и нет”.

“И вдруг Иван Африканович удивился, сел прямо на мох. Его как-то поразила простая, никогда не приходившая в голову мысль: вот, родился для чего-то он, Иван Африканович, а ведь до этого его тоже не было... И лес был, и мох, а его не было, ни разу не было, никогда, совсем не было, так не все ли равно, ежели и опять не будет? В ту сторону его никогда не было и в эту сторону никогда не будет. И в ту сторону пусто, и в эту. И ни туда, ни сюда нету конца-края... А ежели так, ежели ни в ту, ни в другую сторону ничего, так пошто родиться-то было?”

Ивану открылась вопиющая несправедливость бытия, ограниченного смертью. Его потряс нечасто наступающий нас мучительный опыт вселенского одиночества, пришло переживание абсурда, в который обращается жизнь, лишенная измерения вечности. Это — внезапное глубинное прозрение в суть вещей, которое когда-то разбудило Сократа и Будду, обрушилось на Паскаля и Кьеркегора, ошеломило Достоевского и Толстого...

Две странички “Привычного дела” стали одним из высочайших откровений в литературе шестидесятых годов. Выброшенный из рая бессознательности, Иван вместе с опытом зла и греха обрел, пройдя через испытание, духовную инициацию, опыт свободы и опыт смерти. После таких событий не возвращаются к людям в прежнем виде. Знание сокровенной тайны бытия меняет человека до неузнаваемости.

Что же произошло с Иваном дальше, когда он выбрался из заколдованного леса?

А ничего особенного. И это обидно. Писатель не справился с обвалившимся на него грузом познания — и снял его со своих плеч и с плеч своего героя, постарался забыть о неприятном сюрпризе мироздания.

Жажду вечности Белов попытался утолить простым средством. Не вином, до этой пошлости не дошло. На вооружение была взята незамысловатая идея: если жизнь есть, то это уже само по себе ее оправдывает. Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно. “Лучше было родиться, чем не родиться”.

Круговорот природы вечен — и одно это есть уже достаточный повод, чтобы по-человечески высморкаться, переобуться, закурить: “Жись. Жись, она и есть жись... надо, видно, жить, деваться куда”. Таков-де извечный порядок бытия.

Вспышка духовного сознания признана ненужным сумасбродством. Поблажил человек, поубивался — и довольно. Такова “жись”.

Личный опыт не понадобился Ивану Африкановичу — и он сдался, растворил его в опыте общем, забыл о личном, затаил личное на донышке души. Явление писателя, родственного традиции высокой русской классики, не состоялось. Позднее Белов уже ни разу не заставит читателя остолбенеть перед проклятыми, роковыми вопросами. Он закрыл эту дверь навсегда.

Переполнен смертями художественный мир Распутина. С болезненным драматизмом писатель рассказывает о самоубийстве крестьянки Настены в повести “Живи и помни”. Повесть, в общем-то, сшита по выкройке “Привычного дела”. Только градус драмы резко повышен. События здесь происходят далеко не типичные, можно сказать — исключительные. Иван Африканович провинился, покинув деревню, выпав тем самым из трудовой цепи села, оторвавшись от родовой связи. Вина героя “Живи и помни” Андрея Гуськова серьезнее: он нарушил и государственный закон, и людской обычай, уклонившись от участия в общем, тяжком воинском труде на фронте. Стал дезертиром, обосновавшись в окрестностях родного села, в лесу, и положившись на помощь жены, Настены.

Случай, что и говорить, аномальный. Писатель напрягает голос, чтобы заострить матричную ситуацию нарушения житейских основ. Отец Андрея утверждает: “У нас в родове всякие бывали, но чтоб до такого дойти... От стервец дак стервец. Доигрался...” Надо повиниться, чтобы все стало на свои места. Но Андрей, “стервец”, не хочет этого делать. За меньшую провинность Иван Африканович был наказан смертью Катерины. Гуськов за свой грех наказан смертью жены Настены и смертью своего неродившегося ребенка, которого Настена носила в утробе. Причем гибнет Настена у него на глазах, сама бросается в реку, преступая заповедь.

Вероятно, Настена тоже кое в чем виновата. Она тоже выпала из общей связи, “разошлась со всем белым светом”, приветив мужа-дезертира. Так ведь муж! Блюдя ему верность в духе традиционной нормы, Настена разделила и его вину, стала соуча-

стницей преступного своеволия. Ноша совместного с Андреем греха тянет Настену на дно Ангары. “Стыдно... почему так истошно стыдно и перед Андреем, и перед людьми, и перед собой? Где набрала она вины для такого стыда?”

Это состояние без вины виноватости подробнейшим образом детализирует Распутин. Но драматический накал повествования не совмещается здесь с глубиной духовного прозрения. Гуськов в финале теряется в дебрях, зарывается в тайгу, умирает для мира, для родины — но в тексте нет никаких оснований, чтобы прогнозировать у него духовный прорыв, подобный кризису Ивана Африкановича. Андрей сосредоточен на физическом выживании. Ему не до поиска духовных основ, не до чаяния смысла бытия...

Наверное, знаменательно, что главной героиней в повести является Настена. Андрей показан где-то сбоку. Характерно, что и в других произведениях Распутина, да и не его одного, в центр повествования выходит женщина. Это совпало с ослаблением тревоги и порыва, с тенденцией к духовной пассивности. Возместить убыль творческой, духовной энергии писатель пытается за счет тщательной детализации душевных движений, наплыва чувств, нагнетания эмоций, придумывая для этого причины внешнего порядка, драматизирующие действие. В “Последнем сроке” все ждут приезда Таньчоры, а она так и не приезжает. В “Прощании с Матерой” надвигается затопление острова в ходе строительства гидроэлектростанции. В “Пожаре” горят склады. Героям поневоле приходится реагировать на ситуацию.

Смерть же сама по себе — не повод для драмы. Настену тихо похоронили, причем даже не на кладбище утопленников, а “среди своих, только чуть с краешку, у покосившейся изгороди”. Чай, не чужая. Да бабы всплакнули на поминках. Другие смерти в прозе Распутина и вовсе включены в естественный порядок вещей. Они проблем не рожают. Чего ж не умереть, когда все рано или поздно умирают? Человек подчинен общему закону, не мыслит себя исключением, а потому и не страдает. В повести “Последний срок” все чада и домочадцы спокойно ждут смерти старухи — главы рода. Чем-то должна закончиться долгая жизнь! Узел развяжется, люди помянут усопшую — и пойдет себе дальше писать губерния. Это нормально.

И сама старуха Анна спокойна. Она вполне готова к отплытию и даже немножко его торопит. Только однажды ее бегло задело: почему умирают дети, безвинные существа? “А он-то, Бог-то, где был, куда смотрел? (...) Как можно взять то, что, разобраться если, еще и не дал, а только посулил да показал?” Вопрос тут, конечно, есть. Но это недоумение осталось в повести неразрешенным. Кудель предсмертных мыслей тянется, никуда не приводя. Неясность посмертных перспектив, неминуемость человеческого забвения — все это скользит по краю сознания, не цепляя его до боли.

С полумертвой старухи какой спрос? Но писатель мог бы, кажется, дерзнуть на большее, заставить мужиков порассуждать о тайнах бытия. Нет, они у Распутина только пьянствуют.

С годами писатель научился затемнять проблему красивыми софизмами типа: "Смерть кажется страшной, но она же, смерть, засеивает в души живых людей щедрый и полезный урожай, и из семени тайны и тлена созревает семя жизни и понимания". Истолковать этот афоризм можно разве только в контексте общей тенденции, выявившейся в повестях "Последний срок" и "Прощание с Матерой". В соответствии с ней смерти, может быть, вообще нет.

Есть родовое бессмертие, есть некое инобытие, куда уходят "в матушку — сырую землю, к своему роду-племени" мертвые духи, собираются в этом "ином живленьице", чтобы внимательно следить за своими потомками, судить их.

Писатель учреждает настоящий культ мертвых. Отчасти он, конечно, отражает (как очеркист) типичное явление бытовой веры. Но при этом очень сильно акцентирует тему, вплетая ее красной нитью в свою философию родовой преемственности. В соответствии с архаическими языческими представлениями мертвые и живые соучаствуют в общей жизни. "Ночами, отчалив от твердого берега, сносятся живые с мертвыми, — приходят к ним мертвые в плоти и слове и спрашивают правду, чтобы передать ее еще дальше, тем, кого помнили они. И много что в беспамятстве и освобожденности говорят живые, но, проснувшись, не помнят..." Страшновато? Так ли еще будет страшно!

Кладбище таинственными узами связано с селом. Старуху Дарью в "Прощании с Матерой" мучит: что же будет с предками, когда она покинет остров, а тот, вместе с кладбищем, уйдет под воду нового водохранилища? "Ей представилось, — пишет Распутин, — как потом, когда она сойдет отсюда в свой род, соберется на суд много-много людей — там будут и отец с матерью, и деды, и прадеды — все, кто прошел свой черед до нее. Ей казалось, что она хорошо видит их, стоящих огромным, клином расходящимся строем, которому нет конца, — все с угрюмыми, строгими и вопрошающими лицами. И на острие этого многовекового клина, чуть отступив, чтоб лучше ее было видно, лицом к лицу одна она. (...) Они спрашивают о надежде, они говорят, что она, Дарья, оставила их без надежды и будущего".

Жуткая, зловещая картина! После гоголевской "Страшной мести" российская словесность подобных, кажется, и не знала... Нет, в этот мир еще не приходил Христос. Еще не просиял здесь свет Фавора, и все окутано языческими потемками. Все уходит в туман. Там, в тумане, теряется в финале след героев повести, уводит читателя в мрачную безблагодатную ночь. "Глаза упирались в сплошное серое месиво и невольно зажмуривались, закрывались от его близости".

Логика творческой эволюции вела многих "деревенщиков" к уходу от очеркового жизнеописания. Очеркист стал мифотворцем. Скажем, Белов своим "Ладом" решительно порвал с жизнеподобием. Никакой сплошной реальности за его идиллическими

картинами не стоит. В целом они — плод мечтания, неудовлетворенного наличной действительностью. Не приходится сомневаться в том, что даже в северной деревне, не знавшей крепостного ярма, было много неладов, притом и во времена старопрежние. Разрозненные наблюдения и черты патриархальной идиллии невозможно соединить в единство реального жизненного уклада без усилия, равнозначного насилию.

Вспоминается новгородец Василий Калика, доказывавший тверскому епископу Федору, что мысленного рая нет, а вот физический — вовсе даже есть. Его уже видали однажды новгородские мореплаватели. “Лад” Белова — поздняя ладья, уходящая в море, навстречу чаемому раю. И корабельщик не забыл старинной русской мечты о Беловодье, идеальном царстве, острове бессмертия. Этой мечтой жила (или недужила?) народная русская мысль в течение нескольких столетий. И вот напоследок давняя греза была объявлена реальностью, хотя и канувшей в Лету.

Зачем? Очевидно, от любви к крестьянскому миру. В реальной-то жизни все шло к тому, что даже далеко не идеальный деревенский уклад распадался. Здесь не место анализировать причины такого упадка. Ограничусь фиксацией очевидного факта: старой, традиционной деревни больше нет.

С фактом этим были принуждены считаться и “деревенщики”. Знаком творческого кризиса и перелома стала мутация жанра. Писатель колеблется между одой и сатирой. С одной стороны, прежний лад. С другой — попытка правдоподобно воссоздать современный мир, заполненный неприкаянными героями. Они блуждают по свету и не ведают, что им нужно, во что им верить и что такое вера вообще.

Катятся по стране перекасти-поле, от прежней жизни отставшие, к новой не приставшие. Несчастненькие, пьяненькие, жалкие людишки. Таких немало в прозе Астафьева, Белова, Распутина. Монотонным, бледным полотном разворачивается перед читателем их мелкая жизнь. Это — жертвы большого города-бедлама, где нет никакого порядка, а один только хаос. Люди не выдерживают нагрузок существования без надежной точки опоры и не в состоянии в одиночку достичь нравственных высот, даже если душа у них куда-то стремится. Душе без почвы не оттолкнуться для полета. И вот в позднем беловском романе “Все впереди” господствующей породой городских жителей становятся алкоголики и любострастники. Каждой своей порой смердит современная их жизнь и в прозе Астафьева конца 80-х годов.

И все же иногда на первый план в повествовании опять выходит персонаж иного склада. В чем-то он похож на праведника. Но если праведник обычно списан с натуры, являет собою реальный тип жизни, то новый герой имеет иное происхождение. Это совершенно лирический характер, во многом — второе “я” автора: герой-резонер. Он не столько действует, сколько вещает, рассуждает, поучает и печалует. Резонер по поводу и без повода делится своими очень

умными и не очень умными мыслями, которые, вполне очевидно, принадлежат самому автору. Бытовой нравоописательный очерк замещается или дополняется, таким образом, публицистическими монологами и диалогами.

Наиболее уместны в новой роли, конечно, люди с жизненным опытом, старики и старухи. И вот в литературу приходит Олеша Смолин Белова, старухи Распутина и тому подобные персонажи. Это хранители вековых традиций. Старухи — матери рода стерегут огонь в домашнем очаге. Они аккумулируют память и оберегают от порчи обычаи. Их речи — кладезь премудрости. Обобщив выводы из учения резонеров, можно утверждать, что надобно жить по правде, честно трудиться, не вредить людям, что раньше жили по совести и стыдливо, у всего мира на виду, а теперь норовят поодиночке и без стыда. Старина благородна, новизна сомнительна.

Резонеры учат нравственности, которая продиктована нормами среды, традиционными заповедями. Она требует личных усилий, но основана на силе общественного мнения. Такую этику называют этикой стыда, отличая ее от более личностно мотивированной этики совести.

Для совести важны внутренние побуждения. Для стыда — что скажут соседи. Совесть питается интуицией. Стыд основан на соблюдении правил. Чтобы оценить совесть, нужно понять человека изнутри. О стыде судят снаружи, по соответствию поведения норме. Поэтому если даже какая-то старуха говорит “про совесть”, мы должны понимать: речь идет о стыде. “Раньше ее видать было: то ли есть она, то ли нету. Кто с ей — совестливый, кто без ее — бессовестный. Тепери холера разберет, все сошлось в одну кучу — что то, что другое”.

Раньше судить о поступках было легко, потому что имелась четкая шкала формальной нормы. Теперь такой шкалы нет, к новой жизни старые нормы не подходят — и все пришло в беспорядок, ничего не понять. Так и говорит про себя герой распутинского “Пожара” Иван Петрович: “ничего не понять”. “Добро и зло перемешались”.

Иван Петрович представляет активную ипостась резонера. Это герой-борец. Почему в таком возникает нужда? Потому что деградация мира продолжается и достигает угрожающих размеров. Рушатся основы стабильности, народ дичает. Тут уже требуется обличитель, а то и мститель (так в “Людочке” Астафьева, где герой жестоко мстит гнусным дегенератам, для которых нет ничего святого: это нелюдь, с нею не нужно церемониться).

Поздний герой “деревенской литературы”, изнуряющий себя в борьбе со всем миром, подчас смахивает на Дон-Кихота. Но отношение к нему автора очень серьезное. Оно лишено и малой примеси иронии. Однако стоит самому герою задуматься, как мысли его приходят вразброд. Традиционная этика отличала зло от добра по внешнему виду. Существовали канонические формулы,

которым следовали все и которыми проверяли друг друга: нет ли каких нарушений, ошибок? А теперь судить о том, что стыдно, что нет — некому. Борец остался один в обществе людей, лишенных всякого понятия о правильном и ложном.

Распутинский Иван Петрович твердо понял: “Чтобы человеку чувствовать себя в жизни сносно, нужно быть дома. Вот дома. Поперед всего — дома, а не на постое, в себе, в своем собственном внутреннем хозяйстве, где все имеет определенное, издавна заведенное место и службу. Затем дома — в избе, на квартире... И дома на родной земле”. Но только вот “нигде не получалось у него быть дома”. И это драма не одного Ивана Петровича. Навязчивый мотив в “деревенской прозе” — смерть дома: его делят, продают, растаскивают — и гаснет семейный очаг. Приходится жить бездомно.

Как же существовать там, где стыдиться больше некого? Этот вопрос измучил Ивана Петровича. Не зная других источников морали, кроме традиционных начал патриархального мира, он не может мотивировать свой этический пафос. Остается закон ради закона. Иван Петрович пытается сформулировать какие-то правила, которым необходимо себя подчинить. Он хотел бы заковать себя в броню принципов, которые стоически осуществляет. Это — его опорные вехи в мире, где смешались в кучу кони, люди, где “все вверх ногами”.

Герой живет теперь без оглядки на соседей. Дождешься ли от них хорошего? Он эмигрировал из сегодняшнего дня, из этой развороченной страны в мир жестких формальных предписаний. Эти моральные абстракты — его единственная опора. “Не умея молчать, содравший бы с себя потом семь шкур за молчанку, поднимался он на собрании и вслух объявлял все, что творилось на лесосеках, на нижнем складе, в гараже и магазинах”. Пусть это кажется борьбой с ветряными мельницами, пусть начнут смеяться — герой все равно выйдет и скажет все, что он думает по тому или иному поводу. Он честно и упорно отстаивает свои принципы, за что на страницах повести дважды удостоен недоброжелателем титула “гражданин законник”.

Стоическое правдолюбство героя-борца внешне напоминает поведение юродивого, этого традиционного для русской культуры персонажа, обличавшего здешний, испроказившийся мир. Можно найти сходство и с героями ветхозаветной истории: пророками иудейскими, обличавшими свой народ за его грехи, за неисполнение договора с Богом, а также законниками, которые воспитывали народ, наставляли его в знании и исполнении строгих правил, регулирующих самые мелкие подробности будничной жизни.

Вообще без ветхозаветных аналогий не обходится, когда читаешь или слушаешь “деревенщиков”. И дело не только в пророческом пыле их публичных выступлений. Идеи “обетованной земли”, “избранного народа” под разными псевдонимами живут в сознании наших авторов. Как уже отмечалось в критике, не выглядит

случайным теоретический антисемитизм некоторых идеологов направления. Народ Израиля воспринят как конкурент, как соперник по избранничеству... Тревожный поиск русофобов — тоже обратная сторона представления об избраннической миссии русского народа....

Есть, однако, существенная разница между логикой Ветхого Завета и воззрениями наших русофилов. Смысл народного предназначения обычно определен тут гораздо менее радикально, чем в Ветхом Завете для иудеев. Речь не идет о судьбах мира. Скорее можно утверждать, что во главе всего — просто исполнение традиционных правил жизни, соблюдение привычных ритуалов.

А главное — в литературе этого направления нет такого острого, даже жгучего ощущения связи народа с Богом. Нет постоянно длящегося диалога народа с Богом. Герои не знают священного трепета, великого страха Господня, не имеют потребности в беспредельной самоотдаче высшему началу бытия.

Иногда кажется, что наши авторы вообще не чувствуют особой нужды в Боге-Личности, вступающем с человеком в мистический контакт.

Конечно, имя Божье то там, то тут мелькает на страницах. Но что стоит за этим именем? Здесь можно еще раз поразмыслить о специфике праведности в произведениях “деревенской прозы”.

Мораль героев-праведников, безусловно, так или иначе связана с христианскими представлениями о человеческом предназначении. Но даже Солженицын не акцентирует эту связь. Он пишет, например, так: “Не сказать, однако, чтобы Матрена верила как-то истово. Даже скорей была она язычница, брали в ней верх суеверия... Сколько жил я у нее — никогда не видал ее молящейся, ни чтоб она хоть раз перекрестилась. А дело всякое начинала “с Богом!”...”

Вера здесь осталась скорее в качестве бытовой привычки.

У Распутина в “Последнем сроке” на божнице вместо иконы стоит лампа. Старуха крестится, не подымая глаз... Ладно, лампы поставили дети-своевольники. Но в предсмертных рассуждениях старухи поразительно редки мысли о Боге и в связи с Богом. Практически отсутствует молитва, обращение к высшему первоначалу, представление о котором выражено крайне неопределенно. Зато чрезвычайно тщательно выписаны места о взаимоотношениях старухи со смертью, которая предстает как едва ли не одушевленное существо. “За последние годы они стали подружками, старуха часто разговаривала с ней, а смерть, пристроившись где-нибудь в сторонке, слушала ее рассудительный шепот и понимающе вздыхала. Они договорились, что старуха отойдет ночью...” и т.д., и т.п. Венец таких разговоров — убеждение в том, что “смерть, дождавшись человека, примет его в себя, и они уже никому не отдадут друг друга”. Тут уже какая-то религия вечной смерти!

А ведь в собственном, исконном смысле праведность есть жизнь в постоянном присутствии Бога, в непрерывном общении

с Ним, есть неуклонное духовное послушание Его воле и неусомневающаяся вера. “Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность”, — как сказано в книге Бытие (15.6).

Здесь главное именно не соблюдение формальных предписаний, буквы закона, но горячая и нескудеющая вера. “Мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами Закона” (Гал. 2.16).

Герой “деревенской прозы” подчиняется наперед заданной бытовой норме. Его жизнь обращается в сплошной ритуал. Тут нет места свободе личности, ведь всякое неритуальное действие выглядит как самовольство, дерзость, разбой. Религия традиционного быта требует в жертву от человека свободу. Но в результате он не способен опереться на себя и создать собственную, автономную систему морали, не зависящую от причуд социального климата, от норм той или иной среды. Не обладая личным началом, он не может вступить и в личный контакт с абсолютным.

Может быть, разочарование “деревенщиков” в старых моральных догмах коммунизма наступило раньше, чем у них возникла осознанная потребность в личностном самоопределении? Как бы то ни было, они остались очень советскими людьми. Коллективизм такого рода делает человека заложником среды (а может быть, субботы). Если традиционный, малоподвижный быт вызывает к жизни традиционных героев, то, с другой стороны, нерушимая связь с традицией ограничивает их возможности, подчиняет их ритуальным, извечно-безличным формам существования.

Есть своя глубина и в этике стыда. Нам знакомо это острое, щипающее душу чувство, это ощущение какого-то провала, пустоты в груди. Стыд может быть регулятором морали в стабильном обществе. Но в момент общественного распада стыд теряет опору. Тысячи и миллионы иван петровичей в этой ситуации оказываются у разбитого корыта и не знают, как жить дальше.

Размышляя над бытийными параметрами мира, изображенного “деревенщиками”, не находишь в нем Бога. Трансцендентная реальность здесь не осознана. Небеса молчат, глухой стеной нависая над плоской землей. Скорее можно говорить о пантеизме. Он наглядно, рельефно извещает о себе у Распутина, который в “Прощании с Матерой” изображает таинственного зверушку, полухи-полудемона — Хозяина, надзирающего за порядком на своем острове. Просвещенные критики объявили этот образ символическим, но ничто не мешает принять слова писателя всерьез, как свидетельство о том, что Распутин искренне верит в такие создания природы и почитает их. “Если в избах есть домовые, то на острове должен быть и хозяин. Никто никогда его не видел, не встречал, а он здесь знал всех и знал все, что происходило из конца в конец и из края в край на этой отдельной, водой окруженной и из воды поднявшейся земле”.

Симптоматично, что этот бесенок “не любил смотреть в небо, оно вводило его в неясное, беспричинное беспокойство и пугало своей грозной бездонностью” (обратите внимание на разоблачительную звукопись “бес — без”).

Но как же тогда быть с многочисленными и пространными публицистическими выступлениями того же Распутина, насыщенными христианской терминологией? А вот так и быть. Во всяком случае, писатель не отрекся, подобно Гоголю, от творческих созданий, которые способны посеять смуту в душе читателя...

Складывается впечатление, что христианство принято некоторыми неофитами только потому, что когда-то оно было официальной религией на Руси, официально христианская вера считалась верой русского народа. А куда мы без народа?

На самом деле в народной гуще рядом шли вера и неверие, глубокие мистические прозрения соседствовали с элементарным суеверием, с магическим обрядоверием. Народное сознание было переполнено языческими реликтами. Нужно ли сейчас брать за образец такое “народное христианство”? Неудивительна обрядовая, магическая вера среди простонародья. Удивительно, что те, кто претендует на роль учителей толпы, пастырей, смешивают в своем сознании мед с детем.

...Хозяин стерег порядок на острове. Внутри тут негде было взяться заразе. И если традиционный уклад рушится, то хворь принесена извне, как сифилис в Европу. Невесть откуда приполз змий, обольстил нашу русскую Еву и обманул нашего русского Адама. Виноват, Ивана.

Племенная этика язычества устраняет или ослабляет вопрос о нашей собственной вине, акцентируя тему врагов, коварно надругавшихся над девственной душой наивного и простодушного народа. По миру заходил чужак, преуспевающий посреди всеобщего разлада и надрыва. Это какой-нибудь Гога Герцев, беспринципный и опасный эгоист из астафьевской “Царь-рыбы”, или там вечный отъезжант Миша Бриш из “Все впереди”, или товарищ Жук... Имя им легион.

Герой-борец, выходящий на битву с этими силами распада и мрака, несет в себе авторское негодование, чувство омерзения, гадливости, которое в других случаях выражается и напрямую, в писательской публицистике. С наступательным пылом литераторы отстаивают традиционные моральные ценности, берут под защиту крестьянина от коварных горожан, обличают всевозможное внешнее зло. Но удается им немного. Ведь злу и его демоническим носителям (масонам?) с самого начала разрешено все. Злое начало бытия обладает той беспредельной свободой, которой не знают адепты добра. Это делает активность зла поистине необоримой и настраивает наших литераторов на апокалипсический тон. Аэробика становится знаменiem антихриста. Мир наполняется масонскими знаками, имеющими таинственную, магическую силу. В самом

звучании слова “могендовид”, например, есть что-то такое, отчего трепещет непорочная душа русского человека...

Все это можно воспринимать иронически, можно сочувственно, можно драматически. В конце концов нельзя не признать, что в своей святой борьбе с всесветным злом писатели-“деревенщики” делают и немало полезного. Их экологическая озабоченность, восходящая к представлению об органической взаимосвязанности человека и природы, принесла свои плоды, и реки у нас пока текут куда текли, и Байкал еще не до конца изгажен...

Иногда этих писателей называют консерваторами, и это звучит теперь одобрительно. Мы устали от плохо обеспеченного гуманностью прогрессизма, от исторических экспериментов. Очень хочется чего-то прочного, надежного, цельного. А писатель как раз вдохновлен красотой прежнего обряда и обихода.

Но проблема русского консерватизма не столь проста.

Скажем, в “Ладе” Белов предъявляет современникам идеальную сторону жизни и быта крестьян. Зачем? В упрек и в поученье. Упрек-то можно и принять. Но, честно говоря, не совсем понятно, чему же здесь учиться. Быту, ритуалам? Но мыслимо ли перенести старые формы жизни в наше сегодня? Реальна ли эта задача? И главное: перспективна ли самодовлеющая забота о формах жизни?

Принято говорить о власти быта над человеком, об устойчивости быта. Но не плод ли исторической инерции такие рассуждения? XX век показал нам, как быстро и решительно разваливается более-менее цельно организованная жизнь, как на клочки разлетается налаженный было уклад жизни в катаклизмах и сшибках эпохи. Быт держится, пока его некому тронуть.

С другой стороны, мы уяснили себе, что идеал “Лада” вполне абстрактен, он есть плод умозрительного конструирования. В нашей многотрадной истории было много всякого, но никогда, кажется, не было всецелой гармонии, осуществленной не в мечтах, а въяве. Судьба России — перманентная революция и катастрофа. История полна разрывов и провалов. Русский человек — искатель, мятежник, странник, отщепенец. Или уж завзятый лежебока... Почему так получилось — не здесь обсуждать. Но вряд ли кто возьмется оспаривать сей факт, эту давно подмеченную закономерность. А тогда что же можно законсервировать в такой истории? Разве что механизм катастроф.

Программа консервации идеального быта таит в себе, таким образом, глубокие противоречия и не может быть принята без ревизии. Это нужно признать, как признали в конце концов некоторые русские славянофилы XIX века, углубившись в изучение допетровской Руси, что она далека от сочиненного ими идеального образа.

Однако сегодня ревизоры пока не спешат. А суждения извне, со стороны, отметаются, как сор. За чистоту теории заплачено отказом от критики и анализа. Миф не подлежит логическому исследованию.

Консерваторы, которым нечего консервировать, идут в охотный ряды, впадают, как в детство, в реакционный радикализм. Они уходят в область чистой фантазии, в мир утопии, которую агрессивно пытаются утвердить в жизни. Когда речь заходит об идеальных прожектах, иные литераторы становятся сегодня революционерами, не признающими никаких естественных закономерностей общественной эволюции и настаивающими на крутых переломах. Сплошь и рядом консервативная основательность сменяется брожением, а мысли устремляются по накатанной советской колее — на поиск внешнего врага-диверсанта и лазутчика, покушающегося на святых.

Дальше, собственно, идти некуда. Как однажды сказано, дальше — тишина.

Ныне “деревенская литература” отошла на периферию читательского внимания. Отчего так? Из-за порчи вкуса? Если бы. Судьба этой литературы определена тем духовным потенциалом, которым она обладает. А потенциал этот в основном исчерпан.

Мир необратимо меняется. Мы всплачем над милой деревенской идиллией, отдадимся тому разливу чувств, которым пленяет нас проза о деревне, — но приходит время высушить слезы и трезво взглянуть на жизнь.

“Деревенская проза” зафиксировала неудовлетворительное состояние мира — и кто нынче скажет, что солгала? Она осудила приметы зла — и кто возьмет зло под защиту? Эта литература исполнена чувства внутренней правоты. Писатель, не довольствуясь ролью очеркиста-бытовика, хочет стать судьей и пророком, рассылает гневные громы, призывает чуму на поруганный дом. Вы полагаете, что лучше бы они занимались полноценным художественным творчеством, а в политике и без них найдутся активисты? Но когда русский писатель бежал от злобы дня? Тем паче — писатель, самой логикой своего пути пришедший к прямому, публицистическому слову.

У этой литературы, безусловно, есть свои исторические заслуги. Она честно свидетельствовала о жизни, не уклонялась от многих горьких истин. Не скоро забудутся деревенские праведники — герои Абрамова, Белова... Внушает уважение и стоицизм героев поздней прозы Распутина и Астафьева.

Можно сказать так: хотя в целом “деревенщики” прошли краем эпохи, слабо коснувшись главной ее проблемы — самоопределения личности, на равных встречающейся с государством, народом и Богом, — лучшие произведения “деревенской прозы” займут пусть скромное, но достойное место в русской прозе второй половины XX века.

А можно и иначе, более строго. Писатели-“деревенщики” не знают о свободе человека и не хотят ее. Для них эта свобода — явление чисто отрицательное, нежеланное. Они не подозревают о глубинной укорененности свободы в душе человека. Они забыли,

что Христос обращается к этой личной свободе. Человек призван свободно выбрать веру и полюбить Бога. Да и вообще история вселенной и история человечества — не есть ли откровение свободы в мире? Самосознание свободы движет вперед историю...

Недоверие к личности ограничивает духовный опыт, не позволяет адекватно формулировать основные проблемы человеческого существования. Литераторы пытаются принудить людей следовать формальным правилам, апеллируя к опыту предков. В эпоху, когда все в развале, когда общество охвачено хаотическим брожением, когда проповедников больше, чем кафедр, они, наверное, тоже могут найти себе аудиторию. Однако вряд ли эта аудитория будет слишком велика.

Подчинение традиционным формулам — удел слабых, бездерзостных душ. Сильное алкание духа не сможет утолить себя теми достаточно плоскими морализмами, которые звучат из уст писателей деревенской темы. В нашей неразберихе не принудительная, но только свободно избранная дисциплина позволит вызреть личности. Эта самодисциплина явится ответом на главный для каждого человека вопрос — вопрос о смысле его земного существования. И в поисках ответа на него наши авторы мало чем помогут их читателю.

И я уже без пиетета, ожесточенно и, пожалуй, оголтело формулирую: вот писатели, не исполнившие своего призвания. Они не имели внутренней решимости, чтобы идти самым рискованным путем, им недоставало воли к исканию, к жизненной неустроенности, к бескомпромиссному служению истине. И они стали самоуверенными апостолами банальной веры, публицистами-моралистами. Вот, надели кафтан — и не снять. Не по размеру? Ничего, обтерпелись, довольны... Жалко потерянных возможностей, несвершившейся судьбы.

Художник *Н. С. Михайлов*
Технический редактор *Л. И. Коноплева*
Корректоры *Т. Н. Пескова, М. А. Пензякова*
Оператор набора *Т. А. Турундаевская*



Сдано в набор 15.05.92. Подписано в печать 16.07.92.
Формат 84х108/32. Гарнитура „Таймс”. Печать офсетная.
Печ. л. 11,5. Усл. печ. л. 19,32.
Тираж 25000 экз. (1-й завод — 5000 экз.).
Цена договорная



Редакция журнала „Континент”,
101854, Москва, Чистопрудный бульвар, 8, комн. 17, тел 928-97-42.

Издательство: Товарищество „ДеКонт”,
125015, Москва, Новодмитровская ул., д. 5а.

Ассоциация друзей журнала „Континент”:
16, Rue Lauriston, 75116 Paris, France



Оригинал-макет изготовлен А/О „Сложные программные
системы (СПС)”, Москва, тел.: 462-15-45



Издательство „ГИС”,
129010, Москва, а/я № 31



Отпечатано в Московской типографии № 6
Российской Федерации,
109088, Москва, Южнопортовая ул., 24
Заказ № 576.



ISSN 0934-6317